ЮЛИАН СЕМЕНОВ

14

ЮЛИАН СЕМЕНОВ

irtschaftsmini

1687/43

dieses Geschäftszeichen und den weiteren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

Reichsminister für Rüstung
riegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- oVIA -

...матографа
помнят роли, сыгранные ими:
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.

— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала" —
отец умер в звании адмирала
флота США, — маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору, за
которого голосовала. — Брэдли.
После совещания в его штабе
мне ответили: "Если бы мама
просилась в эмиграцию, сюда, к
вам, для воссоединения семьи,
мы бы могли оказать какую-то
помощь. В ином случае брежнев-
ская администрация нам от-
кажет: "Давать или не давать
выездной паспорт для поездки
в гости — наше внутреннее
дело..."

...жизни, двенадцать
...земпляров; ныне тираж
...од жизни - это и мало
...ысячи писем, поступ...
...могают нам вы...
...ы наше...
1. В ...
...ажни...
...едоум...
2. ...
...дел...
...ское С...
3. ...
...вы!
4. ...
...упники,
...е место
5. ...
...и сможет ...ть все наши эко...
...истративной Системы!"
6. ...Продолжать борьбу
...ции и взяточничества.
7. Выступать против той с е к...
...ну и его банде создать камеры ...
...нки, Катыни, а его ученикам - п...
...
...так, "Совершенно Секретно" - эт...
...а этом мы стояли и будем стоять.

...ривет свтвия от Библейского Общест...
...ктеров, художников, режиссеров, ...

...ивенчества:
...в квартиру, накор...

...и пьяница, приходящий
...юги, так и вполне прис-

...ния пропагандистской ше-
...Поэтому следует отве-
...перед самим собою, ...
...ективно.
...арант. Оно обязано ...
...амовыявление,- это

...розить рост заработной
...ляции (при том,
...ны на рынке - рыноч-
...ому, сколько труда
...елем в продукт) буд...
...сы,- ... могут
...ктом.
...положения?
...ос трудно ответить,
..., которые облегча...

...нивающей") стра-

...schaftsminister

...7/43

...s Geschäftszeichen und den
...eren Schreiben anzugeben

...ernsprecher: Ortsdienst Nr. 16 43 51
Ferndienst Nr. 16 41 21

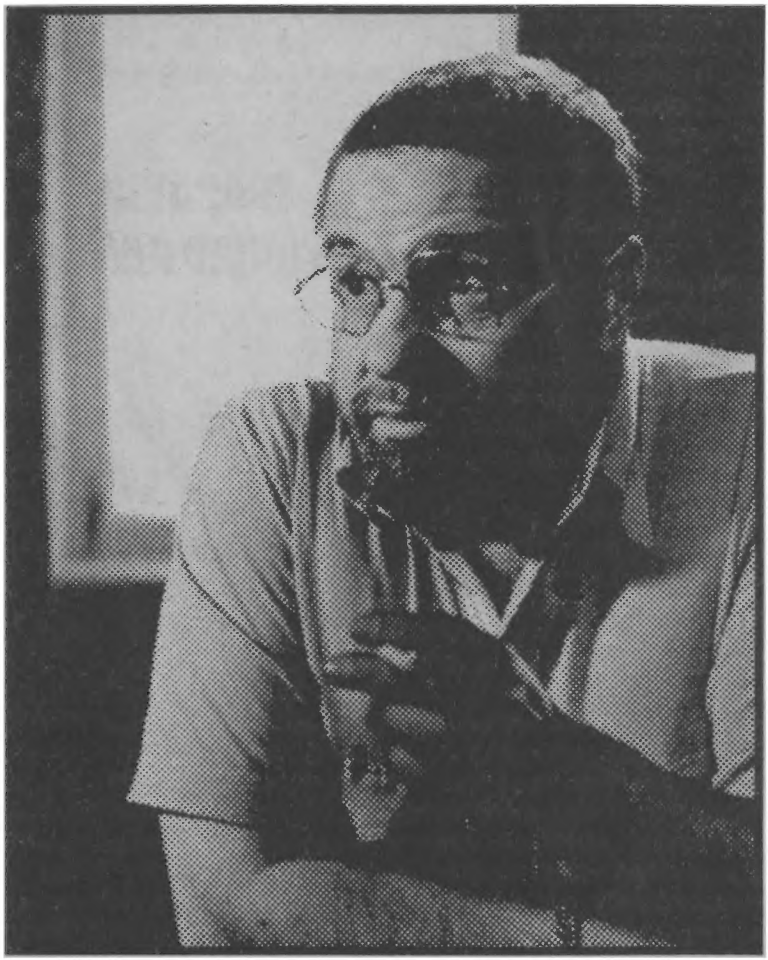
Eilt!

Geheim!

...ister für Rüstung
... Rüstungsamt -
... v. Henrici

Данил Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



Langston

Семенов

ТОМ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

ИСПАНСКИЙ ВАРИАНТ
БОМБА ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Москва
ЭГСИ
1996

ББК 84. ЗР7
С 30

Художники
М. ШЕСТОПАЛ
В. ПОМОЧИЛИН, В. БЕЛЯКОВ

© Ю. Семенов, 1970
© Составление, подготовка текста–Фирма ЭГСИ, 1996

ИСПАНСКИЙ ВАРИАНТ (1938)

БУРГОС, 1938, 6 АВГУСТА, 6 ЧАС. 30 МИН.

— Это его машина,— сказал Хаген.

— По-моему, у него был «остин», а это «пежо». Нет?

— Это его машина,— повторил Хаген,— вчера вечером он схватил машину своей бабы после того, как она сбежала в Лиссабон. Это точно.

— Да не волнуйтесь вы так, приятель,— усмехнулся Штирлиц,— если это он, мы его возьмем. А если не он? Хордана устроит нам серьезные неприятности через Риббентропа. Все молодые министры иностранных дел любят поначалу соблюдать протокол: видите, у этого «пежо» дипломатический номер.

Хаген высунулся из окна «мерседеса». Он весь замер, наблюдая за тем, как Ян Пальма выскочил из маленькой, выкрашенной в грязно-зеленый цвет машины и бросился к входу в аэропорт Бургоса.

— Это он,— сказал Хаген.— Сейчас вы его узнали?

— Узнал. Сейчас узнал,— ответил Штирлиц, закурив.— Но ведь он улетает...

Хаген тщательно обгрыз ноготь на мизинце и ответил:

— Он не улетит.

— Вы неисправимый оптимист...

— А вы неисправимый пессимист, штурмбанфюрер,— вдруг широко улыбнулся Хаген, заметив Пальма, выбежавшего из аэровокзала.— Сейчас он полезет в машину и начнет ковыряться в чемодане...

— Вы провидец?

— Нет. К сожалению. Просто его паспорт сейчас оказался в кармане моего человека.

К «мерседесу» подъехал пикап и остановился почти вплотную — с той стороны, где сидел Хаген. Седой старикашка со слезящимися глазами протянул Хагену зеленый паспорт. Хаген, взяв паспорт, дал старикашке пачку денег, и пикап, резко рванув с места, понесся по желто-красной песчаной дороге к горам.

— Все,— повторил Хаген,— сейчас он ринется к себе в отель. А по дороге мы его возьмем.

— Вдвоем?

— Почему? Пикап будет ждать нас за поворотом. В него сядут наши люди. Они подставят этого седого жулика под машину Яна Пальма, и вам не придется улаживать скандал со здешней полицией, если даже он возникнет.

— Слушайте, приятель, я не люблю играть втемную. Почему я ничего не знал об этой операции?

— Только потому, что вас не было до утра, и Берлин поручил все провести мне... Вместе с вами...

— Ох, честолюбец, честолюбец! — проворчал Штирлиц.—Погубит вас честолюбие, Хаген.

— Едем,— сказал Хаген,— сейчас он двинет в отель.

Хаген оглянулся: из-за ангара, где стояли самолеты легиона «Кондор», медленно выползала тупая морда военного грузовика.

— Все,— повторил Хаген и по-мальчишески счастливо засмеялся.— Как по нотам.

«Ничего,— думал Ян, выжимая педаль акселератора,— я его оставил в столе. Или на столе. Просто я очень испугался... Не надо так паниковать. Через час будет самолет в Париж. Ничего. Самое главное, постараться быть спокойным, как вареная телятина. Или как рисовый пудинг. А почему как пудинг?»

Ян не успел ответить на этот дурацкий вопрос. Вообще-то в минуты опасности он любил ставить себе дурацкие вопросы и давать на них смешные, но обязательно логичные ответы — это давало ему какую-то разрядку. Он не успел ответить себе, потому что пикап, который он обгонял, вдруг резко взял влево, и Пальма затормозил, но пикап по-прежнему тянул влево, раздался хрусткий и тугой удар металла о металл, и Пальма почувствовал, как его машину бросило в кювет... На какое-то мгновение он ослеп, потому что вместо дороги он увидел красно-бурую, поросшую коричневой травой глыбистую глину, а потом инстинктивно зажмурился, когда серый сук распорол ветровое стекло льдистой пеленой, а после стало тихо... Он не помнил, сколько времени продолжалась эта тишина. Когда он смог снова соображать и чувствовать, он услышал спокойное урчание мотора и решил, что это была мгновенная галлюцинация, и ничего не случилось, и все будет хорошо, и он открыл глаза. Он увидел совсем другую машину и Хагена, который упирался ему пистолетом в грудь, став на колени на переднем сиде-

нье машины, словно шаловливый мальчишка возле отца, сидевшего за рулем. Только вместо отца сидел штурмбанфюрер Штирлиц, который то и дело поглядывал в зеркальце на Яна. Заметив, что тот открыл глаза, Штирлиц сказал с обычной своей ленивой ухмылкой:

— Считайте, что первый тур вы проиграли. Сейчас начинается второй: он сложней, а потому интереснее. Не так ли, Хаген?

— Значительно интереснее,— согласился Хаген.

— И уберите парабеллум от его груди,— посоветовал Штирлиц,— а то господин Пальма решит, что мы хотим его убить. А ведь мы не собираемся его убивать, не так ли?

Машина въехала во двор маленького особняка в горах. Ян знал, что этот особнячок принадлежит политической разведке Гиммлера, куда работники фалангистской сегуридад не имели права доступа...

— Начнем с самого начала? — спросил Хаген.

— Что вы считаете началом? — спросил Пальма, осторожно потрогав пальцами марлевую наклейку на лбу.

— Самым началом я считаю место рождения, дату рождения, имя,— сказал Хаген.

— Ну, это неинтересно,— ответил Пальма.— В ваших архивах это все зафиксировано не единожды...

— Нам интересно, чтобы вы все это сказали сами,— сказал Штирлиц.— Не волнуясь, обстоятельно, припоминая детали, имена друзей и врагов...

— Ян Пальма, гражданин Латвии, рожден 21 мая 1910 года в поместье Клава Пальма, чрезвычайного и полномочного посла Латвии... Если можно, дайте мне таблетку пирамидона, у меня раскалывается голова.

— Сейчас я попрошу,— сказал Хаген.— И воды, видимо?

— Лучше глоток тинто, самого сухого.

— По-моему, в университете у вас красное вино было непопулярно?— спросил Штирлиц, пока Хаген, подойдя к двери, отдавал распоряжение.— Более популярной была красная идеология?

— В университете у нас было популярно виски,— ответил Пальма, поморщившись, и снова осторожно потрогал лоб, рассеченный в аварии.— Это активнее, чем вино и даже чем идеология...

— Погодите, погодите,— сказал Хаген, садясь верхом на свой стул,— мы рано перешли на университет. А ваша жизнь у отца в Индии? Ваша дружба с йогами?

— Он тогда был ребенком,— сказал Штирлиц,— а нас интересует начало его зрелости. А зрелость вам дал университет, нет?

— А меня больше интересует, как он угонял наш «мессершмит» и убил Уго Лерста!— сказал Хаген.

— Погодите, дружище,— Штирлиц нахмурился.— Начнем по порядку — с университета.

— Все равно. Зрелость, Уго Лерст, университет, ваш «мессершмит»... Только разговаривать я сейчас не смогу,— тихо сказал Пальма.

— Вы хотите заявить протест по поводу похищения?— спросил Хаген.

— Я понимаю, что это бесполезно,— ответил Пальма,— просто голова раскалывается. Дайте мне полежать, что ли, пока не пройдет дурнота...

— Бросьте вы разыгрывать комедию!

— Погодите, Хаген,— сказал Штирлиц.— Он же пепельный совсем...

«Небо тогда тоже было пепельным,— подумал Ян, лежа на узенькой софе в комнате без мебели. Окно было зарешечено изнутри и забрано плотными деревянными ставнями снаружи.— Пепельное небо у нас бывает ранней весной или в самом конце зимы... Когда же это было точно? Семнадцатого? Или девятнадцатого? Раньше дата считалась со дня, а теперь время так быстролетно, что от даты нам остается лишь год... Изредка месяц. Но это был март. Или февраль?..»

РИГА, 1934

Небо и вправду было пепельным. Оно было одного цвета с песчаными дюнами, с морем, и поэтому трудно было догадаться, рассвет сейчас или сумерки. И небольшая вилла тоже казалась пепельной, словно бы рисованной размытой акварелью в манере северонемецких мастеров конца восемнадцатого века, и эта иллюзия ушедшего века была бы абсолютной, если бы в доме не гремел джаз, время от времени разрезавшийся высоким, серебряным звуком горна. Двое выпускников университета — Гэс Пе-

терис и Курт Ванг, сидевшие на застекленной веранде, разглядывали танцующих, отхлебывая вино из грубых глиняных кружек.

— Как лихо оттанцовывает Пальма! — сказал Ванг.— Скотина...

— Зачем так грубо? — улыбнулся Петерис.

— А я люблю его.

— В самом деле?

— В самом деле... А ты?

— Завидую. Я завидую ему. Но очень добро, без зла. Порой с недоумением.

— Почему?

— Так... Не интересуется женщинами, а они летят к нему, как мотыльки на огонь; не умеет фехтовать, а выигрывает бои; посещает ваш дискуссионный кружок, а кутит на те деньги, которые ему присылает чрезвычайный и полномочный папа.

— Это хорошо или плохо?

— Занятно. Вообще-то он может позволять себе оппозиционность. Папа переводит ему столько денег, что не страшно побаловаться оппозицией.

— Будь себе на здоровье и ты оппозиционером...

— Я не могу. Мне никто не переводит денег. Я должен быть с клубом, а не против него...

— Сильные мира сего не всегда состоят в одном клубе,— сказал Ванг.

— Клуб против клуба — это не страшно; страшно, когда в клубе сильных появляется отступник.

— Ты убежден, что клуб не прощает отступничества?

— Конечно. Во всяком случае, я так думаю.

— Но ты еще не член нашего клуба,— заметил Ванг.— Я желаю тебе вступить в наш проклятый, скучный и дряхлый клуб как можно скорее. Ты его видишь снаружи, и он кажется тебе прекрасным, а мы рождены в нем и знаем, что он такое изнутри.

— Ну и что же он такое изнутри? Объясни мне, плебею, ты — сын министра.

— Я не силен в словесной агитации. У тебя крепкие челюсти, ты войдешь в клуб: нашим старикам нужны свежие кадры.

К Петерису подошла девушка, опустилась перед ним на колени и сказала:

— Повелитель, я больше не могу без вас.

— Ну уж не можешь,— вздохнул Петерис, поднимаясь.— Пошли попляшем, только напомни, как тебя зовут...

Он поднялся, и девушка поднялась, и они ушли к танцующим, а к Вангу, появившись из-за шторы, приблизился горбун, прижимавший к груди маленький серебряный горн.

— Знаете,— сказал он,— я могу продержать гамму туда и обратно семьдесят три секунды.

— Это прекрасно. Молодчина.

— Сыграть?

— Сыграйте, отчего ж не сыграть.

— Сейчас. Я должен постоять минуту с закрытыми глазами и сосредоточиться. Сейчас.

И горбун, по-прежнему не открывая глаз, заиграл — серебряно и нежно — тонкую и чистую гамму, и звук, таинственно извлекаемый им из маленького горна, перекрыл рев джаза и пьяные голоса танцующих в холле.

...«Как же звали французскую стерву, которая тогда со мной танцевала?— вспоминал Ян, наблюдая как в тонком солнечном луче, пробивавшемся сквозь ставни, медленно плавала пылинка, похожая на рисунок планеты из учебника астрономии.— Будет совсем смешно, если из-за этой катастрофы у меня отшибет память... Бедный Юстас... Ему сейчас труднее, чем мне. Вообще, самое трудное — это ощущение собственного бессилия. А ту французскую стерву звали, между прочим, по-русски — Надя».

— Хорошо бы,— сказала тогда Надя, перестав танцевать,— чтобы этот трубач дудел раздетым.

— Он артист,— ответил Ян.— Он замечательный артист.

— Какой он артист? Трубач...

— Трубач тоже артист.

— Ты ничего не понимаешь,— засмеялась Надя.— Артист — это который говорит на сцене, а трубач только делает «ду-ду». Большие легкие — это ведь не талант...

Кто-то закричал:

— Цыгане, друзья, цыгане!

Все бросились в парк. Четыре старые, громоздкие кибитки остановились на асфальтовой дороге, которая пролегала сквозь туманный парк.

Цыгане вылезли из своих кибиток. Одеты они были

подчеркнуто элегантно: в смокингах, полосатых серых брюках; колдовски растрескивая колоды новых холодных карт, шли они навстречу обитателям старинной виллы, и кто-то из них уже пел гортанную песню, наигрывая на банджо; маленькие девочки танцевали с медлительными повадками старух, и все это показалось тогда Яну Пальма таким же нереальным, рисованным, далеким и зыбким, словно рассветный парк и деревья, смотревшиеся как бы сквозь папиросную бумагу.

Девочка лет тринадцати, разглядывая линии на ладони Ванга, который шел вместе с Яном и Петерисом, быстро говорила:

— Ах, как много вы повидали любви и несчастья, дружбы и предательства! Вы познали богатство и нужду, вы так много работали в жизни...

Пальма не выдержал, захохотал в голос, упал — поклоунски — на газон, закричал:

— Слушайте все! Наш Ванг, тепличный сын министра, много трудился и познал нужду!

Петерис обернулся к Пальма и сказал негромко:

— Она же работает, зачем ты?

— Прости. Ты прав. Прости. Держи,— Ян поднялся и протянул цыганке монету,— это тебе.

— Я вам еще не гадала,— ответила девчушка.— Я говорю правду этому господину: я же читаю правду по линиям его руки...

— Прости его,— сказал Гэс Петерис,— ты хорошо гадаешь, не сердись на моего друга, просто он очень весел сегодня, он не хотел тебя обидеть... Погадай Вилциню, он ждет...

И они пошли по газону: высокий Вилцинь и маленькая цыганка, которая вела его за руку, а вернее, даже не за руку, а за указательный палец, и все время забегала вперед, чтобы заглянуть ему в глаза...

Петерис долго смотрел вслед ушедшим, а потом обернулся к Вангу:

— Куда ты?

— Меня определили в министерство иностранных дел — это наша семейная традиция...

— А ты, Ян?

— Черт его знает. Что у тебя, Петерис?

— Я уезжаю в Индию, в консульство,— ответил Петерис.

— За рыцарскими шпорами?

— Почему бы нет?

— Сейчас не дают золотых шпор за выдающиеся заслуги. Только позолоченные.

— Меня устроят и позолоченные.

— Помогай британцам сажать в тюрьму побольше индусов, и тебе очень скоро выдадут шпоры, которые открывают двери нашего клуба.

— Кому-то ведь надо сажать в тюрьму. Своим рождением ты лишен этой необходимости, Ян.

— Снова ты ему завидуешь? — спросил Ванг, задумчиво прислушиваясь к цыганской песне.

— Слушай, Гэс,— предложил Пальма,— хочешь, я дам тебе рекомендательные письма в Индию, а ты мне взамен пришлешь оттуда хорошо отделанную голову бунтаря, а?

— Мне нужны рекомендательные письма, но мои успехи в боксе больше, чем твои, Ян, и если я тебя ударю, ты упадешь...

— Не сердись. Я проверял, до какой меры ты подонок. Подонком снова оказался я. Прости.

— Ты постоянно на всех наскакиваешь,— задумчиво сказал Петерис.— Не могу понять, чего ты хочешь?

— Сам не могу понять, чего я хочу. Только очень хорошо знаю, чего я не хочу.

Из дому вышел горбун, протрубил в свой серебряный горн и закричал:

— Все ко мне! Маргарет дает сеанс сексуального массажа! Все в дом, все в дом!

Выпускники университета, перешучиваясь, неторопливо двинулись к дому, а Пальма пошел к кибиткам цыган: они рассаживались на траве и доставали из баулов завтрак — бутерброды с ветчиной. Старый цыган поднялся, когда к нему подошел Пальма, и сказал:

— Вы, верно, против того, чтобы мы здесь перекусили? Но мы недолго, у нас есть приглашение еще в один дом. Это ведь дом господина Пальма? Я не ошибаюсь?

— Верно. Ешьте себе... Все пьяны, никому ни до кого нет дела. А Пальма к тому же добрый парень.

— Человек, говорящий о господине Пальма «парень», может быть либо еще более богатым, чем он, либо он должен быть его лакеем.

— Я — лакей,— хмыкнул Ян,— мы все тут его лакеи...

— Вы говорите неправду. Лакей никогда не признается в своей профессии.

На железнодорожной станции было пусто. Где-то было включено радио. Диктор читал последние новости: «В Вене на улицах продолжается перестрелка между коммунистами и национал-социалистскими вооруженными отрядами. Есть жертвы среди мирного населения».

Пальма долго стучал в окошечко кассы, но никто не отвечал ему: кассир, видимо, спал.

На привокзальной площади остановился низкий «роллс-ройс». Из машины вышла молодая женщина.

— Не сердись,— сказала она седому человеку, сидевшему за рулем.— Не надо на меня сердиться.

— Я не сержусь. Просто я бы очень советовал тебе остаться.

— Зачем? Для кого?

— Для меня, Мэри...

— Это жестоко: делать что-нибудь наперекор себе — даже во имя ближнего. Ты мне сам потом этого не простишь. Неужели тебе приятно быть с человеком, если ты знаешь, что он остается с тобой только из жалости?

— Если этот человек ты — мне все равно, Мэри.

— Карл, мужчина временами может быть слабым — это порой нравится женщинам, но он не имеет права быть жалким.

Мэри помахала рукой человеку, сидевшему за рулем громадной машины, и легко взбежала по ступенькам вокзала. Машина, резко взяв с места, словно присев на задние колеса и напружинившись, сразу же набрала скорость.

Женщина остановилась за спиной Пальма, который по-прежнему стучал костяшкой указательного пальца в окошко кассы. Наконец окошко открылось.

— Простите, я отлучился, чтобы сварить себе кофе,— сказал кассир,— все считают, что я сплю в эти утренние часы, а я не сплю, я только часто отхожу за кофе.

— Лучше бы вы спали,— сказал Пальма.

— Мне тоже так кажется,— вздохнул кассир,— но мы расходимся во мнении с начальством. Куда вам билет?

— До Вены.

— Мы продаем билеты только до наших станций,

тем более, что в Вену сейчас трудно попасть из-за тамошних беспорядков... Я могу продать билет только до Риги.

— Я знаю. Это я так шучу...

Женщина, стоявшая за спиной Пальма, усмехнулась.

Он обернулся.

— Кто-то должен смеяться над вашей шуткой,— пояснила она,— кассир, по-моему, член общества по борьбе с юмором.

— Спасибо, вы меня очень выручили. Вы тоже до Риги?

— Наверное.

— Вы убежали от того седого рыцаря?

Женщина кивнула головой.

— Я тоже убежал,— сказал Пальма.

— Все сейчас убегают... От врагов, друзей, от самих себя, от мыслей, глупостей, от тоски, счастья... Все хотят просто жить...

— Вам бы проповедницей в Армию спасения...

Подошел поезд. В вагоне было пусто: только Пальма и эта женщина. Они сели возле окна. Туман, лежавший над землей еще час назад, сейчас разошелся. Когда поезд набрал скорость, стало рябить в глазах от резкого чередования цветов: белого и зеленого.

— Меня, между прочим, зовут Ян.

— А меня, кстати, зовут Мэри.

— Почему-то я был убежден, что у вас длинное и сложное имя.

— А у меня на самом деле длинное и сложное имя: Мэри-Глория-Патриция ван Голен Пейдж.

— На одно больше, чем у меня, но все равно красиво... Я бы с радостью увидел вас сегодня вечером.

— Я бы тоже с радостью увидела вас сегодня вечером, если бы у меня не было записи на радио, а вы не уезжали в Вену.

— Да, про Вену я как-то забыл.

— А я никогда не забываю про свои концерты, и мне поэтому трудно жить. Зачем вы едете в Вену?

— Мне нравится, когда стреляют.

— Хотите попрактиковаться в стрельбе?

— Позвольте, кстати, представиться: Ян Пальма, политический обозреватель нашего могучего правительственного официоза. Вот моя карточка, позвоните, если я оттуда вернусь, а?

БУРГОС, 1938, 6 АВГУСТА, 8 ЧАС. 10 МИН.

Хаген неслышно вошел в комнату. Он вообще умел ходить неслышно и пружинисто, несмотря на свои девяносто килограммов. Пальма почувствовал в комнате второго человека лишь потому, что тонкий, жаркий и колючий луч солнца исчез с его века, и в этом глазу наступила звенящая, зеленая темнота — так бывает после хорошего удара на ринге.

«У кого это был рассказ "Солнечный удар"? — подумал он.— Кажется, у кого-то из русских».

Он открыл глаза и увидел склоненное над собой лицо Хагена.

— Ну как?— спросил тот.— Легче?

— Несколько...

— Доктора мы, к сожалению, пригласить не можем... Пока что...

— Это как «пока что»? — спросил Пальма.— Вы пригласите доктора, когда надо будет зарегистрировать мою смерть?

— Ну, эту формальность соблюдают только в тюрьме, после приговора суда. Мы просто делаем контрольный выстрел за левое ухо.

— Почему именно за левое?

— Не знаю... Между прочим, я сам интересовался: отчего именно за левое? Экий вы цепкий, господин Пальма. Пойдемте, я покажу наше хозяйство. Подняться можете?

— Наверное.

— Ну, вот и прекрасно. Давайте руку...

Они вышли на маленькую галерею, окружавшую дом.

— Забор не обнесен колючей проволокой, но через эту мелкую металлическую сетку пропущен ток. У нас свой генератор. Убить не убьет, но шок будет сильный. Включаем днем, когда у нас только двое дежурных на территории. Ночью мы спускаем собак, и у нас дежурят четыре человека.

— Это вы к тому, чтобы я не думал о побеге?

— Мой долг хозяина — показать вам дом, где вы теперь живете.

— Но если мне этот дом не понравится, я же не смогу отсюда выйти...

— Приятно работать с латышами,— сказал Хаген.— Реакция на юмор у вас боксерская.

– И со многими латышами вы уже успели поработать?

– Вы спрашиваете не просто как журналист, но скорей как цепкий разведчик.

– Разве вы не знаете, что я – шеф латышской разведки?

Хаген рассмеялся:

– Я знаком с шефом латышской разведки, милый Пальма, да и не латышская разведка нас в настоящее время интересует.

– Какая же?

– Этот вопрос вам задаст Гейдрих в Берлине. Лично. Я здесь только провожу предварительный опрос. Так сказать, прелюд в стиле фа-мажор.

Пальма поморщился:

– Никогда не говорите «в стиле фа-мажор». Вас станут чураться, как верхогляда. Где, кстати, ваш мрачный коллега?

– Он будет работать с вами вечером. Когда я устану.

– Я что-то не очень понимаю: вы меня похитили?

– Похитили.

– И не отпустите?

– Ни в коем случае.

– Но ведь будет скандал, в котором вы не заинтересованы.

– Никакого скандала не будет. Машина-то ваша разбилась... Вот мы вас и похоронили – обезображенного.

– Я забыл ваше имя... Ха... Харен?

– Называйте просто «мой дорогой друг»...

– Хорошо, мой дорогой друг... Разбилась машина британской подданной Мэри-Глории-Патриции ван Голен Пейдж. Моя машина в полной сохранности. А Мэри Пейдж ждет меня в условленном городе, и, если я там не появлюсь, она будет волноваться вместе с моими друзьями.– Пальма лениво поглядел на сильное лицо Хагена и осторожно притронулся к марлевой наклейке на лбу.– Так у нас условлено с друзьями...

«Может быть, я зря выложил ему это? – подумал он.– Или нет? Он растерялся. Значит, не зря. Посмотрим, как он будет вертеться дальше. Если я выиграл время, значит, я выиграл себя. А он растерялся. Это точно... А придумал я про Мэри хорошо. Обидно, что мы с ней об этом не сговорились на самом деле».

...За полчаса перед этим Штирлиц сказал Хагену:

– Приятель, возьмите его в оборот. Пусть он все расскажет про университет, и начните его мотать про Вену. Я в жару не могу работать. Я приеду к вечеру и подменю вас, если устанете. А нет, станем работать вместе. Вдвоем всегда сподручнее. Только чтобы все конкретно, ясно?

– Хорошо, штурмбанфюрер.

– Скажите еще, «благодарю, штурмбанфюрер»... Вы что с ума сошли?! Я ненавижу официальщину в отношениях между товарищами. И вообще стоит этого латыша записать за вами: вы организовали его похищение, вы его доставили сюда. Это ваш первый серьезный иностранец?

– В общем-то да.

– Ну и держите его за собой. Я пошлю рапорт о вашей работе.

– Спасибо... Я, право, не ожидал этого...

– Чего не ожидали?

– Ну... Такой щедрости, что ли...

– Какая там к черту щедрость, Хаген! Во-первых, жара, а во-вторых, вы еще с ним напрыгаетесь – он из крепких, да и, по-моему, Лерст напридумывал, бедняга. Я ведь не очень верил в его версию.

– Я убежден, что в Берлине с ним до конца разберутся.

– Конечно, разберутся. Когда будем отправлять?

– Вы же читали шифровку: там сказано – « в ближайшее время будет переправлен в Берлин».

– Да, верно. Верно, приятель. Ладно. Я двину в город – отдыхать, а вы с ним начинайте.

– Где вас можно найти в случае чего?

– А что может случиться? Ничего не может случиться. Ищите меня в моем отеле или в баре «Кордова».

С этим Штирлиц и уехал.

Когда Пальма сказал Хагену о своей договоренности с Мэри, тот понял, какую промашку он допустил, начав операцию с захоронением «Пальма, погибшего при автомобильной катастрофе»,– лицо седому старикашке-жулику, мастерски воровавшему из карманов бумажники, изуродовали до полнейшей неузнаваемости,– но совсем забыл про машину латыша, которая стояла в отеле. Хаген, сдав Пальма на попечение своих помощ-

ников из охраны, немедленно начал обзванивать отель и бар «Кордову» в надежде найти Штирлица. Но его нигде не было. Штирлиц, естественно, не рассчитывал на звонок Хагена. Он знал честолюбие гауптштурмфюрера. Он был убежден, что Хаген счастлив, оставшись наедине с Яном. Штирлиц никак не мог предположить, что тот станет его разыскивать,— Хаген обожал допросы. Он вел их в провинциальной манере: с большими, многозначительными паузами и зловещими расхаживаниями за спиной арестованного, и Штирлицу было занятно наблюдать несколько мальчишеское самолюбование Хагена. «Видимо, в детстве его здорово лупили приятели,— как-то подумал Штирлиц.— Слабые люди очень дорожат правом стать сильными, которое не завоевано ими, а получено в подарок».

Как раз потому, что он достаточно хорошо знал Хагена, Штирлиц и решил не обеспечивать себе алиби на случай отсутствия в тех местах, которые он ему назвал перед отъездом в город. Но ни в один из названных адресов он не поехал. И алиби у него на эту поездку не было.

А ему надо было всегда обеспечивать себе алиби: Максим Исаев лучше других знал, как это трудно — быть все время штурмбанфюрером Штирлицем.

...Командировка Штирлица в Испанию была для него — при том, что он ощущал н е ч т о надвигающееся — неожиданностью. После того как Гитлер ввел свои войска в Рейнскую область, растоптав, таким образорм, Версальский договор, и ни Франция, ни Англия не выступили против него, в Германии наметилась определенного рода раздвоенность: министерство иностранных дел, возглавлявшееся старым дипломатом Нейратом, и генеральный штаб, продолжавший считать, что Гитлер служит им, военным, а не они ему, предлагали тактику выжидания. Гитлер, наоборот, вкусив пьянящую сладость первой внешнеполитической победы, подкрепленной силой оружия, закусил удила.

Умение чувствовать — ценное качество разведчика, но еще более ценным его качеством следует считать знание.

Штирлиц еще только начинал по-настоящему свой путь в закордонной разведке Гейдриха; он был, как говорили в имперском управлении безопасности, на «первом этаже», тогда как кабинет рейхсфюрера помещался на пятом.

Работа в Испании должна была помочь Штирлицу ступить на ту лестницу, которая вела с первого этажа на второй: от о щ у щ е н и я к з н а н и ю.

Центр, получив его шифровку о командировке в Испанию, вменил ему в обязанность заниматься изучением фигуры «сеньора Гулиермо» — под таким именем вместе с Франко работал начальник абвера рейха адмирал Канарис, руководивший агентурной цепью в Испании еще в годы первой мировой войны.

Когда Штирлиц, дав подписку о неразглашении «высшего секрета рейха», был отправлен в Бургос, он сразу же перешел на «второй этаж». Здесь, за Пиренеями, он узнал многое из того, что было воистину «высшей тайной рейха». (Летчики Пунцер и Герст за разглашение того факта, что они сражаются вместе с Франко — написали, дурашки, в письмах домой,— были расстреляны в гестапо «папы» Мюллера без суда и следствия. Тайны, к которым Штирлиц подошел здесь за эти два года, были куда важней: узнай Гейдрих, куда эти высшие тайны рейха уходят, Штирлица ждали бы пытки перед четвертованием — о расстреле он мог мечтать как об избавлении, благе, милости...)

Постепенно, по крупицам собирая информацию, Штирлиц составил ясную картину взаимоотношений Франко и Гитлера, фалангистов и национал-социалистов; чтобы работать, надо знать все, а н а ч а л о — особенно.

Он знал, что победа в Испании Народного фронта в феврале 1936 года отринула генерала Франко — того, который потопил в крови астурийское восстание шахтеров. Он узнал позже, что Франко, генералы Моро и Санхурхо сразу же объединились для того, чтобы, организовав хунту, свергнуть правительство Народного фронта, избранное народом.

Акция, которую задумала армия, должна быть обеспечена оружием. Франко не имел самолетов и танков. Он получил двадцать итальянских «савойя-маркети» — дуче подписал этот приказ, обсудив его на высшем совете фашистской партии. Но двадцать самолетов — это ничто, когда началась открытая борьба хунты генералов против правительства народа.

Франко поручил своим помощникам войти в контакт с германским военным атташе в Париже. Тот немедленно отправил шифровку в Берлин. Генеральный штаб и

министерство иностранных дел рейха были едины в своем мнении: сейчас, после «великой рейнской победы», надо выждать, не следует «дразнить» общественное мнение.

Тогда Франко обратился к руководству НСДАП — национал-социалистской рабочей партии Германии. Письмо Франко попало к шефу закордонных организаций НСДАП, рейхслейтеру Боле. Тот, выслушав отрицательные соображения армии и дипломатов, вежливо поблагодарил коллег за столь серьезный, доказательный и дальновидный совет и немедленно отправился к своему непосредственному руководителю — Рудольфу Гессу, заместителю фюрера.

— Чего вы хотите от нафталинных дипломатов? — сказал тот, прочитав запись беседы Боле с коллегами.— Они мыслят закостенелыми формулами. Армия тоже обязана быть против: она всегда против того, что не ею предложено и разработано... Немедленно переправьте письмо Франко фюреру: нельзя упускать ни минуты...

Гитлер ознакомился с документом, подписанным мятежным генералом, когда тяжелый июльский зной спал и примолкли уже огромные вздохи оркестров на вагнеровском народном фестивале в Байрейте; люди отдыхали, готовясь к вечерним концертам.

— Пригласите ко мне Геринга, генерала Бломберга и Канариса,— сказал Гитлер задумчиво.— Это интересный вопрос, и мы должны принять единственно правильное решение.

Бломберг, представлявший армию, отказался высказать свое мнение первым.

— Адмирал — истинный авторитет в испанских вопросах,— сказал он,— вероятно, следует послушать его мнение.

— Мнение одно,— ответил Канарис, зная, что сейчас он выступает против Бломберга,— мнение единственно разумное и н у ж н о е рейху: немедленная помощь испанским борцам против большевизма.

— Адмирал прав,— сказал Геринг,— мы таким образом поддержим сражение против Коминтерна — это первое, и, второе, получим театр для великолепного спектакля, где стреляют не холостыми пулями, а трассирующими: я опробую в Испании мою авиацию. Маневры таят в себе элементы игры, а сражение с республиканцами есть гене-

ральная репетиция битвы, которая предстоит нам в будущем.

Назавтра в министерстве авиации был создан секретный штаб «В». Через три дня начальник штаба «В» генерал Вильберг лично отправил в Испанию первую партию «юнкерсов». Затем в Бургос был переброшен корпус «Кондор».

Канарис занялся своим делом. В абвере был организован сектор из двух подразделений. Первое снабжало франкистов оружием через «фирму Бернгарда», второе — через подставных лиц — «снабжало» оружием республиканцев. Но если первое подразделение отправляло автоматы последних моделей, то второе поставляло оружие заведомо бракованное, прошедшее специальную обработку в мастерских абвера.

Испания стала полигоном гитлеризма. Асы Геринга учились здесь искусству войны с родиной Исаева. За те два года, что Исаев провел при штабе Франко, встречаясь и почтительно раскланиваясь с «сеньором Гулиермо», он поседел: люди быстро седеют, когда им приходится быть среди тех, кто воюет с друзьями твоей родины, да и с твоей родиной тоже,— сбивали-то и советских летчиков — единственной страной, которая, отвергнув политику «невмешательства» Лондона и Парижа, открыто помогала республиканцам в их борьбе с фашизмом, был Советский Союз.

— Звоните по этим двум телефонам каждые полчаса,— сказал Хаген радисту, который был приписан к их развед-центру.— Объясняйте, что пресс-атташе германского посольства фон Штирлица настойчиво разыскивает его друг Август.

— Слушаюсь, гауптштурмфюрер.

Хаген поймал себя на мысли, что он хотел в штирлицевской усталой манере сказать телефонисту: «Да будет вам... Зачем так официально, вы же знаете мое имя». Но потом он решил, что телефонист еще слишком молод, и он не стал ему ничего говорить, а сразу пошел в кабинет, где его ждал Ян Пальма.

— Знаете, об университете мы поговорим позже, а сейчас меня будет интересовать Вена.

— Что конкретно вас будет интересовать в Вене?

— Вы.

— Я был в Вене шесть раз.

— Меня интересует тот раз, когда вы там были во время коммунистического путча.

— Если вас интересует эта тема, поднимите правительственный официоз — в нем печатались мои статьи.

— Они были напечатаны лишь после вашего возвращения в Ригу. Я их читал. Меня интересует, что вы делали в Вене — не как журналист, а как личность.

— Это разделимые понятия?

— Для определенной категории лиц — бесспорно.

— И говорите-то вы в полицейской манере: «категория определенных лиц»... Не диалог, а цитата из доноса...

Хаген засмеялся:

— Это свидетельствует о том, что я как личность неразделим с профессией, которой посвящаю всю свою жизнь.

— Браво! Я аплодирую вам! Браво!

— Итак... Вы в Вене...

«А он ничего держится после той оплеухи с Мэри,— отметил Пальма.— Или он все-таки имеет что-нибудь против меня?»

— Бог мой, ну опросите обитателй кафе «Лувр». Там сидели все журналисты, немецкие в том числе.

— Они уже опрошены, милый Пальма.

— Значит, они вам подтвердили, как я проводил в «Лувре» свободное время?

— Почти все свободное время. А где вы бывали по ночам?

— Как где? У женщин. В вашем досье это, наверное, отмечено...

— И ночью второго февраля вы тоже были у женщин?

— Конечно.

ВЕНА, 1934

В ту ночь он был не у женщин. В ту ночь нацисты загнали восставших в заводской район; выхода за город оттуда не было. Решили уходить подвалами и проходными дворами к Дунаю. Там никто не ждал восставших, оттуда можно было рассредоточиться по конспиративным квартирам или скрыться в пригородах.

Пальма утром видел, как в центре нацисты расстреляли двух повстанцев — пьяно, со смехом и жутковатым

интересом к таинственному моменту смерти. Он бросился в те районы, где еще шли бои. Пройдя фашистские патрули — представителей иностранной прессы здесь не ограничивали в передвижении: в Вену съехались журналисты из Парижа, Лондона, Белграда, Варшавы,— Пальма оказался в самом пекле. Шуцбундовцы — и коммунисты, и социал-демократы, засев на крышах домов, сдерживали нацистов, пока люди спускались в подвалы.

— Можно мне с вами?— спросил запыхавшийся Пальма у высокого старика с забинтованной головой, который вместе с молчаливым парнем помогал людям спускаться по крутой лестнице, которая вела в подвал.

— Кто вы?

— Я из Риги, журналист... Я пишу о вас честно, я хочу, чтобы...

— Нет,— отрезал старик.— Нельзя.— И махнул рукой тем, кто в арьергарде сдерживал нацистов: им было пора уходить, потому что «коричневые» подкатывали крупнокалиберные пулеметы.

— Покажите-ка ваш паспорт,— попросил Пальма тот парень, что помогал старику. Его немецкая речь показалась Яну чересчур правильной, и он решил, что это не австрияк, а берлинец.

Пальма протянул паспорт, тот мельком просмотрел его и сказал:

— Лезьте. Мне будет стыдно, если вы потом предадите этих людей.

— Зачем, товарищ Вольф?— спросил голубоглазый старик с забинтованной головой.— Нам не нужны чужие. Зачем?

— Затем, что при иностранце им, может быть, станет неудобно нас расстреливать, если они все-таки успеют перекрыть выходы к Дунаю.

Они тогда шли проходными дворами и подвалами долго, почти шесть часов. Женщина, которая брела впереди Пальма с девочкой лет трех, вдруг остановилась и стала страшно смеяться, услышав растерянный голос голубоглазого старика:

— Товарищ Вольф, иди ко мне, тут стена, дальше хода нет!

А люди, двигавшиеся сзади, все напирали и напирали. Пальма тогда поднял девочку на руки и начал ей что-то тихо шептать на ухо, а женщина все смеялась и смеялась, а потом увидела дочку на руках у Яна и заплакала — тихо, жалобно.

— Зачем все это? — шептала она сквозь слезы.— Зачем? Карла убили, папу убили, а нас тут хотят задушить... Зачем это? Пусть бы все было, как было, чем этот ужас...

...Вольф вылез из подвала первым. Следом за ним, хрипя и задыхаясь, вылез голубоглазый старик с забинтованной головой.

Вдали высверкивал Дунай, в котором электрически синели звезды. Выстрелы были слышны по-прежнему, но теперь где-то вдалеке. Старик сказал:

— Надо увозить людей за город.

— Увозить? — спросил Вольф.

— Конечно.

— А разве уйти нельзя?

— Нельзя. Люди устали. А на них охотятся. Их перестреляют на дорогах.

— Пускай позовут латыша,— устало сказал Вольф.— Он был где-то рядом с нами...

...Они шли вдвоем по маленьким темным улочкам.

— Зачем вы здесь? — спросил Вольф.— Только для того, чтобы писать в газету, или вам хочется аплодировать победе «правопорядка»?

— Мне хочется оплакивать поражение антифашистов.

— Куда вы пишете?

— В свою газету, французам и англичанам, в «Пост».

— «Пост» не тот орган, где оплакивают коммунистов.

— Почему же? Мертвых там оплакивают, и с радостью.

— Пальма... Ян Пальма... Я где-то слышал эту фамилию.

— Возможно, вы слышали фамилию Пальма-отца, а я — Пальма-младший. Последний раз мы виделись с папой двадцать лет назад.

— Это какой папа Пальма? Шпион из Индии?

— Разведчик, я бы сказал...— несколько обидчиво ответил Ян,— всякий дипломат негодует, когда его легальную профессию смешивают с нелегальной...

— Что это вы так откровенно со мной говорите? —

спросил Вольф.— Сыновья должны биться насмерть за достоинство отцов.

— Спасибо за совет. Я учту его. Но использовать на практике, увы, не смогу — человек должен отстаивать свое личное достоинство: только тогда сын жулика может стать пророком, а сестра блудницы — святой.

Вольф хмыкнул, полез за сигаретами:

— Если у вас есть желание стать пророком — достаньте грузовик.

Пальма вытащил из кармана бумажник, открыл его:

— Двести фунтов.

— И у меня полтора.

— Купим машину. Марксистская формула «деньги-товар» не может не подействовать здесь, пока коммунисты не победили,— улыбнулся Ян.

— Эта формула не сразу исчезнет, даже когда коммунисты победят,— ответил Вольф.

Вольф увидел вывеску:«Похоронное бюро». Сквозь жалюзи пробивался свет. Вольф пересек дорогу и распахнул дверь.

Владелец похоронного бюро — маленький толстенький человек с изумительно розовым, здоровым цветом лица, но совершенно лысый — сидел возле телефона:

— Да, да, хорошо господин. Катафалк у вас будет сегодня к утру. Да, господин, я правильно записал ваш адрес. Я знаю этот район, господин.

Он положил трубку, бросился навстречу вошедшим:

— Пожалуйста, господа! У вас горе? Я соболезную, я готов помочь вам.

Снова зазвонил телефон, и хозяин, сняв трубку, ответил:

— Слушаю вас. Да, милостивая дама, я записываю. Берлинштрассе, пять. Сколько мест? Ах, у вас погибло трое! Да, госпожа. Сегодня же у вас будет катафалк. Примите мои соболезнования.

Он положил трубку, развел руками и сказал:

— Господа, тысяча извинений. У меня сегодня очень много работы. Я слушаю вас.— Он раскрыл тетрадку, готовясь записать адрес, куда нужно прислать похоронный катафалк.

В это время снова позвонил телефон.

— Слушаю. Да, господин. К сожалению, я могу принять заказ только на вечер. Одну минуту, сударь.— Он за-

жал трубку ладонью и, распахнув ногой дверь, ведшую во внутренние комнаты, крикнул:— Ильза, тебе придется самой повести катафалк.

— У меня разваливается голова,— ответил женский голос.— Я работаю вторые сутки. Я не могу, милый, моя голова...

— Твоя голова развалится после того, как мы кончим работу,— хозяин похоронного бюро рассмеялся. Вдруг он оборвал себя, вероятно, смутившись перед вощедшими, и сказал скорбным голосом:— Да, господин, катафалк будет у вас вечером, я записываю адрес.

Положив трубку, он поднялся навстречу Вольфу и Яну, но в это время снова зазвонил телефон.

— Пошли,— сказал Пальма,— тут ничего не получится.

— Минуту,— остановил его Вольф,— погоди.

Они дождались, пока хозяин кончил разговаривать с клиентом — на этот раз его просили о конном катафалке.

— Нам нужны две машины,— сказал Вольф.

— Когда похороны, господин?

— Хоть сейчас.

— Увы... Вы же видели мой объем работ... Если бы не хорошая организация похоронного дела, у нас бы обязательно вспыхнули эпидемии... Столько трупов... Я могу похоронить ваших...

— Друзей...

— Друзей... Какое горе, какое горе... Я могу похоронить их завтра — между тремя и пятью пополудни.

— Мы хорошо заплатим, если вы поможете нам сейчас,— сказал Пальма.

— Очень сожалею, сударь, очень сожалею...

Они шли по совершенно пустой улице, когда их остановили трое патрульных. Старший, очень высокий человек со шрамом на щеке, картинно козырнув, приказал спутникам:

— Проверьте документы.

— Слушаюсь, господин Лерст!

Пальма достал свой паспорт. Лерст увидел латышский герб, снова козырнул — ему, видимо, нравилось это — и спросил Вольфа:

— Вы тоже иностранец?

— Да.

— Можете идти. Только осторожнее. Здесь еще стре-

ляют бандиты.

Когда патруль отошел, Пальма спросил:

— Какой у вас паспорт?

— У меня вовсе нет паспорта,— ответил Вольф.— Давайте завернем налево, там, кажется, таксомоторный парк.

— Ничего себе нервы,— ухмыльнулся Пальма.

— А у меня их нет,— тоже улыбнулся Вольф,— как и документов.

> «*Центр*. ...После того, как он достал грузовик в латышском посольстве и лично провез семьи восставших через нацистские патрули в лес, я обратился к нему с предложением отправиться в Прагу для встречи с Борцовым, который доставил деньги, собранные МОПРом, столь необходимые для спасения наиболее активных шуцбундовцев. Он принял это предложение, спросив меня, кто я на самом деле. Понимая, что встреча с Борцовым у него неминуема, я сказал ему, что являюсь представителем МОПРа. Он долго раздумывал, видимо, колебался, прежде чем подтвердил свое согласие отправиться в Прагу и провезти через границу чемодан с деньгами, чтобы обеспечить спасение шуцбундовцев. *Вольф*».

Шифровка Вольфа была доложена руководству. В тот же день, двумя часами позже, в Ригу ушло задание: срочно установить личность журналиста Яна Пальма, сына известного дипломата и разведчика, работающего ныне послом на Востоке.

БУРГОС, 1938, 6 АВГУСТА, 9 ЧАС. 27 МИН.

— Ну, а из отеля, как мне помнится,— продолжал Пальма, наблюдая за тем, как торопливо записывал его слова Хаген,— я сразу же уехал на вокзал, купил билет и отправился в горы — отдыхать и кататься на лыжах.

— В горы?

— В горы.

— В какое именно место?

— Суходревина, по-моему. Это между Братиславой и Веной. Так мне сейчас кажется.

— И вы категорически утверждаете, что с Уго Лерстом в Вене не встречались?

«Что он пристал ко мне с Веной? Я ведь действительно не встречал там Лерста. А если встречал, то, значит, все эти годы он держал меня под колпаком,— быстро думал Пальма, пока Хаген записывал свой вопрос.— Нет, я Лерста там не видел, это точно. Я видел там тысячу лерстов — это было самое страшное».

Он вспомнил, как лерсты, похожие на него лерстенята и лерствятники ворвались в подвал, где прятались женщины и дети, и как они врезались в толпу со своими дубинками, и как в первое мгновение ему показалось, что это все спектакль, что это все в шутку — и быстрые взмахи рук, и крики, и тела на полу, и сладкий запах крови, и сухие выстрелы, почти неслышные в этом вопле. Только когда он увидел, как женщина вытащила за ноги трупик ребенка и стала играть с ним, будто с куклой,— только тогда Ян понял, что все это значит...

— Повторяю: впервые с Лерстом я встретился значительно позже.

— И в Прагу вы из Вены не ездили?

— Значит, Прага вас тоже интересует?

— Интересует, Пальма, интересует.

ПРАГА, 1934

Пражский отель «Амбассадор» был забит журналистами в тот солнечный, теплый, совсем не февральский день. Здесь проходила пресс-конференция советского писателя Борцова. Маленький черноволосый человек в профессорских очках, весело щурясь, оглядывал зал и рассеянно прислушивался к очередному вопросу корреспондента «Фигаро» из Парижа.

— Вы прибыли сюда только с одной целью, мсье Борцов? — спрашивал журналист.— Только с целью встретиться с вашими издателями? Или у вас есть какие-то иные задачи?

— Задач у меня много, а цель одна: встретиться с издателями моих книг в Чехословакии. Вы информированы совершенно правильно.

— Испытывают ли писатели в России гнет со стороны режима? — спросил журналист из Швейцарии.

— Писатели фашистского, порнографического или расистского толка в нашей стране испытывали, испытывают и будут испытывать гнет со стороны пролетарской диктатуры.

— Я представляю «Тан», мсье Борцов. Скажите, пожалуйста, что вас больше всего волнует в литературе?

— А вас? — улыбнулся Борцов.

— Меня волнуют в литературе вопросы любви и ненависти, террора и свободы, младенчества и старости!

— Здорово! Вы помогли мне ответить. Считайте эти слова моим ответом на ваш вопрос. Вы, видимо, писали в юности новеллы, не так ли?

— Я не писал новелл в юности. Просто, как мне кажется, эти темы в сегодняшней России запрещены, ибо существуют, насколько мне известно, лишь две темы, санкционированные Кремлем: коллективизация и индустриализация.

Борцов ответил, по-прежнему снисходительно посмеиваясь:

— И коллективизация, и индустриализация невозможны без столкновения любви и ненависти, юности и дряхлости, террора и принуждения. Кстати, какие книги советских писателей вы читали?

— Кто кого интервьюирует, мистер Борцов? — спросил журналист из «Вашингтон пост».— Мы вас или вы нас?

— Демократия предполагает взаимность вопроса и ответа.

— Вы женаты?

— Я женат, но правильнее было бы спросить: «Вы влюблены?»

— Вы влюблены, мсье Борцов?

— Я отвечаю на свои же вопросы лишь самому себе.

— У вас есть дети?

— Нет.

— Какое человеческое качество вы цените превыше других?

— Талантливость.

— Ваш самый любимый писатель?

— Вопрос деспотичен. У меня много любимых писателей. Одного писателя любить невозможно — это свидетельствует о вашей малой начитанности.

— Правда, что вы являетесь резидентом Коминтерна в Европе? — спросил корреспондент «Берлинер цайт».

— Лично мне об этом неизвестно.

— Я представляю здесь газету «Жице Варшавы»,— сказал молодой журналист, поднимаясь.— Пан Борцов, вы утверждаете, что представляете свободную литературу демократического государства. Не видите ли вы парадокса в том, что утверждаете себя свободной личностью, в то время как в вашей стране отсутствует многопартийная система?

— По-моему, вы смешиваете свободу личности с многопартийной системой. Эти понятия между собой не связаны, хотя я убежден — исторически они развивались параллельно. Строго говоря, свобода личности может развиваться и при многопартийной, и при однопартийной демократии. Вопрос в том, как относиться к понятию свободы личности. С моей точки зрения, свобода личности — суть свобода развития заложенных в личности задатков. Вопрос о том, сколько партий ссорятся в парламенте, не имеет отношения к развитию задатков в индивидууме. Сколько партий в Советском Союзе? Одна. Сколько партий в Соединенных Штатах? Две. Следовательно, по вашей логике, в Соединенных Штатах в два раза больше демократии, чем в Советском Союзе? Сколько партий во Франции? Шестнадцать. Следовательно, во Франции свободы в восемь раз больше, чем в Соединенных Штатах? Счет в математике начинается с единицы, а не с двойки. Я взорвал ваш вопрос. Я не дал вам развернутого ответа. Я считаю своим ответом на ваш вопрос книги моих друзей, советских писателей, мои книги... Может быть, поначалу вам следует прочитать книги моих друзей. Тогда мы будем говорить на равных, тогда вы будете доказательны.

— Могу я просить мистера Борцова о личной беседе? — поднявшись, спросил Пальма.

— Просить можно кого угодно и о чем угодно,— улыбнулся Борцов.— В двенадцать часов ночи я буду у себя в номере, милости прошу. Еще вопросы, господа?

БУРГОС, 1938, 6 АВГУСТА, 9 ЧАС. 49 МИН.

Штирлиц на всякий случай проверился: свернул в маленький переулок и подождал, не покажется ли сзади хвост. Он в общем-то был уверен в том, что чист, но, поскольку сейчас он ехал на квартиру, куда раз в месяц приходил резидент советской разведки, известный Яну Пальма как Вольф, в Лондоне — как Бэйзил, а Исаеву —

как Василий Ромадин, Штирлиц был особенно тщателен: хвост мог притащить за собой Вольф, а это было равнозначно обоюдному провалу.

Сегодня на рассвете, когда Хаген разыскал его и сообщил, что найдено тело Лерста и что пришло предписание брать Пальма как человека, подозреваемого в убийстве, Штирлиц успел позвонить по известному ему телефону и сказать, что «вчера он условился о встрече с девушкой из кабаре "Лас Брохас", но, к сожалению, дела помешают ему воспользоваться заказанным для них номером». Это был пароль, который означал для Вольфа, сидевшего в горах у партизан, сигнал тревоги и вызов в Бургос, на Калье де ла Энсенада. Здесь было удобно, потому что старый дом имел два выхода — и на шумную улицу, где можно затеряться в толпе, и в тихий переулок с тремя проходными дворами.

Штирлиц пришел на встречу за две минуты до условленного времени. Дверь ему открыла Клаудиа. Испанка, она содержала эту квартиру уже полгода, не сомневаясь, что работает на разведку Гейдриха. Штирлиц несколько раз принимал здесь своих испанских «гостей» и дважды дипломата из итальянского посольства. Штирлиц написал в свое время рапорт в Берлин, что работает с Клаудией,— несколько раз он возил ее на корриду, брал в горы, когда ездил ловить рыбу. Женщина была влюблена в него, хотя считалась обрученной с офицером, воевавшим на фронте.

— Добрый день, моя прелесть,— сказал Штирлиц, погладив ее по щеке,— идите к себе и не высовывайте носа: я жду гостя.

Он постоял в сумрачной, пахнувшей темнотой прихожей, пока Клаудиа ушла в дальнюю комнату, придвинул к двери стул, чтобы услышать, если дверь откроется, и сел на маленькую софу возле вешалки, сделанной из оленьих рогов.

Направо была «жилая» комната Штирлица, а налево — ателье: здесь в Испании он начал заниматься живописью. Это была единственная возможность отдохнуть: цвета Испании таковы, что сами по себе просятся на холст. Штирлиц писал маслом и гуашью. Когда он стоял у мольберта, наступало расслабление, и он ощущал цвет, форму и солнце, все время солнце: такова уж Испания — здесь во всем чувствуется особое, желтое, синее, дымно-серое, раскаленно-красное, голубоватое, белое солнце...

«Вася придет через полторы минуты,— устало подумал Штирлиц, закрыв глаза.— Не Вася. Вольф. Какой, к черту, Вася?! Нельзя позволять себе даже в мыслях называть его Васей... Ну и что мы сделаем — даже вдвоем— за то время, которое нам отпущено? Нельзя, чтобы Дориана увезли в Берлин. Черт, отчего так болит желудок? Эти бесы в кабаках здесь легко продаются, могут сыпануть какой-нибудь гадости проклятому немецкому дипломату, который никак не соглашается подвербоваться ни к грекам, ни к мексиканцам... Самые могучие разведки мира! Зуд в простате, а не разведки, а ведь как суетятся... Кто, интересно, через них работает? Мои шефы из СД или Лондон? Или Париж? Или?.. Гробанут ведь за милую душу от чрезмерного энтузиазма...»

Штирлиц открыл один глаз и посмотрел на часы. Прошло полторы минуты. В дверь постучали. Штирлиц поднялся и негромко сказал:

— Входите. Не заперто.

Он сказал это по-итальянски: о том, что вокруг него вертелись «римляне», он написал в свое время официальный рапорт Лерсту и получил его санкцию продолжать встречи. На всякий случай, пока они с Вольфом не ушли в комнату и не включили музыку, здесь, возле лестничной площадки, стоило соблюдать осторожность.

Вольф был в больших очках и в берете, гладко обтягивавшем его шевелюру, голова поэтому казалась лысой. Он специально подбривал виски очень высоко, чтобы сохранялась эта иллюзия, когда приходил из отряда, где была рация, в Бургос.

Они обменялись молчаливым рукопожатием и пошли в комнату, окна в которой были забраны толстыми деревянными ставнями — даже днем здесь поэтому бывало прохладно.

Вольф выслушал Штирлица молча, тяжело нахмурившись.

— Это страшно,— сказал он.— Я уж не говорю о том, что в Берлине бедняге Дориану будет крышка...

— Эмоциональную оценку я бы дал более конкретную,—хмыкнул Штирлиц.— Нас с тобой ожидает аналогичная крышка. Какие предложения?

— Никаких.

— Смешно выходить на связь с центром только для

того, чтобы сообщить им эту новость. Надо входить с предложениями.

– Выкрасть Дориана можно?

Штирлиц отрицательно покачал головой.

– Даже если мы пойдем на риск устроить нападение на твою контору?

– Когда Хаген почувствует, что вы одолеваете, он пристрелит Дориана. Кофе хочешь?

– Нет. Воды хочу.

– По-моему, у Клаудии нет холодной воды. У нее всегда есть холодный тинто[1].

– Угости холодным тинто.

– Сейчас схожу на кухню.

Штирлиц убавил громкость в старинном граммофоне, но Вольф остановил его:

– Пусть играет, я люблю это танго.

Штирлиц вернулся через минуту с холодным глиняным кувшином и двумя стаканами.

– Смотри,– сказал Штирлиц,– этот высокий граненый стакан похож на...

– Да... Только у нас из таких пьют водку...

– Слушай, а в Барселоне есть немецкий «юнкерс»?

Вольф долго пил красное вино. Он делал маленькие глотки, глядя при этом на Штирлица, и тот заметил, как в уголках четко очерченного рта его товарища появилась улыбка. Вольф поставил стакан на стол, достал из кармана платок, вытер грани так, чтобы не остались следы пальцев, закурил и сказал:

– Ты чрезвычайно хитрый человек.

– Ну и как ты оцениваешь это мое качество?

– Я оцениваю его самым положительным образом, несмотря на то, что ни в Барселоне, ни в Мадриде «юнкерсов» у республиканцев пока нет...

ПРАГА, 1934

Борцов спросил:

– Вы проверились?

– Что, что? – не понял Пальма.

– Никто за вами не шел?

– Так я же спросил на пресс-конференции, могу ли я вас навестить, и все слышали ваш ответ.

[1] Тинто – сорт красного вина *(исп.)*.

Борцов перевел шкалу приемника на другую станцию — передавали последние известия из Вены.

— Это все верно,— сказал он, медленно стягивая через голову галстук,— только выходить вам отсюда придется с саквояжем, в котором лежат деньги, много денег, и провозить их вам придется через границу — нелегально, вот в чем вся штука. Сунут вам провокацию тут — что тогда?

Пальма усмехнулся:

— Мне говорили, что ваши люди очень боятся провокаций в демократических странах.

— Где, где?

— Ну, здесь... На Западе...

— А вы не боитесь?

— Не боюсь.

— Ну, ну...

Борцов подвинул носком туфли большой, свиной кожи портфель к ноге Яна. Пальма заметил, что Борцов не расставался с этим портфелем и на пресс-конференции в «Амбассадоре».

— Это для Вены?

— Да.

— Чьи это деньги?

— Наши.

— Чьи? — повторил Пальма.

— Это деньги наших людей... Они собрали их в ячейках МОПРа. Наши люди живут еще далеко не так хорошо — я имею в виду материальный аспект,— как нам хотелось бы. Но они помогают товарищам по классу.

— Может быть, все-таки сначала сделать так, чтобы ваши люди жили лучше других, а потом уж стали помогать товарищам по классу?

— Тогда не надо вам трепыхаться с этим портфелем...— жестко сказал Борцов.— Я его отвезу назад, и, как говорят ваши американские контрагенты, «все о'кей».

— В Вене убьют шуцбундовцев, если я не привезу денег...

— Да? — удивился Борцов.— Что вы говорите?

— Вы умеете бить апперкотом.

— Это как?

— Это удар снизу, скрытый,— ответил Пальма.

— Очень не люблю бить, Ян. Не мое это дело. Да и не ваше, впрочем, хотя отец старался учить вас обратному.

— Откуда вам это известно?

— Это нам известно от Лизл...

Пальма силился припомнить, кто такая Лизл, но не мог. Он вопросительно посмотрел на Борцова.

— Ну, Лизл, из Кента...

— Бог мой, откуда вы знаете старуху?! Может быть, вы по совместительству служите Шерлок Холмсом?

— Я не служу Шерлок Холмсом,— медленно ответил Борцов,— а вот товарищ Вольф будет ждать вас на венском вокзале завтра в тринадцать пятнадцать и как раз ему надо передать эти деньги.

— Он серьезный человек?

— Вполне.

— А почему вы мне об этом говорите? Я читал шпионские романы, там все происходит иначе. Если вы не боитесь, что нас услышат из-за радио, то объясните, отчего вы так доверительно говорите мне про Вольфа?

— Я говорю с вами так откровенно по целому ряду причин.

— Каких именно?

— Во-первых, я знаю, что вы были честным парнем в Вене.

— Вольф вам рассказал про машину?

— Машина — ерунда. Благотворительность в вашем обществе — одна из форм хобби. Просто вы ничего не публиковали ни в Риге, ни в Париже, ни в Лондоне, как я мог заметить.

— Я много писал им.

— Тем лучше. Это хорошо, если в газетах не печатают ваши репортажи из Вены,— значит, они объективны.

— Это все?

— Почему все? Мне о вас рассказывал руководитель вашего дискуссионного кружка в университете.

— Вы знаете нашего старика?!

— Знаю.

— Что он вам еще про меня рассказывал?

— Много. Он рассказывал, например, как вы хотели построить баррикады на лондонских улицах во время всеобщей забастовки.

— Построю. Очень скоро построю.

— Ну и плохо.

— То есть как плохо?

— Когда баррикады строят люди вроде вас, мы называем это левацким авантюризмом. Если вам скучно и хо-

чется сильных ощущений — поезжайте на Полинезию... Танец живота, стрельба из лука, охота на тигров и другие рассказы...

— Это несерьезный разговор.

— Если вы хотите серьезного разговора, то я просил бы вас уговориться с Вольфом: чем вы сможете помогать нам в будущем?

— Вы предлагаете мне стать русским шпионом?

— «Русский шпион» — понятие, имевшее смысл лишь до двадцать пятого октября семнадцатого года. Тогда была Российская империя. Сейчас Советский Союз.

— Интересно, кличка у вас для меня припасена?

— Если вы решитесь помогать нашей борьбе с фашизмом — псевдоним вы себе выберете сами.

— Неужели вы серьезно думаете, что я соглашусь быть шпионом — даже ради любимых мною советских республик?

— Значит, вам предстоит драться с Гитлером в одиночку.

> («Высказывания рейхсканцлера Гитлера, изложенные перед главнокомандующим сухопутными войсками и военно-морскими силами во время посещения генерала пехоты барона Гаммерштейн-Эквода на его квартире.
>
> Цель всей политики в одном: снова завоевать политическое могущество. На это должно быть нацелено все государственное руководство (все органы!).
>
> 1. Внутри страны. Полное преобразование нынешних внутриполитических условий в Германии. Не терпеть никакой деятельности носителей мыслей, которые противоречат этой цели (пацифизм!). Кто не изменит своих взглядов, тот должен быть смят. Уничтожить марксизм с корнем. Воспитание молодежи и всего народа в том смысле, что нас может спасти только борьба. И перед этой идеей должно отступить все остальное (она воплощается в миллионах приверженцев национал-социалистского движения, которое будет расти). Всеми средствами сделать молодежь крепкой и закалить ее волю к борьбе. Смертные приговоры за предательство государ-

ства и народа. Жесточайшее авторитарное государственное руководство. Устранение раковой опухоли — демократии.

2. Во внешнеполитическом отношении. Борьба против Версаля. Равноправие в Женеве, но бессмысленно, если народ не настроен на борьбу. Приобретение союзников.

3. Экономика! Крестьянин должен быть спасен! Колонизационная политика! Повышение экспорта в будущем ничего не даст. Емкость рынков мира ограничена, а производство повсюду избыточно. В освоении новых земель — единственная возможность снова частично сократить армию безработных. Но это требует времени, и радикальных изменений нельзя ожидать, так как жизненное пространство для немецкого народа слишком мало.

4. Строительство вермахта — важнейшая предпосылка для достижения цели — завоевания политического могущества. Должна быть снова введена всеобщая воинская повинность. Но предварительно государственное руководство должно позаботиться о том, чтобы военнообязанные перед призывом не были уже заражены пацифизмом, марксизмом, большевизмом или по окончании службы не были отравлены этим ядом.

Как следует использовать политическое могущество, когда мы приобретем его? Сейчас еще нельзя сказать. Возможно, отвоевание новых рынков сбыта, возможно — и, пожалуй, это лучше — захват нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадная германизация...»).

БУРГОС, 1938, 6 АВГУСТА, 9 ЧАС. 57 МИН.

Хаген откинулся на высокую резную спинку стула и рассмеялся.

— Великолепно, дорогой Ян, я преклоняюсь перед вашим умением импровизировать! Вы ловко прячетесь за спины баб и за пьянки в ночных барах. Браво, Пальма!

— Воспитанные люди у меня на родине обращаются к малознакомым людям с обязательной приставкой «гос-

подин». Кроме того, если вы ведете допрос, извольте ставить конкретные вопросы, герр Хаген, а не играть со мной в кошки-мышки.

— Мой дорогой Пальма — по-моему, у вас на родине существует такая формула учтивого обращения к знакомому,— я просил бы вас помнить, что здесь все решаю я: о чем, когда и каким образом мне вас спрашивать. И если я уличу вас в неоднократной лжи, это затруднит вашу участь — как бы не обернулось горем ваше пребывание на этой земле! Итак, еще раз: вы с Лерстом не видались — ни в Праге, ни на пресс-конференции Борцова, о которой вы почему-то решили умолчать сейчас, ни позже?

Он виделся с Лерстом. Он только сейчас вспомнил, что именно Лерст проверял его документы, когда он пересекал границу второй раз и прижимал к себе саквояж, набитый долларами, и старался быть равнодушным и насмешливым, но ему это не очень-то удавалось, и он ощущал, как мелко дрожит левая нога и медленно леденеют руки.

Он только сейчас понял, отчего позже, в Лондоне и Бургосе, лицо Лерста казалось ему мучительно знакомым.

«На границе Лерст был не в форме. Он был в штатском. Я даже могу сказать, что на нем был серый костюм,— подумал Пальма.— А ботинки на нем были, кажется, малиновые...»

Он возвращался в Вену через Берлин, и Лерст проверял документы на немецкой границе. Рядом в купе сидел толстый, с одышкой, весь потный пожилой еврей. Лерст заставил еврея подняться, вывернул его карманы, долго разглядывал документы, а потом лениво уронил их на пол.

— Подними,— сказал он, закуривая.

Еврей опустился на колени, быстро собрал документы и хотел спрятать их в карман.

— Верни их мне. Я еще не кончил смотреть твои документы.

Человек послушно вернул документы Лерсту, и тот снова уронил их на пол.

— Подними.

— У меня больное сердце...

— Да? — участливо спросил Лерст.— Тогда тебе придется выйти из поезда для медицинского переосвидетельствования.

— Нет, нет, я здоров,— залепетал еврей,— пощадите мои годы... Позвольте мне ехать... Меня ждет внучка в Вене... Пощадите...

— Вы же не щадите германский народ,— сказал Лерст, — когда вывозите из рейха деньги и ценности! Нет, милейший, ты задержан. Иди вперед и не шути!

Лицо этого толстого, потного, несчастного плачущего еврея сделалось мучнистым, и он привалился к двери. Двое эсэсовцев в форме, что стояли рядом с Лерстом, подхватили его под руки и поволокли по коридору.

— Он контрабандист,— пояснил Лерст пассажирам,— приношу извинение за эту невольную задержку.

Пальма так сжал ручку саквояжа, в котором лежали деньги, что пальцы его побелели. Одно мгновение он был близок к тому, чтобы подняться и спросить этого нациста, на каком основании он арестовал невинного. Но он не поднялся и не задал этого вопроса. Наоборот, он заставил себя улыбнуться, закрыть глаза и притулиться к стене, словно выбирая самое удобное место, чтобы подремать остаток пути до Вены...

Такие очень боятся интервью, да и вообще встреч с прессой, казалось тогда Пальма. Не может ведь он творить свое зверство и не бояться огласки! Если бы этот наци узнал, что он, Пальма, из рижской и лондонской газет, он наверняка вернул бы в купе этого несчастного толстого, потного еврея с громадными, иссиня-черными глазами. Так казалось тогда Пальма, и это не представлялось ему наивностью.

— Что вы смеетесь?— спросил Хаген.

— Это я над собой смеюсь,— ответил Пальма.— Над своей наивностью. Отличительная черта человечества — варварская, нецензурная наивность. А тех, кто прозрел, либо распинают на кресте, либо превозносят пророком, либо обвиняют в ереси.

— Я понял,— сказал Хаген.— Это интересная мысль, но какое отношение она имеет к той ахинее про ваших словацких баб в горах, хотел бы я знать?!

— Прямое: только когда проводишь много времени в обществе веселых женщин и никакие другие суетности тебя не обременяют, начинаешь серьезно думать о главном. А вы? О чем вы сейчас думаете, бедняга? Верить или не верить, что я в Праге не был, а прожил у лесни-

чихи в Высоких Татрах, пока ее муж водил немцев по горам в поисках оленя,— не так ли? И бить вы меня не можете — нет у вас инструкций, как я понял. И вы отправили за инструкциями вашего коллегу с мрачной физиономией. Разве не так? А я устал и больше не хочу с вами разговаривать. Ясно?

Хаген ударил Пальма в подбородок, и тот упал со стула. По тому, как Хаген ринулся к нему — с растерянным лицом, стукнувшись об угол стола, Пальма понял, что этот кретин ударил его не по инструкции.

«Тайм-аут,— подумал Пальма.— Я буду последним болваном, если не заработаю себе тайм-аут на этом его срыве».

И, застонав, он закрыл глаза...

> «*Юстасу*. Можно ли выяснить срок вылета самолета из Берлина? Каким кодом будет поддерживаться связь с самолетом из Берлина и Бургоса? Ждем ответа срочно. *Центр*».

Эту шифровку Вольф получил сразу же после того, как Штирлиц расстался с ним. Он покачал головой: если самолет уйдет из Берлина сегодня или даже завтра, Штирлиц будет бессилен сделать что-либо. На это нужно дня три как минимум. А этих самых трех дней нет: Берлин, видимо, торопится вывезти латыша. План Штирлица был заманчив, и Вольф оценил его холодное математическое изящество. Но с самого начала он верил только в налет на гестаповское «хозяйство» в горах. Он понимал, что это риск, но тем не менее он считал, что этот путь — единственный.

...Штирлиц, увидев Пальма, лежавшего на софе с разбитым ртом, немедленно пошел к радистам и передал шифровку на Принц-Альбрехтштрассе Гейдриху, что «гость захворал» и в течение трех дней будет нетранспортабелен.

Причем шифровку эту он заставил подписать Хагена, перепуганного и жалкого.

— Я покрываю вас,— сказал он Хагену,— в первый и последний раз, запомните это!

— Он глумился надо мной, штурмбанфюрер...

— Руками? Или каблуками ботинок? Или пресс-папье?! Вы понимаете, что поставили дело на грань срыва?!

Вместо того, чтобы продемонстрировать наше спокойное всезнающее могущество и на этом сломить его, вы начали его бить! Вы понимаете, что с вами будет, если я подтвержу Гейдриху, как вы себя вели с ним — без санкции на то руководства?! Идите, Хаген, и отдохните, а то вы не сможете дальше работать — с этакими-то нервами...

Пальма лежал, закрыв глаза.

«Видимо, главное,— неторопливо размышлял он, стараясь думать о себе со стороны,— что будет интересовать в моем деле Хагена,— это Лерст, весь цикл наших взаимоотношений. И «мессершмитт»... Он бережет это про запас — я там уязвим... А о том, что со мной будет дальше, лучше пока не думать. В одиночестве опасно размышлять над такого рода делами. Можно запаниковать. А это дурно. Надо в такой ситуации решать локальные арифметические задачки: это помогает чувствовать себя человеком, который может драться... Во всяком случае, который старается это делать... Когда же мы с Лерстом встретились по-настоящему? И где?»

ЛОНДОН, 1936

В клуб «Атенеум» он пришел рано утром, когда еще в залах и каминных было пусто. Сев за маленький столик возле окна, он спросил кофе со сливками и развернул газету. На второй полосе была напечатана его статья «Возрождение из пепла». Это была его третья статья из европейского цикла после большого турне по Германии, Франции, Бельгии и Голландии. Он писал о том, что политика фюрера отнюдь не так агрессивна, как это тщатся доказать его противники. Он писал о серьезных проблемах, стоящих перед Берлином, и утверждал, что фюрер решает их энергично и в точном соответствии с нуждами немецкой нации.

После опубликованной второй статьи к нему позвонили из германского посольства и осведомились, не нуждается ли специальный корреспондент из Риги в каких-либо дополнительных материалах: статистических, экономических, идеологических. Поблагодарив за любезность, Пальма отказался. «Вы станете предлагать свои материалы, а мои коллеги — и в Лондоне и в Риге,— засмеялся он,— обвинят меня в том, что я пою с

вашего голоса. Потом у меня есть все материалы: если вы запрещаете продавать в Германии наши левые газеты, то здесь я могу купить даже «Дас шварце кор». Они еще о чем-то весело поболтали с секретарем посольства, а к вечеру, как раз перед тем, как он собрался уезжать домой, в редакцию принесли приглашение на прием к «имперскому послу Иоахиму фон Риббентропу». Ян позвонил Вольфу. Тот работал здесь под именем Бэйзила. Пальма попросил его прийти в «Атенеум» к девяти часам. Сейчас было уже девять тридцать. Пальма еще раз посмотрел на часы, подписал счет и поднялся из-за стола: в одиннадцать его ждала Мэри — они должны были вместе ехать в загородный клуб фехтовальщиков.

Пальма вышел на улицу. Моросил дождь. Прохожих почти не было: все разъехались на уик-энд. Такси тоже не было, и Ян, раскрыв зонтик, медленно пересек улицу. Заскрипели тормоза, и рядом с ним остановился автомобиль. Вольф открыл дверь и предложил:

— Я подвезу вас, сэр...

Пальма сел на заднее сиденье.

— Почему ты не пришел?

— Ты иногда говоришь, словно дитя. Ну как я, шофер, могу войти в твой аристократический клуб?

— Не я говорю как дитя, а ты плохо подготовлен к работе в Лондоне, Бэйзил,— усмехнулся Пальма.— По уставу нашего клуба я отвечаю за тех, с кем сижу за одним столиком. Неважно — будь ты ассенизатор, король Бурунди или мелкий жулик с Ист-Энда.

— Все равно... Береженого бог бережет, есть у нас такая пословица. Что случилось?

— В общем, ты оказался прав. Все разыгрывается, как ты и предполагал. Они клюют. Сегодня меня пригласил Риббентроп.

— Ого! Это прекрасно.

— Нет, Вольф, это отнюдь не прекрасно.

— То есть?

— Видишь ли... Когда я помогал тебе вывозить коммунистов из Вены, чтобы их не перещелкали наци,— это не расходилось с моим мировоззрением. Когда я спас из Германии ту немку — я делал доброе дело, я спасал коммунистку, приговоренную к смерти. Это все было моим делом... И это было в рейхе, один на один с наци. А те-

перь эти мои проститутские статьи... Многие отвернулись от меня — и в Риге, и в Лондоне. А это больно, Вольф.

— Что ты предлагаешь?

— Во-первых, я хочу драться против них с открытым забралом...

— Как это понять?

— Я хочу писать правду о Гитлере и его стране, я хочу называть нацизм грязью и ужасом, а не петь ему дифирамбы.

— Это тоже путь, Ян... Это путь, конечно же... Только он более легкий и менее результативный, чем тот, который ты избрал сейчас. Будь ты писатель или художник, я бы сказал: да, старина, здесь врать опасно — талант тем велик, что он умеет убеждать в своей правоте. Но ты, увы, не писатель... Ты репортер... Великолепный репортер, и ты служишь минуте, тогда как талант принадлежит веку, если только талант не ленив, не капризен, если он не избалован, а подобен каменщику, который каждое утро начинает класть стену дома... Я бы не посмел просить тебя лгать, не думай... Просто, думается мне, сейчас твое место в драке с нацистами более выгодно в рядах их друзей, чем открытых противников...

Они долго ехали молча. Вольф спросил:

— Тебе куда?

— Меня ждет подруга.

— Между прочим, она не из контрразведки?

— Вряд ли. А если и да — что из этого?

— Я ее не знаю?

— Нет...

— Что с твоим «во-вторых»?

— Во-вторых... И это очень серьезно, Вольф. Ты — патриот своей страны, и это очень хорошо. А я — патриот моей страны.

— И это тоже очень хорошо... Если тебе кажется, что Гитлер не угрожает твоей родине в такой же мере, как и моей, тогда нам лучше не видеться. И, думается мне, никто так не поможет миру в драке с Гитлером, как моя родина... У нас друзей Гитлера нет, а сколько их на Западе? Я не знаю. Я только знаю, что их здесь много, и что они могущественные, и что они могут сделать так, чтобы здешние владыки снюхались с Берлином против Москвы. Это допустимо?

— Не знаю.

— Я тоже. Это и нужно узнать. И сделаешь это ты. И будет ли это предательством по отношению к твоей родине?

— Нет,— ответил Пальма, закуривая,— это предательством по отношению к моей родине не будет, здесь ты прав.

— Вот... И последнее. Ты как-то говорил мне: «Хочу, чтобы хоть кто-то знал обо мне правду...» Ты объявление в газете опубликуй: «Я в шутку перекрасился в коричневый цвет. На самом деле я начал драку с фашизмом не на жизнь, а на смерть. Вы мне верьте, я помогал антифашистам в Вене и Берлине».

— Останови здесь.

— Не сердись...

— За углом живет Мэри. Я не сержусь. Просто я не хочу, чтобы нас видели вместе.

— Ты становишься конспиратором, Дориан, браво...

Мэри прижалась к Яну, шепнула:

— Проведи меня в фехтовальный зал, милый.

— Verboten fur Damen.[1]

— Warum?[2]

— Как тебе мой берлинский диалект?

— Я никогда не была в Берлине.

— У меня великолепный берлинский выговор, немцы меня принимают за истинного берлинца. Научись делать мне комплименты, я очень честолюбив.

— У тебя фантастический берлинский выговор, и вообще я обожаю тебя, и ты самый прелестный мужчина из всех, кого я встречала в жизни.

— Во всех смыслах?

Мэри улыбнулась:

— Именно. Почему ты не хочешь взять меня на фехтование?

— Ты же знаешь, в нашем клубе не принято, чтобы дамы посещали зал фехтования.

— Пора нарушить эти ваши дряхлые аристократические законы. Я женщина из предместья, где нет клубов. Мне можно. С кем ты сегодня фехтуешь?

---

[1] Дамам запрещено *(нем.)*

[2] Почему? *(нем.)*

— Лерст, я не знаю, кто это...

Какое-то мгновение, перед тем как Лерст опустил сетку, лицо его казалось Яну знакомым. Но он сразу же забыл об этом, потому что фехтовал Лерст великолепно. Он был артистичен в нападении и совершенно недосягаем в обороне.

«Что он тянет? — подумал тогда Пальма.— Он уже раза четыре мог победить меня. Наверное, ему нравится затяжная игра. Он хороший спортсмен, если так».

— Знаете,— сказал Ян Лерсту, когда они, подняв защитные сетки, обменивались рукопожатиями,— пусть у нас будет турнир из трех боев.

— У вас хороший глаз и точная рука,— ответил Лерст.—Через год мне бы не хотелось драться с вами.

— Не любите проигрывать?

— Очень.

— А это спортивно?

Лерст рассмеялся:

— Вы хотите моей крови, а я — вашей дружбы. Я ее добивался с первого же нашего знакомства.

«Где же я его видел? — снова подумал Пальма.— Я его определенно где-то видел».

— Разве мы с вами встречались? Я запамятовал...

Лерст изучающе посмотрел в глаза Яну и ответил:

— Я имею в виду наше заочное знакомство: это я звонил вам вчера. Я — секретарь германского посольства.

МОСКВА 1938, 6 АПРЕЛЯ, 12 ЧАС. 42 МИН.

— Какие будут предложения, товарищи? — спросил начальник управления.

— Вариант с подменой самолета,— доложил руководитель отдела,— перспективен со всех точек зрения. Я подготовил семь берлинских адресов, которые могут установить точную дату вылета самолета, его номер и фамилии членов экипажа.

— Я опасаюсь вашего чрезмерного оптимизма,— сказал начальник управления,— они могут отправить этот самолет не с Темпельхофа... Я знаю ваших тамошних людей, это надежные люди, но Гейдрих может отправить самолет с испытательных аэродромов завода Хейнкель, неподалеку от Науэна. Они практикуют это в редких случа-

ях. Канарис, по-моему, именно оттуда летает в Испанию. Что, если самолет они отправят из Науэна? Возможный вариант?

— Вполне.

— У кого есть иные предложения?

— Позвольте, товарищ комиссар?

— Пожалуйста.

— Можно продумать такой вариант: Юстас организует вызов Хагена с их базы в посольство, в центр Бургоса. В это время мы своими возможностями по шифру Гейдриха передаем радиограмму Юстасу с просьбой обеспечить доставку Дориана на аэродром и посылаем туда наш самолет из Барселоны, закамуфлированный под «немца».

— Хорошее предложение, но так мы погубим Юстаса. Он будет скомпрометирован. Мы должны продумать вариант, по которому Хаген, именно Хаген, передаст Дориана нашим людям... А как последний вариант, самый последний — это ваше предложение серьезно.

— Каким следует считать предпоследний вариант, товарищ комиссар?

— Их несколько, предпоследних-то,— ответил начальник управления.— Налет на конспиративную квартиру гестапо — то, что предлагает Вольф. Еще я тут подумывал над самым простым делом: Штирлиц увозит Дориана во время налета республиканских самолетов на Бургос. Самое простое дело... Только нужны две абсолютные гарантии. Первая — самолеты туда прорвутся, и вторая — они точно раздолбают гестаповский домик. Но когда я думал обо всех этих предпоследних вариантах, я каждый раз упирался вот еще во что: как Дориан объяснит своим знакомым столь долгое отсутствие? Хотя,— он тяжело усмехнулся,— сначала его надо вытащить, а потом будем ломать голову над легендой его возвращения. Какие еще мнения, товарищи?

— Разрешите, товарищ комиссар?

— Пожалуйста...

ЛОНДОН, 1936

На приеме у чрезвычайного и полномочного посла Германии Иоахима фон Риббентропа собрались активисты Англо-германского общества, дипломаты, видные английские и иностранные журналисты, актеры, представи-

тели делового мира. Угощали, как всегда на приемах в германском посольстве, вкусной колбасой, отменным бело-розовым окороком и — в огромных количествах — лучшим мюнхенским пивом.

Уго Лерст, встречавший гостей у входа, поклонился Мэри Пейдж, пожал руку Яну Пальма и сказал:

— Пойдемте, я буду вас знакомить с моими коллегами. Учтите, я никому не говорил, что вы побежденный, я говорил всем, что вы — победитель.

— Напрасно,— заметил Пальма,— я люблю, когда обо мне говорят правду. Во всяком случае, о моих победах и поражениях в спорте.

Мэри засмеялась:

— Не верьте ему, мистер Лерст. Ян не терпит, когда о нем говорят правду. Он страшный честолюбец, он хочет всегда выигрывать.

— Покажите мне человека, который любит проигрывать,— вздохнул Лерст.— Думаете, я люблю проигрывать?

Он остановился возле благообразного старикашки и сказал:

— Мистер Роквон, позвольте представить вам мистера Яна Пальма. Он — бриллиантовое перо Риги, пишет и для ваших газет...

Пальма и Роквон пожали друг другу руки. Лерст пояснил Мэри:

— Мистер Роквон — один из организаторов журнала «Англо-германское ревю».

— А я и не слыхал о таком журнале,— шепнул Ян Мэри так, чтобы его шепот услышал Лерст.— Может быть, я не прав?

— Я тоже не слыхала.

— О нем мало кто знает,— улыбнулся Лерст,— а мне бы хотелось, чтобы об этом журнале знало как можно больше людей в Великобритании.

— Да, подпольный журнал в Лондоне пока еще не в моде. Впрочем, кто знает, что будет через год-другой.

— Я хочу познакомить вас с мистером Риббентропом,— сказал Лерст и подвел Пальма и Мэри к послу.

Риббентроп был одет в строгий черный костюм. В петличке поблескивал маленький золотой значок члена партии.

— Господин посол,— сказал Лерст,— позвольте представить вам друга Германии, журналиста Яна Пальма.

— Рад видеть вас, мистер Пальма.

— Очень рад видеть вас, господин посол.

— Мисс Мэри Пейдж,— сказал Лерст, представляя подругу Яна.

— Здравствуйте, мисс Пейдж. Как приятно, что вы нашли время посетить нас.

— Мисс Пейдж,— пояснил Лерст,— не только любит спорт, не только великолепно поет о спорте, но и представляет собой класс английских болельщиц в спорте.

Мэри поправила Лерста:

— Это не класс, это сословие.

— Вероятно, мисс Пейдж увлекается не только спортом и пением,— заметил Риббентроп,— но и общественными науками. Различать класс и сословие — удел философов и социологов, но отнюдь не очаровательных женщин.

— В наш век,— ответила Мэри,— женщины все больше и больше тяготеют к политике. Ничего не поделаешь — это теперь модно.

Риббентроп развел руками:

— Что же делать мужчине? Вероятно, долг рыцаря — уступить место женщине.

Пальма хмыкнул:

— Если мы пустим женщин в политику и уступим им место, господин посол, нам будет очень трудно жить дальше. Начнется худшая форма либерального вандализма.

— Я думаю,— сказал Риббентроп,— что вандализм нам грозит отнюдь не от прекрасных дам. Я думаю, что варварство грозит нам со стороны тех мужчин и женщин, которые живут восточнее Лондона, Берлина и — в определенной мере — Варшавы.

К Риббентропу подошел лорд Редсдейл — сухой, словно бы мумифицированный старик.

— Добрый вечер, милорд,— сказал Риббентроп, шагнув навстречу Редсдейлу.— Я рад, что вы нашли возможность посетить нас.

— Добрый вечер, мистер Риббентроп, я всегда посещаю и буду посещать те места, где собираются люди, симпатичные мне и разделяющие мои взгляды.

Редсдейл посмотрел на Яна и полувопросительно сказал:

— Вы сын старого Пальма?

– Да, сэр.

– Это вы временами пишете для «Пост»?

– Да, сэр.

– У вас воистину бриллиантовое перо.

– Благодарю вас, сэр, но пока что я считаю его железным.

– Ну, уж позвольте мне давать оценку вашей работе,– сказал Редсдейл,– и запомните, что я не люблю делать комплименты. Впрочем, вы не женщина, вы в них не нуждаетесь. Надеюсь также, что вы и не гомосексуалист, посему не нуждаетесь в них, как дурной мужчина.

Риббентроп смущенно отвел глаза, а Мэри рассмеялась. Это спасло положение.

– Мы сейчас дискутировали проблему,– продолжил Риббентроп,– о том, кто угрожает цивилизации. Мистер Пальма считает прекрасных дам главной угрозой прогрессу. А я полагаю, что главная угроза – это Восток, и в данном случае я солидарен с мистером Киплингом: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, но вместе им не сойтись».

– Как вам сказать,– ответил Редсдейл,– сойтись можно. У нас стало модным забывать традиции «Эмпайр ментелити», традиции имперского самосознания... А ведь в этом мы где-то близки к Востоку, я бы даже конкретизировал – к Китаю. Я анализировал философию китайской императорской власти. Заметьте, Китай называет себя «Срединным царством» и все земли вокруг считает своими владениями. Земли за Амуром и в сторону южных морей – это владения, которые должны принадлежать Китаю, а весь остальной мир – владения, которые могут стать Китаем.

Риббентроп заметил:

– С сожалением должен констатировать, что в Великобритании, в стране, к которой я отношусь с глубочайшим уважением, совершенно не знают о благородных целях фюрера Германии Адольфа Гитлера и принятой им на себя миссии по спасению западной цивилизации.

Пальма сказал:

– Господин посол, по-моему, в Англии не дают себе отчета в том, что расовая теория господина Гитлера в общем-то не противоречит основным принципам британской имперской политики в колониях...

Риббентроп обернулся к лорду Редсдейлу:

— Вот такие люди должны пропагандировать идеи англо-саксонской и арийской общности.

— Господин посол,— Редсдейл пожевал губами,— мистер Пальма воистину блистательный журналист, и я не вижу более подходящей фигуры на пост ведущего политического обозревателя «Англо-германского ревю».

— Милорд, я латыш...

— Дело защиты Европы от большевизма — общее дело всех народов континента... Латыш, представляющий страну, отделившуюся от красных, должен быть рыцарем нашей идеи...

Ян растерянно посмотрел на Мэри, и она, улыбнувшись, чуть заметно кивнула ему головой.

— Я польщен,— сказал Ян,— но...

Риббентроп заключил:

— Давайте без всяких «но». Хотя по-английски «но» звучит «бат», и в этом есть элемент фонетической незавершенности, «абер» произносится более категорично, рвуще, я бы просил исключить «абер» из вашего ответа.

— Мне трудно быть одному в совершенно новом для меня журнале: на кого мне там опираться, кто будет питать меня идеями? Кто сможет предложить мне британский вариант мыслей мистера Гитлера? С моей точки зрения, журнал должен быть не органом германского посольства, а органом друзей англо-германского сближения, этой серьезной и, с моей точки зрения, перспективной идеи.

Редсдейл достал свою карточку и написал дату: «17 июля 1936 года».

— В пятницу мы собираемся у леди Астор в Клайвдене, приезжайте туда...

В Клайвдене, в цитадели той части консервативной партии Великобритании, которая шла с Чемберленом за «умиротворение и крестовый поход против большевизма», в замке у леди Астор, владелицы нескольких газет и журналов, держательницы многомиллионных акций, собрался узкий круг ее друзей.

Редсдейл, наблюдая за партией в гольф, неторопливо шел по огромному, гладко подстриженному лугу к замку, беседуя с Пальма:

— Я скажу вам, Ян, что привлекает меня в этом молодом, необузданном, в чем-то хамском, а в чем-то герои-

ческом движении национал-социалистов во главе с Гитлером. С моей точки зрения, само название их партии — национал-социалистская — несет в себе известный вызов практике, каждодневной практике канцлера Гитлера. Я бы не примирился ни с национализмом, ни с социализмом в Германии. И тем не менее я не только примирился с национал-социализмом в Германии, я приветствую это движение. Мой друг и противник Черчилль не хочет понять главного: дети любят играть в странные игры со звучными названиями. Молодое движение, победившее в Германии коммунистов и социал-демократов, сейчас играет в эти взрослые игры с детским названием. Нам нужно держать руку на пульсе этой игры. Когда ребенок повзрослеет и захочет вместо лука взять охотничье ружье, мы, взрослые, должны подготовить ему верную мишень.

— Я понимаю вас, милорд,— сказал Пальма.— Меня только волнует чересчур игривый характер ребенка. Дитя, стрелявшее из лука во все стороны, может точно так же стрелять из ружья, когда повзрослеет... Я уж не говорю о гаубицах...

— Опасения правомочные,— согласился Редсдейл.— Правомочные, если мы не будем работать с этим движением и если мы не поможем движению крепко стать на ноги и осознать свое единство с нашей цивилизацией. Если бы в Германии к власти пришел человек по фамилии... я путаюсь всегда в немецких фамилиях... Господи, да с любой фамилией! И если бы этот человек исповедовал национальный коммунизм или коммунистический интернационализм, но при этом своим главным врагом он называл бы Москву, я бы аплодировал этому движению и старался бы ему всемерно помочь. Надеюсь, вы понимаете, что по своей воле я никогда не сяду за один стол с мистером Гитлером... Это недоучившийся ефрейтор, нувориш без каких-либо устоявшихся моральных принципов... Да и потом он просто дурно воспитан. Но поскольку своим главным врагом он называет Москву, а Москва — это наш главный враг, как я могу не поддерживать Гитлера?

— Я понимаю вас, милорд.

— Я знаю, обо мне шепчутся по углам,— продолжал Редсдейл.— Я знаю, меня называют английским нацистом. Пусть. Наши личные интересы преходящи, интересы Британии незыблемы. Когда-нибудь потомки поблаго-

дарят меня за то, что я так стойко переносил оскорбления в прессе, и за то, что я был так спокоен по отношению к тем, кто не понимал моей позиции. Все определяет в нашей жизни будущее, а никто так верно не знает цену будущему, как старики, которым осталось мало времени на этой суматошной земле.

Редсдейл подвел Яна к группе молодых мужчин:

— Господа, позвольте представить вам Яна Пальма. Да-да, это сын того латышского Пальма, который был здесь послом. Молодой Пальма назначен политическим обозревателем журнала «Англо-германское ревю».

Ян пожал всем руки.

— Дик Джоун.

— Очень приятно. Пальма.

— Майкл Фугер.

— Очень приятно. Пальма.

— Джозеф Коуэлл.

— Очень приятно. Пальма.

— Пойдемте, господа,— сказал лорд,— сейчас леди Астор покажет нам занятный сеанс спиритизма. Она увлечена одним прозорливцем.

Редсдейл пояснил Яну, пока они шли по большой каменной террасе в римском стиле:

— Фугер и Коуэлл связаны с Руром, они часто бывают в Берлине, могут помочь вам в контактах с серьезными людьми рейха, которые отвечают за промышленность Германии. Мистер Джоун близок к премьер-министру, вам следует прибегать к его помощи лишь в исключительных случаях...

...В темной комнате, уставленной старинной, нарочито грубой черной мебелью, сухонькая леди Астор, единственная женщина среди стариков и спортивного кроя юношей, сидела во главе овального стола. Рядом с ней был мальчик лет тринадцати. Лицо у него было синюшное, нездорово-одутловатое. Мальчик был мал ростом. Руки совсем еще детские, в ямочках, припухлые.

Прежде всего Пальма увидел эти маленькие детские пухлые руки, лежавшие на громадном блюде посреди расчерченного мелом стола.

— Я чувствую,— говорил мальчик, широко открыв глаза,— я чувствую тебя. Кто ты? Войди в меня и скажи всем. Кто ты? Войди в меня и скажи всем. Ну?— он обернулся

к леди Астор.— Ну,— беспомощно спросил он окружающих,— вы чувствуете? Вот он поднимается. Вы видите его? У него сильное, спокойное лицо. Смотрите все! Семь, тринадцать, семь, одиннадцать, семь! Вы видите Ричарда. Смотрите на него. Перед вами не слепок с Ричарда Львиное Сердце, а он сам, наш Ричард. Слушайте, что он говорит.

— Я слышу,— сказала леди Астор,— я слышу, мой мальчик, я слышу его. Вы слышите, что он говорит? «Туда! Смотрите туда,— говорит он,— бойтесь того и бойтесь его так, как я вам это скажу сейчас».

Ян наклонился к лорду Редсдейлу и шепнул:

— У дитяти была истеричная няня?

— Ничего, истеризм полезен Британии, в определенных, конечно, дозах.

— «Бойся Рима», слышу я!— продолжал говорить мальчик.— Бойся третьего Рима. Слышите вы все? Бойтесь третьего Рима. Где он?— спросил мальчик, и вдруг руки его стали конвульсивно сжиматься в кулаки, и перестали они быть детскими.— Вот третий Рим — смотрите, там третий Рим, слышите вы меня? Слышите, все?

— Россия — третий Рим,— тихо сказала леди Астор, взяла правую руку мальчика в свои морщинистые, веснушчатые руки, поднесла к лицу и поцеловала.

(«Германия всегда будет рассматриваться как основной центр западного мира при отражении большевистского натиска. Я вовсе не считаю это отрадной миссией, а рассматриваю как обстоятельство, усложняющее и обременяющее жизнь нашего народа, которое, к сожалению, обусловлено нашим неудачным географическим положением в Европе. Но мы не можем уйти в этом отношении от судьбы.

Наше политическое положение обусловливается следующими моментами.

В Европе имеются лишь два государства, которые серьезно могут противостоять большевизму,— это Германия и Италия. Что касается остальных стран, то одни оказались разложенными вследствие демократических форм жизни, зараженными марксистской идеологией и поэтому в ближайшее время рухнут сами по себе, а во гла-

ве других стоят авторитарные правительства, прочность которых определяется единственно военной силой, а это означает, что они, будучи вынужденными поддерживать свое господство внутри страны лишь с помощью средств насилия, не в состоянии использовать эти средства для обеспечения внешнеполитических интересов государства. Все эти страны никогда не будут в состоянии вести войну против Советской России с видами на успех.

И вообще, кроме Германии и Италии, только Японию можно считать силой, способной противостоять мировой угрозе.

В задачи настоящего меморандума не входит предсказание того, когда нынешнее шаткое положение в Европе перейдет в открытый кризис. Я хочу лишь выразить в данных строках мое убеждение, что этого кризиса невозможно избежать, ибо он обязательно наступит, и что Германия обязана всеми силами и средствами обеспечить свое существование перед лицом этой катастрофы, защитить себя, и что из этой неотвратимой перспективы вытекает ряд выводов, касающихся важнейших задач, когда-либо стоявших перед нашим народом. Ибо победа большевизма над Германией привела бы не к чему-либо вроде Версальского договора, а к окончательному уничтожению и истреблению германской нации.

Невозможно предвидеть всех последствий такой катастрофы. И вообще густонаселенной Западной Европе (включая Германию) пришлось бы пережить в результате победы большевизма, пожалуй, самую страшную социальную катастрофу, какой никогда на переживало человечество со времен гибели античных государств...

Я ставлю следующие задачи:

1) через четыре года мы должны иметь боеспособную армию,

2) через четыре года экономика Германии должна быть готова к войне»).

(Из меморандума Гитлера).

МОСКВА, 1938, 6 АПРЕЛЯ, 13 ЧАС. 39 МИН.

«*Юстасу*. Вам надлежит сообщить о вылете самолета из Берлина Вольфу и проследить за тем, чтобы Хаген передал Дориана тем людям, которые прилетят за ним из Берлина. Это будет наша операция. *Центр*».

«*Совконсульство в Барселоне. Ивану*. Подготовьте экипаж из двух антифашистов-немцев для полета в Бургос. Подробный инструктаж получите с Марком, отправленным к вам для руководства операцией. Самолет должен быть немецким. Экипажу с аэродрома не отлучаться. *Центр*».

«*Берлин. Луизе*. Вам надлежит выяснить, когда и кто готовит к вылету самолеты Гейдриха, совершающие рейсы на Бургос с аэродрома Темпельхоф. По выяснении немедленно сообщить Фридриху. *Центр*».

«*Мадрид. Степану*. Вам поручается возглавить звено истребителей для выполнения специального задания. Согласуйте операцию с республиканскими ВВС. Главная задача: сбить немецкий самолет, который будет следовать из Берлина в Бургос. *Директор*».

«*Мадрид. Стиву*. Просьба установить местонахождение Мэри Пейдж. По нашим последним данным, она находится в Лиссабоне, отель «Эксельсиор». *Центр*».

«*Париж. Луи Жану*. Вам следует подготовить место в частном госпитале, где содержатся больные инфекционной желтухой. Палата должна быть отдельной. По нашему сигналу запишите там больного под фамилией Пальма. Дальнейшие указания получите от Жюля. *Центр*».

Советская разведка начала операцию по спасению Дориана — Яна Пальма. Подчас и не ведая о том, разные люди начали работу, конечная цель которой сводит

лась к тому, чтобы в течение ближайших суток организовать вывоз Пальма в Париж, где он будет помещен в госпиталь, а оттуда, «когда ему станет лучше», он даст телеграмму в Лиссабон, Ригу и Лондон о причинах своей задержки — невольной и оправданной со всех точек зрения.

БЕРЛИН, 1938, 6 АПРЕЛЯ, 13 ЧАС. 43 МИН.

Гейдрих позвонил Шелленбергу.

— Вальтер,— сказал он,— мне что-то не хочется везти к нам латыша самолетом. Может быть, целесообразнее отправить его морем, а? Зайдите ко мне, Вальтер, побеседуем.

Помощник Гейдриха по политической разведке Шелленберг был красив и молод. Ему только что исполнилось двадцать семь лет, но «у этого мальчика — голова седого мыслителя» — так говорил о нем рейхсфюрер. Поэтому Гейдрих, нашедший Шелленберга в университете и приведший его в разведку, любил оттачивать концепцию той или иной своей идеи в спорах с помощником. На этот раз они спорили недолго.

— Вы не правы... Везти его мимо Британии целых пять дней, учитывая нрав Бискайского залива, нецелесообразно,— сказал Шелленберг.— Он странный, медлительный парень, а я боюсь медлительных латышей в море.

— Почему?

— Тут уж мне подсказывает интуиция,— улыбнулся Шелленберг.— Если что-либо произойдет с самолетом — шансов спастись никаких: они летят над горами, а случись что на море...

— Можно дать приказ убрать его в случае опасности.

— Эту возможность я как-то упустил,— рассмеялся Шелленберг,— видимо, из жадности: полученную вещь так обидно терять...

— В общем, надо его вывозить оттуда если не сегодня, то завтра: я очень боюсь, что англичане и латыши поднимут визг, и тогда нам придется долго и нудно беседовать с Риббентропом — он будет требовать доказательств. Он не хочет ссориться с иностранцами. Как будто я хочу этого...

— Хаген прислал радиограмму, что латыш плох и везти его сейчас невозможно.

– Это ерунда. Пусть продолжает болеть в каюте...

– В порт мы его повезем на машине?

– Ничего страшного. Дадут снотворного... Он проснется на море – это хорошая прогулка.

– Можно дать приказ шифровальщикам?

– Да. Пусть он подышит морским воздухом.

– Я выясню, какие суда стоят в портах Испании, группенфюрер.

– Вы дьявол, Шелленберг... Вы опрокидываете мое предложение... Мы потеряем шесть дней, пока отправим туда наше судно. С первым попавшимся отправлять его глупо, вы правы...

– Почему? Пусть его везут пятеро-шестеро наших... Им дадут большую каюту, и все.

– Нет. Нам тогда придется входить в контакт с ведомством морских торговцев: вдруг они завернут корабль в другой порт? В Британию, например, бункероваться?

– Значит, самолет?– спросил Шелленберг.

– Какой-то вы сегодня вялый и неконструктивный. Я хотел спора, а вы играете в поддавки.

– Просто меня мучит изжога,– мягко улыбнулся Шелленберг,– поэтому я так вял. Надо проверить поджелудочную железу: меня очень мучит изжога.

– При чем тут поджелудочная железа? – поморщился Гейдрих.– Вы хитрый и умный, даже когда вялый и с изжогой. Кто, кстати, готовит материалы о «лондонском периоде» Пальма?

ЛОНДОН, 1936

На следующий день после выхода журнала, редактируемого Пальма, шеф британской контрразведки генерал Гортон пригласил на завтрак Гэса Петериса, переведенного из Индии в здешнее латышское посольство советником. Гортон, имевший визитную карточку генерала в отставке, часто завтракал с дипломатами – он предпочитал личные контакты и в серьезных делах, особенно поначалу, когда они только завязывались, никогда не доверял сотрудникам, особенно молодым. «Своим чрезмерным старанием, подозрительностью и желанием принести мне в зубах информацию,– говаривал Гортон,– и не просто информацию, а обязательно написанную и подписанную собеседником, они крушат все окрест себя,

как слоны в лавке. Агент должен быть окружен уважительной любовью и доверием, а они сверлят его глазами и пытаются ловить на мелочах: не перевербован ли. Я пять лет лелеял одного актера, это очень ценная находка — известный актер, который дружит с нами. Стоило мне поручить во время каникул беседу с ним моим мальчикам — и я потерял агента. Он мне потом объяснил, что его заставили писать свои впечатления и требовали назвать имена тех леди, с которыми он спит...» С Петерисом генерал познакомился через полгода после того, как тот перевелся в Лондон. Неторопливо присматривался к нему; понял здоровое честолюбие умного молодого дипломата и сошелся с ним легко, чувствуя, что Петерис относится к числу тех, кто никогда не изменит присяге, но всегда поможет тем, кто — встречно — может оказать содействие: не столько в карьере, сколько в деле, ибо Петерис понимал, что лишь дело может выдвинуть его в первые ряды, дело, а никак не попытки «сделать карьеру».

— Послушайте, Гэс,— спросил Гортон,— вы хорошо помните Яна Пальма?

— Да, генерал. Мы вместе учились в университете.

— Что вы можете сказать об этом человеке?

— Ничего плохого, кроме того, что мы вместе учились.

Гортон улыбнулся:

— Хороший ответ. Я бы просил, если это не противоречит вашему пониманию чести, проанализировать его пламенную дружбу с германским посольством, с Уго Лерстом и мистером Риббентропом.

— Надеюсь, никаких конкретных подозрений у вас нет?

— А как вам кажется?

— Мне кажется, их не должно быть. Мы, во всяком случае, верим ему.

— Я рад... Ну а если?

— Я хотел бы отвести возможные «если».

— Это похвально,— кивнул головой генерал,— мне нравится, как вы оберегаете честь вашего друга.

— Товарища,— поправил его Петерис.

Генерал внимательно посмотрел на Петериса:

— Да, товарища. Я понимаю. Простите мою неточность. Впрочем, кто знает, где грань между понятиями товарищества и дружбы?

— Грань очевидна,— ответил Петерис,— она зрима. Я не мог быть другом мистера Пальма, потому что он играл в оппозицию, посещал дискуссионный кружок, а мне это всегда претило.

— Я знаю об этом. Нет ничего дурного во внимательном изучении марксизма. Правда, лучше это делать в индивидуальном порядке, нежели коллективно.

— Я тоже так думаю. Я читал и Маркса, и Энгельса, и Ленина. Должен сказать, что манера их мышления кажется мне чересчур прямолинейной, с одной стороны, и слишком заумной — с другой.

Гортон улыбнулся:

— Вы оригинальны в своем воззрении, потому что миллионов восемьсот, симпатизирующих марксизму и Ленину, сейчас придерживаются противоположной точки зрения. Это учение кажется им понятным, преспективным и подсказывающим выход вашему поколению.

— Мистер Гитлер занят этой же проблемой...

— Как вам ответить? — закурив, протянул Гортон.— Мистер Гитлер, по-моему, значительно больший прагматик, и он совершенно не интеллектуален в нашем понимании этого слова. Это и хорошо, и плохо... Так вот, я попросил бы вас каким-нибудь образом ознакомиться с той работой, которую Ян Пальма проводит в журнале «Англо-германское ревю». Журнал стал, если вы заметили, популярным, его охотно покупают. Продумайте, пожалуйста, какова — я бы сформулировал так — подкладка дружбы Пальма с Лерстом и Риббентропом.

— Хорошо, генерал,— ответил Петерис.— Я выполню вашу просьбу, но если результаты будут в какой-либо мере противоречить моему пониманию товарищества, я резервирую за собой право к этой теме в разговоре не возвращаться.

— Бесспорно,— согласился Гортон.— Бесспорно. Вы сделаете выводы для себя, как человек, представляющий интересы Латвии на острове... Как долго Пальма будет жить в Лондоне, я, естественно, не знаю, но, если он в Риге откроет филиал своего нацистского журнала, вам следует быть осведомленным о причинах, побудивших его к этому, не так ли?

«Умен, дьявол,— удовлетворенно отметил Петерис,— у него есть чему поучиться — у этого «отставника». Не я ему должен помочь, а он мне помогает — так его следует

понимать... Ай да отставник...»

— Спасибо, генерал,— улыбнулся Петерис,— мне всегда очень приятно встречаться с вами...

— Мы с вами завтракаем,— заметил Гортон,— а не встречаемся. Мясо прожарено великолепно, торопитесь, оно остынет...

...В этой маленькой радиостудии было полутемно. Джаз-оркестр, с которым выступала Мэри Пейдж, еще не собрался. Только контрабасист осторожно притрагивался к витым струнам. Возле рояля сидел молодой парень и наигрывал тихую мелодию.

Мэри сидела с Яном на высоких стульях в самом темном углу маленького зала радиостудии.

— Ты плохо выглядишь,— сказала Мэри,— замучился в своем журнале?

— Нет.

— Или тебя замучила расовая теория мистера Гитлера?

Ян пожал плечами, ничего не ответил.

— Ты довольно лихо пропагандируешь его расовую теорию.

— А почему бы нет?

— Не боишься, что мы станем фашистами?

— Не боюсь.

— Слушай,— спросила Мэри,— зачем ты согласился на все это?

— На что?

— На должность главного редактора журнала, на почетный пост члена правления «Англо-германского ревю»?

— Во-первых,— ответил Ян,— ты мне сама подмаргивала, когда я смотрел на тебя в посольстве. Помнишь? Риббентроп мне предложил работу в журнале, а я посмотрел на тебя. А ты мне стала моргать. Я решил, что ты велишь мне стать главным редактором.

Мэри закурила.

— Правом давать такие советы обладают жены, а я — любовница. Вообще это неплохо звучит: Мэри Пейдж, любовница фашиста.

— Между прочим,— медленно ответил Ян,— если мы не хотим стать фашистами, то надо хотя бы знать, что же такое фашизм.

— Ого!— засмеялась Мэри.— Значит, ты сидишь у них с секретной миссией?

— Почему? Почему я должен сидеть с секретной миссией? Если нацизм — это так плохо, как все говорят, я должен в этом сам убедиться. А если нацизм в общем-то не так уж плохо — то почему бы мне не убедить тебя в этом? Тебя и всех?

— Вены тебе было недостаточно?

— Не совсем.

— По-моему, до Вены ты был ярым антифашистом.

— У тебя неплохая память...

— Иначе я бы не запоминала ноты...

— Только из столкновения двух полярных мнений рождается истина. А истина — это интересная книга...

— Думаешь написать об этом книгу?

— Такая книга пригодится во всех смыслах.— Ян постучал по дереву.— Я бы очень хотел написать такую книгу. Как думаешь, получится?

— А почему нет?

— Потому что я лентяй и мне скучно писать книги. Да и с талантом жидковато. Прозаики чрезвычайно медлительны... Серьезные журналисты — тоже. Я репортер, и мне весело, несмотря на то, что меня сделали редактором.

В это время пришли саксофонисты и трубач. Они заиграли песенку, веселую французскую песенку.

— Мэри,— сказал пианист.— Давай порепетируем. Через полчаса запись.

— Я готова,— ответила Мэри,— зачем репетировать?

— На всякий случай,— сказал пианист.— Давай ту, цыганскую, которую инструментовал Дэйвид.

— Пожалуйста, предупреди меня заранее, когда твои друзья национал-социалисты уничтожат всех цыган, евреев и славян. Мне нужно вовремя изменить репертуар,— сказала Мэри, приминая сигарету в пепельнице.

— Хорошо,— ответил Ян,— я буду тебя держать в курсе нашей с мистером Гитлером расовой политики. Тем более, что я собираюсь завтра улететь в Берлин.

— Ты зачастил в Берлин...

— Там любопытно.

— Летишь один?

— Нет...

— А с кем?

— С чемоданом.

— Говорят, в Берлине интересная ночная жизнь и масса толстых немок, которые обожают длинных и надменных латышей, вроде тебя.

— Я слышал об этом,— ответил Ян,— и я очень напряженно готовлюсь к тамошней ночной жизни.

БЕРЛИН, 1936

Пальма медленно шел по пустынной — в этот час — Шенезеештрассе, размахивая клетчатым баулом. Проходя мимо литой чугунной изгороди, он увидел нарисованный белым мелом скрипичный ключ.

Пальма достал из кармана свой мелок, зачеркнул скрипичный ключ и на следующей металлической трубе нарисовал басовый ключ. Он прошагал еще метров пятнадцать, завернул в маленькую вайнштубе и попросил хозяина:

— Пожалуйста, двойной «якоби».

— Да, господин,— ответил хозяин, стремительно и ловко наливая ему коньяк,— прошу вас.

— Спасибо,— сказал Пальма.— Почему у вас так сумрачно? Хорошо бы включить свет.

— Постоянные посетители моей вайнштубе предпочитают полумрак. Это создает необходимый интим.

— Ну что ж,— сказал Ян,— интим, так интим.

Он выпил коньяк, выкурил сигарету и вышел на улицу. Такси нигде не было. Тогда он медленно пошел в обратном направлении, все так же размахивая своим клетчатым баулом.

Проходя мимо металлической ограды, он увидел свой басовый ключ зачеркнутым крест-накрест. На третьей чугунной тумбе он нарисовал скрипичный ключ перевернутым вниз головой и выбросил мелок в большую урну.

Остановив такси, он сказал:

— Пожалуйста, отвезите меня в имперское министерство иностранных дел, на Вильгельмштрассе...

Через три минуты после того, как Пальма пригласили к Риббентропу, в приемную вошел высокий мужчина с лицом римлянина. Референт Риббентропа поднялся и, выбросив руку в нацистском приветствии, сказал:

— Обергруппенфюрер Гейдрих, сейчас у рейхсминистра редактор нашего лондонского журнала латышский журналист Ян Пальма.

— Хорошо,— сказал Гейдрих,— я подожду. Беседа с Пальма, конечно же, не менее важна для судеб рейха, чем встреча с шефом главного управления имперской безопасности.

Гейдрих отошел к окну, залитому солнцем, и, заложив руки, прижался лбом к стеклу.

Окна приемной выходили на зеленый дворик министерства иностранных дел. По ровному, на английский манер подстриженному газону ходили голуби. Гейдрих негромко, словно самому себе, сказал:

— Министерство иностранных дел обязано иллюстрировать тягу к миру обилием прикормленных голубей.

...В кабинете рейхсминистра Ян Пальма сидел за маленьким столиком, отхлебывая бразильский кофе из золоченой чашки и говорил негромко:

— Я благодарен вам, господин Риббентроп, за исчерпывающий ответ. Важно стенографически точно передать ваши слова читающей британской публике.

— Я доверяю вашему бриллиантовому перу.

— Запомнили «бриллиантовое перо»?

— Тяжкий удел министров — запоминать. В данном случае этот удел не был для меня обузой. Мне было приятно это запомнить, дорогой Пальма.

— Господин министр, я хотел бы задать вам вопрос, который, естественно, не будет включен в публикацию. После блистательного выступления фюрера в Данциге куда следовало бы обратить свой взор нам, вашим английским друзьям?

Риббентроп улыбнулся:

— Вы вторгаетесь в сферу государственных секретов рейха.

Пальма ответил — тоже с улыбкой:

— Господин Риббентроп, я снимаю свой вопрос.

Риббентроп поднялся, принес с другого столика электрический кофейник, долил кофе себе и Яну и спросил:

— Ну хорошо, а как думаете вы, куда следует обращать свой взор великой Германии?

— По-моему, на Варшаву.

Риббентроп отрицательно покачал головой.

— Прага?

Риббентроп снова отрицательно покачал головой, а потом прижал палец к губам и сказал:

— Вам, как другу Германии, я хочу посоветовать: не уезжайте сейчас отдыхать, даже если у вас запланирован отдых. А если и поедете, то советую куда-нибудь поближе к Пиренеям.

Гейдрих посмотрел на часы:

— Я сочувствую рейхсминистру. Журналисты с их дотошностью могут замучить насмерть.

И как раз в это время вышел Пальма. Он поклонился Гейдриху и сказал секретарю министра:

— Я просил бы вас записать, что я остановился в «Адлоне», апартамент номер двести семнадцать. Если я понадоблюсь господину рейхсминистру, прошу предупредить заранее, а если этого нельзя сделать, то сообщите, пожалуйста, портье. Я буду оставлять свой телефон или тот адрес, по которому ненадолго уеду.

Гейдрих вошел к Риббентропу. Они молча поздоровались. Гейдрих сказал:

— Мой дорогой Риббентроп, перед тем, как я начну мучить вас вопросами координации нашей работы, мне хотелось бы спросить: известно ли вашему ведомству, что журналист Ян Пальма в течение трех лет посещал марксистский клуб в университете?

— Мне неизвестно это, и мне занятно узнать, о чем думал ваш Лерст, когда представлял мне Пальма в Лондоне?

— Лерст не всевидящий. Мой аппарат раскопал на Пальма интересный материал... Мы начали серьезно смотреть за этим газетчиком...

Риббентроп почувствовал, что холодеет: он вспомнил конец беседы с Пальма. Он не мог сказать об этом Гейдриху, он подставил бы себя под удар.

— Нет, я не верю этому,— сказал министр,— мало ли кто грешил в юности марксизмом? Пальма делает в высшей мере полезное для нас дело...

— Тем не менее я отчитал Лерста и поручил ему заняться газетчиком. Он его первым узнал, ему и отвечать...

— Погодите, а что у вас есть конкретно против Пальма?

— Он был с красными в Вене, он контактировал в Праге с русским писателем Борцовым, потом он внезапно воспылал любовью к нам... Я не очень-то верю таким амплитудам... Я верю только в последовательность.

— Он мог метаться...

— Вот мы и займемся его метаниями... Меня редко подводит интуиция, поверьте, мой дорогой Риббентроп...

БУРГОС, 1938, 6 АПРЕЛЯ, 15 ЧАС. 44 МИН.

Штирлиц отпер дверь комнаты, где лежал Пальма, и, остановившись на пороге, сказал:

— Хватит валять дурака! Я сейчас прикажу забрать отсюда эту тахту,— лежите на полу! Хаген! — крикнул он яростно.— Где Хаген?!

— Он отдыхает,— ответил дежурный по коридору.— Он очень устал.

Штирлиц раздраженно захлопнул дверь, взял стул, придвинул его к изголовью софы и подмигнул Пальма.

— Громко заявляйте протест по поводу Хагена,— шепнул он,— и слушайте при этом меня, я буду говорить очень внятно, хотя и шепотом.

Пальма начал гневно браниться, сосредоточенно глядя в лицо Штирлицу, а главное, на его губы — тот произносил каждое слово округло и четко:

— Республиканцы либо подменят самолет, либо совершат налет на эту богадельню. Если выберут второй путь, я не отойду от вас ни на шаг. Пистолет я вам дам перед самой операцией. Сегодня вечером, когда вернется ваш друг Хаген, мы станем допрашивать вас вдвоем, а может быть, я приглашу еще кого-нибудь третьего. Я буду мучить вас светом: прожектор в глаза — заранее извините меня, дружище, но это в наших общих интересах. Все поняли? Главное, не вешайте носа, все будет о`кей.

— Ол райт,— шепотом поправил его Пальма.— О`кей — это американский вульгаризм...

— Все! — закричал Штирлиц.— Хватит! Мне надоело выслушивать ваши жалобы! Будущее в ваших руках! Ясно?! Даю вам два часа на размышления — потом пеняйте на себя!

«Он здорово постарел за эти два года,— думал Пальма, наблюдая, как на него зло кричит Штирлиц.— Мне трудно, а каково ему, бедняге? Когда мы в первый раз увиделись, он был ведь без единого седого волоска».

БЕРЛИН, 1936

Пальма тогда вернулся в «Адлон» и встретил в холле Петериса и Ванга. Они ехали на отдых в Ригу через Берлин. Ян бросился к ним, обрадовавшись, но в глазах у друзей он увидел холодное недоумение, и все сразу понял, и остановился возле них, чуть улыбаясь:

— Привет дипломатам!

— Привет борзописцам,— ответил Гэс.— Или теперь при встречах с тобой следует говорить не «привет», а «хайль»?

— Нет, можете просто называть меня «фюрер»,— ответил Ян.— Кого ждете? Пошли ко мне — есть виски.

— Спасибо,— ответил Ванг,— мы ждем приятеля.

— Ну хорошо, ну ладно,— поморщился Ян,— мы разошлись в воззрениях. Но давайте выслушаем друг друга.

— Здесь всюду записывают разговоры,— ответил Петерис,— мне не хочется, чтобы гестапо занесло в свою картотеку мой голос — я брезглив.

— Меня не записывают. Я пропагандист идей Германии. А выслушать друг друга нам стоит.

— Пожалуй, что нет,— ответил Петерис.— Тем более, что мы собираемся съездить в Москву, в эту цитадель варварства... Мы боимся бросить на тебя тень.

— Нехорошо так,— сказал Ян.— Недемократично, по-моему. Всякий волен верить в свои идеалы.

— Фашизм стал твоим идеалом? — удивился Ванг.— Я не предполагал, что скотство поддается идеализации.

— Можно подумать, что вернувшись в Лондон, вы уговорите Чемберлена подписать с Кремлем договор о совместном отпоре Гитлеру,— жестко сказал Пальма.— Вы поохаете, поахаете, расскажете, как вам понравилось в столице социализма, но по-прежнему будете выполнять все указания ваших шефов. Не изображайте из себя принципиалов, парни. Вы такие же мыши, как и я, только несколько благопристойнее.

— Молчать — это все-таки лучше, чем прославлять. Мы — молчим, ты — прославляешь,— сказал Ванг.

Петерис поморщился:

— Пассивная молчаливость — тоже скверная штука.

— Голос не мальчика, но мужа,— сказал Ян.— Так что — зайдем ко мне?

— Ты иди,— сказал Ванг Петерису,— а я побуду здесь.

Иди, если тебе хочется нахлестаться с ним виски. Я могу купить себе виски сам. Пока еще могу...

Петерис, однако, не пошел.

Ян поднялся к себе, налил стакан виски, добавил холодной воды из крана, хотел было выпить, но, посмотрев на часы, зло швырнул папку на кровать и тихо, смачно выругался.

А когда он вышел из «Адлона» и, скорее машинально, чем по необходимости, «проверился», то сразу заметил за собой хвост. Двое в сером неотступно топали следом. Пальма изменил маршрут — в девять у него была назначена встреча. Он повернул на Унтер ден Линден, возле Пассажа свернул на Фридрихштрассе и остановился около касс кинотеатра.

— Что за фильм? — спросил он кассиршу и посмотрел в бликующее стекло: двое по-прежнему следовали за ним.

— Интересный фильм — шпионы, погони, стрельба...

— Много стреляют?

— Раз двенадцать... Я, правда, не смотрела, я только слышала выстрелы по динамику.

— Двенадцать — это мало.

— Господин хочет купить билет?

— Нет, благодарю: слишком мало стреляют...

«Какие сволочи все-таки мои дружки,— думал Ян, спускаясь в метро,— я отрываюсь от слежки, я подставил голову под нож, а они воротят носы от меня, как от прокаженного. Хотя я и сам поступил бы так же, будь на их месте. И никакие они не сволочи. Но долго играть в фашиста я не смогу — сломаюсь».

Он оторвался от слежки возле остановки «Митте»: на стоянке такси была только одна машина, и он взял ее, и успел заметить, как шпики заметались на площади. Он долго плутал по городу, пока не убедился, что хвост отстал.

Проходными дворами он вышел к Каналу. Его догнал рослый эсэсовец и сказал:

— Вы уронили платок.

— Вы ошиблись,— ответил Пальма,— мой платок у меня в кармане, как мне кажется.

— Простите, значит, я ошибся.

— Спасибо.

— Еще раз простите, но я был убежден, что этот синий платок принадлежит вам.

— Ну, здравствуйте,— сказал Ян,— я испугался, когда увидел вас в форме.

— К ней нужно привыкнуть... Вы — Дориан?

— Да. А вы — Юстас?

— Такой же как вы — Дориан,— хмуро ответил офицер,— пошли, здесь у меня квартира.

«*Центр.* По данным, полученным через Риббентропа, явствует, что в ближайшее время следует ожидать серьезных акций Гитлера в Испании. *Дориан*».

«*Центр.* Шеф абвера Канарис дважды вылетал из Берлина на шесть дней. Удалось выяснить, что он был в Португалии и на островах, принадлежащих Испании.

Дориан передал ценные пленки о работе активистов Англо-германского общества. Высылаю через связь. За Дорианом пущен хвост. Кто инициатор слежки и является ли это профилактической мерой по отношению к иностранцу, установить пока не удалось. *Юстас*».

На аэродроме Яна провожали Лерст и референт министра.

— Господин Пальма,— сказал Лерст, поднимая бокал с игристым белым мозелем,— нам было весьма радостно принимать вас здесь, в стране ваших друзей. Я пью за ваш благополучный полет и скорейшее к нам возвращение.

— Друзья друзьями,— засмеялся Ян,— а вчера за мной топали двое ваших полицейских.

— За иностранцами у нас следит гестапо,— ответил Лерст,— но за вами не могли следить, это какая-то ошибка.

— За мной начали следить в Лондоне,— ответил Ян,— так что ошибки быть не может: полицейские всюду одинаково тупы и неспособны на выдумку — живут себе по инструкции, и все тут...

— Я проверю,— пообещал Лерст,— может быть, вас спутали с кем-нибудь... Меня, например, часто путали в Лондоне, но тем не менее следили так, что я себя не чувствовал одиноким — даже в кровати...

БЕРЛИН, 1938, 6 АВГУСТА, 15 ЧАС. 17 МИН.

Они приглашали гостей. Он отвечал за мужчин, она — за женщин. Она обзвонила всех первой. Он договорился только с тремя своими приятелями. Четвертый сказал:

— Милый Вольфганг, я немного задержусь, потому что Рудди ночью улетает, и мне хочется проводить его.

— Я подвезу вас. Это на Темпельхоф?

— Нет. Это в другом месте. Я задержусь, но буду у вас обязательно.

— Ты не мог бы попросить его взять посылку в Бургос?

Он закурил, прислушиваясь, как голос на другом конце провода спрашивал Рудди про посылку. Телефоны в Берлине работали отменно, и поэтому он услышал ответ Рудди: «Скажи ему, что я лечу куда-нибудь на север, не болтай про Бургос!»

— Вольфганг, он летит в Бремен, почему ты решил, что он летит в Бургос?

«Я решил так, потому что знаю, кого он возит в Испанию»,— мог бы ответить Вольфганг. Но он сказал:

— Я жду вас, мой друг, в любое удобное для вас время. Марта сделала великолепный айсбайн в баварском стиле, вам понравится.

> «*Центр.* Самолет СД уходит в Бургос сегодня вечером спецрейсом. С какого аэродрома вылетает самолет, неизвестно. *Луиза*».

В это же время секретарь Гейдриха передал в шифротдел имперского управления безопасности следующую радиограмму:

> «*Бургос. Посольство Германии при правительстве генерала Франко. Штирлицу, Хагену.* Самолет N 259 под командованием обер-лейтенанта Грилля прибудет за латышом завтра в 9.00. Выделите для сопровождения трех человек. До прилета Грилля разрабатывайте латыша по поводу похищенного «мессершмитта».

Пока обе эти шифровки шли своим чередом — одна в Москву, а другая в Бургос,— Штирлиц и Хаген уже допрашивали Яна о его участии в похищении нового «мес-

сершмитта». Новую модель самолета угнали из Бургоса за девять часов до убийства Лерста.

— Ты скажешь мне все! — неистовствовал Штирлиц, направив в лицо Яну свет сильной электрической лампы.— Ты поможешь этим и себе, и мне, и Хагену! Ты скажешь, чтобы спасти свою жизнь, иначе я не поставлю и пфенинга за твою голову!

— Что я должен говорить?

— Правду!

— Спрашивайте, только конкретно, и не орите так... У меня голова разламывается.

— Кто из американцев сидел с тобой в баре?!

— Когда?

— Утром, перед тем, как Манцер угнал «мессер»?!

— Я уже слышал этот вопрос.

— От кого?

— От Лерста.

— Ну и что ты ему ответил?!

— То же, что отвечу вам: я не знаю его имени, я журналист, а не похоронное бюро, мне не нужны анкетные данные собеседника, мне нужен собеседник...

— Каким образом вы угнали «мессершмитт»? — закурив, спросил Штирлиц.— Давайте по-джентльменски, Пальма. Расскажите все: это в ваших интересах...

— Почему вы думаете, что я имею отношение к «мессершмитту» да и вообще ко всей вашей авиации?!

...Гестапо имело веские причины считать, что Пальма знал многое про авиацию вообще, а уж об этом новом, проходившем боевые испытания в Испании «мессершмитте» — тем более.

Эпопея с самолетами началась год назад. Республиканцам нужны были истребители: фашисты днем и ночью висели над Мадридом и Барселоной. Самолеты закупали всюду: в Польше и Голландии, Швеции и Франции. Закупали их напрямую и через подставных лиц, за доллары и фунты, франки и песеты, а временами за обыкновенные грязно-желтые бруски — за золото.

«*Центр.* По моим сведениям, фашисты организуют кампанию по продаже старого оружия республиканцам через Бернгардта. Он создал подставную фирму, во главе которой стоит Иозеф Вельтен, агент адмирала Канариса. Вельтен скупа-

ет оружие во всех странах, гонит его в Германию, там это старое оружие портят, а потом продают республиканцам. Необходимо послать наших людей для проверки этого сообщения. Необходимо немедленно дезавуировать Вельтена. *Дориан*».

«*Дориану*. По нашим данным, фирма Вельтена базируется в Копенгагене. Подтвердите. *Центр*».

«*Центр*. В Париже. *Дориан*».

«*Дориану*. Кто из людей Вельтена отвечает за продажу оружия? *Центр*».

На эту шифровку Дориан не ответил: отпала нужда — Вельтен был разоблачен. Однако Гейдрих начал новую комбинацию — на удар он хотел ответить ударом.

ПАРИЖ, 1937, НОЯБРЬ

Моросил мелкий дождь. Виктор Грасс, по паспорту бизнесмен из Миннесоты, наблюдал за тем, как в низкое небо один за другим уходили истребители, купленные им вчера — через подставных лиц — у голландцев.

Он дождался, пока улетел последний «фарман», и опустил воротник дождевика.

Он продолжал улыбаться, когда плотный бритоголовый человек с трубкой, зажатой в сильных зубах, тронул его за локоть.

— Хэлло,— сказал человек,— как успехи?

— Спасибо,— ответил Грасс и неторопливо двинул через поле к стоянке машин.

— Погодите, Грасс, у меня к вам дело.

— Делами я занимаюсь в своем бюро.

— А здесь вы играли в кегли? Или в шахматы?

— Повторяю, если у вас есть серьезные предложения, обратитесь в мое бюро...

— Рю де Ришелье, семнадцать, второй этаж... За вами смотрят немцы, и мне нет смысла лишний раз мозолить им глаза. Да не бегите вы так, у вас ноги длинные, а у меня короткие. У меня в Локарно стоит десять новеньких «капрони», я их могу продать вам.

— Кого вы представляете?

— Себя,— ответил человек и протянул Грассу визитную карточку.

«Питер Маккензи, генеральный директор фирмы «Маккензи бразерс», бокс 652, Монреаль, 42, Канада».

— Ну и что? — спросил Грасс, пряча карточку Маккензи в карман дождевика.— Откуда самолеты? Цена? Условия? Когда мои люди смогут осмотреть их? Документация?

— Хоть завтра. Ваши люди встретятся с моими техниками в Локарно — я продаю гарантированный товар. Я читал в английской прессе, как испанцы нагрелись с фирмой Вельтена, поэтому я с вас сдеру много денег. Качество предполагает хорошие деньги.

— Хорошо, увидимся завтра утром.

— Ладно. Где? К вам я не пойду — повторяю: за вами смотрят немцы.

— Мы приедем к вам с техниками. Где вы остановились?

— В отеле «Мальзерб». Номер девятнадцать. Когда вам угодно?

— В восемь. Вас устроит?

— Я люблю дрыхнуть. Давайте в девять.

— Договорились.

— В какой валюте будете платить?

— Сначала мы посмотрим ваши аппараты.

— Но если они хорошие?

Грасс усмехнулся:

— Тогда поговорим о цене, а уж после решим, в какой валюте нам будет выгодно платить, а вам — получать.

Грасс остановился возле своей машины, открыл дверцу и сел за руль.

— Спокойной ночи! — сказал он.— До завтра.

— До завтра,— ответил Маккензи и пошел к стоянке такси.

Грасс включил зажигание. Мотор заныл, застонал, но никак не заводился. Грасс закурил, дал стечь бензину, включил зажигание еще раз, но и на этот раз мотор не завелся. Грасс открыл капот, включил лампочку, подергал провода, шедшие от генератора к мотору: все было в полном порядке.

— И у меня нет такси, и у вас авария,— услышал он над ухом голос Маккензи.— Ну-ка, дайте взглянуть, я разбираюсь в технике.

Грасс посторонился, и Маккензи, закинув свою толстую коротенькую ногу за крыло, чуть не целиком залез в мотор.

— Покачайте бензин,— попросил Маккензи,— по-моему, у вас полетел бензонасос.

Грасс сел за руль и начал качать бензин.

— Теперь включайте зажигание!

Мотор заработал. Маккензи спрыгнул с крыла и сказал:

— У вас барахлит помпа. Скажите, чтобы поменяли, а то намучаетесь.

Он посмотрел на стоянку такси — человек сорок мокло под дождем: такси не было по-прежнему.

— Садитесь,— предложил Грасс,— я вас подброшу.

Маккензи тяжело залез в машину, выбросив вперед левую ногу. Он выбросил ее с таким расчетом, чтобы мысок его ботинка, в котором был вмонтирован грубый шприц с моментально парализующим составом, ударил Грасса. Шприц был сделан из легированной стали: гарантия прокола толстой свиной кожи любого ботинка абсолютная. Эта новинка, разработанная в лабораториях Гейдриха, опробовалась уже несколько раз, и результаты были великолепны.

Грасс обмяк — беззвучно, словно подломленный. Маккензи отбросил сиденье, перетащил Грасса назад, сел за руль и погнал машину в маленький коттедж, расположенный в большом парке на набережной Сены.

Здесь Грассу сделали еще один укол, положили в большой багажный ящик с надписью: «Верх. Не кантовать» и отвезли ящик на вокзал — поезд отходил в Кельн.

БЕРЛИН, 1937, ОКТЯБРЬ

Через двенадцать часов Грасс лежал в соленой купели в подвале гестапо на Принц-Альбрехтштрассе. Маленький толстый Маккензи — штурмбанфюрер СС Отто Штуба — сидел у его изголовья и время от времени прикасался раскаленным железным прутом к шее Грасса.

— Пока не скажешь, каким образом ваши узнали про Вельтена, я буду мучить тебя, и я добьюсь, что ты заговоришь, но это будет слишком поздно. Лучше тебе начать говорить сразу, тем более, что мы знаем про тебя очень многое, почти все. Где вы теперь покупаете само-

леты? Грасс, глупо молчать, поверь. Ты человек конченый: если мы даже и отпустим тебя, в Москве тебя все равно поставят к стенке. Разве нет? Но мы тебя не отпустим. Мы тебе предлагаем два варианта: один — полюбовный, так сказать, мирный, а второй — болезненный, неприятный и для меня, и для тебя. Повторяю свои вопросы: от кого вы узнали про Вельтена? У кого ты покупаешь самолеты теперь? Кто еще, кроме тебя, занимается этим делом?

Штуба снова приложил раскаленный прут к шее Грасса. Тот зашелся в крике, на искусанных губах выступила кровавая пена. Штуба прижигал свежие, кровоточащие раны, и лицо его чуть подергивало судорогой: видимо, он испытывал наслаждение от этой своей работы.

Потом Штуба бросил раскаленный прут на кафельный пол, подошел к рубильнику, вмонтированному в стену, включил его и, вернувшись на свое прежнее место, стал наблюдать, как, медленно пузырясь, начала закипать вода в соленой ванне.

Грасс, закричав, потерял сознание. Штуба вколол ему в грудь шприц с тонизирующим раствором. Грасс открыл глаза.

— Ты гнал самолеты и через Германию? — монотонно спрашивал Штуба.— Отвечай: гнал самолеты через Германию?

— Да,— чуть слышно прошептал Грасс.

— На кого они были оформлены?

— На голландскую фирму «Де Граатонберг».

В кабинет неслышно вошел Гейдрих. Он сел в кресло в полутемном углу комнаты.

— А если бы голландцы вас не пропустили? — спросил из своего угла Гейдрих.— Что бы вы тогда делали?

Грасс, видимо, не услышал его. Штуба ударил Грасса в лицо и тихим голосом, совершенно без выражения, повторил:

— А если бы Голландия вас не пропустила?

— Тогда я гнал бы их через Англию.

— Врешь. Англичане не пропускают ваши самолеты. Они не вмешиваются в игры на Пиренеях.

— Через Англию,— повторил Грасс,— это правда.

— Кто у вас есть в Англии?

— В Англии есть человек.

— Что ты о нем знаешь?

– Ничего.

Гейдрих сказал Штубе:

– Покажите ему кино.

Штуба снял телефонную трубку и сказал:

– Где там киномеханик? Пусть включит ленту.

Застрекотал киноаппарат, установленный в соседней комнате. На белой стене возникли зыбкие очертания обнаженного мужчины. Его держали под руки два эсэсовца. Чуть поодаль два других эсэсовца кормили мясом двух громадных доберман-пинчеров.

– Не закрывай глаза,– сказал Штуба Грассу,– смотри внимательно. Я показываю это кино, чтобы сохранить тебе жизнь.

Из своего угла Гейдрих сказал:

– Уберите свет, очень плохая резкость.

Штуба выключил свет, и стало очень четко видно, как эсэсовцы спустили с поводков доберман-пинчеров, а два других эсэсовца отбежали от своей жертвы, и доберманы бросились на обнаженного мужчину, и он начал отбиваться от яростных собак, которые хотели вцепиться ему в низ живота.

– Собаки натренированы,– пояснил Штуба.– Они хорошо натренированы. Они выгрызают половые органы так, что потом у заключенного остается только один путь: в папскую капеллу – кастратом.

Гейдрих, по-прежнему негромко, сказал из своего угла:

– Поясните ему, что здесь нет звука, я бы очень не хотел, чтобы мы проиграли ему пленку. Он тогда услышит, как тот человек – его же профессии – кричит. Это очень страшно слышать.

– Выключите,– с трудом разлепив окровавленные губы, попросил Грасс.– Не надо. Я знаю, что того человека в Лондоне зовут Дорианом. Больше я не знаю о нем ничего.

– Чем он занимается?

– Не знаю.

– Сколько ему лет?

– Я его не видел.

– Откуда он родом?

– Он живет в Англии, но он не англичанин... Он там работал...

– А где он живет в Лондоне? – спросил Штуба.

— В Лондоне его сейчас нет. Он в Испании.

— У красных?

— Нет, у Франко.

Гейдрих стремительно вышел из кабинета, набрал номер телефона и спросил:

— Шелленберг, скажите, пожалуйста, кто из англичан находится при штабе Франко? Военных там нет?.. Понятно... Журналисты? Сколько? Пятеро? Ясно. Посмотрите, пожалуйста, по своей картотеке, кто из журналистов был у Риббентропа — то ли в этом, то ли в прошлом году. Спасибо, я подожду. И нет ли этого человека сейчас в Испании?

Гейдрих вернулся в кабинет, подвинул стул к стеклянной ванне, в которой лежал измученный Грасс, и спросил его:

— Какое у вас звание?

— У меня нет звания.

— Какое звание у вашего шефа?

— Я ничего больше не скажу.

— Кого вы знаете из военных?

— Никого.

— Из чекистов?

— Я ничего не скажу,— повторил Грасс и закрыл глаза.

Гейдрих обернулся к Штубе:

— Пойдемте-ка со мной.

Они вышли в соседнюю комнату, и Гейдрих сказал:

— Этого парня надо будет в три-четыре дня привести в порядок, а потом вы заберете его в Голландию и там организуете ему автомобильную катастрофу.

— Я не совсем понимаю, обергруппенфюрер...

— Было бы очень плохо, если бы вы понимали все мои планы, Штуба,— улыбнулся Гейдрих.— Вы красиво завязали эту операцию, надо ее также красиво развязать. Зачем пугать Москву тем, что мы знаем их Дориана? А этот Грасс — возьмите от него все и увезите в Голландию...

Зазвонил телефон. Гейдрих поднял трубку.

— Слушаю. Ясно... Пальма... Так я и думал. Спасибо. Проинформируйте об этом Риббентропа... Хотя нет, не надо. Я к вам зайду — побеседуем. Лерсту пошлите шифровку: пусть глаз не сводит с этого нашего «друга». И пусть он организует ему интересные встречи, посмотрим,

нет ли у латыша связей. А потом, если интересных связей в Бургосе нет, пусть устроит ему поездку на фронт. Ну, об этом позже. Я у вас буду в восемь.

БУРГОС, 1937, ОКТЯБРЬ

Именно в восемь германский военно-воздушный атташе в Бургосе генерал-полковник Кессельринг устраивал прием.

Лерст, улыбающийся, щеголеватый, веселый, подвел к Кессельрингу Яна.

— Генерал, я хочу представить вам нашего друга, военного корреспондента господина Пальма.

— Я читал ваши статьи, они серьезны и объективны...

— Благодарю вас.

— Никто так не ценит объективность, как солдаты...

— Я убежден в этом, генерал.

Лерст и Пальма подошли к следующей группе военных.

Лерст познакомил Яна с генералом Рихтгофеном.

— Рад видеть грозного вождя немецких асов,— сказал Ян.

Рихтгофен вопросительно посмотрел на Лерста.

— Это наш друг, журналист Пальма.

— Очень рад, господин Пальма.

Лерст отвел Яна в глубину зала, к камину. Он задержался на мгновение возле штурмбанфюрера СС Штирлица:

— Дорогой Пальма, познакомьтесь — это мой помощник, он тоже увлекается индийской филологией.

— Хайль Гитлер! — сказал Штирлиц.

Ян, засмеявшись, ответил:

— Хайль король.

Лерст, Пальма и Штирлиц отошли к свободному диванчику, сели рядом. Лакей принес вина и маленькие бутерброды на черном лакированном подносе.

— «Хайль король» — смешно,— заметил Лерст.— Я понимаю преимущества вашей демократии, но у нас это не может прижиться. Мы знали веймарскую демократию, и весь тот период я могу определить одним словом — беспомощность. А национал-социализм — это динамизм, это концентрация промышленной мощи, это ясная цель. Как результат — мы бьем красных и на земле

и в воздухе. И я чаще и чаще задаю себе вопрос: как можно, с вашей прогнившей системой, бороться с коммунизмом?

— Я восхищаюсь динамизмом Гитлера,— ответил Пальма.— Концентрация мощи — это прекрасно. Но рассейте мои сомнения: временами ваша система напоминает спортивный мотоцикл, а наша система — дилижанс. Чем быстрее мотоцикл движется, тем он устойчивее. Победа — это скорость. Ну а если это поражение? Мотоцикл упадет набок. Дилижанс просто остановится. Англия напоминает дилижанс. Она пережила много потрясений, она останавливалась, но не падала.

Лерст закурил:

— С мотоциклом — удачно. Если мы — мотоцикл, то останавливаться в ближайшие годы никак не собираемся.

— И потом мы мотоцикл с коляской,— добавил Штирлиц.

Пальма заметил:

— Ну, разве что с коляской — тогда все меняется.

К Лерсту подошел Хаген, хотел что-то сказать ему, но тот перебил:

— Дорогой Пальма, я хочу представить вам своего второго помощника. Он фехтует значительно лучше меня, зовут его Хаген, и он — отменный спортсмен.

— Когда не пьет слишком много пива,— заметил Штирлиц.

— У вас столько помощников, что мне хочется считать вас не секретарем посольства, а по крайней мере послом,— сказал Ян.

— Всему свое время.

— Мы не спешим,— торопливо сказал Хаген.— Знаете, есть прелестная пословица: «Поспешай с промедлением».

— Хорошая пословица,— согласился Ян.

— Господин Лерст,— шепнул Хаген,— пришла срочная корреспонденция из Берлина. Там есть кое-что для вас.

Лерст поднялся:

— Займите нашего гостя. Нет ничего омерзительнее дипломатических приемов: здесь только шпионам вольготно, а нам, дипломатам, от них жизнь не в жизнь...

Сидевшие рядом в креслах подвыпившие летчики — один немец, другой итальянец — обсуждали преимущества нового «мессершмитта» перед «капрони».

— Хотя это и не патриотично по отношению к моей

стране,— говорил итальянский капитан,— но ваш новый «мессер», конечено, значительно лучше. Ваши летчики, видимо, несколько хвастают его скоростью, но скорость тем не менее поразительна. Жаль, что вы его скрываете даже от нас. Хоть бы не хвастали тогда...

— Мы, немцы,— ответил подполковник «Люфтваффе»,— при многих наших недостатках, лишены одного: мы не хвастуны.

Ян, рассеянно обернувшись, заметил:

— Это к вопросу о том, что человеческие недостатки есть продолжение их достоинств?

— Марксистская формулировка,— заметил Хаген.— Или мне показалось?

— Показалось,— ответил Штирлиц.— У них об этом иначе сказано.

— Вы большой знаток марксизма? — удивился Пальма.— Вот моя карточка, заходите при случае — поболтаем о Марксе.

— С удовольствием. А это мои телефоны — звоните.

— Пятьсот семьдесят километров! — продолжал итальянец.— Это скорость, которая сокрушит авиацию мира. Я не верю, что у нового «мессера» такая скорость!

— Единственное, что мы умеем сейчас делать,— хохотнул немецкий летчик,— так это наращивать скорости.

— Даже шестисоткилометровые? — не унимался итальянец.

— При нашем налоговом прессе можно выжать и тысячу километров.

Пальма снова засмеялся:

— Вот так выбалтываются государственные секреты.

Штирлиц уперся взглядом в лицо немецкого летчика. Тот словно замер, поперхнувшись смехом.

— Господин Хаген, вы не знаете, тут есть хорошая охота на коз? — спросил Пальма.

— А я не охотник. Это живодерство бить коз... Несчастные, добрые создания: чем они виноваты, если бог создал их такими красивыми? Что касается рыбалки — тут я дока. Ловить молчаливых хитрых рыб — это дело мужчин. Я готов составить вам компанию. Штирлиц у нас чемпион по рыболовству, и с ним я соперничать не берусь...

Штирлиц, извинившись, отошел к немецкому летчику — подполковнику «Люфтваффе». Как раз его и итальянец.

янца лакей обносил сэндвичами. Штирлиц взял с подноса сэндвич и неловко уронил его на колени немца.

— Простите, подполковник,— засуетился он,— пойдемте, у нас в туалете есть мыло, мы замоем пятно...

Он увел летчика в туалет и там тихо сказал ему:

— Вы что, с ума сошли? Болтаете, как тетерев на току! Ваша фамилия?

— Манцер,— ответил летчик.— Вилли Манцер, штурмбанфюрер! Я не думал, что нас так слышно...

— А итальянец? Вы же не мне болтали, а ему! Вы немец — не забывайте об этом нигде и никогда! Враг подслушивает, а он разнолик, наш враг, весьма разнолик и всеяден.

Манцер побледнел. Штирлиц заметил, что бледнеть он начал со лба, как покойник, и капельки пота появились у него на лице — мелкие, словно бисеринки. «Пьющий,— машинально отметил Штирлиц.— Пьет, видимо, вглухую, один — иначе нам бы уже просигнализировали...»

— Завтра позвоните мне по этому телефону,— сказал Штирлиц, вырвав страничку из блокнота.— Надо поговорить.

БЕРЛИН, 1937, ОКТЯБРЬ

В восемь Гейдрих зашел к Шелленбергу.

— Едем за город,— сказал он,— попьем. Хочется посидеть в каком-нибудь маленьком крестьянском кабачке — только там я чувствую себя самим собой.

Он сел за руль тяжелого «майбаха» и погнал машину по тихим, пустынным берлинским улицам — город засыпал рано — к Заксенхаузену.

— Сказочная у нас природа,— заметил Гейдрих, когда машина, миновав Панков, вырвалась на пригородное шоссе,— лучше нигде нет. Сосняки, дубовые рощи — прелесть какая, а?

— Я не люблю дубовые рощи, они словно подражают олеографии,— сказал Шелленберг.

— Это не патриотично. Нужно любить дубовые рощи. Пруссия поразительна своими дубовыми рощами. Я люблю их в дождливые дни. Черные стволы и тяжелая упругость зеленых листьев... Как это строго и прекрасно...

— Я люблю море.

— Какое? Южное или северное?

— Южное.

— Шелленберг, я всегда подозревал, что вы плохой патриот. Ну что может быть прекрасного в южном море? Жара? Слюнтявость во всем. Северное море — ревущее, строгое, мужественное, с ним приятно сражаться, когда заплываешь на милю от берега, а валы идут на тебя и норовят утащить с собой — это я люблю.

— Вам надо было родиться морским поэтом.

— Я рожден моряком, я до сих пор вижу море во сне — наше северное, грозное море...

— А я во сне вижу берега Африки, громадные пустынные пляжи...

— Там кругом черные, Шелленберг, как можно?

Вдруг Гейдрих резко затормозил, и Шелленберг сначала не понял, что случилось, только интуитивно уперся руками в ветровое стекло. Что-то желтое, большое перескочило дорогу прямо перед радиатором машины, а второе — но не желтое, а скорее светло-серое — полетело в кювет, и Шелленберг понял, что это олененок, которого задело крылом «майбаха». Гейдрих бросил машину прямо на середине пустого шоссе и побежал к кювету. Олененку перебило ногу, он весь дрожал, и кровь, сочившаяся из открытой раны, обнажившей белую, сахарную кость, была темной, дымной.

— Боже, какой ужас, боже мой,— прошептал Гейдрих.

Он поднял олененка на руки, положил его на заднее сиденье и, развернув машину, помчался обратно в Берлин. Разбудив сторожа ветеринарной лечебницы, Гейдрих послал его за врачом, и дрожь перестала его колотить лишь под утро, когда олененок уснул, вытянув перебинтованную, положенную в шину стройную ногу...

— Едем ко мне,— сказал Гейдрих.— Едем, Шелленберг, мне одному сейчас будет очень тягостно. Глаза этого несчастного не дадут уснуть...

Дома на Ванзее он выпил стакан водки, включил радиолу и долго слушал народные германские песни, изредка подпевая хору, и Шелленберг заметил, что, когда Гейдрих подпевал, в его стальных продолговатых глазах закипали слезы.

Рано утром Гейдрих вызвал Шелленберга. Шеф имперского управления безопасности был, как всегда, сух,

до синевы выбрит, и глаза его были недвижны, словно бы остановленные невидимым гипнотизером.

«Совсем другое лицо,— подумал Шелленберг,— вчера он был человеком, а сейчас он слепок с самого себя».

Передав Шелленбергу папки с материалами из Стокгольма и Парижа, обсудив шифровки, поступившие за ночь из Чехословакии, он в конце беседы как бы между прочим сказал:

— А теперь о мелочах... Отправьте тройку верных людей в Бургос и организуйте поездку на фронт для Пальма вместе с парой итальянцев или испанцев — кого не жаль. И пусть на передовой наши люди ликвидируют их: если мы уберем одного Пальма — это может вызвать ненужные сплетни, а так — на войне, как на войне. Это он раскрыл фирму Вельтена, больше некому. Играть с ним сейчас опасно, опять-таки война есть война. Когда нет доказательств, верных, как аксиома, подозрительного человека, который может серьезно мешать, надо убирать, это единственный разумный путь в дни, когда предстоят новые битвы.

— Хорошо. Я сейчас же радирую Лерсту.

— Не надо. Он пытается вербовать латыша, пусть себе... Это надо сделать тихо и спокойно, чтобы не сталкивать лбами Франко с Европой, сейчас это нецелесообразно.

...Газеты Бургоса вышли с большими красными шапками: «Варварство Мадрида продолжается. Вчера под Уэской, в горах, бандиты обстреляли машину военных корреспондентов. Мигель Фернандес Паселья из «Нуэво Диарио» и Викторио Лучиано из «Пополо дель Италиа» убиты, латышский корреспондент Ян Пальма, сотрудничающий в британской прессе, тяжело ранен. Попирая все и всяческие нормы международного права, красные обстреливают госпитали, машины журналистов, мирные селения. Гнев испанского народа обрушится карающим мечом на кремлевских марионеток, засевших в Мадриде и Барселоне».

БУРГОС, 1938, 6 АВГУСТА, 17 ЧАС. 09 МИН.

Штирлиц продолжал бушевать. Он не лез с кулаками на Пальма. Он умел бушевать иначе — отходил к окну, сцеплял пальцы за спиной и, переступая с мысков на пятки, вколачивал фразы, словно гвозди:

– Вы сказали, Пальма, что это именно наши люди хотели вас угрохать под Уэской. Вы утверждаете, что в вас стреляли не красные, а коричневые – то есть мы. Почему же вы остались после ранения здесь? Почему вы не уехали в свою родную Ригу? Или, на худой конец, в любимый вами Лондон?

– Я остался потому, что во мне до сих пор живут сомнения, Штирлиц. Окончательные решения я принимаю, лишь когда сомнениям места не остается. Тогда я принимаю единственное решение. Если в меня, друга Германии, стреляют немцы, значит что-то случилось, значит враги пытаются нас поссорить, мягко говоря.

– Какие враги?! – крикнул Хаген и осекся, потому что Штирлиц повернулся и отошел от окна.– Какие враги, господин Пальма? – повторил он тихо.

– Наши с вами,– ответил Пальма.– Наши общие враги...

Штирлиц снова включил лампу и направил яркий свет в лицо Яну.

– Хорошо... Поговорим об общих врагах...

ЛОНДОН, 1937, ОКТЯБРЬ

Узнав о ранении Яна, Мэри Пейдж приехала в посольство Латвии – за десять минут до того, как клерки закончили свой рабочий день. Сначала швейцар учтиво объяснял этой красивой женщине, что посещение посольства в столь поздний час нецелесообразно, но потом, видя, что все разговоры бесполезны, соединил даму с советником Петерисом, который немедленно согласился принять ее.

– Вы уже знаете? – спросила Мэри.

– Да.

– Вы можете помочь мне получить испанскую визу сегодня же?

– Нет.

– Что говорят врачи?

– Врачи пока молчат. Это же ранение в голову...

– Вы думаете...

– Я думаю, что Ян пролил кровь не на той стороне и не за то дело.

– По-вашему, было бы лучше проливать кровь на стороне красных?

— А подыхать за фашистов?

— Сейчас я не сужу, когда, на чьей стороне и почему он пролил свою кровь, Петерис. Я сейчас просто жалею кровь — его кровь, понимаете? Вы же его друг...

— Мы были друзьями, Мэри. Так вернее. Как мне это ни обидно. Что вы собираетесь делать в Испании?

— Вы задаете дикие вопросы. Я собираюсь быть с ним. Просто-напросто.

— Простите, но меня спросят в испанском консульстве — кто вы ему: жена, сестра?

— Скажите, что сестра.

— Я чиновник министерства иностранных дел, и я не могу лгать: мне дорог престиж родины.

— А жизнь... знакомого? Солгите им что-нибудь... Солгите, что я еду туда как сестра милосердия из Армии спасения...

— Я сострадаю вам, Мэри... Но врать не стану. Это не тот случай, чтобы врать. Постарайтесь понять меня. Впрочем... Если хотите, я попробую связать вас с одним джентльменом, он может помочь вам, только он может...

Генерал Гортон успел внимательно оглядеть Мэри, пока шел ей навстречу по толстому белому ковру, скрадывавшему шаги: казалось, что он двигается бесшумно, как кошка.

— Я понимаю ваше горе,— сказал он, усаживая женщину в кресло возле камина.— В наше время стоицизм был правилом, ныне, в век прагматизма, это исключение — тем приятнее мне помочь вам... Кофе?

— Спасибо.

— Можно спросить чаю... Говорят, правда, что он портит цвет лица.

— Сейчас хорошая косметика.

— Вы сохраняете чувство юмора. Господин Петерис просил меня принять участие в вашей судьбе...

— В судьбе моего друга.

— Мисс Пейдж, вы англичанка?

— По паспорту я латышка... Моя мать — англичанка.

— Видимо, кровь сильнее паспорта?

— Генерал, в госпитале умирает мой друг.

— Не считайте медлительностью внешние ее проявления. Я могу договориться о вашей поездке в Бургос сегодня же. Петерис объяснил вам, кто я?

— Нет. Он просто сказал, что вы можете помочь мне.

— Напрасно он играет в детскую конспирацию. Я из контрразведки империи, мисс Пейдж. У меня корыстный интерес к вашему больному другу. Я хочу, чтобы мой интерес, корыстный, и ваш, бескорыстный, совпали.

— Вы предлагаете мне шпионить?

Гортон отрицательно покачал головой:

— Нет. Я предлагаю вам охранять вашего друга. Если, конечно, он выкарабкается из этой передряги. Говорят, состояние у него тяжелое.

— Он выкарабкается.

— Вы его хорошо знаете?

— Именно поэтому я и убеждена в том, что он выкарабкается.

Гортон улыбнулся:

— Он чувствует, как вы постоянно молитесь о нем.

— Я атеистка.

— Можно молиться и не веруя. Как правило, большинство людей обращается к богу в минуты трудностей: в дни счастья мы забываем о нем.

— Я актриса, генерал...

— Разве у актрис не бывает трудностей?

— Я говорю о другом. Я не умею охранять. Я умею петь, и то довольно плохо...

— Охранять любимого надо от друзей — всего лишь. От врагов мы вам поможем сохранить его.

— Почему латыш пользуется таким вниманием британской контрразведки, генерал?

— Я объясню, если услышу ваше согласие помочь мне.

— Вам или той службе, которую вы представляете?

— Я не разделяю два эти понятия, мисс Пейдж. И я, и моя служба отдали себя делу охраны империи от посягательств извне — отныне и навечно.

— Не думала, что разведчики так сентиментальны...

— Я контрразведчик, мисс Пейдж. А мы сентиментальны куда больше, чем вам думается. Во имя империи мы должны положить на заклание друга, если он окажется врагом, враг может сделаться братом, если он оказал помощь Острову — при этом мы сделаны из такого же человеческого материала, как и все остальные.

Неслышная горничная принесла две чашки чаю. Гортон подвинул Мэри сахарницу и спросил:

— С лимоном?

БУРГОС, 1938, АПРЕЛЬ

«Лерсту. Совершенно секретно, напечатано в 2 экз. После выхода Пальма из госпиталя "Санта крус" агентурная и оперативная разработка серьезно затруднилась в связи с присутствием в Бургосе его любовницы Мэри Пейдж. Все время они проводят вместе. Два раза мне удалось выехать с ним на рыбалку, но на какие-либо откровенные разговоры он не идет, подчеркивая свою приверженность идеологии фюрера, сохраняя при этом определенные сомнения по поводу жестокости нашей внутренней политики. Данные телефонных прослушиваний и наружного наблюдения никаких результатов не дали. Можно также с уверенностью сказать, что никаких компрометирующих контактов он не имеет. Ни с кем из подозрительных или неизвестных лиц не встречался. Прошу санкционировать продолжение работы с Пальма. В случае, если вы санкционируете продолжение работы, прошу разрешить завтра выезд вместе с ним за город на лов форели. *Штурмбанфюрер Штирлиц».*

Штирлиц, Вольф и Ян — со шрамом на лбу, бледный еще после недавнего ранения (новый, 1938 год он встречал в госпитале) — сидели в сосновом, напоенном запахом смолы лесу так, чтобы видеть всех, кто мог подойти к реке, а их чтобы никто заметить не мог: лес был молодой, саженый, частый. В сумках у Штирлица и Пальма уже лежало по нескольку маленьких форелей. Покусывая травку, Вольф говорил:

— Нужны либо технические данные нового «мессершмитта», либо, что еще лучше, сам самолет. Это просит Москва. После того, как Ян провалил Вельтена, фашисты поняли, что пришло время испытывать свою новую технику, а не жульничать с продажей чужого старья... А новая техника у них, говорят, весьма серьезная.

— Надо покупать кого-то из летчиков,— сказал Пальма.

Штирлиц покачал головой:

— Мне поручено следить за летчиками. Лерст «отдал» мне весь легион «Кондор».

– Между прочим, он резидент гестапо только по Испании или по Португалии тоже? – спросил Вольф.

– Нет, вопрос с Португалией еще не решен. Я бы сообщил по своим каналам. Летчика нам купить не удастся. Здесь отборный состав.

– Что ты предлагаешь? – спросил Вольф.

– Охрана аэродрома не так чтобы очень сильна...– заметил Штирлиц.

– Ты имеешь в виду наш десант?

– Да.

– Ну а колеблющихся,– Ян продолжал свое,– среди летчиков нет?

– Я таких не знаю,– ответил Штирлиц,– если обнаружится такой колеблющийся, он будет немедленно увезен в Германию, а там его будут лечить от колебаний в концлагере.

– А если нам попробовать создать колеблющегося? – предложил Ян.

– Это интересно,– сказал Вольф.

– Хотя очень рискованно,– добавил Штирлиц.

– Но мы же здесь занимаемся не классическим балетом,– сказал Ян.

– Кстати, о балете,– сказал Вольф, передавая Яну плоскую маленькую коробочку, похожую на жевательную резинку.– Это новая шифровальная таблица. На всякий случай... Если тебе придется связываться с центром непосредственно – выйдешь своим шифром.

Ян сунул таблицу в карман.

– Нет,– улыбнулся Штирлиц,– так дело не пойдет. Сделай себе какой-нибудь тайник, хотя при обыске это мало спасает.

– Ладно,– поморщился Ян,– как это у вас говорят, «кривая вывезет»? Юстас, а помнишь того летчика, который болтал о «мессере» на приеме?

– Это было еще до твоего ранения?

– Конечно.

– У тебя хорошая память...

– Журналистская,– скромно заметил Ян,– а вообще чаще хвали меня – я это люблю... Что из себя представляет этот Манцер?

– Подонок. Есть такая категория людей – «сильные подонки».

– Я сейчас попробую,– сказал Ян,– нарисовать вам

его психологический портрет. Если вы согласитесь со мной — тогда мы, можно считать, выиграли партию...

— Рисуй,— согласился Вольф.

— Юстас говорит — «сильный подонок». Это хорошо, что он сильный подонок. Такие разваливаются еще скорее, чем подонки обыкновенные. Сильный, чувствуя, что он теряет — а сильному всегда есть что терять,— пойдет на любое предательство, лишь бы сохранить те блага, которых он добился силой.

Штирлиц лег на теплую землю, поросшую густой травой, и закинул руки за голову.

— Продолжай,— сказал он.— Твое предложение любопытно. Только сделай сноску на то, что я превратил Мансера в своего друга — он стал осведомителем СД. После того приема у Кессельринга.

— Он легко пошел на это? — спросил Вольф.

— Как дитя.

— Тем более я прав,— сказал Ян.— Офицерский корпус, кодекс чести, нелюбовь армии к СС — он имел право послать тебя в задницу. И Рихтгофен поддержал бы его. Значит, либо он ищет приключений и ему льстит возможность узнать то, что не дано знать другим, либо он чем-то скомпрометирован — сильнее, чем той трепотней на приеме.

— Это все? — спросил Штирлиц, не поднимаясь с земли.— Если все, тогда твой психологический портрет неполон. Он еще может быть истым наци, убежденным наци, поэтому он так легко дал согласие быть другом СД. Эту возможность ты отвергаешь?

— Но ты же сам слышал, как он говорил о рейхе: «Налоги выжимают скорости».

— Это ерунда,— заметил Вольф.— Он говорил правду. Он из их элиты, ему можно говорить правду, и даже подшучивать над рейхом ему дозволено.

— В отношении элиты сложнее,— сказал Штирлиц.— Его отец коммерсант, связанный с иностранными фирмами. Таких в рейхе не любят...

— Вот ты и ответил за меня,— улыбнулся Ян,— ты сам не заметил, как дал ответ вместо меня.

— Наверное, все-таки заметил,— сказал Вольф.— Юстас человек зоркий.

— Ну, хорошо,— как бы продолжая рассуждать сам с собой, сказал Штирлиц,— ну, допустим, мы раскопаем

что-либо на папу Манцера... А как себя поведет сын?

— Апостолы и те отрекались, а этот — отнюдь не апостол,— сказал Вольф.

— Я смогу через моих швейцарских коллег-газетчиков организовать кое-что для Манцера,— сказал Ян.

Штирлиц поднялся с земли, потянулся и предложил:

— Ладно, пошли ловить рыбу, сейчас будет хороший жор, солнце садится.

...Вернувшись с рыбалки, Штирлиц заглянул к Хагену и сказал ему:

— Послушайте, приятель, я давно хотел спросить: помните, на приеме у Кессельринга я зацепил болтуна-летчика? Я вам еще тогда показал его и попросил обратить внимание. Помните? Манцер.

Штирлиц знал болезненное самолюбие Хагена, и он умел бить в точку, когда имел с ним дело.

— Помню,— ответил тот,— а что?

— Ничего. Ровным счетом ничего. Поступили сигналы, что он в последнее время много пьет — всего-навсего. Я замотался со своими делами, а если у вас есть время и возможность — поглядите за ним. А потом посидим над его делом — вместе. Нет?

«Партайгеноссе Лерст!

Проведенная мною работа дает возможность обратить Ваше внимание на подполковника В.Манцера. Несдержанность в разговорах и частые пьянки заставляют меня просить вашей санкции на установление наружного наблюдения за указанным выше военнослужащим.

Хайль Гитлер!
Ваш Хаген».

Штирлиц посмотрел эту записку перед тем, как Хаген решил нести ее Лерсту.

— Разумно,— сказал он.— Очень разумно. Проверка никогда еще и никому не мешала. Правда, Лерст может спросить о фактах. У вас их нет, кроме моих сигналов. Могли бы, кстати, указать, что я вам подал идею. Ладно, ладно, не дуйтесь... Я щедрый. Мне эти игры уже порядком надоели... Не окажитесь только слишком ретивым — это так же плохо, как быть тюрей.

Он умел говорить с людьми, этот Штирлиц. Он играл партию точно и беспроигрышно.

Хаген, как и рассчитывал Штирлиц, решил продолжить свои наблюдения, не подключая аппарат местного гестапо. Этого только и надо было Штирлицу. Ему надо было оставить Манцера без наблюдения еще две-три недели.

(«Военно-экономические мероприятия можно сохранить в тайне созданием видимости производства обычного военного имущества. Планы производства на случай войны нужно будет доводить только до офицеров военной экономики. Они будут подсудны военному трибуналу за разглашение военной тайны».

Из памятной записки «И.-Г. Фарбениндустри» «Милитаризация экономики» от марта 1935 г.)

«*Вольфу.* Санкционируем операцию с летчиком. *Центр*».

БУРГОС, 1938, 5 АВГУСТА

...Вода в бассейне была то голубой, то зеленой, и в этой сине-зеленой воде плавали Мэри Пейдж и Пальма.

— А голова совсем не болит, милый? Я не могу спокойно видеть этот твой шрам. Или все же болит?

— Разваливается, когда я не встречаю тебя больше двух дней.

— Слава богу, что ты не сказал: «разваливается, как только я тебя вижу».

— Эти слова — удел супружества, а мы с тобой свободны в любви, как парламентарии.

— Ненавижу слово «супружество».

Пальма засмеялся:

— Что, опошлили идею?

Вокруг них плавали люди, видимо, все добрые знакомые Яна, потому что он перешучивался почти с каждым и ловил завистливые взгляды: женщины здесь, особенно такие, как Мэри, были в редкость.

— Где мы будем сегодня вечером? — спросила Мэри.

— Я живу на первом этаже, и занавески у меня тюлевые, а испанские дети ужасно любопытны. А я тебя так

долго не видел: целых восемь часов. Поэтому у детей будет достаточно пищи для любопытства.

— А я живу на втором этаже, гардины тяжелые, темные, барские. Мне жаль бедных испанских детей, мы лишаем их пищи для любопытства.

— До вечера.

— Я жду тебя. Ты сейчас далеко?

— Нет. Недалеко. В пределах Испании...

...Пальма остановил машину около входа в бар и в дверях замешкался, столкнувшись лицом к лицу с толстым человеком, судя по костюму и перстням — торговцем.

В дальнем углу сидел Вольф, одетый, как и Ян, в полувоенную форму иностранных журналистов при штабе Франко. На левом нагрудном кармане был прикреплен металлический значок: «Военный корреспондент».

За столиком, рядом с Вольфом, сидел подполковник из «Кондора» — Вилли Манцер.

— Хэлло, Вилли,— сказал Пальма.— Хэлло, сэр,— кивнул он Вольфу.— Послушайте, Вилли,— весело спросил Ян,— вашего папу зовут Густав? Густав Адольф Манцер?

— Именно так зовут моего папу,— ответил летчик и хотел было выпить коньяк.

Ян остановил его руку:

— Ваш папа деранул в Швейцарию.

— Тише,— сказал Вольф,— тише, коллега... Вы подведете этого парня. Я не решался ему об этом сказать.

— Что? Что! Что?! — спросил Вилли, сразу же переходя на шепот.

— Ваш папа владел парфюмерным магазином во Франкфурте-на-Майне?

— Да.

— Мне только что прислали швейцарские газеты — мы их получаем через Лондон. Вот смотрите. Ваши из гестапо, видимо, получат их завтра.

Вилли развернул газету «Бернские новости». На второй полосе был напечатан портрет его отца. Сверху крупным шрифтом набрано: «Я не хочу нацизма, я хочу свободы». Манцер два раза прочитал статью, потом протер глаза и сказал:

— Бред какой-то!

— А при чем здесь вы? — удивился Ян.— Папа сбежал, ну и черт с ним. Вы воюете, вы делаете свое благородное дело.

— За такого папу,— сказал Вольф,— с этого славного немецкого парня сдерут кожу. Вы не знаете, как это делается у него на родине.

— А если я сейчас пойду и заявлю первым? — спросил Вилли.

— По-моему, это будет очень правильно,— сказал Ян,— и по-рыцарски.

— Вас первым же самолетом отправят в Берлин,— сказал Вольф.— А там — в концлагерь.

— Вы думаете? — спросил Вилли растерянно.

— А вы? — спросил Вольф.

— Да ну, какая ерунда! — сказал Ян.

— Нет, не ерунда,— сказал Вилли.

— Пропуск на аэродром у вас есть? — спросил Вольф.

— Чего ему не хватало дома?! — бормотал Вилли.— Это все бабы! После того как умерла мама, он совсем спятил! Я так и знал, что он выкинет какую-нибудь гадость! Это же конец мне! Конец!

— Пропуск у вас на аэродром есть? — повторил Вольф.

— Я не долечу до Франции.

— Долетите до Мадрида.

— Там красные.

— С новым самолетом вас примут красные, белые и зеленые.

— Они собьют меня, когда я буду подлетать к Мадриду. Высоко в небе с нашими скоростями они меня не достанут, а когда я пойду на посадку, они пристрелят меня.

— Значит, пропуск у вас есть? — еще раз спросил Вольф.— И вы можете вылететь сразу?

— Это трудно, но выхода другого нет, наверное.

— Протащите меня с собой на аэродром,— сказал Вольф,— моим американским читателям будет интересно прочесть этот скандальный репортаж, а потом я вас сведу с папой в Швейцарии.— И он открыл свою папку — там лежала ракетница.— Здесь красная ракета, с ней мы с вами сядем в Мадриде.

— А может быть, я дотяну до Франции?

— Вряд ли,— сказал Вольф.

— Почему? В общем-то можно,— сказал Ян,— хотя рискованно: все решают метры.

Вольф поднялся и сказал:

— Сейчас я вернусь.

— Куда он? — нервно спросил Вилли.

— А черт его знает.

— Чей он?

— Американец. Набит деньгами, с ним не соскучитесь...

Вольф вышел из бара и подошел к газетному киоску. Он купил все английские и французские газеты. Никаких сообщений о сбежавшем Манцере-отце не было. Ожидая сдачи, Вольф яростно почесал затылок, и это увидел сидевший в машине Штирлиц.

Вольф вернулся в бар, подсел к столику и бросил на стол газеты.

— Пока все спокойно,— сказал он,— может быть, эта газета сюда и не дойдет.

— Все равно они узнают,— сказал Вилли.— Не сейчас — так ночью, не ночью — так утром.

— Э, ерунда,— сказал Ян,— я готов за вас поручиться перед Рихтгофеном.

— При чем тут Рихтгофен?! Все будут решать Лерст, Штирлиц и Хаген.

В бар вошел Штирлиц, и Вольф заметил, как Манцер весь сжался.

Штирлиц подошел к их столику, пожал руку Пальма, сухо поклонился Вольфу и подчеркнуто доброжелательно похлопал по плечу Манцера.

— У вас сегодня нет вылета, браток? — мимоходом спросил он.

— Нет,— ответил Манцер,— а что?

— Да ничего, просто я интересуюсь. Пожалуйста, загляните ко мне после обеда. Ладно? Я буду ждать вас к трем часам...

— В посольстве? — тихо спросил Манцер.

— Нет. Ждите меня на аэродроме... Сегодня, кстати, когда уходят транспортные «юнкерсы» в Берлин?

— В шесть часов,— еще тише ответил Манцер.— Или в семь, я забыл... А в чем дело?

— Да ни в чем,— ответил Штирлиц, не глядя на Манцера.— Просто хочу с вами поболтать кое о чем... Чисто дружески.

Штирлиц сел за соседний столик и крикнул официанту:

– Марискос, пожалуйста, и бутылку тинто!
– У вас есть машина? – спросил Манцер.
– Есть,– ответил Вольф.– У меня есть.
– Поехали.

Ян заказал себе коньяку, неторопливо выпил его, взял под мышку газеты, зашел в туалет, сжег там единственный экземпляр «Бернских новостей», а пепел бросил в унитаз.

«*Гейдриху*. Весьма срочно. На ваш запрос сообщаю, что в день перед побегом Манцера на секретном экземпляре «мессершмитта» он был замечен в баре "Неаполь" в обществе Пальма и неизвестного англоговорящего журналиста. Прошу вашей санкции на повальный обыск всех английских и американских журналистов при штабе Франко. Прошу вас также разрешить вербовку Пальма. Поскольку он чудом остался жив после «мероприятия» под Уэской и не сбежал в Англию, его можно сломить. *Лерст*».

«*Лерсту*. Ваши действия считаю разумными. В случае, если Пальма на вербовку не поддастся, вам надлежит поступить решительно и в соответствии с серьезностью момента. *Гейдрих*».

Узнав об этих радиограммах, Штирлиц сел в машину, на которой обычно ездил Хаген, и понесся в город. Он притормозил в переулке, не доезжая одного квартала до дома, где Пальма снимал этаж. Он прошел к нему дворами и нажал кнопку звонка. Штирлиц понимал, как он рискует. Он мог предположить, что Лерст уже выставил наружное наблюдение где-нибудь здесь, поблизости.

Штирлиц достал из кармана мелок и нарисовал скрипичный ключ «головой» вниз. На минуту он замешкался, словно почувствовал на своей спине десятки холодных взглядов из гестаповской засады. Потом резко повернулся и пошел к консьержу.

– Где Пальма? – спросил он старика.– Давно ли сеньор не приходил?

– Сеньор был с сеньоритой днем, а после они уехали. Сеньор теперь редко ночует дома, у него такая прекрасная рыжая сеньорита...

– Если сеньор придет, позвоните, пожалуйста, срочно мне вот по этому номеру.

И Штирлиц, написав номер телефона левой рукой, правой сунул старику пять песет.

> «*Лерсту*. Завербованный мною консьерж дома, в котором проживает Пальма, сообщил, что на дверях его квартиры появился странный знак. Я выехал на место – на дверях квартиры действительно был нарисован скрипичный ключ. Это свидетельствует о том, что в ближайшие дни следует ожидать его контактов с кем-то из неизвестных нам лиц. *Штирлиц*».

Он рассчитывал все точно, но в шахматной партии всегда трудно предсказать ход противника. Штирлиц взвесил все, он рассчитал, что либо сегодня он увидит Яна, либо тот сам заметит скрипичный ключ на своей двери и поймет, что нужно срочно уходить. Или, во всяком случае, найдет возможность связаться с ним.

Но вышло все не так, как предполагал Штирлиц, хотя этой своей докладной запиской он вывел себя из-под всяческих подозрений, которые могли возникнуть в ведомстве Шелленберга, если бы Пальма сумел быстро уйти из Испании.

Все получилось бы точно так, как задумал Штирлиц, если бы Пальма не встретил Мэри. Она ждала его на теннисном корте. Он посадил ее в машину, обнял, поцеловал и улыбнулся:

– Теперь я свободен – надолго и всерьез. А ты?

– Да здравствует свобода! – ответила Мэри, и Ян рассмеялся и поцеловал ее в лоб.

– Ты стала республиканкой. Это плохо. У нас может быть только один лозунг:«Да здравствует король!»

– Король и свобода – для меня понятия нерасторжимые.

– Прости, моя прелесть, я забыл, что ты консерватор.

– А я всегда помню, что ты фашист.

Пальма притормозил и сказал:

– Зайдем ко мне, я переоденусь, а то неудобно вечером ходить в грязной куртке.

– Ты меня устраиваешь в грязной куртке, в чистом фраке и просто в купальнике.

— Значит, мы с тобой никуда не пойдем сегодня?

— С каких пор ты стал менять костюмы перед тем, как пойти в здешний кабак?

— Ты, как всегда, права,— согласился Пальма.

И он включил первую скорость, и машина резко взяла с места, и он не увидел того знака тревоги, который заставил бы его в первую очередь сжечь шифровальную таблицу, лежавшую в заднем кармане брюк...

БУРГОС, 1938, 6 АВГУСТА, 19 ЧАС. 40 МИН.

— Пальма, мне надоело слушать вашу ложь,— сказал Штирлиц, выключив свет настольной лампы, направленной в лицо Яну.— А вам, Хаген?

— Мне тоже. Наверное, эта ложь надоела и самому господину Пальма...

— Какой прогресс в наших отношениях: Хаген стал говорить обо мне, как воспитанный человек,— заметил Ян.

— Между прочим, Хаген один из воспитаннейших людей, и я бы посоветовал вам, Пальма, когда вас поселят в Берлине, не акцентировать внимание наших руководителей на том досадном инциденте, который имел место.

— Инцидент — это что? — поинтересовался Пальма.— Это когда бьют по физиономии?

— Нет, положительно латыши — великая нация,— ухмыльнулся Штирлиц,— даже под виселицей не теряют чувства юмора.

— Под виселицей потеряет,— сказал Хаген,— он думает, что все это игры. А это не игры.

— Это далеко не игры,— подтвердил Штирлиц,— в этом мой друг прав, Ян. Я не знаю, сколько вы еще пробудете здесь, но хочу вам дать добрый совет на будущее: начните говорить... Если вам хочется жить — вы станете сотрудничать с нами... Иного выхода нет. Ни у вас, ни, главное, у нас.

— Ну пожалуйста! — удивился Пальма.— Вы кричали на меня и топали ногами, вместо того, чтобы сразу сделать внятное и разумное предложение. Я согласен, бог мой...

Штирлиц отрицательно покачал головой:

— Это несерьезно. Хаген не зря спрашивал вас так подробно и о Вене, и о Берлине, и о покойном Уго Лерсте. Вы уходили от ответов, вы — я уже прочитал записи ва-

ших допросов — несли какую-то наивную чепуху про своих подруг, про кабаки и бары и ни разу не дали ни одного правдивого ответа. А сейчас вы говорите мне — «пожалуйста». Кто с вами поддерживает контакт? Какие вопросы интересовали красных? Каким образом и почему вы убили несчастного Лерста?

— Я не убивал несчастного Лерста, я не имел контактов с красными, я не...

Резко зазвонил телефон. Штирлиц поднял трубку и, отведя трубку от уха, дождался, пока замолчит пронзительный зуммер.

— Надо будет сказать связистам,— заметил он,— позаботьтесь об этом, Хаген. Такой сигнал, что порвутся перепонки, если сразу приложить к уху.

— Я скажу им.

— Спасибо... Штирлиц слушает!

Радист сообщал, что на имя штурмбанфюрера пришла радиограмма из Берлина. Штирлиц и Хаген переглянулись.

— Посмотрите,— попросил Штирлиц Хагена,— если что-нибудь важное, вызовите меня.

Когда Хаген ушел, Штирлиц одними губами прошептал:

— Если они выслали самолет — готовься к вечеру и не паникуй, если меня долго не будет.

Ян кивнул и громко сказал:

— Послушайте, Штирлиц, у меня плохо с головой, право слово. И потом вы открыли мне так много неожиданного, что все это надо обдумать. Позвольте мне полежать — я ведь все же только-только после ранения...

— Я очень сожалею, но придется посидеть здесь,— ответил Штирлиц.— Я хочу вместе с вами вспомнить в деталях, что было вчера вечером. Вы сидели у Мэри Пейдж, в ее номере, не так ли?

— Я лежал в номере у Мэри — если вы добиваетесь точности...

(А Штирлиц с Лерстом в то время шли в сопровождении трех агентов гестапо и нескольких франкистских «гвардия сивиль» по коридору: начался повальный обыск англичан и американцев из журналистского корпуса.

— Здесь живет баба? — спросил Штирлиц портье, шедшего рядом, когда они остановились около номера Мэри.

– Да, сеньор.

– Стоит ли тревожить даму? – спросил один из «гвардии сивиль».– У вас к ней ничего конкретного нет?

– А черт его знает,– буркнул Штирлиц,– пока ничего...

– Ладно, пошли дальше,– сказал Лерст.

Мальчик из ресторана с подносом, на котором были установлены приборы на две персоны, лихо пронесся по коридору, остановился возле Лерста и постучал в дверь номера.

– Здесь живут двое? – удивился Лерст.– Хаген сказал, что тут одна женщина.

– У сеньоры в гостях сеньор,– пояснил мальчишка,– тот, у которого была прострелена голова на фронте.)

...Хаген позвонил Штирлицу от шифровальщиков через пять минут.

– Самолет за латышом вылетает из Берлина.

– Когда?

– Там не сказано когда. Сказано, что вылетает. И прибудет сюда завтра утром, в девять ноль-ноль. Самолет номер 259. Под командованием обер-лейтенанта Грилля.

– Рудольфа Грилля?

– Там нет имени.

– А вы разве не знаете Рудди?

– Нет.

– Странно. Он же водит наши спецсамолеты...

– Я никогда не летал на спецсамолетах.

– Еще полетаете. Ну, двигайте сюда. Я передам вам нашего гостя, он не про мои нервы...

– Ага! – засмеялся Хаген.– А вы еще меня бранили...

– Я вас не бранил, а делал замечание по службе.

– Простите, штурмбанфюрер...

Штирлиц положил трубку и шепнул очень устало:

– Выдай ему концерт. Он сейчас будет тебя бояться. И постарайся поспать – боюсь, что ночь у нас будет хлопотная...

– Хлопотнее вчерашней?

(А вчерашняя ночь была очень душной – менялась погода, с Пиренеев натянуло низкие тучи, неожиданные в это время года. В небе ворочался гром. Лерст сидел на краешке стола, наблюдая как Штирлиц вместе с

испанскими полицейскими осматривал вещи в номере Мэри.

— Какие-нибудь неприятности? — спросил Пальма.— Или вы подозреваете мою подругу в преступлении?

— Нет, что вы,— ответил Лерст,— идет повальный обыск во всем отеле. Если бы мы не зашли к вам, завтра же злые языки обвинили вас в том, что вы — цепной пес германского посольства. Только поэтому нам пришлось сюда влезть, тысяча извинений, Ян, тысяча извинений...

В номер заглянул Хаген и сказал:

— У остальных все в порядке.

— Спасибо. Пожалуйста, произведите личный досмотр господина Пальма, Хаген.

— Прошу простить, господин Пальма,— сказал Хаген.

— Пожалуйста, пожалуйста, это даже интересно,— ответил Ян,— меня еще никогда не обыскивали — особенно друзья, которые только тем и озабочены, как бы оберечь мое реноме...

Он поднялся, подмигнул Мэри и вдруг почувствовал, как на лбу начал медленно выступать холодный пот: он вспомнил, что в заднем кармане брюк лежит та новая шифровальная таблица, сделанная в форме жевательной резинки, которую ему передал Вольф.

— Мэри,— сказал он, отправляясь в ванную в сопровождении Хагена и двух испанских полицейских,— дай мне пожевать резинку, а то у меня от волнения пересохло в горле.

Мэри, завернутая в простыню, усмехнулась:

— Я боюсь, джентльмены будут шокированы, если я встану с кровати, милый. Жевательная резинка лежит у меня в столе.

Штирлиц медленно посмотрел на Яна и все понял. Он открыл письменный стол и протянул Пальма несколько жевательных резинок, потом как-то странно поскользнулся на паркете и растянулся, стукнувшись плечом о край стола. Лерст и Хаген бросились к нему, и этого мгновения было достаточно, чтобы Пальма сунул шифровальную таблицу в рот и одновременно протянул резинки двум испанским полицейским. Те развернули серебряные бумажки и отправили в рот апельсиновые резинки. Штирлиц, потирая плечо, поднялся и сказал:

— А считается, что на паркете нельзя сломать себе шею.

Лерст, заметив, что испанцы еще не начали досматривать Пальма, раздраженно спросил:

— Что вы жуете?

Те открыли рты, показывая ему резинку.

Ян закашлялся и проглотил шифровальную таблицу.

— Я так испугался вашего окрика, что проглотил свою,— сказал он,— теперь у меня слипнутся кишки, и похороны придется организовывать за ваш счет. Хотите пожевать?

— Я не корова.

Лерст пропустил Пальма вперед. Он присел на край ванны: у него была такая манера — приседать все время на края столов, подоконников, кресел. Полицейские обшарили карманы Пальма и передали содержимое Лерсту. Тот просмотрел записную книжку, блокнот, вернул все это Яну и сказал:

— Пожалуйста, извинитесь перед вашей дамой, Ян, но мне необходимо сейчас же перекинуться с вами парой слов.

— Валяйте.

— Не здесь. Давайте уйдем из отеля, так будет лучше.

Когда Лерст и Ян вышли из номера, Штирлиц сказал полицейским:

— Здесь порядок. Пошли.

Он дождался, пока все покинули номер, повернулся к Мэри и долго смотрел на нее, а потом, тяжело вздохнув, тихо сказал:

— Спокойной ночи... Желаю вам увидеть вашего приятеля еще раз.)

Хаген вернулся в кабинет — в обычной своей манере — очень тихо, почти неслышно.

— Кликните кого-нибудь из дежурных,— попросил Штирлиц,— а мы с вами покинем господина Пальма минут на пять.

Когда они вышли из кабинета, Штирлиц сказал:

— Боюсь, что здесь нам с ним не отличиться — он молчит, как тыква, или несет чушь.

— Я же говорил вам...

— Говорили, говорили... Вы умница, приятель... Тем не менее сидите с ним и мотайте его, а я поеду в посольство и договорюсь с Кессельрингом о сопровождении этого самолета здешними истребителями от границы...

— Хорошо. Мне ждать ваших указаний или отпустить его спать?

— Нет... Спать — только в крайнем случае, если у него действительно перекрутились в черепе шарики. А так — работайте. Вдруг вам повезет? Это ж прекрасно, если вы напишете рапорт Гейдриху о вашей победе над латышом.

— Это будет наша совместная победа.

— Да будет вам, приятель... Я вообще в этом деле пятая фигура с краю. Счастливо, я, пожалуй, двину, пока они не разъехались пьянствовать...

— Сегодня, по-моему, нигде нет приемов...

— По-вашему пить можно только на приемах? Ну и экономный же вы парень, Хаген! То-то я смотрю, вы всегда на приемах хлещете вино на дармовщину... Не сердитесь, не сердитесь, дружочек, не надо на меня сердиться, тем более когда я говорю правду.

По дороге в посольство — Кессельринг согласился принять его, несмотря на поздний час,— Штирлиц успел заскочить в книжный магазин на Пасео де ля Кастельяна. Он купил все новые газеты и, отдавая деньги хозяину, сеньору Эухеннио, негромко сказал:

— Пусть Вольф ставит на белых петухов, завтра в девять обещают интересный бой. Я заеду к вам через два часа...

Эти слова означали для Вольфа многое: во-первых, становилось ясным, что самолет за Пальма прибудет завтра в девять утра. Во-вторых, Юстас подтверждал целесообразность своей версии — подмены самолета. И, в-третьих, последняя фраза означала, что встреча у Клаудии состоится не завтра, как они оговоривали, а сегодня, через два часа. Они договорились днем, что Вольф не будет уходить в горы, а, наоборот, передислоцирует своих людей в город — на случай непредвиденных обстоятельств.

Кессельринг был весел. Он знал, что ему идет улыбка, он делается похожим на Фрица Кранга, когда улыбается и чуть приподнимает левую бровь. Ему об этом сказал рейхсмаршал, который пересмотрел все детективные фильмы с участием Фрица Кранга, и поэтому Кессельринг старался всегда сохранять рассеянную и надменную кранговскую улыбку, даже если улыбаться ему и не хотелось. А сейчас ему хотелось улыбаться, он был весел, несмотря на дьявольскую неприятность с похищенным

«мессершмиттом». Геринг сообщил, что вся ответственность за это возложена на Лерста и вообще на ведомство Гейдриха. Но у него были более веские основания сохранять веселое настроение: республиканцы откатывались по всему фронту, и, как полагали серьезные военные, дни красных теперь уже были сочтены.

— Вас еще не бросили в ваш каземат? — спросил он Штирлица.— Или рука руку моет? Я бы на вашем месте написал задним числом донос на Лерста.— Он засмеялся:— Мертвые все вынесут, они безмолвны.

— Завтра утром мы отправляем в рейх одного человека... За ним выслали наш самолет...

— Я знаю. Я жду Рудди так же, как вы...

— Кого?

— Рудди Грилля. Этот парень учился у меня летать, я люблю его, как сына. Я распорядился, чтобы он задержался здесь на день, я уже получил согласие вашего шефа.

План в Москве был разработан до мельчайших подробностей. Самолеты республиканцев барражируют на границе с Францией, над труднодоступными горными районами. Они сбивают самолет N 259. Он должен быть сбит внезапным ударом, над горами, чтобы исключить возможность радиосвязи с Бургосом. Самолет N 259 — точно такой же марки — вылетает из Барселоны и, пройдя над морем, ложится на курс сбитого эсэсовского самолета. Радисты с борта самолета по коду, переданному Штирлицем, просят доставить Пальма на поле аэродрома. Они принимают его на борт и улетают в Париж, где на аэродроме Яна ждет санитарная машина, которая доставит его в госпиталь для инфекционных больных.

Никто не мог предположить, что из сотен пилотов, совершавших рейсы из Берлина в Бургос, этот рейс будет выполнять ученик Кессельринга, который приглашен военным атташе провести день у него в доме. Тщательно запланированная операция — именно этим личностным, чисто случайным обстоятельством — была разрушена и развалилась, как карточный домик.

Штирлиц посмотрел на часы. Стрелки показывали 22.45.

(«В этом году мы поставили перед собой некоторые задачи, которые мы хотим решить с по-

мощью нашей пропаганды. И важнейшим из инструментов для этого я хотел бы назвать нашу прессу.

Во-первых, постепенная подготовка немецкого народа. Обстоятельства вынуждали меня целое десятилетие говорить почти только о мире. Лишь благодаря непрерывному подчеркиванию воли Германии к миру и мирных намерений мне удалось шаг за шагом отвоевать для немецкого народа свободу и вложить в его руки оружие, которое было необходимо для подкрепления следующего шага. Само собой разумеется, что эта многолетняя мирная пропаганда имеет свои сомнительные стороны. Ибо она может очень легко привести к тому, что в умах многих людей наш режим будет ассоциироваться с решимостью и волей сохранять во что бы то ни стало мир. Но это приведет не только к ложному пониманию целей нашей государственной системы, но и прежде всего повлечет за собой то, что немецкий народ, вместо того, чтобы во всеоружии встретить развитие событий, будет пропитан духом пораженчества, который может лишить или лишит наш режим всех видов на успех. Сила обстоятельств была причиной того, что я многие годы говорил только о мире. Но затем появилась необходимость постепенно перестроить психологически немецкий народ и не спеша внушить ему, что существуют дела, которые, если их нельзя разрешить мирными средствами, надо разрешать с помощью силы. Но для этого было необязательно пропагандировать насилие как таковое. Потребовалось освещать для немецкого народа определенные внешнеполитические события таким образом, чтобы его внутренний голос постепенно сам стал взывать к насилию. Это значит, что определенные события надо было освещать так, чтобы в сознании широких масс народа постепенно автоматически выработалось убеждение: если нельзя добиться по-хорошему, то надо пустить в ход силу, ибо дальше это продолжаться не может. На эту работу ушли многие месяцы.

Она планомерно разворачивалась, планомерно проводилась, усиливалась. Многие ее не понимали, господа.

Многие считали, что все это какое-то извращение. Это те сверхученые интеллигенты, которые не имеют никакого понятия о том, как надо подготовить народ к тому, чтобы он стоял по стойке смирно, когда начнется гроза...

Господа, моей величайшей гордостью всегда было то, что я создал для себя партию, которая и во времена неудач послушно и фанатично следовала за мной, именно тогда фанатично следовала за мной. Это являлось моей величайшей гордостью и было для меня громадным утешением. Мы должны добиться того, чтобы и весь немецкий народ поступал так же. Он должен фанатично верить в окончательную победу...

Ему надо привить абсолютную, слепую, безусловную и полную веру в то, что в конце концов мы достигнем того, что нам необходимо. Этого можно добиться и достигнуть только путем непрерывного воздействия на силы народа, подчеркивая положительные стороны народа и по возможности избегая говорить о так называемых отрицательных сторонах.

Для этого также необходимо, чтобы в первую очередь печать слепо придерживалась принципа: руководство действует правильно! Господа, мы все не гарантированы от ошибок. И газетчики подвержены этой опасности. Но все мы можем существовать только в том случае, если перед лицом мировой общественности не будем говорить об ошибках друг друга, а сосредоточим внимание на положительном.»

Из секретного выступления Гитлера перед представителями немецкой прессы.)

— Послушайте, Пальма,— устало повторил Хаген,— что бы вы мне тут ни пели про вашу несчастную голову, я тем не менее буду повторять свои вопросы: почему вы убили Лерста? Чем вызвано было это неслыханное злодеяние, подвластное судопроизводству рейха? Так что и с формальной стороны все будет соответствующим образом

оформлено. Надеюсь, вы понимаете, что здешние власти — уже задним числом — выдадут вас в руки германского правосудия?

— Повторяю: я не убивал Лерста.

— А кто же его убил? Святой дух?

— Этот мог,— согласился Пальма.

«А ведь сейчас снова начнет бить,— подумал Ян, заметив, как передернулось лицо Хагена.— Что за манера такая? Не может возразить и сразу начинает драться... Между прочим, я сейчас подумал, как наивный идиот. Каким был тогда, на последней германской станции, когда думал испугать Лерста публичным разоблачением его издевательства над тем стариком. К этой швали применимы только зоологические градиенты... А спать я, конечно, не смогу — во мне все напряжено до предела...»

— Я жду ответа,— сказал Хаген.— Я обращаюсь к вашей логике и здравому смыслу. Расскажите мне, что произошло вчера, после того как Лерст увез вас из отеля — от вашей подруги?

(Лерст вчера гнал машину чересчур рискованно: шины тонко визжали на крутых поворотах горной дороги.

— А как звали того журналиста, который сидел в баре вместе с вами и Манцером?

— Все вы знаете обо мне! Кто вам об этом мог донести?

— Друзья, Ян, мои друзья.

— Ага, признались! Я давно подозревал, что вы не дипломат, а шпион!

— Как имя того парня, который удрал с Манцером?

— Черт его знает! То ли Джим, то ли Джек. Эти имена в Штатах так же распространены, как у вас Фриц или Ганс.

— Вы не запомнили его имени?

— Казните — не запомнил.

— Из какой он газеты?

— По-моему, он левый. Такой, знаете ли, яростный левый... Куда мы едем, кстати?

— Недалеко. А откуда вам известно, что он левый?

— Он не скрывал своих взглядов. Мы живем в таких странах, где пока еще можно открыто выражать свою точку зрения...

— Значит, можно первому встречному выражать свою точку зрения?

– Конечно.

– Но это же идиотизм...

– А он у нас традиционен. Гайд-парк, например... Вы же помните Гайд-парк.

– Помню, помню... Когда вы познакомились с ним?

– С неделю... Да, да, с неделю тому назад...

Лерст резко затормозил и отогнал машину на обочину. Справа поднималась отвесная скала, а слева в черную зловещую пустоту обрывалась пропасть. На дне пропасти глухо гудел поток. Трещали цикады. Небо было звездное, низкое.

Лерст вышел из машины, следом за ним вышел Пальма.

– Красота какая,– сказал Пальма,– просто нереальная красота...

– Да,– согласился Лерст,– очень красиво. Хотя я предпочитаю северную, нордическую красоту. А здесь... Ладно, об этом потом. Послушайте, Ян, мои испанские друзья навели справку: за последние полтора месяца ни один иностранный журналист из Штатов сюда не приезжал. Погодите, дослушайте меня. Более того, мы опросили – не прямо, конечно, а через своих людей – ваших коллег из Ассошиэйтед Пресс и из Юнайтед Пресс Интернейшнл... Им тоже ничего не известно об этом ультралевом журналисте из Штатов. И, наконец, главное: ни в одном из отелей Бургоса ни один американец не останавливался за последние полтора месяца.

– Между прочим, я живу не в отеле... А тот парень мог быть канадцем...

– И канадцы не останавливались... И англичане... И русские...

Пальма засмеялся:

– Интересно, если бы сюда приехал русский.

– Тут есть несколько русских,– ответил Лерст, тяжело упершись взглядом в лоб Пальма.– Но не в них сейчас дело. И даже не в том, что местные жители сообщают полиции обо всех своих квартирантах, а вот об этом американце никто ничего не сообщал... Не в этом дело, мой дорогой Ян...

Лерст прислушался: где-то внизу натужно стонал мотор машины. Потом мотор захлебнулся, и стало совсем тихо, только по-прежнему трещали цикады...

– Дело в другом человеке... Я вам нарисую сейчас од-

ну занятную жанровую сценку, ладно? Юный латышский аристократ-англофил, увлеченный идеями марксизма, отправляется на баррикады в Вену и не скрывает в беседах с коллегами антипатий, которые он питает по отношению к нашему движению. Более того, он пишет в своей газете антигерманские статьи. Потом он замолкает на год и вдруг объявляется в Лондоне, но уже не в красной рубашке, а в коричневой форме, похожей на нашу, эсэсовскую. Этот человек пишет теперь прямо противоположное тому, что он писал год назад. Он, правда, не бранит марксизм и Кремль, но он возносит идеологию фюрера и ведет себя как истинный друг национал-социализма. Потом он приезжает сюда, в Испанию, и помогает нам драться с коммунистами, и очень честно пишет о силе нашей авиации, и очень дружит с нашими летчиками, и присутствует при таком головоломном эпизоде, когда коричневый ас неожиданно сменил свой цвет на красный...

— Что касается меня, то я обожаю маскарады.

— Это не смешно, Ян. Как бы вы на моем месте отнеслись к такому любителю маскарадов? На моем месте — я подчеркиваю, потому что я, именно я, дважды брал на себя ответственность и уверял руководство, что юный латыш не может вести такую коварную двойную игру, которая проглядывает во всех перечисленных мною эпизодах. Отвечайте, Ян, прямо: что вы об этом думаете?

— Хорошо, что вы меня сюда вывезли,— ответил Ян,— а то я мог бы подумать, что это допрос.

— А вы и считайте это допросом.

— Мне неприятна мысль, что из-за неумения раскрыть преступление вы решились оскорбить мое достоинство.

— Ян, если мы сейчас не оформим сугубо серьезным образом наши — на будущее — деловые взаимоотношения, я докажу всем, что вы русский агент. Это для вас так же плохо в Европе, как и здесь — за Пиренеями. Я уж не говорю о Германии. Впрочем, и в Англии, и в Латвии с таким же неудовольствием отнесутся к этому, если я подтвержу, что в довершение ко всему вы были и нашим агентом.

— А ведь это шантаж! Я возмущен, Уго, я возмущен!

— Легче, легче! Легче, Чемберлен Иосифович.

— Зачем же оскорблять британского премьера? Я ведь не называю вас Атиллой Адольфовичем.

– А для меня это комплимент.

– Что вы скажете, если я завтра напишу в моих газетах о ваших недостойных предложениях? И об этом возмутительном ночном допросе – тоже?

– Стоит ли?

– Вы меня ставите в безвыходное положение...

– Вы сами себя ставите в безвыходное положение. Я предлагаю вам достойный выход.

– Покупайте послезавтра «Пост»,– сказал Ян и хотел, повернувшись, уйти по дороге вниз, к городу, но он увидел, как Лерст полез за пистолетом. Ян в рывке схватил его руку. Они боролись, и Ян старался поднять руку Лерста с зажатым в ней пистолетом вверх. Прогрохотал выстрел, второй... третий... Лерст стал оседать на землю.

Ян обернулся. На шоссе белела фигура: это стояла Мэри. Она медленно прятала пистолет в белую сумку, сделанную из толстой блестящей соломки...

...Через сорок минут после этого Ян и Мэри бегом поднялись в ее номер.

– Не надо брать никаких вещей,– сказал Ян.– Сразу на аэродром. Немедленно...

– Но паспорт хотя бы я должна взять, милый...

– У тебя хорошее самообладание...

Они поднялись на второй этаж и увидели около номера трех испанских офицеров. Мэри остановилась. Ян шепнул:

– А вот это – конец.

– Сеньор Пальма? – лениво козырнув, спросил картинно красивый испанский полковник.

– Да.

– Сеньор Пальма, я прошу вас следовать за нами.

– Можно переодеться?

– Я бы на вашем месте этого не делал.

– Куда мы поедем?

– В штаб генерала Франко.

– И все-таки мне бы хотелось переодеться...

– Как вам будет угодно.

Ян думал, что офицеры пойдут следом за ним в номер, но они остались ждать в коридоре.

«Испанцы и есть испанцы,– успел еще подумать Ян,– рыцари не смеют оскорбить даму. Убить – да, но оскорбить – ни в коем случае».

Он обнял Мэри и шепнул:

— Улетай в Лиссабон. Сейчас же. Или уезжай. На моей машине.

...«Линкольн» с тремя молчаливыми испанцами пронесся по спящему Бургосу и остановился возле штаба Франко. Ян в сопровождении военных прошел через целую анфиладу комнат и остановился в огромном, отделанном белым мрамором мавританском дворике. Где-то вдали слышалась андалузская песня.

— Я не разбираю слов,— обратился Пальма к одному из военных.— О чем она поет?

— Я тоже плохо понимаю андалузский,— ответил офицер.— Я астуриец... По-моему, она поет о любви. Андалузский диалект ужасен, но они всегда поют о любви...

— Ничего подобного,— сказал второй испанец,— она поет о корриде.

— Нет,— возразил третий,— она поет колыбельную песню...

— Под такую колыбельную не очень-то уснешь,— сказал Пальма.

— Ничего, мы, испанцы, умеем засыпать и под марши,— усмехнулся полковник.

Распахнулись двери, и из внутренних комнат вышел министр иностранных дел Хордана в сопровождении военного министра Давила. Он приблизился к Яну и сказал:

— За кровь, которую вы пролили на полях испанской битвы, я хочу преподнести вам этот подарок,— и он протянул Яну золотую табакерку.

Пальма вытер глаза. От пережитого волнения они слезились.

Хордана понял это иначе. Он обнял Яна и тоже — молча и картинно — прижал пальцы к уголкам своих красивых больших глаз.)

БУРГОС, 1938, 6 АВГУСТА, 23 ЧАС. 05 МИН.

Вольф поднялся навстречу Штирлицу.

— Плохо,— сказал Штирлиц.— Все плохо. Надо давать отбой нашим самолетам. Будем решать все здесь. Сами.

— Люди готовы. Скажи, когда выгодней по времени делать налет на вашу контору.

— Это глупо, Вольф.

— Рискованно, сказал бы я, но не глупо.

— Помирать раньше времени — глупо.

— Это верно. Я, знаешь, познакомился в Мадриде с одним поразительным американцем. Хэмингуэй, писатель есть такой... Он мне сказал, что главная задача писателя — долго жить, чтобы все успеть.

— Ну, вот видишь,— мягко улыбнулся Штирлиц.— Поступать будем иначе. Какая у тебя машина?

— Та же... Грузовичок.

Штирлиц достал из кармана карту Бургоса и расстелил ее на столе.

— Смотри, вот это маршрут с нашей базы на аэродром...

— Понимаю тебя... Только почему ты думаешь, что твои эсэсовцы остановятся на дороге?

Штирлиц снял трубку телефона, быстро набрал номер:

— Ну как дела, приятель? Что у вас хорошенького?

— Ничего хорошего, штурмбанфюрер,— ответил Хаген.— Он снова закатил истерику.

— Вы...

— Нет, нет.. Он стал орать, что у него плохо с головой. Я не знаю, как они его повезут в самолете...

— Ничего, поблюет маленько. Видимо, им лучше знать, там, в Берлине, если они нас не послушались.

— Просто у кого-то зудят на него руки. Мы сделали главное дело, а пенки теперь снимут ребята на Принц-Альбрехтштрассе.

— Одна контора-то, Хаген. Одно дело делаем. Что ж нам делить? Вы с ним кончайте беседы — заберут его у нас, и бог с ним... Я бы вообще отправил его сейчас на аэродром, на гауптвахту — под расписку. Может, у него и вправду что-то с головой. Пусть уж он там у них, у военных, дает дуба. Как считаете?

— Я его сейчас же отвезу.

— Вам не надо. Зачем? Чтобы были сплетни? Получили радиограмму, и все. Ваша миссия закончена. Поменьше заинтересованности, дружище, всегда скрывайте свою заинтересованность: это, увы, распространяется не только на врагов, но и на друзей. Сейчас половина первого, у меня есть приглашение в одно хорошее место, верные люди. Приезжайте на Гран Виа через полчаса, я обещаю вам хорошую ночь, если уж нам показали кукиш из Берлина.

— А где это?

— От Пласа дель Капуцино — направо. Я вас буду ждать возле бара «Трокадеро». Не в баре, а у входа.

— Спасибо, штурмбанфюрер, я приеду.

— Латыша отправьте часа через два...

— Я ж тогда буду с вами...

— Отдайте письменное распоряжение: отправить к трем часам под конвоем из трех человек и передать оберлейтенанту «Люфтваффе» Барнеру.

— Он уже знает?

— Кто?

— Ну, тот обер с гауптвахты?

— Сошлитесь на Кессельринга, у меня же был с ним разговор...

— Может быть, это удобнее сделать вам?

— Какая разница... Вам еще придется иметь с ним дело, он будет к вам почтительнее относиться, если вы сошлетесь на Кессельринга.

— А может быть, нам следует самим отвезти его на аэродром?

— Почему? Скажут, что примазываемся... В общем-то, если хотите, валяйте, я не поеду. А вы сопроводите, чего уж, конечно, сопроводите...

Он нашел точное слово. Он не мог бы больше унизить Хагена, чем предложив ему «сопроводить». Он интуитивно понял, что именно это слово решит все дело. Он научился не ошибаться в своих чувствованиях.

— Я через сорок минут буду у вас,— сказал Хаген.

— Ну и ладно. Жду. Только, черт возьми, может, все же стоит вам его сопроводить, нет?

— Зачем примазываться? Вы правы. Сейчас кончу прослушивать пленку с записями допроса и приеду.

Он знал, что Хаген к нему приедет. Он точно строил свой разговор с ним. Он играл, не готовясь заранее и не расписывая предварительную партитуру вопросов и ответов. Просто, работая с Хагеном, Лерстом, Кессельрингом, он запоминал, анализировал и выверял те черты их характеров, которые в нужный момент могли быть использованы им, Штирлицем.

Он не ошибся: Хаген приехал в условленное время. Штирлиц до этого выпил несколько порций джина, чтобы от него несло алкоголем.

— Вам полагается штрафной,— сказал он Хагену, про-

тягивая ему стакан с виски. Он сыпанул туда немного снотворного и поэтому, куражась, проследил за тем, чтобы Хаген выпил все до дна. В баре было шумно, и две цыганки, которых он пригласил с собой, немедленно взгромоздились на колени к Хагену.

— За нашу нежность и дружбу,— возгласил Штирлиц еще раз.— И до конца. И черт с ними, с теми крысами, которые сидят в тепле и тишине и думают, что они утерли нам нос!

— Черт с ними,— согласился Хаген,— с этими вонючими крысами... Простите, сеньориты, такую грубость, но иначе не скажешь... Как можно сказать иначе про вонючих тыловых крыс, которые пытаются резать наши подметки на ходу?

Штирлиц захохотал, положил локти на стол, смахнул вазу и две рюмки. К ним бросился лакей с замеревшей улыбочкой, собрал битый хрусталь и унес полупустую бутылку.

— Ты заметил,— сказал Штирлиц,— он унес полбутылки себе. Они все страшные жулики, эти цыгане...

— Эй! — крикнул Хаген.— Дайте нам еще виски! Пусть они пьют остатки после нас. Да, прелестные сеньориты?!

Они выпили еще раз, и Штирлиц попросил оркестр сыграть немецкую солдатскую песню. Они заиграли странную песню, и Штирлиц, раскачиваясь, поднялся и, приложив палец к губам, сказал:

— Сейчас я вернусь...

Штирлиц позвонил в гестаповский «домик» из кабины, стоявшей при входе в гардероб.

— Хаген просил спросить,— сказал он,— когда вы думаете отправлять латыша?

— Сейчас вывозим,— ответил ему дежурный,— на аэродроме ждут.

— Посадите в машину пару лишних людей,— сказал Штирлиц,— чем черт не шутит.

— Да, штурмбанфюрер!

— И оружие проверьте!

— Это мы уже сделали.

— Ну, счастливо. А потом можете отдыхать...

Штирлиц незаметно вышел из телефонной будки. За углом стоял маленький грузовичок. Штирлиц устроился рядом с Вольфом, который сидел за рулем. В кузове было шесть ребят из его группы.

— Быстро, нам их надо перехватить в горах, пока они не выехали в город.

— Мы тебя ждали десять минут.

— Ты думаешь, так легко споить этого буйвола?

Они успели вовремя: машина с Пальма только-только вышла из ворот конспиративного дома гестапо. Конвойный удивленно посмотрел на шофера: на пустом шоссе стоял Штирлиц, подняв руку.

— Что он, контролирует нас?

— Не нас, а Хагена. Они все друг друга контролируют,— ответил шофер,— иначе нельзя.

Он затормозил возле Штирлица и, выйдя из машины, отрапортовал:

— Все в порядке, штурмбанфюрер, никаких происшествий.

— Это тебе кажется, что никаких происшествий. Быстро перегружайте его в пикап и садитесь туда сами.

— А моя машина?

— Я поеду следом за вами.

Трое конвоиров и солдат быстро затолкали Пальма в кузов пикапа, где сидело шестеро ребят из группы Вольфа.

— Как устроились? — спросил Штирлиц, заглядывая в кузов.— Не тесно?

— Ничего,— засмеялся шофер,— потерпим...

Штирлиц включил свет карманного фонаря. Конвоиры прищурились — Штирлиц нарочно слепил их ярким лучом света. Их и скрутили, пока они были полуслепыми.

Машину гестапо он пустил в пропасть, а сам сел в свою. Ее вел седьмой член группы Вольфа, который тут же перескочил в пикап.

— Будь здоров, Ян,— сказал Штирлиц,— все о`кей...

— Ненавижу американизм... Говори, как истые англичане: «ол райт»,— ответил Пальма и заставил себя улыбнуться...

Вернувшись в бар, Штирлиц зашел в туалет. Посмотрел на часы. Было 2.14. Значит, он отсутствовал тридцать три минуты. Он вышел из кабины, дождавшись, пока в туалет вошел кто-то из пьяных посетителей. Штирлиц сунул голову под кран и долго стоял так, на-

блюдая за тем, как полупьяный испанец дергался возле писсуара.

Взъерошив волосы, окликнул:

— Сеньор, помогите пьяному союзнику доковылять в зал.

Испанец оглушительно захохотал:

— Люблю пьяных немцев... Вы, когда пьяные, такие безобидные, такие веселые...

— Уж и безобидные,— икнул Штирлиц,— скажете тоже...

Он заставил испанца сесть к ним за стол и выпил с ним на брудершафт:

— Я думал, вы там уснули! — сказал Хаген, сдерживая яростную зевоту.— Я тоже спать хочу. А ты, Розита? Ты хочешь баиньки под перинкой? А?

— В такую жару спать под периной?! — засмеялась Розита.— Пауль, что ты говоришь?!

Штирлиц сказал:

— Хаген, я живу с тобой под одной крышей, и только от девочки узнал, что тебя зовут Пауль. Как тебя звала мама? А?

— Моя мама звала меня Паульхен, а тебя?

— Мы уже перешли на «ты»? Какой ты молодчина, Паульхен! Называй меня Макси... Мама звала меня «М»!

— Мама звала его ослиным прозвищем,— засмеялся Хаген и лег головой на стол.— Спать хочу. Ма!.. Розита, почеши мне шею, а? Да не смущайся ты, пташечка...

— Хаген, тут спать не гоже,— сказал Штирлиц,— это же не наш дом...

— Ничего, ничего,— сонно ответил Хаген и осовело поглядел на испанца.— Правду я говорю, каудильо?

Испанец медленно поднялся из-за стола.

— Я требую извинений,— сказал он.— Я оскорблен.

— Я приношу вам извинения за моего знакомого, который не умеет себя вести,— сказал Штирлиц,— пожалуйста, простите его, дружище. Помогите мне поднять его — он совершенно пьян. Вы где живете? Далеко? Я могу вас подвезти...

— Я живу на Пасео дель Прадо.

— В отеле «Флорентина»?

— Да.

— Меня зовут Штирлиц, а вас?

— Мигель Арреда.

– Я завтра вас разыщу, и вы отхлещете по щекам моего коллегу, и я подтвержу, что вы были правы, а он себя вел по-свински...

– Но он ваш приятель...

– Прежде всего он дипломат. Если не умеет пить – пусть не пьет!

Штирлиц протянул испанцу свою визитную карточку. Тот, поблагодарив, долго рылся в своем бумажнике, пока не нашел свою, напечатанную на сандаловом дереве.

Штирлиц прочитал: «финансист». Адрес. Телефон бюро и домашний.

«Настоящий финансист печатал бы свои визитки на простой бумаге,– машинально подумал Штирлиц,– обидно, если этот сандаловый Арреда жулик: он мой главный свидетель, он – мое алиби».

Попрощались они, как принято у испанцев: долго хлопали друг друга по плечу и спине; со стороны поглядеть – братья.

...Штирлиц будил пьяного Хагена в присутствии помощника посла. Он долго тряс его за плечо, и, когда тот открыл глаза, Штирлиц закричал:

– Где Пальма, паршивец вы этакий?! Вы же обещали отправить его на гауптвахту! Где он?!

– Он там,– ошалело ответил Хаген,– я велел конвою...

– Его там нет! И конвоя нет! А отвечать за вас кому? Мне? Да?!

«Я вышел,– думал он, продолжая кричать на Хагена.– Я вышел чистым. Теперь мне надо брать его под защиту и принимать удар на себя. Это надо сделать на будущее. Это хорошо, если я приму удар на себя,– этот сопляк ничего не поймет, это поймет Гейдрих. Он любит такие штучки – корпоративное братство и прочая галиматья... Ян теперь в безопасности – это главное. И я сработал чисто. Теперь надо отоспаться, чтобы не сорваться на мелочи, потому что я очень устал, просто сил нет, как устал...»

«*Центр*. Операция проведена. Дориан на месте. *Вольф*».

«*Центр*. Вызван в Берлин для дачи объяснений. Хаген разжалован в рядовые. *Юстас*.»

«Мисс Мэри Пейдж,
отель «Амбассадор»,
Лиссабон, Португалия.

Дорогая Мэри! Как всегда, мне везет на приключения. Видимо, это не так уж плохо. Я никогда не думал, что желтуха столь безболезненна, но — одновременно — так опасна. Со свойственной мне мнительностью я каждое утро щупаю печень и жду конца. Я бы спасся виски, но мне категорически запрещено пить. Я скучаю. Без. Тебя. Моя. Дорогая. (Это мой новый стиль — мне нравится рубить фразы, это модно и в духе времени.) Я почти не заикаюсь. Очень хочу отрастить усы. Я видел тебя во сне бритой наголо. Мой отъезд из столицы нашего испанского друга прошел на редкость гладко, без каких-либо неприятностей, и я еще раз понял, что являюсь самым страшным паникером и трусом из всех существовавших на этой прекрасной и бренной земле.

Твой Барух Спиноза по имени Ян Пальма.

P.S. Французские медицинские сестры носят очень короткие халатики, и это меня нервирует, хотя, как ты знаешь, моя страсть — северная поджарость, но отнюдь не французская спелость. Арриба Испания. Твой каудильо Франко. Париж, госпиталь «Сосьете франсискан», Пальма.

Денег у меня нет ни пенса — это для сведения.

Твой Крез».

Мадрид — Бургос — Москва

БОМБА ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ (1967)

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН 1967, АВГУСТ

1

Его бил озноб. Ночь была теплая, но его все равно бил озноб. Он то и дело оглядывался; улица была пустынной, ни одного такси, а до Чек Пойнт Чарли оставалось еще километра два по набережной, через мост, мимо бетонно-стеклянного здания концерна Шпрингера, на крыше которого мертвенно высвечивались буквы, слагавшиеся в слова: «Выпуск последних известий». Был уже второй час ночи — яркие, грубоватые неоновые фонари в черном небе казались осколками льда. Листва деревьев, подсвеченная этим холодным светом, была жирной, как бы сделанной в театральной мастерской из картона, выкрашенного темно-зеленой масляной краской.

Он понял: его бил озноб не от того, что́ он сейчас до смешного случайно узнал, и не потому, что он торопился в Чек Пойнт Чарли, чтобы скорее оказаться на той стороне; его бил озноб потому, что сейчас он впервые в жизни ощутил страх, и не просто страх, который знаком каждому, но особый — страх перед враждебностью всего окружающего. Все сейчас казалось ему враждебным, даже жирные листья платанов. Особенно страшно становилось ему, когда он видел черную воду канала. Льдистый свет фонарей в этой черной, жирной воде тоже казался жирным, и эта противоестественность льдинок и жира, увязанная в естественное единство провалом канала, пугала его сейчас больше всего.

«Хоть бы в одном окне был свет,— думал он,— я бы позвонил. Но он же сам мне сказал, что в полицию звонить бессмысленно. А может, я просто накручиваю себя... Насмотрелся детективов... И трясусь как осиновый лист. Надо переключиться, и все пройдет, и этот озноб тоже пройдет, и я смогу спокойно дойти до границы. Нельзя идти с этим гадостным чувством ужаса. Но повинен в этом только я. Он лишь довел меня до этого состояния. Сам трясся, и меня тоже стало трясти. Да, на что я хотел переключиться? На осень. Нет, на осиновые листья. Почему осина? Это, наверное, потому, что осиновые листья становятся красными осенью и жестяно шевелятся на ве-

тру, но все равно они не кажутся в наших лесах такими театральными, как эти жирные платаны. Смешно: «Отчего вы так покраснели, уважаемый лист осины?» Просто по-чеховски: «многоуважаемый шкаф». Вам стыдно, лист осины? Вам стыдно того, что скоро вы опадете, исчезнете под снегом, чтобы через год стать землей? Хватит об этих осинах,— одернул он себя.— Хватит!» Он внезапно почувствовал, как прошел озноб, и тело уже не била судорожная, частая дрожь.

«Вот и все,— сказал он себе.— Просто любой нормальный человек боится одиночества в ночи. Для этого, наверное, и женились первобытные, чтобы не страшно было спать одному в лесу. И старикам вдвоем спать не так страшно, когда каждая ночь может оказаться последней в жизни».

Он достал пачку сигарет и остановился. Закурил, несколько раз чиркнув отсыревшими спичками. «Отмокли в кармане,— отметил он,— это я так вспотел со страху... Завтра надо купить зажигалку».

Он услыхал сзади шум автомобиля. Вздрогнув, почувствовал, как ослабели ноги. И снова все тело покрылось холодной испариной.

«Сейчас закричу,— успел подумать он.— Разобью стекло в этом доме и закричу. Хотя какой это дом? Руины... Они меня здесь и подстерегли». Он обернулся: по улице катило такси. Над крышей горел фонарик: «Свободен».

Он попробовал шагнуть на мостовую, чтобы остановить машину, но почувствовал, что ноги его не слушаются: они стали ватными после того, как он услыхал мотор у себя за спиной в этом мертвом городе, среди руин, жирных листьев и черной воды канала.

«Я думал, что будет нестись какой-нибудь гоночный автомобиль с автоматами в открытых окнах. А это просто такси. Один шофер. И никого больше».

И, облегченно вздохнув, он вышел на мостовую и поднял руку.

— Добрый вечер, господин,— сказал таксист, распахнув дверцу.

— Чек Пойнт Чарли, пожалуйста.

— Чек Пойнт,— повторил шофер.— Без подружки нет смысла бродить, а?

«Не объяснять же ему, что у меня не было денег на

такси из центра до границы, а метро уже закрылось»,— подумал он и согласно кивнул головой:

— Да, без подружки, конечно, нет смысла гулять по городу.

— Нужна девочка?

— Нет, спасибо.

Он испытывал сейчас громадное, расслабленное, веселое и легкое счастье: так бывает, когда опасность, причем не очевидная (с ней легче бороться), а та, которую предугадываешь, к встрече с которой изнурительно готовишься, уже позади.

Шофер переключил свой зеленый фонарик на красный и сказал в маленький микрофон — такие сейчас установлены у большинства западноберлинских таксистов:

— Заказ на зональную границу. Чек Пойнт Чарли. У вас никого нет в том районе, чтобы взять в город?

Сквозь писк и треск диспетчерской службы низкий мужской голос ответил:

— Сейчас запросим.

Шофер пояснил:

— Надо кого-нибудь там подхватить в центр, чтобы не тратить зря бензин.

— Я понимаю. Хотите сигарету?

— С удовольствием. Нет, спасибо, я прикурю сам. Яркая вспышка спички — можно вмазать в столб. У меня так раз было.

Он ловко прикурил от зажигалки, затянулся и сказал:

— Я всегда курю «ЛМ», но ваши, пожалуй, покрепче.

2

Айсман потушил сигарету и посмотрел на Вальтера. Тот спросил:

— Будем варить кашу?

— А что делать? Это только в книжках у Маклина добрые английские диверсанты запирают наших солдат в подвалы, пока рвут форт. Этого парня не запрешь в подвал... Он теперь знает все.

— Мало ли про нас говорят. Мы привыкли. Пусть поболтают еще...

— Наш выродок сказал ему про Лима. И про нас. И про штаб-квартиру. И про полигон...

— Будить хозяина?

– Он не спит...

– Тогда давай приказ...

– Нет,– задумчиво ответил Айсман, но эта задумчивость не помешала ему стремительно набрать номер, подключить к телефону диктофон и сказать в трубку: – Парень уходит. Как быть?– Он внимательно выслушал ответ:– Ясно. Хорошо.

Вальтер посмотрел на Айсмана, осторожно положившего трубку на рычаг, и спросил:

– Что он сказал?

– Передай шоферу, что парня выпускать нельзя.

Вальтер взял микрофон и перевел кнопку на отметку «Связь».

В микрофоне таксиста зашуршало, и сквозь таинственные помехи спящего города низкий мужской голос пророкотал:

– Возьмите адрес: Нойкельн, Шубертштрассе, пять.

– Вас понял, благодарю,– ответил шофер и подмигнул пассажиру:– Все в порядке, я обеспечен клиентом. Пожалуйста, если вас не затруднит, откройте сзади окно: очень душно, а кондиционер поставить – нет денег...

– Повернуть ручку вниз?

– Нет, наоборот, вверх. Да вы станьте на сиденье коленями, так не дотянетесь.

Человек стал на колени и потянулся к белой, сверкающей хромом ручке. Именно эта сверкающая белая ручка на красной кожаной обивке была тем последнием, что он видел в жизни,– пуля, выпущенная шофером из бесшумного пистолета, снесла ему полчерепа, и рыжий мозг забрызгал стекло, которое через какое-то мгновение стало черно-красным от крови.

Пуля, пройдя сквозь дверцу сверху вниз, потому что шоферу пришлось чуть привстать, чтобы удобнее было стрелять в затылок пассажира, срикошетила о люк канализации и разрезала угол окна в квартире фрау Шмидт. Ударившись о металлический держатель люстры, пуля разбила экран телевизора – уже на самом излете.

Фрау Шмидт в это время снился сон, будто она во время бомбежки потеряла карточки на маргарин и крупу. Она закричала и проснулась. Ее дочь Лотта прибежала к ней в спальню. Дочь просила ее остаться еще на неделю в Гамбурге: обстановка «во фронтовом городе» дурно от-

ражалась на нервном состоянии матушки, где та жила совсем одна, в большой квартире, далеко от центра, на берегу Брюггерканала — как раз в том месте, где только что был убит человек, считавший, что «переключиться» следует, настраиваясь воспоминаниями на осенний лес, в котором пламенеют осиновые листья...

3

Гейнц Кроне любил печатать стоя, но в редакции не было бюро, на котором можно было установить машинку. Поэтому Кроне обычно устраивался на подоконнике.

В «Европейском центре» — самом высоком здании Западного Берлина, где помещался «Телеграф», были широкие дубовые подоконники, очень высокие,— можно было поставить машинку, рядом положить стопку бумаги, и еще оставалось место для книг и справочников.

Кроне допечатал страницу, закурил, вставил в машинку чистый лист и посмотрел в широкое, без рамы, окно. Город засыпал, и поэтому сине-неоновое освещение «Европейского центра» казалось тревожным и неживым.

«Его хорошо знают рабочие заводов в Ганновере, Дюссельдорфе, Бремене, Эссене и Гамбурге; несколько меньше он знаком сотрудникам вычислительных центров по автоматике и системам управления в Западном Берлине, Нюрнберге и Мюнхене; прессе о нем доподлинно известно лишь то, что было в свое время опубликовано оккупационными властями в 1946 году. С помощью его «мозгового треста» сейчас точно дозируются сведения о том, что глава концерна демократичен, прост в обращении, неприхотлив в личной жизни (тратит на себя 13 марок в день, курит самые дешевые сигареты), любит Вагнера и Баха; читает Сименона и Жюля Верна и носит костюмы, купленные в универмаге, 52-й размер, 4-й рост. Однако все, что касается его дел, окружено плотной стеной тайны, кроме итоговой цифры: он владеет семью миллиардами марок. «Система безопасности» концерна отработана на редкость тщательно. Одни считают это возможным потому, что концерн семейный, а не акционерный, следовательно, глава и хозяин практически бесконтролен во всех своих действиях и несет личную ответственность лишь перед законом. На наш взгляд, служба разведки в концерне столь точна потому, что органи-

зовали эту работы анонимы из бывшего IY отдела имперского управления безопасности. Напомним тем, кто рожден после 1945 года: IY управление РСХА в просторечье называлось во времена Гитлера короче и определеннее — гестапо.

Несмотря на то, что начиная с 1952 года все связанное с деятельностью Фридриха Дорнброка окружено сочно выписанными «рождественскими мифами», ряд сведений нам все-таки удалось получить. Например, нам стало известно, что господин Дорнброк вел переговоры с баварским правительством о покупке той земли в Берхстенсгадене, где стоял дом Гитлера. Г-ну Дорнброку отказали, но он сумел купить землю неподалеку, общей площадью восемь квадратных километров. Крестьяне в окружающих деревнях вскоре стали называть эту огороженную металлической сеткой территорию «вулканом дракона», ибо в горное поместье провели большую шоссейную дорогу для грузовых автомашин, в камнях пробили гигантскую штольню и на водопаде была построена электростанция, мощность которой позволяла сделать вывод о ее целевом назначении. Взрыв, произошедший в штольне,и отсутствие каких-либо сведений о причинах взрыва, потрясшего — в прямом смысле — окрестности, позволяют считать «атомную версию» единственно разумной. Это очень напоминало подземные ядерные испытания. Представитель концерна сделал заявление для печати, в котором утверждал, что в штольне проводились работы по уточнению взаимодействия систем «центрифуги», предназначенной для получения урана «исключительно в мирных целях». Работы в «вулкане дракона» после этого прекратились, однако заводы концерна Дорнброка активно, с нарастанием выпускают жаропрочные металлы, ракетное топливо, электронную технику; в его исследовательских институтах отрабатываются новейшие системы управления и космической связи. Нас не может не волновать, где, в каком месте Федеративной Республики, на каком из своих заводов г-н Дорнброк продолжает работы по созданию «личной» атомной бомбы. Надо надеяться, что правительство канцлера Кизингера всерьез заинтересуется этим вопросом. Нас, во всяком случае, не устраивает утверждение статс-секретаря о том, что слухи о работе Дорнброка в области создания «Н-бомбы» преувеличены, поскольку в ФРГ нет районов, где

было бы возможно проведение испытаний ядерного оружия. Это утверждение и голословно, и наивно».

Гейнц Кроне вычеркнул несколько прилагательных, прочитал статью еще раз и пошел к шеф-редактору «Телеграфа»: когда дело касалось концернов Флика, Дорнброка или Круппа, Кроне показывал свои материалы и директору издательства, и шеф-редактору газеты, чтобы вместе определить позицию на будущее – в случае, если последует судебный иск «о клевете и диффамации».

– К грозе,– сказал Кроне, входя к шеф-редактору.– Вы чувствуете, как парит? Вот смотрите, я, по-моему, недурно расправился с Дорнброком.

– Не надо с ним расправляться,– сказал шеф-редактор и протянул Кроне свежие листы с телетайпа.– Сейчас о нем нельзя печатать ничего, это будет слишком жестоко.

Кроне прочитал сообщение: «Как стало известно, болгарский интеллектуал Павел Кочев, стажировавшийся в Москве, в аспирантуре профессора Максима М.Исаева по теме "Концерн Дорнброка", вчера обратился к властям Западного Берлина с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Об этом сообщил на пресс-конференции директор газеты "Курир" Ленц».

– Ну и что?– удивился Кроне.– Какое это имеет отношение к моему материалу?

– Переверните страницу. Они у вас слиплись. Вы не то читали.

«Майор Гельтгофф из полиции сообщил прессе, что на квартире кинорежиссера Люса, известного своими левыми убеждениями, только что обнаружен труп Ганса Фридриха Дорнброка, единственного наследника всех капиталов концерна».

ЗАКОН И ЛИРА

1

«Милый Паоло, ты – сволочь! Я три дня искал тебя, а только сегодня секретарша изволила сообщить мне, что ты улетел в Лондон и вернешься через неделю, когда я снова буду в Берлине. А ты мне сейчас нужен, как никто другой, потому что хоть ты и являешься свиньей, но хрюкаешь откровенно.

Я только что просмотрел отснятый материал, и стало мне так горестно, хоть воем вой. Что происходит со мной? Кто так хитро шутит — между тем, как возник замысел и пошла продукция,— кто путает, мешает, гадит?! А что такое «замысел»? Некоторые пишут конспекты и могут заранее рассказать свою будущую картину, до того как начнут снимать фильм. А я ничего не могу рассказать: какие-то странные видения рвут мою бедную голову, я слышу обрывки разговоров, вижу лица, чувствую возникновение интересных коллизий, а когда начинаю все это записывать и снимать — получается сухомятка, какое-то постыдное калькирование жизни.

Не зря сейчас искусство разделилось на два направления, почти абсолютно изолированные друг от друга. Первое — фактография, документалистика, точное следование правде, некое развитие Цвейга. Второе — «самовыворачивание», вроде Феллини, Антониони и Лелюша. Некоторые говорят о них: «Эти плюют на проблемы мира, на трагические вопросы, которые ставит наше время». Глупо. Если Феллини выворачивает себя, делая больно родным и друзьям, он приносит себя в жертву времени: «Смотрите, люди, вот я анатомировал себя во имя вашего благополучия! Смотрите внимательно, не повторяйте меня, а если хотите повторить, подумайте о том-то и том-то!» Другие утверждают: «Документ, конечно же, интереснее фантазий и страданий особи, подобной мне, во плоти и духе. Пусть уж будет голый факт — я сам стану думать о том, в какой мере это описываемое или снимаемое хорошо или плохо». Наверное, люди тянутся к строгой документалистике, оттого что им осточертели всякого рода диктаты: начиная со страхового агента, советующего не курить помногу, и кончая чиновником министерства иностранных дел, который «рекомендует» не посещать Ханой; людям надоело диктаторство писателя, навязывающего сюжет; законодателя мод, который меняет острые каблучки на толстые; критика, выносящего непререкаемый приговор о новом живописном вернисаже; премьер-министра, замораживающего зарплату. Все надоело, все! А ведь *все* в нашем мире продиктовано кем-то или чем-то, все загнано в рамки закона, беззакония, тирании, демократии, но все в рамках! Зачем же тогда творчество?

Я рванул из самовыворачивания в документалистику, но посреди дороги понял, что документалистика не дело

художника, если он замахнулся на то, чтобы быть художником, а не человеком со специальностью «кинорежиссер»! И понял: надо обратно, к человеку, к себе самому, к тебе, ко всем нам...

Ладно. Поплакался, и будет. Когда закончу эту картину о сегодняшнем «фронтовом городе», о том, как там благодушествуют генералы СС в том же Далеме, где жил Гиммлер, и о студентах, которые влачат полуголодное существование, бери меня на работу в свою рекламную контору: к старости буду обеспечен вполне пристойной пенсией.

Между прочим, сегодня мне попалась статья о родителе нашего с тобой друга. Бедный Ганс! Он не в папу. Старый Дорнброк имеет зубы, а Ганс — дитя, и мне порой кажется, что он — само опровержение теории наследственности: так он непохож на своего отца. Он приходил ко мне пьяный, в ночь перед моим вылетом из Западного Берлина. Это был смешной и странный разговор. Если бы я не принял решения вернуться в кинематограф чувств, я бы, возможно, ухватился за его предложение. Он предложил мне сделать ленту о его концерне. Говорил о трагедии, которая нас всех ждет, и обещал сказать мне такое, от чего содрогнется мир. Впрочем, это сейчас несущественно. Главное — принять решение. А я его принял. Мир устал от реальных проблем. Чувства вечны.

Да, можешь выразить «соболезнование». Мой "Нацизм в белых рубашках" получил очередную премию на фестивале в Мексике. А у нас о картине по-прежнему молчат, сволочи. Как воды в рот набрали. Я успокаиваю себя тем,что, значит, прижал кого-то. Но ведь честолюбие съедает! И денег от проката нет!»

2

— Мастер!— окликнул Люса его ассистент, заглянув в номер без стука.— Свет поставлен, актеров привезли, ждут вас.

— Хорошо. Иду. Спасибо.

Люс решил было дописать письмо после съемок, но понял, что работать ему предстоит всю ночь, утром придется кое-что подснять на улицах скрытой камерой, потом еще одна маленькая съемка — паренька, уехавшего из Западного Берлина, и сразу домой. Так что, решил Люс,

дописывать ему будет некогда. Спустившись вниз, он попросил портье бросить конверт в почтовый ящик.

Сегодняшняя ночная съемка была назначена в баре отеля. Лестница, которая вела в бар, была покрыта люминисцентной краской, и Люс, спускаясь вниз, вдруг ощутил себя как в детстве, когда они играли в индейцев. Сочетание красного, синего и белого цветов всегда ассоциировалось в нем с кинокартинами об индейцах. До войны в Германии часто показывали американские картины об индейцах, сопровождая демонстрацию вступительными титрами о том, как янки угнетают коренное «арийское» население Америки.

...Актеров, которых привез ему ассистент, Люс не знал. Две женщины и два парня. «Наверное, из театра,— решил Люс.— Они слишком напряженно рассматривают камеру. В общем-то, хорошо, что их никто не знает. Мне и нужны такие люди в этой картине — никому не известные».

— Добрый вечер, господа,— сказал он,— извините, что я задержал вас.

— Добрый вечер,— нестройно ответили актеры.

«Черная девочка ничего,— отметил Люс.— Видимо, она подойдет больше остальных. Вторая слишком красива и чувственна. Ухоженная лошадь, а не женщина. Мужчины не очень-то годятся. Георга всегда тянет на «эталоны». Обязательно, чтобы два метра, косая сажень в плечах и ослепительная улыбка. Такие мужики хороши в вестерне или в постели, у меня они будут диссонировать с отснятым материалом».

— Мой ассистент,— сказал Люс,— уже, по-видимому, изложил вкратце вашу задачу в сегодняшней съемке?

— Да.

В баре было сумрачно. После того, как попробовали свет, и ослепительные голубые софиты тысячекратно отразились в зеркалах, глаза с трудом привыкали к мраку. Люс решил было еще раз посмотреть, как поставлен свет, но Шварцман, его продюсер, был начинающим бизнесменом, денег у него было мало, и поэтому приходилось экономить и на электроэнергии, и на количестве отснятых дублей. Впрочем, Люс довольно легко переносил это, потому что Шварцман не влезал в съемки, не давал советов, как это обычно принято, и не просил взять на роль героини свою девку.

— И наш метод вам тоже известен?— спросил Люс актеров.

— Нет, мастер,— сказал за них Георг.— Я думал, что об этом лучше рассказать вам.

— Разумно. Я бы просил вас, коллеги,— Люс улыбнулся актерам своей внезапной обезоруживающей улыбкой,— забыть на время нашей сегодняшней совместной работы, что вы из театра. Мы снимаем фильм в некотором роде экспериментальный, фильм-поиск. У нас нет актеров. Собственно, те актеры, которые помогают нам в работе,— это просто-напросто наши единомышленники, товарищи по оружию. Сегодня в этом баре соберутся бабушки и старички из «ассоциации борьбы за чистоту нравов и святость любви». Это филиал нашей западно-берлинской штаб-квартиры. Вы имеете возможность говорить с ними о том, что волнует вас, ваше поколение. Я не хочу готовить вас к съемкам, чтобы не было заданности, чтобы не поперла режиссура. Вы понимаете?

— Я понимаю,— первой откликнулась «лошадь» и обворожительно улыбнулась Люсу.

«Точно,— сказал он себе.— Я был уверен, что она откликнется первой. Почему красивые, ухоженные актрисы считают своим долгом переспать с режиссером? Наваждение какое-то...» — Ну и прекрасно,— сказал Люс.— Представьте себе, пожалуйста, что я — старик из этой «ассоциации святой любви». Ничего звучит, а? Валяйте беседуйте со мной. Георг, дайте на несколько минут свет, и пусть приготовят звукозапись. Ну,— он обернулся к высокой красивой актрисе,— прошу вас.

— Скажите, вы любили только один раз в жизни?— спросила она с придыханием, чуть нагнувшись, чтобы Люсу была видна ее большая грудь в низком вырезе платья.

— Конечно. А вы?

— Я?— женщина растерялась.

— Да. Вы.

— А разве меня тоже будут спрашивать? Я думала, что мое дело — задавать вопросы, как во время телевизионных шоу.

— Нет, отчего же... Вам наверняка станут задавать вопросы, причем самые неожиданные.

Люс не хотел говорить актерам, что старики, которые соберутся здесь, совсем не такие нежные, розовые божьи

одуванчики, какими они казались. Все мужчины в этой ассоциации в прошлом были активными членами НСДАП, и большинство из них работали в министерстве пропаганды и в партийной канцелярии Гесса и Бормана, занимаясь проблемой создания «новой морали» для тысячелетнего рейха. Люс задумал эту съемку довольно рискованно: он рассчитывал, что старики проведут свою «пропагандистскую работу», не встречая сопротивления со стороны актеров, которые в силу своей профессии «подыгрывают» на площадке партнеру, а не спорят с ним. Потом, думал Люс, когда старики кончат свои монологи, он подмонтирует хронику: он даст кадры, где были сняты эти старички в пору их молодости, когда они ратовали за чистую любовь арийцев, которым мешают претворять в жизнь их великие идеалы большевики, славяне, евреи и цыгане.

— Так,— сказал Люс,— хорошо. Начнем сначала? Простите, как вас зовут?

— Ингрид.

— Очень красивое имя,— улыбнулся Люс.— Итак, мой вопрос: «А разве вы...»

— Да-да, помню,— быстро ответила актриса.

«Готовилась, дуреха,— понял Люс,— все то время, пока меняли пленку в диктофоне, она мучительно готовилась к ответу».

— Я любила два раза,— сказала Ингрид.

— Вы убеждены в этом? Именно два раза? А не три?

— Именно два раза. Мой жених разбился на скачках, он был наездником. Я очень любила его. И сейчас я люблю человека, который похож на моего первого возлюбленного. Он так же благодарен, чист, нежен...

— Может быть, все-таки,— настаивал Люс,— вы любили всего один раз — того, первого, который погиб? Может быть, вы и сейчас продолжаете любить его — в облике другого человека?

Актриса вздохнула и согласилась:

— Может быть, вы правы.

«Идиотка,— подумал Люс.— Ее нельзя оставлять в фильме. Я пущу ее на затравку, старики начнут торжествовать победу, и тогда уже мне придется взять у них пару интервью. Надо будет предупредить Георга, чтобы он снимал меня со спины, когда я отойду от камеры».

— Благодарю вас, Ингрид,— сказал Люс.— Все очень хорошо. Теперь попрошу вас, фройляйн...

– Кристина Ульман.

– Пожалуйста, Кристи,– попросил Люс.

Худенькая, в длинном черном свитере и потрепанных джинсах, Кристина села напротив Люса, и глаза ее – длинные, черные – сощурились зло и выжидающе.

– Вы лжете,– сказала она, помедлив,– когда говорите нам о возвышенной, святой и чистой любви. Сейчас такой любви не может быть.

– Отчего?– спросил Люс и напрягся. Он почувствовал, что эта девочка может предложить схватку.

– Оттого, что ваше поколение убило любовь!

– Стоп!– сказал Люс.– Спасибо, Кристи! Дальше не надо. Сейчас мы стреляем вхолостую. Итак, коллеги, полная раскованность, вы – хозяева площадки, смело принимайте дискуссию, но не перебивайте собеседников, дайте им сказать то, что они хотят сказать, расположите их к себе. Мужчинам придется беседовать со старухами. Бабушки любят сентиментальность – помните об этом...

– Добрый вечер, дамы и господа,– первым начал высокий актер,– мое имя Клаус фон Хаффен. Мне хотелось бы задать несколько вопросов нашим дамам. Позвольте?– он чуть поклонился той старухе, которая была к нему ближе других.

– Пожалуйста, господин фон Хаффен.

– Ваше имя?

– Ильзе Легермайстер.

– Фрау Легермайстер, меня интересует только один вопрос,– говорил актер хорошо поставленным голосом, на настоящем «хохдойч».

Люс похолодел от счастья, прилипнув к камере: бабушка смотрела на двухметрового красавца с нескрываемым вожделением. Люс плечом оттер Георга от камеры и наехал трансфакатором на лицо старухи.

Актер продолжал:

– Мой вопрос прост, и вы, вероятно, догадываетесь, каким он будет. Сколько раз в жизни вы любили?

– Один раз.

– Вы любили вашего мужа?

Старик, сидевший рядом с фрау Легермайстер, заулыбался, а старуха, не поворачиваясь к нему, словно прилипла взглядом к актеру.

— Да,— ответила она и чуть кивнула направо,— моего мужа.

— Вы никогда не были увлечены другим мужчиной?

Старуха обернулась к мужу. Она смотрела на него какое-то мгновение, и глаза ее были выразительны, и вдруг она заулыбалась длинными фарфоровыми зубами с четко просматривающимися золотыми прослойками.

— Нет,— ответила он,— я любила только моего милого Паульхена.

— Ваш муж казался вам образцом во всех смыслах?

— Да. Он был образцовым лютеранином, отцом и гражданином.

— Простите, фрау Легермайстер, мой следующий вопрос, но он необходим: был ли ваш муж образцовым мужем? Мужчиной, говоря точнее?

— Господин фон Хаффен, это меня никогда не волновало. Для меня всегда было главным духовное в любви, а не грязное, плотское...

Люс почувствовал, как затрясся от сдерживаемого смеха ассистент,— они сидели у камеры, тесно прижавшись друг к другу, и Люс толкнул его локтем.

«Великолепно,— радовался Люс,— было очень ясно видно, как она врала. Это удача».

Следующей на маленькую сцену, где обычно выступал джаз-банд, вышла Ингрид.

— Какой должна быть чистая, высокая любовь?— спросила она старика, сидевшего за столиком в одиночестве.

— Настоящая любовь,— ответил старик, пожевав синими губами,— должна быть доверчивой, нежной и трепетной.

— Простите, ваше имя? Телезрителям интересно узнать ваше имя...

— Освальд Рогге.

— Господин Рогге, что такое доверчивая любовь?

— Как бы вам объяснить получше,— вздохнул старик.— Это когда с первого взгляда... Даже не знаю, как объяснить...

— Ваша жена отсутствует на нашей встрече?

— Да. Она отдыхает с внуками на побережье.

Ингрид нахмурилась, обязательная улыбка сошла с ее лица, и она вдруг спросила:

— Как вы думаете, господин Рогге, возможно ли со-

хранить любовь после измены? Случайной, глупой... Ненужной...

— Нет,— отрезал Рогге.— Это исключено.

— А что же тогда делать человеку, который любит, но который в силу обстоятельств оказался... падшим...

— Об этом надо было думать раньше.

— Любовь исключает милосердие?— спросила Ингрид.

«Я подонок,— подумал Люс.— Что за манера — сразу составлять впечатление о человеке по первым двум фразам? Это преступление — позволять себе плохо думать о человеке, не узнав его толком. Фашизм какой-то. Разве я допускал, что она задаст такой изумительный вопрос? Впрочем, Нора решит, что я сочинил ей этот вопрос после совместно проведенной ночи».

— Любовь — это само милосердие,— ответил Рогге,— но для того, чтобы сохранить любовь, милосердие и чистоту отношений, следует быть беспощадным по отношению к падшим.

— Я не хочу вам верить,— сказала Ингрид, и в глазах у нее появились слезы,— нет мужчин, которые не изменяют женам! Нет! Я таких не встречала! Все мужчины изменяют, только одни это делают как скоты, а другие ведут себя как честные люди — не сулят рая и не клянутся в вечной любви!

— Я протестую!— сказал высокий, сильный еще, хотя седой как лунь, мужчина и поднялся со своего места.— Мы думали, что киноискусство хочет помочь нам в воспитании молодых германцев, а здесь мы видим попытку опорочить идеалы!

Люс начал грызть ногти: он грыз ногти в горе и в радости. Он знал, что это ужасно. Нора пилила его, утверждая, что ногти грызут только те мужчины, которым суждено быть вдовцами; он знал, как это омерзительно со стороны, но он ничего не мог с собой поделать. Сейчас была радость — нежданная, он даже не мог мечтать о такой удаче: говорил Иоахим Гофмайер, бывший советник Геббельса по работе с молодежью. У Люса были архивные кинокадры, в которых Гофмайер выступал перед активом гитлерюгенда и давал указания, как и от чего следует уберегать германскую молодежь, что́ надо противопоставлять растленной большевистской и англо-американской пропаганде.

Люс не ждал, что к Гофмайеру подойдет Кристина. А

она шла к нему, подтягивая за собой, как шлейф, провод микрофона.

– Неправда!– воскликнула она.– Никто не намерен выступать против идеалов чистой любви! Впрочем, я не понимаю, как можно делить любовь на «чистую» и «нечистую»?!

В зале поднялся шум. Благообразные старушки начали молотить по столикам тяжелыми пивными кружками.

– Самое чистое можно опорочить!– перекрывая шум, продолжала Кристина.– Можно! Напрасно вы так кричите! Значит, вы боитесь меня, если не даете мне говорить!

– Тихо, друзья!– Гофмайер поднял руки, обращаясь к членам своей «ассоциации».– Дадим юной даме возможность высказаться и докажем ей, что нам нечего бояться. Прошу вас, юная дама.

– В ком больше чистоты и нравственности,– спросила Кристина,– в том, кто делает то, что ему хочется, открыто, не скрываясь, или в том, кто делает то же самое – вы знаете, про что я говорю, вы все знаете, и дамы и господа,– таясь, опасаясь, оглядываясь на прописную мораль буржуа?!

– В том чистота, юная дама, кто не оглядывается на прописную мораль, но согласовывает свои поступки с моралью истинной.

– В чем отличие прописной морали от морали истинной?

– Мораль – это, если хотите, соблюдение норм поведения.

– Значит, любовь – это норма поведения?– наступала Кристина.

– Поначалу любовь – это влечение сердец, а потом, когда влечение освящено церковью,– это, я не боюсь показаться старомодным, соблюдение норм морали и правил поведения.

– Влечение сердец?– переспросила Кристи.– А как быть с телом?

– Разве сердце бестелесно?– спросил Гофмайер и победно засмеялся своему вопросу.

– Ну, так вот о теле и сердце,– став бледной, заговорила Кристина, дождавшись, пока в зале стихнет смех.– Я вам хочу кое-что рассказать о сердце, чистой любви и теле. Я забеременела от господина вашего возраста...

Гофмайер, побагровев спросил:

– Надеюсь, это был не я? Или вы забыли лицо вашего соблазнителя?

– Он был профессором римского права в нашем университете,– продолжала Кристина.– Он так читал о величии нравов Рима, что казался мне выше всех людей на земле, не говоря уже о тех первокурсниках, которые норовили прижаться ко мне коленкой на лекции. Я поссорилась с моим юношей, глупо поссорилась, а наш профессор ехал со мной в одном вагоне метро, и я, даже не знаю почему, рассказала ему об этом. Ах, как красиво он говорил о любви и о подлости молодого поколения! Как он мне рассказывал о своей жене, которая изменила ему, и как она потом стояла перед ним на коленях, а он не простил ей, потому что «нельзя прощать подлость»! Как он говорил о чистоте, сделав меня женщиной! Как он говорил об идеалах, вынуждая меня лгать дома про то, где я провожу ночи! Как он анализировал литературу и театр! Как он был воспитан и добр, как он был нежен, зная, что никогда не женится на мне! А когда я забеременела, он стал просить меня отдаться тому бедному мальчику, чтобы было на кого свалить ребенка! Вы все предатели! Вы изменяли своим женам, а ваши жены изменяли вам, пока вы были молоды, а теперь вам хочется замолить грехи, и вы начинаете учить нас чистоте!

В зале началось что-то невообразимое – крики, шум, свист...

Люс схватил второй микрофон и вышел на середину зала – Кристи убежала куда-то.

– Дамы и господа!– закричал он, чувствуя отчаянную, холодную радость.– Господин Гофмайер! Дамы и господа, я прошу вас успокоиться. Может создаться впечатление, что вы противники демократии, ибо нельзя же, право, лишать человека его точки зрения, даже если вы не согласны с этой точкой зрения! Господин Гофмайер, у меня к вам вопросы. Надеюсь, ваши ответы все поставят на свои места.

– Хорошо,– ответил Гофмайер,– я готов ответить на ваши вопросы.

– Благодарю вас. Скажите, вы недавно пришли к этой великолепной и поистине добродетельной идее борьбы за чистую любовь или же всегда исповедовали те принципы, которым сейчас так самоотверженно служите?

– Я всегда исповедовал эти принципы...

– И до войны и после нее?

– Да.

– Эти же самые принципы вы исповедовали и в тридцатые, и в сороковые, и в пятидесятые годы?

– Да.

– Значит, вы верили в чистую любовь, состоя в рядах гитлеровской партии и СС?

– Кто вам сказал об этом?

– Вы сами. Вы же сказали, что верили в сороковом году в те же принципы, что и сейчас... Разве нет?

– Кто вам сказал про СС?

– Вы не были членом СС?

– Не шантажируйте меня! Господа,– он обернулся в зал,– здесь собралась банда! Это красные!

– Господин Гофмайер, вы уходите от ответа: вы были в СС?

Зал ревел.

– Панораму по лицам!– крикнул Люс Георгу, сидевшему за камерой.– Крупно!

– Сделал!

– Еще крупней!

– Сволочи! Мерзавцы! Провокаторы!– орали старики, поднявшись со своих мест.

Люс обернулся к Георгу и засмеялся – как выдохнул:

– Снимайте звук, ребята, и убирайте свет! Все. Этот балаган мне больше не нужен.

– Какое вы имели право снимать наше собрание?!– надрывалась старуха, подскочив к Люсу.– Мы привлечем вас к суду! Это провокация!

...Вскоре прибыл наряд полиции. Гофмайер обвинил Люса в диффамации и клевете и потребовал засветить отснятую пленку. Пришлось ехать в полицию– объясняться. Люс отказался давать показания до тех пор, пока не приедет адвокат. Он знал, что Гофмайер ничего не добьется, потому что Георг получил у президента «чистых любовников» разрешение на проведение съемок. Однако Люс чувствовал, как колотится сердце и противно холодеют руки. «Рабья душа,– подумал он,– до сих пор я не могу выжать из себя страх».

Полицейский офицер, сняв допрос, сказал, что он не видит противозаконных действий в том, что произошло в баре во время встречи, запланированной руководством «ассоциации по защите чистой любви». Он предложил

Гофмайеру обжаловать его решение и пленку арестовывать не стал, поскольку Люс производил съемки в соответствии с разрешением, полученным официальным путем.

— Я бы не мог наложить арест на пленку, господин Гофмайер, поскольку конституция Федеративной Республики гарантирует свободу собраний таким же образом, как и свободу слова,— добавил полицейский.

— Пленка — не слово, господин офицер,— возразил Гофмайер,— я обжалую ваше решение.

У Люса тряслись руки, и он был ненавистен себе за то, что Гофмайер видел, как у него тряслись руки.

Когда он вернулся в отель, в «ресептион», ему передали телефонограмму из Киприани — там отдыхала Нора с детьми. «Фрау Люс ждала звонка до трех часов ночи. Господина Люса просят не звонить до десяти часов утра, потому что фрау Люс не будет в номере, и ночной звонок может испугать мальчиков».

Люс поднялся к себе и сел к окну. Рассвет был серым, сумрачным. Голуби, которые летали над площадью, казались грязными, словно чайки в гавани.

«Дурочка,— подумал Люс о жене.— Она вызывает во мне ревность. Я же знаю, что, несмотря на все ее истерики, она самый верный мне человек. Единственный верный, до конца. Без остатка. Она думает, что если ревнуют, значит любят. Она никак не хочет согласиться со мной, что ревность — это от себялюбия. Лапочка моя...» Люс решил поспать часа два — ночные съемки на улицах сорвались из-за того, что группа просидела в полиции. Он лег было, но потом поднялся, поняв, что не уснет: удача съемки в баре зарядила его энергией, которой так ждет каждый художник. Забывается все: усталость, телеграммы Норы из Киприани, страх в полиции. Все уходит, остается лишь одно яростное желание продолжать работу.

Люс написал на листочке бумаги: «В творчестве надо, как в горах, не терять высоту». Ему понравилась эта фраза, он прочитал ее вслух и позвонил ассистенту:

— Мой дорогой Георг, не кидайтесь в меня туфлей. Давайте отстреляемся сегодня до середины дня, чтобы вечером продолжить работу в Западном Берлине. Руки чешутся. У вас тоже? Я очень рад. Спускайтесь вниз, выпьем кофе.

Однако кофе он выпить не смог — растерянный Георг

принес утреннюю газету, в которой сообщалось, что полиция обнаружила в доме Люса труп Ганса Ф.Дорнброка.

3

Прокурор Берг сказал:

— Фердинанд Люс, я вызвал вас в качестве свидетеля. Если у меня будет достаточно улик, я прерву допрос, потому что тогда каждое ваше слово может быть обращено против вас, и вам не обойтись без адвоката, ибо из свидетеля вы превратитесь в обвиняемого.

— Могу поинтересоваться — в чем?

— Я, знаете ли, исповедую постепенность... Не будем торопиться. Именно у вас на квартире погиб Дорнброк.

— Значит, меня обвиняют в убийстве?

— Я вас ни в чем не обвиняю, господин Люс. Я вызвал вас в качестве свидетеля. Вы готовы правдиво отвечать на мои вопросы?

— Да. Готов. Я готов на все, лишь бы скорее кончился этот ужас! Я готов на все! В газетах началась травля, продюсер уже бегает от меня! Почему меня обвиняют?! В чем?! Я не виноват в самоубийстве Ганса! Не виноват!

Берг снова надолго замолчал, а Люс, глядя на то, как старик ворошит какие-то бумажки на столе, подумал: «Все-таки я зоологический трус. Я боюсь, даже когда знаю, что невиновен. Недаром меня всегда тянет сделать картину о герое, который, если и побеждает злодеев, то лишь от комплекса неполноценности. Художник выражает себя особенно хорошо именно в том, чего ему не достает. Только такой добрый художник, как Томас Манн, мог написать авантюриста Феликса Круля. Оскар Уайльд тоньше всех писал о чистой любви... А бабник никогда не сможет написать нежность, разве только в старости, когда им будет владеть не желание, а горькая память,— все прошло мимо, все, что могло бы украсить его и облагородить... Проклятая немецкая манера — теоретизировать... Даже в кабинете прокурора. Если бы в моем мозгу укрепили датчики, которые могут автоматически, вне меня, записывать мысли, получилась бы великая книга. Некоторые писатели носят в кармане книжечки и записывают в них чужие слова и мысли. Идиоты! Всякая организация в творчестве глупа и идет от бездарности. Гений щедр, он не боится, что мысль, не занесенная в реестр, исчезнет. Значит, дерьмо эта мысль, если она порхает,

как бабочка, и за ней надо бегать с сачком... Сейчас эта старая сволочь начнет задавать свои вопросы, он еще только готовится к этому, а я уже весь потный. Какая омерзительная, холодная рожа у этого старика... Отталкивающая рожа – один нос чего стоит... Наверное, был пропойцей, не иначе... Или склеротик. Вообще, всех стариков надо изолировать от общества. У них нет интересов, общих с людьми, которые хотят просто любить женщину, просто пить пиво и просто играть в теннис... Они все злятся, что им скоро пора в ящик, эти мумии».

– Расскажите о вашей последней встрече с Гансом Дорнброком,– попросил Берг.

– Я был в ванной... Это было что-то около часа ночи, я собирался в бар. Он пришел ко мне чуть пьяный, очень взволнованный.

– Каким образом вы определили, что он был чуть пьян и очень взволнован?

– Так мне показалось... Откуда я знаю, как это определить? Мне показалось, что он был самую малость пьян и очень возбужден...

– Может быть, вы хотите все рассказать без моих вопросов? Некоторые ищут общения со мной, чтобы как-то отделаться от мысли, что это допрос. Вы как?

– Мне было бы удобнее рассказать вам все, что я знаю, без ваших уточняющих вопросов.

– Хорошо. Пожалуйста.

– Ганс попросил чего-нибудь выпить... Я предложил ему поискать у меня на втором этаже, в библиотеке. Там, кажется что-то оставалось. Он нашел бутылку, выпил, потом спросил: «Могу я посидеть у тебя полчаса, сюда должны позвонить, я дал твой телефон одному человеку. Он должен скоро позвонить сюда, и я тогда поеду домой». Я сказал, что он может здесь и заночевать: Нора с детьми в Италии, дом в его распоряжении. Он тогда спросил меня... Хотя это долгая история: мы с ним болтали об искусстве, пока я одевался. А потом я уехал. А когда сегодня вернулся – я улетал в Ганновер,– меня ждали господа из политического отдела криминальной полиции. Вот, собственно, и все.

– Тогда у меня будет к вам ряд вопросов. Во-первых, в какой бар вы собирались поехать?

– В «Эврику».

– Вы были там?

— Конечно.
— Кто это может подтвердить?
— Кельнер...
— Вы там были один?
— Нет.
— С кем?
— Я не буду отвечать на этот вопрос.
— Вы были с женщиной и не хотите, чтобы об этом узнала ваша жена? Понимаю. Если мне потребуется, я смогу увидеть эту женщину?
— Это сопряжено с определенными трудностями... Вы должны понять нас...
— Вы встречали в баре кого-нибудь из друзей или знакомых?
— Не помню. Кажется, не встречал. Нет, не встречал...
— Показаний одного кельнера недостаточно. Мне нужны два показания. Хорошо, мы к этому вернемся позже. Когда вы приехали в бар?
— Я не помню. Точного времени я не помню.
— Я и не спрашиваю у вас точное время. Примерно в котором часу вы туда приехали?
— Что-то около двух.
— Как вы добрались до «Эврики»?
— Я ехал туда на своей машине.
— Вы заезжали за тем человеком, с которым были в баре?
— Нет. Мы встретились у входа.
— Ваша подруга... Тот человек, который был с вами в баре, добирался туда на такси?
— Нет.
— На своей машине?
— Скажем, так.
— Господин Люс, этот ответ меня не удовлетворяет.
— Вы обещали не касаться этого вопроса.
— Я не спрашиваю имени и фамилии вашей подруги... пока что... Я задаю вопросы, связанные с обстоятельствами дела. На чем она приехала к «Эврике»? На своей машине?
— Нет.
— На машине мужа?
— Да. Но не надо этого нигде отмечать.
— Вы сказали, что Ганс пришел к вам «что-то около часа»... Постарайтесь вспомнить когда. В половине пер-

вого? В двенадцать сорок?

– Скорее всего это было в половине первого. А может быть, даже двадцать минут первого. Пожалуй, так точнее всего. Он пришел в двенадцать двадцать, потому что я минут за пять перед тем выключил ТВ, когда кончили передавать новости.

– Сколько времени вы с ним разговаривали?

– Несколько минут.

– И потом уехали?

– Да.

– Вы никуда не заезжали по пути в бар?

– Нет.

– Сколько времени вы ехали до бара?

– Не помню. Это не очень далеко...

– Полчаса? Больше?

– Ну что вы! Минут пятнадцать... Движения на улицах нет... Минут пятнадцать...

– Значит, в «Эврику» вы попали в час десять, час двадцать?

– Нет. Там я был без пяти два. Это я запомнил: часы у входа в бар очень большие, с какими-то странными, запоминающимися стрелками.

– Ясно. Хорошо. Спасибо. Теперь я попросил бы вас рассказать мне, о чем вы беседовали с Дорнброком.

– Я же сказал – об искусстве. Это был странный разговор.

– Это меня очень интересует, господин Люс.

– Он спросил меня, по-прежнему ли я отношусь к нацизму или меня сломали. Я ответил, что к нацизму я отношусь по-прежнему, и что меня не доломали, но сейчас, сказал я ему, главная опасность, которая угрожает человечеству не нацизм, а развитие техники. Вокруг земли – плотный слой отработанных газов. Заводы, которые делают для растущего населения мира машины, самолеты, атомные бомбы, хрусталь и полотняные рубашки, отравляют атмосферу и нагревают ее, и скоро начнется таяние снегов на полюсах и новый потоп, а при потопе люди ищут бревна для плотов... Он спросил меня, не хотел бы я продолжить свою картину о наци... У меня был такой фильм...

– Я смотрел ваш фильм,– перебил его Берг,– дальше пожалуйста.

– Я ответил, что такие фильмы не дают денег. Нет,

нет, я имею в виду не наживу, а просто-напросто базу для следующей работы... Я сказал ему, что устал рисковать, всякий риск рано или поздно убивает в художнике творца, то есть непосредственность, и превращает его в политика или в торговца, что еще хуже. И он вдруг предложил мне денег, огромную сумму денег. Я спросил его, какой фильм он предлагает мне снять. Он ответил, что сначала должен заручиться моим согласием. Он выписал мне чек на сто тысяч марок. Я сказал ему: «Порви этот чек. Я перестал чувствовать, что моя драка против наци нужна здесь хоть кому-то. Солдатом быть хорошо, когда знаешь, что ты нужен. А я здесь не нужен. Мир сейчас можно заставить рассуждать, отойдя от частных проблем. Надо выходить на общее, главное, что волнует планету, человечество, а не нас одних». Вот, собственно, и все.

— Следовательно, вы ему отказали? Вы отвергли его предложение сделать фильм, сюжет которого вам неизвестен, но который должен быть обращен против нацизма?

— Да. В общем, это надо понять именно так.

— Он сам порвал чек?

— Нет. Это сделал я. Он уже выпил полбутылки и стал пьяным. Он блевал, он вообще-то не умел пить... Я, говоря откровенно, не верю в устойчивость оппозиции миллиардерских сынков, хотя Ганс был славный парень. Знаете, тем, у кого папа имеет власть, можно поиграть в оппозицию — иногда. Мне же этого делать нельзя. Мне надо постоянно лавировать...

— Лавировать? Но вы ведь выступаете с откровенно левых позиций в своем творчестве...

— Я не отказываюсь от этих моих позиций. Иногда, правда, сниму какую-нибудь сусальность — для равновесия. Но Ганс предлагал мне сделать фильм... Как это он сказал... «Который взорвет здесь всех и вся. Я дам тебе такие материалы, которые неизвестны никому в мире». Я сказал ему: «Старикаша, ты поспишь часок-другой, а завтра мы с тобой договорим все это на свежую голову, без виски». И уехал.

— Кто должен был позвонить ему и почему он дал именно ваш телефон?

— Я не знаю.

— Вы достаточно полно воспроизвели ваш разговор с Гансом?

– Да. По-моему, да.

– Больше он ни о чем не говорил с вами?

– Нет.

– Тогда я позволю себе провести небольшой экскурс в область арифметики. Он пришел к вам в двенадцать двадцать. Так?

– Да.

– Вы приехали в «Эврику» без пяти два, то есть в час пятьдесят пять. Верно?

– Да.

– По дороге, как мы выяснили, вы никуда не заезжали.

– Да.

– Время, затраченное вами на дорогу,– пятнадцать минут, если не ошибаюсь?

– Верно.

– Значит, двенадцать двадцать плюс пятнадцать плюс еще десять – это я беру время на то, как вы спускались в гараж, отпирали ворота, заводили машину. Итого двенадцать сорок пять. Следовательно, Дорнброк провел у вас один час сорок пять минут. Судя по вашим показаниям, разговор ваш смог занять десять – двадцать минут от силы. Значит, либо вы забыли какие-то аспекты вашей беседы, либо вы не все рассказываете мне, господин Люс.

– Если хотите, я постараюсь еще раз припомнить все, как было, а вы включите хронометр, господин прокурор.

– Зачем нам хронометр? Работает диктофон, он метрует показания автоматически.

– Ах вот как... Хорошо. Берем двенадцать двадцать. Ну, двенадцать тридцать – такой допуск на изменение точности возможен?

– Бесспорно.

– «Привет, Люс».– «Здравствуй, милый».– «Я не поздно?» – «Неважно. Я один. Нора с детьми уехала в Венецию, на Киприани».– «Она начала стрелять уток?» – «Нет, она продолжает медленно убивать меня».– «У тебя есть что-нибудь выпить?» – «Поищи наверху, в библиотеке, там что-то могло остаться».– «Спасибо. Иди брейся, я не буду тебе мешать». Я кончил бриться, принял холодный душ, переоделся и вышел к нему. Он уже выпил бутылку, почти всю бутылку.

– Вы говорили, что у вас осталось полбутылки.

– Когда я стоял под душем, он зашел в ванну и по-

казал мне полбутылки и здесь же начал пить ее из горлышка, а потом попросил меня подвинуться и сунул голову под холодный душ и стоял так с минуту. А потом ушел в комнату. А когда я вышел, бутылка была пустой. «Слушай, Люс, хочешь сделать гениальный фильм?»— «Конечно, хочу».— «Я могу тебе предложить сюжет. Это будет бомба. Настоящая бомба для председателя».— «Какого председателя?» — «Их несколько — председателей в этом деле,— ответил он и выругался.— Мой папа председатель, и великий кормчий председатель, и Амброс из БАСФ тоже председатель».— «Ганс, мне надоело драться. Когда ты чувствуешь себя солдатом, нужным в драке, это одно дело, а когда навязываешь себя, а от тебя открещиваются и ждут развлекательных штучек с эротикой или немецким Мегрэ — тогда делается очень скучно».— «А я вот и предлагаю тебе повеселиться. Каждый человек должен хоть раз от души повеселиться в этой жизни».— «В чем будет выражаться это веселье?»— «Оно уже кое в чем выразилось. Я выпишу тебе чек и дам материалы, которые потрясут мир».— «Старина,— ответил я ему,— мир уже ничем нельзя потрясти. Лет через пятнадцать неминуемо крушение планеты: ты заметил, как изменился климат? Ты знаешь, что количество смертельного углекислого газа в атмосфрере уже сейчас перевалило допустимую норму? Ты знаешь, что достаточно миру «потеплеть» на три градуса — всего лишь!— и начнется новый потоп? А кто об этом думает?»— «Хорошо, об этом будет твоя следующая вещь. Вот чек на сто тысяч. Я предоставляю все материалы. Я редко прошу, Люс, но если я прошу, то, значит, я знаю, почему я прошу».— «Порви чек. Не надо. Я не люблю пьяных разговоров. Давай вернемся к этому делу утром».— «Ты торопишься?» — «Да, меня ждет Эжени».— «Ты позволишь мне посидеть у тебя? Я жду звонка. Сейчас мне должен позвонить один парень, я дал ему телефон, твой телефон. Так мне было удобнее».— «Я же сказал: Нора с детьми в Италии, можешь оставаться здесь хоть всю неделю. Я из «Эврики» — прямо на аэродром: моя группа ждет в Ганновере».— «Нет, спасибо, я дождусь звонка и уеду. Если я не дождусь звонка, тогда завтра будет много шума в здешней прессе».— «Я раньше не замечал за тобой склонностей к Яну Флемингу. Ты говоришь загадками...»— «Если бы ты сказал мне сейчас, что ты согласен на мое предложение,

тогда я бы не говорил, как Флеминг... Кстати, скорее уж я говорю, как персонажи Ле Каре. А ты говоришь о трех градусах и углекислом газе. Позвони Эжени, попроси ее задержаться, я расскажу тебе фабулу — схематично хотя бы».— «Я не могу звонить к ней. Она звонит сюда, ты же знаешь».— «Ты отказываешься от шекспировского сюжета, Люс».— «Я опаздываю, милый. Поспи и не езди сам за рулем, сшибешь кого-нибудь...» Вот примерно так,— закончил Люс.— Я пытался вам проиграть всю ленту такой, какой я ее помню. Положите время на паузы, смех, изучающие взгляды... Сколько получится?

— Минут тридцать, как максимум...

— Значит, нам еще не хватает сорока минут?

— Примерно так. Когда он порвал чек?

— После того, как я сказал, что опаздываю и что ему следует поспать.

— Чьего звонка он ждал?

— Не знаю.

— А если предположить?

— Не знаю, господин прокурор.

— Вы его часто видели в таком состоянии?

— В каком?

— Вы же сказали, что он был очень взволнован...

— В общем-то таким я его никогда не видел. Он, правда, показался мне несколько странным, когда приехал после путешествия в Азию.

— В чем выражалась эта странность?

— Не знаю. Он приехал оттуда другим. Раньше он много смеялся, был гулякой... Впрочем, его друзья говорили, что он стал гулякой после какой-то личной трагедии, раньше, говорят, он был аскетом и в университете сторонился всех пирушек. А после этой поездки он показался мне каким-то замкнутым, ушедшим в себя...

— Гомосексуализм, марихуана?

— Исключено. Он воспитан в традициях... А у него, по-моему, не было порядочных женщин, только продажные шлюхи из кабаре. Но секс его не волновал... Он был до странности чистым парнем, кстати говоря...

— Так. Хорошо. К вопросу о сорока минутах нам еще придется вернуться, господин Люс... Я вас вызову в ближайшие дни.

— Я готов, го́сподин прокурор...

Когда Люс ушел, Берг попросил секретаря вызвать на

допрос тех людей, которые так или иначе были связаны с Дорнброком-отцом с момента организации концерна. Список у него был подготовлен — восемьдесят девять фамилий.

— А на завтра,— сказал он,— закажите мне, голубушка, телефонные разговоры с Сингапуром и Гонконгом — вот по этим номерам, пожалуйста.

ТРУДНЫЕ ДНИ ДОРНБРОКА-ОТЦА

Гиммлера разбудил Шелленберг, позвонив в Науэн в клинику доктора Гебхардта через семь минут после того, как на его стол лег радиоперехват о смерти Франклина Делано Рузвельта.

Гиммлер почувствовал, как по всему телу поползли медленные мурашки.

— Срочно поднимите в сейфе У-5-11 данные по гороскопам на апрель,— сказал он,— а я сейчас же еду к фюреру. Надеюсь, разведка Бормана и Риббентропа еще не перехватила это сообщение?

— Риббентроп мог это получить через свои связи с нейтралами... Но я постараюсь, чтобы вы были у фюрера первым...

— Да, да,— ответил Гиммлер,— хорошо...

«Ну вот и все,— подумал он и почувствовал, как на глаза его навернулись слезы.— Фюрер оказался прав, как всегда, прав... Смена правителя — это смена курса... Только этот ставленник евреев мог поддерживать Сталина. Любой другой президент примет протянутую нами руку... Теперь мы спасены, теперь Вашингтон поймет, что если мы не удержим полчища русских, то погибнет Европа».

Он одевался очень медленно, потому что дрожали пальцы. Собирая на столе бумаги, он заметил, что неверно застегнул пуговицы на френче.

«Ничего,— подумал он,— это хорошая примета».

Услыхав, что рейхсфюрер поднялся, в комнату осторожно заглянул дежурный адъютант.

— Все хорошо, Франци,— сказал Гиммлер,— все хорошо, мой друг. Пусть приготовят машину, а вы срочно позвоните к профессорам Пацингеру и Ваберу. Скажите, что сейчас за ними приедут. Извинитесь, что их побеспокоили среди ночи, но объясните, что это продиктовано чрезвычайным обстоятельством. Попросите их взять из

личной картотеки апрельские параболы — как по состоянию светил, так и по расчетам на личные гороскопы фюрера.

Гиммлер налил себе холодного крепкого чая, разбавил чуть подслащенной водой с лимоном, прополоскал рот и пошел вниз. Небо было высокое, звездное.

«Все изменится,—думал он, садясь в машину.— Провидение последнее время испытывало нас: оно решило провести народ и партию через самые страшные трудности, через кровь и ужас. Мы были сильны и полны веры; именно поэтому провидению было угодно теперь спасти нас — оно спасает достойных, тех, кто умеет верить».

Гиммлер не вспоминал сейчас, как он ездил к Герингу и говорил ему о том, что фюрера следует сместить, ибо он потерял волю и ведет народ к гибели; он забыл сейчас и о своих переговорах с Даллесом, направленных против Гитлера. Это сработало в нем автоматически: как и все слабые люди, обладающие огромной властью, в критические минуты он думал лишь о будущем, которое рисовалось ему в радужных красках, прошлое исключалось вовсе, будто его и не было. Сильный до тех пор, пока был силен фюрер, он сделался слабым, обнаружив, что его бог и кумир катится в пропасть. Но сейчас, после телефонного звонка Шелленберга, он вновь стал прежним Гиммлером, «фанатиком идей фюрера и национал-социализма, самого великого учения двадцатого века». Он легко выбросил из памяти те свои шаги, которые были явной изменой Гитлеру, ибо сейчас, когда звезда фюрера вновь воссияет после смерти Рузвельта, поскольку развалится коалиция врагов, он сделает так, что его аппарат, четко отлаженный, не знающий, что такое обсуждение приказа, сработает, и все причастные к прошлому будут уничтожены. Не будет никакого прошлого, если появилась реальная перспектива будущего. Это уже вопрос второстепенный, который решит аппарат: скрыть то прошлое, когда он, Гиммлер, проявил колебания. В конце концов он и тогда думал лишь о Германии. Но и это не должен знать никто, а тот, кто знал, исчезнет.

В приемной фюрера уже сидели профессора Пацингер и Вабер.

— Добрый вечер,— сказал Гиммлер сухо. Такая подчеркнутая сухость была неожиданной. Последние месяцы Гиммлер был необычайно добр со всеми окружающими.

Даже стоматолог, который вмонтировал ему в коренной зуб тайник с ампулой цианистого калия, объяснив систему пользования, отвернулся и заплакал. Гиммлер передал ему кабинет, конфискованный у коммуниста-стоматолога, и помог через университет получить степень доктора медицины без обязательной защиты диссертации. Стоматолог был всем обязан этому человеку с близорукими глазами, который сидел в кресле и спокойно слушал про то, как ему следует убивать себя, и поблагодарил за разъяснения, коснувшись его руки ледяными пальцами, хотя внешне был, как всегда, спокоен...

Но сейчас, когда все внезапно изменилось и когда завтрашний день сулил кардинальную перемену в раскладке политических сил мира, Гиммлер стал прежним Гиммлером — суховатым, жестким и немногословным.

— Прошу вас в кабинет, господа.

Там, предложив профессорам астрологии сесть, Гиммлер прошелся по кабинету, заложив руки за спину, и после долгой паузы спросил:

— Вы закончили обработку гороскопов на этот апрель у себя в институте?

— Нет еще,— ответил Пацингер.— Хотя работа близится к концу.

— Ну и что у вас получается — в порядке самого предварительного расчета?

Профессора переглянулись.

— Рейхсфюрер,— ответил Пацингер, директор секретного института при СС по составлению гороскопов,— все говорит о том,что, несмотря на громадную меру трагизма, переживаемого нацией, победа придет к нам и великие идеи национал-социализма воссияют в веках. Они будут путеводной звездой будущим поколениям европейцев.

Гиммлер прервал его:

— Вы повторяете передовицу из «Фолькишер беобахтер»... Это все я слышал по радио... Вы просто-напросто цитируете Геббельса, профессор. У вас не было никаких показаний на сегодняшнее число?

— Нет. Конкретных не было,— ответил Пацингер.

— У меня были,— негромко сказал Вабер, помощник директора по вопросам связи астрологии с математическими и биофизическими институтами. Он бросил астрономию, когда понял, что в условиях рейха, где будущее планирует не ученый, а партийный аппарат, ничего у

него в науке путного не получится, тем более, что астрономия была поставлена в зависимое положение от астрологии, и перешел к Пацингеру, человеку, далекому от науки,— просто-напросто тот был старым приятелем Лея, и руководитель «Трудового фронта» добился назначения Пацингера, не имевшего даже университетского образования, на должность директора секретного института. Гиммлер пошел на это сравнительно легко, потому что когда он истребовал досье Пацингера, выяснилось, что тот состоял осведомителем гестапо с 1934 года. Вабер поначалу рассчитывал, пользуясь астрологическим блефом, развернуть серьезную научную работу по своей теме «Астрономия и социологическая футурология». Но из этого ничего не вышло: институт был построен по образцу военной организаци, и ни одна тема не утверждалась, если ее не поручал институту кто-либо из партийных или государственных бонз рейха. Вабер попробовал столкнуть Пацингера с его поста, вызвав его несколько раз на научную дискуссию в присутствии Гиммлера, но Пацингер обладал великолепной способностью чувствовать, чего хочет рейхсфюрер, какой гороскоп был бы ему сейчас наиболее желателен, и всегда «попадал в десятку».

Сейчас, после ночного звонка Шелленберга, вызвавшего его в бункер, Вабер включил радио и пошарил по шкале приемника. Он-то понимал, что сейчас самое важное в астрологии — это допуск к информации, а поскольку в Германии все новости интерпретировались министерством пропаганды, то вся объективная информация черпалась из передач английского, русского и американского радио.

Вабер и сам не знал, зачем он перед выездом в бункер включил радио. В общем-то, он всегда перед вызовом к руководству слушал вражеское радио, чтобы быть более осведомленным. Передачи, которые сегодня союзники гнали на Германию, были обычны, спокойны, презрительны. Но Вабер нарвался на передачу, которую транслировал Танжер. «По сведениям, полученным из неофициальных источников, здесь стало известно о скоропостижной кончине президента США, одного из лидеров «Большой тройки».

— Что у вас было?— жадно спросил Гиммлер Вабера.— Что? Какие данные?

— Вчера я составил схему звездного поля — было безоблачно, и телескопическая аппаратура работала отменно,— начал Вабер неторопливо, ибо понял, что сейчас он имеет реальный шанс либо свалить Пацингера, либо получить самостоятельный институт и вместе с этим институтом сразу же уехать в Баварию — там прекрасная астрофизическая обсерватория и нет бомбежек.— Я обратил внимание на странное свечение Сириуса... Отсвет переливов Сириуса вызвал моментальную реакцию «Успеха» в Кассиопее. Я не готов к точному ответу, но вчерашний день либо сегодняшнее утро, по моим данным, могут трактоваться как переменая точка изначальной логичности событий.

— Вчера мы расстались с вами поздно, и вы ничего мне об этом не сообщили,— заметил Пацингер.— Вы имеете в виду восточный фронт или бои на западе?

— Нет, я бы не стал разделять сейчас или узко конкретизировать проблему. С моей точки зрения, отсвет Кассиопеи свидетельствует о всеобщем изменении направленности тенденций. За всеми этими внезапными изменениями звездного поля я вижу случай, но именно тот случай, который может повернуть вспять ход битвы... Повторяю, я еще не готов к точному ответу, но одиннадцатое апреля — это не простой день...

Гиммлер замер перед Вабером, и улыбка осветила его лицо...

— Вабер, вы гений,— сказал он тихо.— Я восхищен вами, Вабер!

«Бить надо сейчас,— решил Вабер,— потом может быть поздно, потому что Пацингер ринется к Лею и все сломает, приписав себе заслугу в организации системы его телескопов, которые позволили мне составить верный гороскоп. Бить надо немедленно».

— Рейхсфюрер, в Баварии сейчас простаивает обсерватория Кульбрахта,— сказал Вабер.— Там занимаются обработкой очевидных фактов. Если бы вы позволили мне взять пять-шесть сотрудников, я бы срочно выехал туда и подготовил в течение недели-двух гороскоп на май. Уже три дня я слежу за невиданными ранее процессами внезапного высвечивания звезд. Это симптом поразительный, ибо объяснить его можно лишь как единство несовместимого. Процессы, происходящие сейчас в звездном мире, отнюдь не сиюминутны: здесь надо тщательно рас-

считать перспективу. Я жду ожидаемого в неожиданном, рейхсфюрер...

— Вы сможете все это изложить фюреру?— спросил Гиммлер.— Пусть ваш гороскоп еще не просчитан математиками, пусть. Вы сможете расчертить на листке бумаги происходящее?

— Да. Я смогу это сделать.

Гиммлер взял Вабера под руку и повел его к двери. Пацингер пошел следом.

— Подождите здесь,— сказал Гиммлер,— вы пока не нужны мне...

Гитлер уже знал о случившемся в Вашингтоне. Он сидел в своем маленьком кабинете возле стола, и в ногах у него лежала овчарка. Он заправил свою узенькую походную кровать шерстяным серым одеялом и разгладил складки на подушке так, чтобы кровать выглядела опрятной, будто он и не ложился сегодня спать.

Чуть приподняв руку, он обменялся партийным приветствием с Гиммлером и указал Веберу на стул возле карты.

— Садитесь рядом, Гиммлер,— предложил он.— Я слушаю, профессор.

Вабер стоял перед фюрером и старался отвести взгляд от желтого, одутловатого лица Гитлера. Серые, тяжелые глаза Гитлера притягивали к себе, как магниты. Лишь глаза казались живыми, все остальное: пепельные щеки, поседевшие волосы, пергаментные руки, бессильные ноги в высоких, «бутылочками», сапогах — было каким-то безжизненным.

«И этот человек привел нас к трагедии,— подумал Вабер, но не испытывал при этом гнева, лишь какая-то странная недоумевающая жалость к себе была в нем сейчас.— Мы шли за ним, верили в него, аплодировали ему, приравняли его к богу... Что стало с немцами, господи?! Это же вне логики!»

— Мой фюрер,— начал он,— в отличие от тех, кто исповедует каноническую астрологию, я прежде всего слежу за новыми тенденциями в науке. И я пришел к выводу, что не только звезды, видимые в радиотелескопы, но и не видимые нам в черных провалах космоса, влияют на человека, на его нервную структуру. Те, кто отстаивает очевидное, либо бездарны, либо преступны в тайных помыслах... Излучение радиоволн или электромагнитные колебания

способны не только внести помехи в работу сверхмощной радиостанции — неосязаемые нами влияния космоса определяют тенденцию развития: солнечные протуберанцы вызывают мор на земле — с этим теперь перестали спорить...

Вабер заметил, как нетерпеливо дрогнула рука Гитлера, безвольно лежавшая на остром колене. Эта нетерпеливость безволия показалась Ваберу ужасной. Он понял, что Гитлера сейчас не интересуют обоснования, логика, точность; его интересует лишь астрологическое подтверждение той новости, которая, как ему казалось, известна лишь избранным рейха. Он не мог и представить себе, видимо, что его подданные вправе узнать новости не в передачах геббельсовского радио, но настроившись на волну Лондона или Москвы.

«Он хочет получить красивую игрушку,— понял Вабер,— я зря тяну. Я так могу потерять то, что лежит рядом, протяни руку — и твое».

— Однако,— продолжал в той же размеренной, неторопливой интонации говорить Вабер,— данные сегодняшней ночи, а вернее, вчерашнего вечера позволили мне набросать довольно занятную схему — в связи с теми изменениями звездных тел, которые я заметил в наших телескопах.

«Что они все понимают в науке?— подумал он, достав блокнот и набрасывая план.— Им неинтересен поиск, они не верят в необходимость десятилетий экспериментов, прежде чем можно прийти к выводу, им важна сиюминутная отдача. И победит тот, кто сможет им больше наболтать математической галиматьи на уровне «доступной физики»: сложное им, не имеющим законченного школьного образования, абсолютно непонятно».

— Вот, мой фюрер, на этой схеме вы можете воочию убедиться: звезды, тяготеющие к западу, внезапно проявили мощную, целенаправленную активность, которая будет отмечена в ближайшие часы болезнями и горем далекого Запада... Скорее всего, горе обрушится на Америку. Это будет большое горе для Америки, и отсвет западных звезд на те, которые сопутствуют нашему весеннему развитию, не может не принести успеха вашим идеям... Это не просто мое желание или желание миллионов моих соплеменников. Это бесспорные данные, которые я смог прочитать на небе.

Гитлер быстро поднялся и пошел к карте. Гиммлер испытал острое счастье, потому что фюрер сейчас стал

прежним Гитлером. Серые глаза его искрились, рука не дергалась, походка была уверенной, четкой, и нога не волочилась, как это было все последнее время.

— Вабер, я награждаю вас золотым рыцарским крестом, ибо вы оказались ближе всех наших болтунов к истине! Вы точнее всех смогли прочитать в звездах то, что мне всегда открывало провидение. Если бы провидение оказалось против нас, то это бы означало конец германской нации и я бы аплодировал этому, ибо лишь неполноценная нация может пройти мимо победы, сквозь победу, над победой и не взять ее рукой, даже на напрягая мускулов. Вабер, я рад, что Гиммлер привел вас ко мне. Вы еще не знаете, почему я рад этому... Мне не нужна сладкая ложь, которой меня пичкают окружающие: мне нужна правда, и только правда, какой бы тяжелой она ни оказалась... Так вот, сегодня ночью умер Рузвельт, этот фигляр, тупой ставленник еврейского капитала! А это значит, что не позднее как через неделю «Большая тройка» развалится! Я ли не предрекал этого, Гиммлер?! Я ли не говорил вам, что мы идем к торжеству идей национал-социализма сквозь горе, лишения и кровь! Но что есть рождение ребенка?! Что это, как не отчаянье, кровь и крик?! Русские оглохнут от грохота своих орудий, которые станут бить по танкам американцев, англичан и французов!

Гитлер угостил Вабера шампанским, предложил рюмку Гиммлеру, но тот отказался — он не пил ничего, кроме лимонада: так предписывал устав СС, а пример — это ли не самое главное? Если лидер подтверждает свои слова делами, поступками, поведением, тогда он не может не добиться желаемого — так считал рейхсфюрер СС.

— Идите, Вабер, и знайте, что все ваши просьбы отныне должны выполняться незамедлительно! Вы нашли то, чего, не может найти ни один ученый в мире, ибо вы верны нашей идее, а в ней — решение всех проблем!

Когда Вабер ушел, Гитлер сказал Гиммлеру:

— Соберите всех наших. Военных пока не зовите. Сейчас мы проведем экстренное заседание. И срочно свяжитесь с испанским послом: он должен иметь точные новости из Вашингтона... Поздравляю вас, Гиммлер. Я горжусь вами: вашей верностью, скромным мужеством и преданностью идее.

Гиммлер не смог сдержать слез. Гитлер погладил его по щеке и отправился будить Еву Браун.

Всю ночь в бункере шло веселье. Столы были накрыты для рядовых СС и для генералитета. В зал несколько раз выходил Геббельс. Он был неузнаваем: глаза его сияли, и с лица не сходила улыбка человека, который шел в гору и наконец поднялся на пик. Риббентроп тоже обошел всех офицеров СС, он обнимал незнакомых людей и, под утро напившись, решил спеть несколько песен Шуберта.

Утром следующего дня радиоперехваты, предназначенные для фюрера, задержали: Трумэн выступил с декларацией, в которой утверждал незыблемое решение американского народа вместе с «боевыми союзниками закончить войну, истребив гитлеризм в Европе отныне и навсегда».

Радиоперехват выступления Трумэна был задержан потому, что Гиммлер вызвал к себе «фюреров военной экономики»: Дорнброка, Круппа и председателя наблюдательного совета «И.Г.Фарбениндустри» фон Шницлера. Представитель крупповского концерна на встречу не прибыл: Дорнброк и Амброс из «И.Г.» ровно в 13.00 были в приемной штаб-квартиры СС.

На этот раз Гиммлер не соблюдал нормы выработанного годами партийного этикета: не стал интересоваться процентами выпуска продукции, не расспрашивал о новшествах, которые внедрены на предприятиях, и не давал практических советов, как это было обычно принято.

— Какие у вас связи с американским деловым миром?— сразу же спросил он.

Дорнброк посмотрел на Амброса и ответил:

— Такой вопрос в устах рейхсфюрера СС звучит как предписание идти в тюрьму за связь с врагом...

— Господа, этот вопрос серьезен, значительно более серьезен, чем вы можете предположить...

— Следует понимать вас так, что рейху сейчас понадобились наши контакты с людьми большого бизнеса в США?— продолжал Дорнброк.— Для быстрых переговоров с ними по каким-то экстренным вопросам?

— Да.

— Но ведь не далее как год назад такого рода контакты могли привести к гильотине — даже таких верных движению людей, как я или Амброс...

— Мои контакты,— заметил Амброс,— практически невозможны, потому что русские опубликовали документы о газе «циклон» в Аушвице...[1] За работу над этим газом отвечал я, рейхсфюрер...

Дорнброк поморщился:

— Э, Амброс, не надо так!.. Дело есть дело, и если бы вы не занимались этой штуковиной, то СС поручило бы работу другим людям. Вы выполнили заказ руководства быстрее остальных — это лучшая визитная карточка для серьезного представителя делового мира... Если рассуждать по-вашему, то мои дела обстоят значительно хуже, потому что мой старший сын Карл расстреливал коммандос и помогал Эйхману в делах с евреями. Но разве я могу отвечать за действия моего сына? Не вы же работали с «циклоном» в Аушвице. Но я хотел просить вас, рейхсфюрер, объяснить нам, в чем смысл этих контактов. Во имя чего? Цели?

— Об этом я проинформирую вас, господа, если вам удастся найти солидных контрагентов, которые бы согласились выслушать нас самым серьезным образом.

Дорнброк отрицательно покачал головой и сказал:

— Рейхсфюрер, если когда-нибудь, где-нибудь и кто-нибудь решится повторить ваш эксперимент, в общем-то великолепный эксперимент, я бы посоветовал этому человеку не делать той главной ошибки, которую сделали вы...

— Я никогда не знал ненависти к евреям,— отпарировал Гиммлер.— Наоборот, я испытывал физическую боль, подписывая приказы на проведение акций против этого племени. Не мне говорить вам о том, что это за страшное бремя — бремя ответственности за судьбу нации и за ее будущее. Во имя будущего Германии мы пошли на то, что каждый безответственный обыватель волен трактовать как вандализм...

— Похоже, что вы оправдываетесь, рейхсфюрер,— сказал Дорнброк, и Амброс поразился, как сейчас говорил его коллега с третьим человеком партии. Он говорил сейчас с Гиммлером, не скрывая своей жалости к нему.— Я имел в виду иную ошибку,— продолжал Дорнброк.— Сна-

[1] Аушвиц *(нем.)* — Освенцим — крупнейший концлагерь гитлеровцев.

чала вы считались с нами, с мнением фюреров экономики, но потом отмахнулись от нас, отделываясь присуждением ежегодных премий имени Гитлера... Вы поставили нас в положение солдат, но маршал не может стать солдатом, как бы ни был исполнителен. Вы начали предписывать людям дела лишь слепое исполнение ваших планов. После того, как был изгнан Шах, мы оказались приказчиками. А мы не приказчики... Если бы мы продолжали союз равных, то англичане и американцы не стояли в Дюссельдорфе, рейхсфюрер...

— Вы забываетесь, господин Дорнброк! Помните, с кем вы говорите!

— Я помню, с кем я говорю! Я говорю с одним из тех, кто поставил Германию на грань катастрофы, а потом пришел ко мне с вопросом: «Где же ваши связи с деловым миром Штатов? Нам нужен мир...»

— Что?! Да я брошу вас в тюрьму!

— А кто тогда будет гнать для вас из последних запасов стали танки и орудия? Кто?— Он обернулся к своему спутнику:— Оставьте нас наедине с рейхсфюрером, Амброс.

— Мне еще нужен доктор Амброс,— сказал Гиммлер растерянно.

— Когда он понадобится, вы его пригласите из приемной, а пока в ваших интересах, рейхсфюрер, остаться со мной наедине. Идите, Амброс, и не сердитесь, пожалуйста.

Когда Амброс вышел, а Гиммлер, побледнев от бессильного, унизительного гнева, отошел к окну, Дорнброк неторопливо заговорил:

— Все кончено. Надо смотреть правде в глаза. Вы проиграли. Вы з д е с ь проиграли. Вы проиграли з д е с ь выигрышную партию. Я понимаю, зачем вы меня пригласили... Крупп решил отсидеться дома: он сейчас не хочет иметь с вами дела, ожидая прихода англичан. «Фарбениндустри» прислал вам Амброса, который лишь состоит в директорате... Один я пришел к вам, рейхсфюрер, и я просил бы вас понять, что идти к вам накануне краха — это акт гражданского мужества. Я понимаю, на что вы уповаете. Вы зря уповаете на это. Никто сейчас не пойдет на контакт ни со мной, ни с Круппом. Поздно... Чуть поздно... Вы же хотите, чтобы я уговорил кого-либо в Штатах «простить» вас и сообща сохранить Европу от русских, не так

ли? Вы хотите, чтобы люди бизнеса повлияли на Трумэна? Поздно, рейхсфюрер, поздно. Начиная с тридцать девятого года нам «не рекомендовалось» иметь дел с американским бизнесом, кроме тех, которые выгодны лишь нашей стороне и в конце концов могли бы помочь вам создать кризисную ситуацию в экономике Штатов. Это было неразумно: у американцев тоже есть головы на плечах, причем неглупые. Вы могли воевать с кем вам угодно — лучше бы, конечно, на одном фронте, но зачем было мешать нам иметь наши личные дела со Штатами через Швейцарию, Испанию и Португалию? Зачем надо было Гейдриху класть меня на плаху в тридцать восьмом году? Он именно тогда оборвал возможность всех моих контактов с Америкой — вы же знаете об этом эпизоде. Вы опоздали кругом, рейхсфюрер... Кругом и всюду... Когда ваши же люди наладили контакты с американцами в Лиссабоне в сорок третьем году, вот тогда надо было действовать, а не сейчас. Надо быть болваном, чтобы сейчас принять ваши предложения мира, рейхсфюрер. Это невыгодно — принимать сейчас ваши условия, потому что даже если русские и вывезут четвертую часть наших заводов, то третья часть, наиболее мощная — Рур, Эльзас, Бавария,— все это достанется американским деловым, как вы изволили выразиться, кругам... Но если вы следили внимательно за тем, что я говорил, то вы должны были обратить внимание на то, как я тщательно подчеркивал «проигрыш з д е с ь». Ищите союзников, господин Гиммлер, ищите союзников... Тех, которые помогут Германии восстать из пепла. Вам нужно делать ставку на Восток, на его людские ресурсы. Тогда мы, подняв промышленную мощь Германии, сможем создать блок, и этот блок будет непобедим. Слепой фанатизм азиатов, помноженный на нашу промышленную мощь, сделается силой номер один в мире. Я не знаю: микадо или оппозиция в Китае — не знаю, думайте об этом, но думайте обязательно, ибо вы должники перед нацией, и долг этот мы с вами обязаны ей вернуть сторицей.

— Вы свободны, господин Дорнброк, благодарю вас за то, что вы нашли время прийти ко мне...— Лицо Гиммлера ожесточилось.— Я запомню этот ваш акт гражданского мужества.

Через девятнадцать дней состоялась последняя встреча Дорнброка с Гиммлером. Этой встрече предшествова-

ли обстоятельства трагикомические. Расстреляв во дворе партийной канцелярии своего шурина Фегеляйна, фюрер исключил из партии Гиммлера и Геринга за измену, а своим преемником назначил беспартийного гросс-адмирала Деница. Он считал, что Дениц тот человек, с которым Запад сможет разговаривать не с позиции высокомерных победителей, но как с солдатом, который лишь честно выполнял свой долг.

Узнав о самоубийстве Гитлера, Геринг немедленно выехал к американцам. Он ехал в открытой машине, в маршальской форме, со всеми орденами, осунувшийся, постаревший.

Американский генерал принял его как высшего военачальника: он вышел к нему из своего штаба, пожал руку и пригласил к завтраку.

Завтрак был накрыт в большом зале со стрельчатыми готическими окнами.

— Я пришел к вам с миром,— сказал Геринг,— и теперь я буду сражаться за мир до конца...

Однако наутро генерал получил строжайший выговор от Эйзенхауэра, и Геринг был немедленно посажен в тюрьму.

Гиммлер, узнав о самоубийстве Гитлера, ринулся во Фленсбург к Деницу. Его сопровождали двадцать человек из личной охраны.

Дениц видел из окна, как охранники Гиммлера заняли все входы и выходы во дворе его морского штаба. Гиммлер шел к дому Деница не спеша, о чем-то переговариваясь со своим адъютантом.

Дениц быстро оценил ситуацию: подводник, он умел принимать стремительные решения. Он тут же выскочил из кабинета в приемную и приказал своему порученцу капитану Кузе:

— Срочно вызовите сюда наряд подводников. Снимите их с лодок. Пусть они окружат штаб, а человек пятьдесят войдут во двор. Быстро! Сюда идет Гиммлер!

Рейхсфюрера он встретил стоя, обменялся с ним приветствием — Гиммлер поднял руку, а Дениц откозырял по-военному.

— Рейхсфюрер, я рад видеть вас здесь.

— Благодарю. Вы уже знаете, что фюрер ушел от нас?

— Да.

Гиммлер, однако, еще не знал о том, что Дениц на-

значен преемником фюрера, поэтому держался он спокойно и с большим чувством достоинства.

— Я пришел к вам как к патриоту Германии,— сказал Гиммлер.— В ваших руках флот — это сила. Фленсбург станет центром сопротивления врагу. Я пришел, чтобы возглавить этот фронт сопротивления. Надеюсь, гросс-адмирал, вы окажете мне помощь?

— Я должен обдумать ваше предложение, рейхсфюрер,— ответил Дениц, поглядев в окно. Он тянул время, ожидая прибытия своих людей.— Мы должны быть, как никогда, трезвы в оценке ситуации. Вы предлагаете продолжение борьбы только здесь или же вы думаете одновременно возглавить баварский редут?

— Я не хочу сейчас решать два вопроса. Мне надо начать. А начинать всегда следует с чего-то отправного, главного...

Он поймал себя на мысли, что повторял сейчас слова Шелленберга. Тот говорил именно эти слова: «Единственный путь к миру с Западом — это создание крепкого правительства на севере и обращение к Монтгомери за помощью против русских полчищ. Иного пути нет».

Дениц увидел, как из двух крытых грузовиков вываливались его подводники: в черной униформе, в беретах, с маленькими — на английский манер — автоматами.

— Господин Гиммлер,— сказал Дениц и выдвинул ящик стола: там лежал парабеллум,— прошу вас ознакомиться с этой радиограммой,— и он протянул ему завещание фюрера.— Я назначен преемником рейхсканцлера, и я не собираюсь передавать вам этот пост.

— Во дворе мои люди, гросс-адмирал, и не следует нам входить в конфронтацию, особенно сейчас, перед лицом смертельной угрозы для родины. Вы делаете заявление для печати о том, что считаете меня рейхсканцлером и что фюрер отдал свой последний приказ, лишившись рассудка. Я, в свою очередь, назначаю вас министром обороны в моем кабинете.

— Господин Гиммлер, ваши люди окружены моими людьми — извольте убедиться в этом,— и он пригласил Гиммлера к окну.

Тот увидел подводников и, откашлявшись, сказал:

— Ну что же... Примите мои поздравления, рейхсканцлер. Следовательно, вы теперь первый человек, а я — второй. Не так ли?

Дениц отрицательно покачал головой.

— Нет, господин Гиммлер,— сказал он,— я не позволю вам занять место в моем кабинете.

— Но я же не претендую на первую роль!

— У вас руки в крови...

— Ах вот как! А вы агнец? Вы не топили транспорты с ранеными? Вы не расстреливали пассажиров, которые были в лодках, из пулеметов?! Вы не давали своим людям за это ордена? Стыдитесь, Дениц! Я никогда не думал, что мы пригрели на своей груди такую змею!

— Вас ждет много сюрпризов, господин Гиммлер. Мы очень любим Германию, но мы все очень не любили вашу машину ужаса...

— А, вы не любили нашу «машину ужаса»?! Только вы очень любили получать от этой «машины» особняки, яхты, автомобили и бриллианты к орденам! Какая неблагодарность!

Гиммлер поднялся и, не попрощавшись с Деницем, вышел из кабинета. В машине он сказал адъютанту:

— К министру финансов Шверин фон Крозику...

— Гиммлер, посмотрите на себя со стороны,— сказал Шверин фон Крозик.— Это очень трудно делать — смотреть на себя со стороны, тем более, что ваш путь — это самый страшный, неблагодарный, хотя, я понимаю это, необходимый путь для охраны устоев созданной вами государственности. Дениц никогда не пойдет на то, чтобы дать вам в новом правительстве портфель, пусть даже министра общественного призрения. Вы были нужны Гитлеру, но вы не нужны нам... Ваше имя вселяет ужас, Гиммлер...

— Но вы были заместителем министра финансов в кабинете Гитлера, господин Крозик... Вы несете ответственность за все происходившее в Германии точно такую же, как и я. Вы визировали статьи бюджета, которые отпускались нам на строительство концлагерей.

Шверин фон Крозик отрицательно покачал головой:

— Я этого не делал. Я всегда занимался международными валютными операциями... Кредитами для СС поначалу занимался Шахт. А потом вы посадили его в лагерь, и этим он спас свою репутацию для будущего.

— А меня фюрер объявил изменником за то, что я искал мира с Западом! Этого недостаточно?

— А на кого списать миллионы людей, сожженных в ваших лагерях? Старайтесь быть зрячим — хотя бы сейчас. Я вам помочь ничем не могу... Да и если бы мог, то не стал бы этого делать...

— Но почему?! Что я сделал плохого лично вам?

— Ничего. Вы просто проиграли. Вы захотели стать богами в глазах тупых крестьян и мещанских лавочников, и вы отринули нас, людей дела, которые были с вами и привели вас к власти. Вот так, Гиммлер...

«Крысы побежали с корабля и грызут крупу, принадлежавшую капитану,— думал Гиммлер, медленно спускаясь по лестнице.— Штрассер был прав: их всех надо было расстрелять как бешеных собак, а фюрер занял половинчатую позицию, он хотел, чтобы они служили народу, а им плевать на народ — у каждого из них свои интересы...»

У входа он столкнулся с Дорнброком.

— Плохо?— спросил Дорнброк.— Я понимаю — плохо... Не отчаивайтесь, Гиммлер. Я хочу протянуть вам руку помощи. Но сейчас — во имя будущего — исчезните. Исчезните на какое-то время. Я говорил вам, куда следует уходить: на Восток. И передайте мне вашу тамошнюю агентуру. Вы, политики, особенно в минуты кризисов, не способны смотреть в глаза правде. Мы — люди иного склада. Мы смотрим вперед, сквозь правду, во имя будущего; вы же, политики, всегда живете во имя сохранения прошлого. О будущем вы думаете, только когда вам подсовывают победные сводки... Когда вы передадите мне ваших людей на Востоке?

Гиммлер посмотрел на Дорнброка и тихо спросил его:

— И вы считаете меня палачом?

Дорнброк пожал плечами:

— Назовите мне страну, где бы не было палачей. Я отношусь с большой сноской ко всякого рода моральным категориям. Словом, вы принимаете мое предложение?

— А что мне остается делать?

Тем же вечером Гиммлер сказал своим адъютантам:

— Я ухожу. Я скроюсь на Востоке, далеко на Востоке. Не ждите от меня известий. Я освобождаю вас от служения мне, друзья, и благодарю за верность. Вы услышите обо мне, и тогда вы понадобитесь мне снова.

Через шесть дней Гиммлер, случайно задержанный советскими солдатами под чужим именем, был передан англичанам. Не выдержав семидневного заключения в ла-

гере, он закричал на утренней поверке перед раздачей похлебки:

— Я — рейхсфюрер СС Гиммлер! Я — Гиммлер!

Офицеры службы безопасности привели его в маленькую комнату и предложили раздеться.

— Донага,— сказал один из них.— Мы хотим видеть голенького рейхсфюрера...

Этого Гиммлер не выдержал. Он нашел языком коренной зуб, в который был вмонтирован яд, нажал языком на десну и трижды, как учил его стоматолог, крепко надавил другим зубом. В глазах у него зажглись огни, тело одеревенело, он еще какое-то мгновение видел лица своих врагов, а потом повалился на цементный пол, так и не раздевшись донага.

Когда молоденький британский офицер из МИ-5, закончив очередной нудный допрос, попросил Дорнброка выложить на стол содержимое его карманов, отобрал ручку с золотым пером и объявил, что теперь «господин председатель концерна отправится не в свой замок, но в наш замок — в тюрьму Ландсберг», Дорнброк долго и несколько даже сострадающе разглядывал лицо офицерика.

«Мальчик, видимо, арестовывает первый или второй раз в жизни,— подумал он,— а это сладостное ощущение высшей власти над себе подобным. Мальчик упивается властью... Бедный мальчик...»

— Прежде чем вы отправите меня в камеру, мне хотелось бы побеседовать с кем-нибудь из ваших руководителей...

— Ваш протест будет бесполезной тратой времени.

— А я не собираюсь заявлять протест.

Полковник, к которому привел его офицерик, снял очки и, не предложив Дорнброку сесть, спросил:

— Что у вас?

— К вам персонально ничего, полковник... Я понимаю, что все происходящее сейчас со мной логично... Но я не могу не отметить, что это логика доктора, который срезает мозоли у больного, страдающего раком.

В камере Дорнброк неторопливо разделся, поискал глазами, куда бы повесить пиджак — в камере было жарко натоплено,— но понял, что никаких вешалок тут нет («Я не повешусь, глупые,— подумал он,— вешаются только истерики, туда им и дорога»), и бросил свой серый ста-

ромодный пиджак на койку. Потрогал столик — он был крепко привернут к полу; так же был привернут к полу круглый табурет («На таком я работал в конторке у дяди, когда был младшим бухгалтером,— отметил Дорнброк,— это хорошая примета — встречаться с молодостью»), а высокое окно было забрано толстыми витыми решетками. («Зачем так уродовать металл?— подумал Дорнброк.— Или этой завитостью они хотят еще больше устрашить узников? Глупо: витой металл порядком слабее, он не может использоваться в оборонной промышленности».)

Дорнброк присел на койку. «Слишком твердо. Ну, конечно, это доски. Из металлического матраца я могу через десять лет — бонжур, мсье Монте-Кристо,— сделать себе нож, которым заколю охранника. Впрочем, для моего геморроя и спондилеза этот жесткий матрац — лучшее, что можно только пожелать».

Он прилег на койку, запрокинув руки за голову, но в тот же момент в дверь камеры гулко забарабанил охранник:

— Лежать днем запрещено! Можете сидеть на табурете у стола!

Дорнброк неторопливо поднялся, сел к столу и вдруг рассмеялся:«Ничего. При больших проигрышах надо ставить себе более грандиозные задачи на будущее. Я смогу помозговать над системой. А то в последние годы я стал похож на ту слепую лошадь, которую я видел в Донбассе, когда прилетал туда с Герингом. Вообще, каждый человек обязан хоть немного посидеть в тюрьме. Только тогда он сможет ощутить вкус свободы и вынести свое суждение о законе. А закон — это и есть система».

Зимой сорок шестого года его адвокат добился двух послаблений в режиме: во-первых, Дорнброку вернули его вечное перо, а во-вторых, ему было разрешено дважды в день видеться с юрисконсультами, которые представляли его интересы в отделе декартелизации союзнического совета по Германии.

В западных зонах большинство его предприятий и банковских бумаг было арестовано американцами. Они же вели дела всех «военно-промышленных преступников», поэтому вскоре Дорнброк был передан британцами американским властям. Тогда-то и состоялась его первая встреча с Джоном Лордом, офицером при штабе Мак-

клоя, а потом с шефом отдела безопасности союзнического совета по Германии от США Келли.

Когда в Фултоне выступил Черчилль, Джон Лорд сразу же принес газету и сказал:

— Прочитайте речь бульдога. Старик мудр. Причем, находясь в оппозиции, он более проницателен, чем во время пребывания у власти... Ничего не попишешь: его вторая натура — это живопись и изящная словесность; его заносило. А когда он не у дел, он трезво мыслит, так трезво, как никто у нас в Вашингтоне.— И Джон Лорд внимательно поглядел на Дорнброка.

Тот ничего не ответил, лишь пожал плечами, которые в тюрьме стали по-птичьи узкими, опущенными.

— Вы почитаете сейчас или оставить вам на день?— спросил Джон Лорд.

— Как угодно,— сказал Дорнброк.— У меня к вам просьба: во время свидания со мной сын признался мне, что его зверски избивают в гимназии за то, что я нацист. Во-первых, я никогда не был членом партии, а во-вторых, как это согласуется с нормами вашей демократии?

— Теперь в Германии все ненавидят нацизм,— ответил Джон Лорд.— Охрану вашему сыну мы выделить не сможем. Пусть занимается спортом...

— Значит, мальчика будут продолжать избивать?

— До тех пор, пока вы не начнете давать правдивые показания. Тогда мы сможем попробовать выпустить вас до суда под залог.

— Мои показания относятся к моему делу, а какое отношение к этому имеет Ганс?

— Он ваш наследник.

— У вас тут нет звукозаписывающей аппаратуры?

— Я не из ФБР. За них ручаться не могу, возможно, они проверяют меня. Нашей, во всяком случае, нет.

— Может быть, я могу попросить вас в частном порядке принять участие в судьбе мальчика?

— Вы плохо знаете американцев, Дорнброк. Мы не так сентиментальны, как вы, и не любим вытирать слезы платочком. Я помогу парню и без ваших денег. В этом мире продается все, кроме достоинства Джона Лорда... И почитайте Черчилля,— добавил он,— поднимаясь с койки,— это серьезнее, чем вы думаете.

— Спасибо. Можете ли вы позвонить моим юрисконсультам? Эта просьба не носит противозаконного поряд-

ка: я хочу просить их срочно выписать из Америки и перевести на немецкий язык все книги Винера. Меня интересуют электронно-вычислительные машины и атомная техника.

— Но вы специализировались по стали, танкам и автомашинам...

— Я и впредь буду по ним специализироваться, господин Лорд, тем более если вы говорите, что речь господина Черчилля разумна и серьезна. Чтобы вкладывать деньги в нерентабельные, но перспективные отрасли науки, надо продавать людям отменные чулки. На этом можно построить базу для науки следующего века. И последняя просьба: мог бы я просить вас выписать в Штатах все справочники, относящиеся к банковской группе Дигонов?

Лорд ответил:

— Что ж... Эта просьба не имеет противозаконного характера... Я выпишу вам все, что у нас издано о Дигонах... Со старшим-то вы были неплохо знакомы, а?

...Барри К.Дигон стоял на пристани и старался не думать о том моменте, когда он увидит брата. Они расстались восемь лет назад: Самуэль К.Дигон, тогда еще подданный Германии, уехал в Берлин — ликвидировать филиал их дела, но был арестован вместе с пятьюстами финансистами после убийства немецкого дипломата в Париже еврейским экстремистом. Геринг потребовал тогда, чтобы немецкие евреи внесли миллиард марок контрибуции за «неслыханное злодеяние, когда международное еврейство направило руку палача, и от этой злодейской руки погиб германец, виновный лишь в том, что он германец».

Во время ареста Самуэль К.Дигон выразил удивление и постарался объяснить допрашивавшему его офицеру гестапо, что он лишь формально считается немецким гражданином, что вся его семья живет в Штатах, а младший брат, Барри К.Дигон,— председатель правления крупнейшего «Нэшнл бэнка». Офицер гестапо, выслушав Самуэля, ударил его сапогом в живот, а потом, когда Самуэль упал, начал избивать его свинцовым проводом, обтянутым изоляционной лентой. Дигон потерял сознание, был отправлен в госпиталь, там у него вытащили четырнадцать корешков — именно столько зубов было сломано или выбито; хирург с большим трудом сшил рваную рану на

лбу, и поэтому, когда американский посол Додд по поручению государственного департамента (помощник государственного секретаря по европейским вопросам ранее работал юристом у Дигона) посетил Риббентропа и запросил о судьбе Самуэля, Гиммлер ответил, что гестапо пока ничего не известно о судьбе брата американского банкира. Однако Риббентроп после беседы с Гиммлером заверил посла Додда, что германские власти предпримут все меры для розыска Дигона-старшего и не преминут сообщить о результатах расследования.

Самуэля К.Дигона перевели из госпиталя на маленькую дачку — в горы, в Тюрингию. Там к нему были приставлены врач и охранник. Обращение было изысканное, пищу давали диетическую; ни о чем с ним не разговаривали; все просьбы выполняли незамедлительно, кроме одной: когда он заказал в пятницу особую, «кошерную» пищу, охранник ответил:

— Еще раз запросишь свою еду — заставлю жрать свинину с утра до вечера, понял?! У нас люди получают еду по карточкам из-за ваших гешефтов, а тут еще особую пищу подавай!

Вероятно, он все же сообщил об этой просьбе Дигона, потому что был назавтра же заменен другим — более пожилым, молчаливым человеком. Когда Дигон оправился, к нему приехал офицер из YI управления СД.

— Господин Дигон,— сказал он,— меня уполномочили спросить, нет ли у вас жалоб. Как обращение персонала? Как с едой? Как самочувствие?

Самуэль лишь пожевал губами: из-за того, что четырнадцать зубов были выбиты, его рот стал стариковским. «Я похож на Вольтера,— однажды заметил Самуэль, разглядывая свое изуродованное лицо,— есть такой скульптурный портрет, где у него втянуты щеки, а рот, хотя и закрыт, кажется совершенно беззубым».

— Не слышу,— сказал офицер.— Что вы сказали?

— Я ничего не сказал,— прошамкал Дигон.

— Разве вам еще не сделали мост? Ведь было приказание из Берлина сделать вам вставную челюсть. Безобразие какое!

— Мне ее сделали, но к ней надо привыкнуть...

— Расскажите, пожалуйста, как все это с вами случилось? Вы упали с лестницы в полицейском участке или над вами в камере издевались уголовники?

— А как вы думаете?

— Видите ли,— ответил офицер,— меня в данном случае больше интересует, что по этому поводу думаете вы...

— Почему это вас так интересует? После того, что случилось...

— Именно после того, что случилось, меня это особенно интересует.

— Вы хотите сказать, что, если я расскажу, как уголовники в камере изуродовали меня, а ваши тюремные врачи спасли мне жизнь, я смогу получить встречу с представителями американского посольства?

— А при чем здесь американское посольство?— удивился офицер.— Вы гражданин Германии...

— Гражданин? Я никогда не думал, что с гражданами можно обращаться таким образом, как обошлись со мной...

— Кто? Кто с вами обошелся таким образом?

— Бандиты,— ответил Дигон.— В тюремной камере... Следует ли мне понимать вас таким образом, что именно эта сусальная история — гарантия моего освобождения?

— А вы уже освобождены. Произошла ошибка, господин Дигон, вы не имели никакого отношения к делу этого мерзавца в Париже... Ну а бандитов, которые вас избили в камере, мы привлечем к суду по двум статьям: грабежи, с одной стороны, и нарушение тюремного режима — с другой.

— Если я освобожден, тогда позвольте мне незамедлительно уехать в Нью-Йорк.

— Сначала давайте доведем до конца курс лечения, а потом вы поедете туда, куда вам заблагорассудится.

— Я могу долечиться там, где мое питание не будет регламентировано охранником.

— Господин Дигон, народ возмущен злодейством еврейской террористической организации, и мы обязаны отвечать за вашу безопасность — простите, но, если кто-нибудь из граждан рейха убьет вас выстрелом в висок, оживить вас мы уже не сможем. Нам бы хотелось, чтобы вы рассказали в печати о том, что бредни, распространяемые врагами о нашей мнимой жестокости в тюрьмах, не имеют ничего общего с действительностью. Да, вы были арестованы, причем случайно, да, вы сидели одну ночь в камере, и бандиты, арестованные за грабежи и насилия, учинили над вами зверскую расправу, но если бы не по-

мощь наших тюремных врачей, то вы бы сейчас покоились в земле, господин Дигон. Вам бы следовало рассказать о том, что наша юриспруденция не карает невинных, хотя от случая в нашей жизни никто не гарантирован — по-моему, об этом есть даже в талмуде...

— В таком случае я повторяю мой вопрос, господин офицер... Не имею чести знать вашего имени...

— Эйхман... Моя фамилия Эйхман.

— Следовательно, господин Эйхман, после такого рода заявления я смогу покинуть рейх?

— Бесспорно. Вы покинете рейх, если желаете этого, но не сразу после такого заявления... Вам еще предстоит решить ваши финансовые дела, да и не следует вам сразу же уезжать — могут пойти кривотолки: мол, Дигона попросту заставили выступить с этим заявлением.

— А возможен ли такой вариант: я выступаю с заявлением, в котором благодарю немецкую юриспруденцию и медицину, а после этого вы отказываете мне в выезде на родину?

— Неужели вы думаете...

— Да, господин Эйхман, я думаю именно так. И мне нужны гарантии.

— Я могу понять вас,— после некоторой паузы ответил Эйхман.— Хорошо. Кого бы вы хотели иметь гарантом?

— Кого-либо из представителей наших фирм.

— Это будут американцы? Нет, такой вариант нас не устроит. Может быть, мы остановимся на ком-то из ваших немецких контрагентов?

— Пожалуйста.

— Кого бы вы хотели предложить?

— Доктор Шахт.

— Это невозможно. Доктор Ялмар Шахт — член имперского кабинета министров.

— Доктор Абс? А может быть, Дорнброк?

— Позвольте мне посоветоваться с руководством. Могу вам сказать, что оба эти человека, хотя и являются финансистами — а вы знаете, что наша партия выступает против финансового капитала и крупной буржуазии,— ничем себя не скомпрометировали и занимают нейтральную позицию. Естественно, мне придется переговорить с ними — согласятся ли они выступить вашими гарантами. Впрочем, нам нужен один гарант. Так кто же из них? Абс? Или Дорнброк?

– Хорошо,– пожевав беззубым ртом, ответил Дигон.– Давайте остановимся на Дорнброке.

...Дорнброк пожал худую руку Дигона и прошептал:

– Боже мой, что с вами, Самуэль? Какой ужас, бедный вы мой... Эйхман рассказал мне, что вас изуродовали бандиты в камере во время случайного ареста... Есть еще какой-то Дигон, которого искали, а взяли по ошибке вас...

– И вы поверили этому, Фриц?– горько усмехнулся Самуэль.– Фриц, это все ложь! Меня избил их следователь в гестапо! А теперь они хотят, чтобы я обелил их. Наверное, Барри нажал на них через государственный департамент. И они хотят, чтобы я сказал, будто все это,– он показал иссохшими руками на свое изуродованное лицо,– дело рук бандитов... Не тех бандитов, которые допрашивают, а маленьких, несчастных, темных жуликов. Я сделаю такое заявление, чтобы вырваться из этого ада...

– А дома вы скажете всю правду про этих изуверов, я понимаю вас...

– Конечно! Об этом нельзя молчать. Мир содрогнется, если рассказать об этих зверствах. Достаточно посмотреть на мое лицо... Это страшнее слов...

Дорнброк сказал Эйхману, заехав к нему в имперское управление безопасности:

– Его нельзя выпускать. Отправьте его в лагерь... В такой, словом, откуда не очень скоро выходят. Но пусть он будет жив... Им можно торговать. Естественно, вся собственность Дигона переходит в распоряжение моей компании, но это должно быть сделано секретно. Ариизация предприятий Дигонов, и все. А куда пошли их капиталы – это наше дело.

– Это наше дело,– согласился с Эйхманом Гейдрих,– именно поэтому мы скажем, что все еврейские капиталы переданы народным правительством в народные предприятия оборонных заводов Дорнброка. Я не люблю лис и уважаю позицию. Или – или. В данном случае это будет полезно не только для Дорнброка, но и для всех остальных наших магнатов... Уж если с нами – то во всем и до конца. А это возможно лишь через клятву на крови.

– Да, но Дорнброк провел с ним работу и написал о намерении еврея выступить против нас в Америке...

— А это его долг! И незачем из этого нормального поступка делать сенсацию. Теперь мы над Дорнброком, а не он над нами.

Назавтра Дигон был переведен в Дахау — без имени и фамилии, как превентивный заключенный под N 674267.

Барри К.Дигон увидел на борту «Куин Элизабет» седого старика с обвислыми усами и белой длинной бородой. Ничего в этом старике не было от Самуэля, но он сразу же узнал в нем брата. Все в нем замерло, и он зарыдал.

Он продолжал рыдать и в машине, положив свою голову на худенькую, птичью грудь Самуэля, а тот тихонько гладил его голову и шептал:

— Ну, не надо, мальчик не рви свое сердце, видишь, я вернулся, бог не оставил меня в беде...

Братья сидели в громадном «кадиллаке» и плакали, а кругом веселилась шумная толпа, праздновавшая победу, которую привезли из Европы ребята в зеленых куртках, и сквозь эту толпу было трудно ехать, шофер все время сигналил, то и дело оборачивался назад и с ужасом смотрел на живого мертвеца, который задумчиво гладил голову хозяина, крупнейшего банкира страны, человека, считавшегося одним из серьезнейших финансистов Америки.

Самуэль умер на следующий день. Он умер у себя в комнате, когда поднялся и подошел к окну и увидел маленький нью-йоркский садик, в котором ровными рядами были высажены розы и глицинии — точно такие же, как у нацистов, в Тюрингии, в тридцать восьмом году.

На похоронах, после панихиды в синагоге, тело Самуэля Дигона было перенесено в зал заседаний «Нэшнл бэнка». Здесь, выступая с кратким словом, Барри сказал:

— Вопреки традициям предков мы привезли Самуэля сюда, чтобы с ним могли попрощаться все те, кому дорога демократия, дарованная нашей стране мужеством ее сограждан и богом. Мы привезли Самуэля сюда, потому что традициями наших детей стали традиции Америки. Теперь, наученные бандой нацистов, мы станем непримиримы ко всем и всяческим проявлениям фашизма, где бы и в какой бы форме он ни возродился. Мы будем сражаться против фашизма как солдаты, с оружием в руках.

Мы будем мстить за сотни тысяч погибших американцев и англичан, французов и поляков, русских и чехов. Прощение рождает прощение — гласит мудрость древних. Нет. Отмщение родит прощение или хотя бы даст нам возможность смотреть на немцев без содрогания и ненависти. Все те, кто был с Гитлером, все те, кто воевал под его знаменами, все те, кто привел его к власти и поддерживал его, должны быть наказаны. Мы не можем исповедовать доктрину душегубок, виселиц и пыток. Мы будем исповедовать закон. И этот закон воздаст каждому свое. Прости меня, брат, за то, что я не смог тебе ничем помочь! Спи спокойно, ты будешь отмщен!

ИСАЕВ

1

«А с ногами-то плохо дело,— подумал Максим Максимович,— и самое обидное заключается в том, что это в порядке вещей. Увы. Шестьдесят семь — это шестьдесят семь: без трех семьдесят. Возрастные границы — единственно непереходимые. Как лишение гражданства: туда можно, а обратно — тю-тю».

Он старался растирать ноги очень тихо, чтобы не разбудить Мишаню, всегдашнего своего спутника на охоте, механика их институтского гаража, но Томми, услыхав, что хозяин проснулся и трет ноги щеткой, поднялся, громко, с подвывом зевнул и вспрыгнул на сиденье. Он всегда спал у них в ногах — возле педалей «Волги». Но когда хозяин просыпался и начинал растирать щеткой ноги, Томми сразу же забирался на сиденье и ложился на Мишаню.

— Рано еще,— буркнул Миша,— ни свет ведь, ни заря, Максим Максимович... Не прилетели еще ваши куры...

— Сейчас мы уйдем, не сердись...

Но Миша уже не слышал его. Повернувшись на правый бок, он укрыл голову меховой курткой и сразу же начал посапывать — он засыпал мгновенно.

...Серая полоска над верхушками сосен была молочно-белой. Мир стал реальным и близким; Исаев увидел и валуны, которые торчали из тумана, и воду возле берега, которую, казалось, кипятили изнутри — такой пар дрожал над ней; увидел он и трех уток, которые плавали возле бе-

рега, то исчезая в тумане, то рельефно появляясь на темной, кипевшей воде.

Максим Максимович любил бить влет: когда сталкиваются точности двух скоростей — птицы и дроби,— в этом есть что-то от настоящего соревнования. Мишаня, правда, смеялся над Исаевым: и над его маскировочным халатом, и над винчестером с раструбом, и над особыми патронами, которые специально заряжал доктор Кирсанов, и над тем, как Исаев мазал по уткам с близкого расстояния. Сам Мишаня ко всей этой столь дорогой Исаеву охотничьей игре относился отрицательно: он сидел на зорьке в черном пиджаке, видный за версту, с курковой тулкой, патроны у него были отсыревшие; иногда он начинал петь песни, что приводило Исаева в ярость, но он боялся крикнуть, чтобы тот замолчал, потому что все время ждал появления уток — на вечерней зорьке они появляются из серых сумерек неожиданно и столь же неожиданно исчезают, охотнику остается лишь мгновение на выстрел. Однако, несмотря на все это, Мишаня на охоте был удачливеее Исаева, и уток всегда приносил больше, и всегда вышучивал Максима Максимовича, когда они сидели по вечерам у костра и готовили себе кулеш.

Исаев решил поэтому взять этих трех уток, чтобы утереть нос Мише. Он выждал, пока утки сошлись, и выстрелил. Одна осталась лежать на воде бесформенной и жалкой, враз утратившей свою красоту, и то, что Исаев заметил это, помешало ему снять тех двух, которые свечой поднялись в серый туман. Одну он все-таки снял, но радости ему это не доставило.

— Чего, консервы будем открывать?— смешливо спросил Мишаня, хлопотавший у костра.

Исаев молча бросил двух уток к его ногам и сказал:

— Сегодня твоя очередь щипать, ты — пустой.

— Это почему же я пустой?— обиделся Мишаня и приоткрыл край брезента: там лежали три кряквы.— Они ко мне прямо сюда садятся. На болотце. Я их из машины бью.

Исаев снял сапоги и сказал:

— Издеваешься, да? Вода закипела?

— Дрова сырые, Максим Максимыч. Я уж их и бензином, и по-всякому... Критиковать вас буду — сухой бензин вы должны были купить, у вас в «Спорте» приятели работают...

— Не было сухого бензина, не ругайся. Туристский сезон...

— Вот из-за туристского сезона на поезд свой опоздаете... Народу на станции, наверно, тьма — пятница...

— Кто ж в пятницу едет в город?

— Колхозники — кто... Мы к ним, они — к нам, обмен опытом...— Мишаня засмеялся.— А вот для Томми вашего овсянки тут не достанешь... Чем я его две недели прокормлю?

— Я раньше вернусь... Через десять дней вернусь... Ты его покорми пшенкой или ядрицы в сельмаге возьми. Только ядрицу сначала в холодной воде замочи, ладно? И нормальной солью присаливай, а то он рыбацкую не переносит.

— Будет сделано,— ответил Мишаня.— Я тут с ним без вас всех птиц перестреляю.

Исаев ощипал уток, сварил кулеш, потом два часа поспал на стареньком надувном матраце возле озера, побрился, надел свой брезентовый походный пиджак и отправился на станцию — на прямую, через лес, до нее было десять километров. Мишаня предлагал подвезти, но Исаев отказался:

— Все равно самолет у меня только завтра утром, успею. Отдыхай, Мишаня. До встречи.

На станции народу было действительно полным-полно, билеты в кассе кончились, дежурный по вокзалу ни в какие объяснения входить не хотел: «Всем вам на базар только б и шлендать!»— и пришлось договариваться с проводницей, которая пустила Исаева за трешницу в переполненный плацкартный вагон с условием, что часть дороги он проедет в тамбуре, а если придут контролеры, то всю ответственность за безбилетный проезд возьмет на себя.

До дома Исаев добрался только в два ночи, разбитый, с головной болью. На столе в кабинете лежала записочка: «М.М., два дня, как ваш директор наказывал позвонить ему домой или в институт из-за неприятностей. Очень искал. Нюра».

Почерк у лифтерши, которая дважды в неделю приходила к Исаеву убираться, был детский, чуть заваленный вправо, иногда она путала мягкий знак с ятем, и Максима Максимовича всегда это очень веселило, и записочки ее он хранил.

«Какие неприятности?— подумал он. Через три часа мне надо быть на аэродроме. Сейчас звонить поздно, а в пять утра — слишком рано. Пусть подождут со своими неприятностями до моего возвращения».

Он принял ванну, потом погладил серый костюм, в котором всегда выступал на ученых советах, взял несколько галстуков, долго размышлял над тем, стоит ли брать плащ — в Берлине август и сентябрь самые жаркие месяцы; сложил в чемодан три рубашки, легкие брюки, лекарства и вызвал такси — он любил приезжать на вокзалы и аэродромы загодя.

Пройдя таможенный досмотр и паспортный контроль, он оказался среди шумной толпы японских и американских туристов, которые летели через Западный Берлин в Мадрид («Странный маршрут — через Рим значительно быстрее»). Исаев вдруг усмехнулся, подумав о том, как поразительны смены человеческих состояний во времени: девять часов назад он стоял на зорьке, пять часов назад потел в тамбуре, сейчас толкается среди гомонливых американских старух с острыми локтями и фарфоровыми зубами, а еще через три часа он должен быть в западноберлинском институте социологии, чтобы оговорить график своих лекций и собеседований с коллегами по университету.

Это была его вторая поездка в западноберлинский институт социологии, и он, в общем-то, представлял себе программу. Он только не мог себе представить, что когда самолет приземлится в Темпельгофе, и его встретят коллеги, и отвезут на завтрак, а потом поселят в респектабельном «Кайзере», и он получит у портье записочку от своего аспиранта из Болгарии Павла Кочева: «Профессор Максимыч, масса интересного материала, сегодня увижусь с сыном Дорнброка, может, задержусь на день-два, если хватит денег, позвоните на всякий случай ко мне в отель "Шеневальд", мечтал бы вас повидать. Паша Кочев», и он позвонит Кочеву, и портье ответит ему, что «господин Кочев теперь не живет здесь, поскольку он запросил политическое убежище и переехал в другое место»,— вот этого он себе представить не мог.

— Вы не скажете, как мне позвонить господину Кочеву по его новому адресу?— спросил Исаев.

— Нам неизвестен его новый адрес.

— Кто может знать?

— Вероятно, редактор «Курира» Ленц — он печатал интервью господина Кочева.

Исаев даже головой затряс — так все это было дико и неожиданно. Он нашел телефон «Курира» и позвонил Ленцу.

— Нам неизвестен его адрес,— ответил Ленц.— Если вам очень нужен господин Кочев, обратитесь в полицию, они знают...

В полиции Исаеву сообщили, что делом болгарского интеллектуала Кочева занимался майор Гельтофф, однако никто из его сотрудников не знал адреса, по которому ныне живет господин Кочев.

Исаев поехал в полицейское управление: майор Гельтофф, сказали ему, сейчас здесь в связи со срочным расследованием обстоятельств гибели Дорнброка-сына, но беседовать с майором Исаев не стал, потому что он увидел его, идущего по коридору, и сразу же отвернулся к стене, ибо узнал в нем своего «коллегу по работе в ставке рейхсфюрера» оберштурмбанфюрера СС Холтоффа, который по заданию шефа гестапо Мюллера проводил весной сорок пятого года операцию против него, Исаева, известного в то время Холтоффу как штандартенфюрер СС фон Штирлиц.

Исаев знал, что Мюллер похоронен в Берлине: его убили в мае сорок пятого; Шелленберг умер в пятьдесят четвертом, Айсман трудится в концерне Дорнброка. Единственный, кто исчез из поля зрения Исаева, был Холтофф.

Изменив голос, Исаев позвонил майору из автомата.

— Право господина Кочева не открывать свой адрес,— отрезал майор,— он живет в демократической стране и пользуется гарантиями нашего законодательства. С кем я говорю?

— Со мной,— ответил Исаев и повесил трубку.

В тот же вечер Максим Максимович связался с профессором Штруббе, который отвечал за программу Исаева, и попросил внести коррективы для того, чтобы ближайшие три дня были у него совершенно свободными.

Назавтра Исаев посетил своего издателя, который третьим тиражом выпустил его монографию «Германия, апрель сорок пятого», и — впервые за все его поездки — не стал отказываться от предложенного гонорара. После это-

го он засел в библиотеке, пересмотрел гору литературы по математике и физике, сделал выписки из телефонных справочников Эссена, Киля и Гамбурга, связался по телефону с Мюнхеном и Франкфуртом и наконец нашел того, кого искал,— физика Рунге.

2

— Извините, что я к вам так поздно, доктор Рунге.

— Кто вы?

— Мое имя вам ничего не скажет, но дело у меня к вам крайне срочное.

Они стояли в дверях. Хозяин заслонил дверь и не приглашал гостя войти.

— Я сейчас занят. Очень сожалею...

— Минута у вас найдется?

— Минута — да. Только вряд ли «крайне срочное дело» можно решить за минуту.

— Это лицо вам знакомо?— спросил Исаев, показав Рунге маленькую фотографию.

— Очень знакомый молодой человек...

— Ему сейчас пятьдесят шесть.

— У меня плохая память на лица.

— Кто с вами работал в концлагере Фленсбург?

— Холтофф?

— Так это Холтофф или нет?

— Да... Пожалуй что... Мне кажется, что он, но я боюсь ошибиться. Хотя нет, точно, это Холтофф.

— Теперь посмотрите на это фото.

— Тоже он. Так постарел... Неужели жив?

— Ну а если жив, тогда что?

— Покажите оба фото еще раз.

— Может быть, нам все же договорить у вас в доме?

— Прошу.— Рунге пропустил Исаева в комнаты.

— Вероятно, вы сначала спросите, знаю ли я адрес Холтоффа, и сразу же позвоните в федеральную комиссию по охране конституции?

— Я ни о чем вас не спрошу.

— Все надоело?

— Просто мне надо кончить работу, которой я отдал последние десять лет, а если я обращусь к властям, меня начнут таскать по комиссиям, комитетам и подкомиссиям... Я прошел через все это. Допросы, очные ставки, свидетельские показания в суде, оправдание обвиняемых...

— Все-таки Кальтенбруннера повесили...

— А остальные? Где Бернцман? Зерлих? Айсман? Где они? Бернцман в земельном суде. Айсман у Дорнброка. Зерлих в МИДе...

— Вы пропустили Штирлица, господин Рунге.

— Штирлиц спас мне жизнь.

— Если бы война продлилась еще месяц и русские танки не вошли в Берлин, Холтофф бы вас прикончил, несмотря на все старания Штирлица.

— Вы хотите, чтобы я предпринял какие-то шаги?

— Да.

— Зачем это нужно вам, если я не хочу этого? Я, которого Холтофф мучил, кому он прижигал сигаретой кожу, кого он поил соленой водой? Зачем это нужно вам, если я этого не хочу?

— Зло не имеет права быть безнаказанным, господин Рунге.

— Он одинок?

— Пять лет назад у него родился внук.

— Наши внуки не виноваты в том, что было.

— Верно. В этом виноваты деды.

— Объявив войну, я принесу зло его жене, детям, внуку. Вы призываете меня к мести, а я против мести. Чем скорее мир забудет ужасы нацизма, тем лучше для мира. Надо забыть прошлое, ибо, если мы будем в нем, мы не сможем дать будущее детям.

— Забыть прошлое? Очень удобная позиция для негодяев.

— Вы у меня в доме... Я не имею чести знать вас, но просил бы выбирать точные формулировки.

— Я точен в выборе формулировок. Нас здесь никто не слышит, надеюсь?

Рунге ответил:

— Нас здесь никто не слышит, но мое время кончилось. Так что,— он поднялся,— всего вам хорошего. Ищите мстителей в других местах.

— Сядьте, господин Рунге. Я не собираюсь забывать прошлое. Я не забыл, какие вы писали показания в первые дни после ареста. Я не забыл, скольких людей вы ставили под удар своими показаниями. Я не забыл, как на допросах вы клялись в любви и верности фюреру.

— Штирлиц...

– И благодарите бога, что я не приобщал ваши доносы к делу, иначе вам было бы стыдно смотреть в глаза Нюрнбергскому трибуналу, где вы вели себя как мученик-антифашист. Я имею слабость к талантам, поэтому я изъял из дела все ваши гадости и оставил лишь необходимые клятвы в лояльности. Благодарите бога и меня, Рунге, что по вашим доносам не посадили никого из ваших коллег. И прозрели вы не в тюремной камере. Вы прозрели, когда я отправил вас в спецотдел лагеря, в удобный коттедж. Вас поили кофе и кормили гуляшом, но на ваших глазах вешали людей, а там были талантливые люди, Рунге, очень талантливые люди. И не моя вина, что вас там начал пытать Холтофф,– тогда я уже не мог помешать ему...

– Штирлиц?!

– Штирлиц... Вы правы, я – Штирлиц.

Рунге отошел к окну. Он долго молчал, а потом повторил:

– Штирлиц...

Исаев усмехнулся:

– Штирлиц...

Рунге долго стоял возле окна и курил. Не оборачиваясь, он тихо сказал:

– Я напишу все, Штирлиц. Вам я готов написать все. Диктуйте.

– Нет... Господь с вами... Я пришел не для того, чтобы диктовать... Я пришел для того, чтобы вы не забывали... Я не хочу, чтобы Холтофф повторял с вашими внуками то, что он делал с вами...

3

– Доброе утро, могу я поговорить с майором Гельтоффом?

– Майор Гельтофф сейчас дома и просил не беспокоить его до одиннадцати.

– Пи–пи–пи...

«Стерва!– ругнулся Исаев.– То, что она не говорит обязательного "ауфвидерзеен", сбивает меня с толку. Это от старых немцев. Все-таки тринадцать лет в Германии что-нибудь значат».

Исаев остановил такси:

– Вельмерсдорф, Руештрассе, семь.

Гельтофф жил на Гендельштрассе, но Исаев по привычке не назвал точного адреса. Первое время он и в

Москве, когда ехал на такси, ловил себя на мысли, что называет Скатертный переулок вместо того, чтобы просить шофера отвезти его прямо на улицу Воровского.

От Руештрассе до Гендельштрассе было совсем недалеко — полкилометра, не больше. Исаев огляделся: улочка была пустынная и тихая; коттеджи за высокими металлическими заборами, много плюща, плакучие ивы вокруг маленьких озер, воркование голубей и звонкие голоса детишек.

«Улица хорошая,— отметил Исаев,— а вон та ограда с бетонным выступом как раз для меня. Я смогу посидеть, и он меня не увидит из своего дома. Когда он будет выезжать и остановится на улице, чтобы закрыть ворота гаража, я успею сесть к нему в машину».

Когда из ворот выехал БМВ-1700 и Холтофф пошел закрывать ворота гаража, Исаев быстро поднялся и тут же снова сел — свело ногу. Он понял, что не успеет сесть в машину до того, как Холтофф вернется. Он успел открыть дверь БМВ одновременно с Холтоффом. Тот посмотрел на Исаева: сначала недоумевающе холодно, потом отвалился на спинку сиденья и, побледнев, тихо спросил:

— Ты же мертв, Штирлиц... Зачем ты появился? Что тебе нужно от меня?

— Я рад, что ты сразу поставил точку над «i». Мне действительно кое-что от тебя нужно.

— Что?

— Хорошее начало... Молодец, Холтофф. Вон автомат. Позвони в газету к редактору Ленцу и пригласи его на дружескую беседу куда-нибудь в бар... Я после объясню, что меня будет интересовать.

4

— Добрый день, редактор Ленц.

— Здравствуйте, инспектор.

— Мое звание — майор.

— Да? Хорошо. Я это запомню.

После паузы Холтофф сказал:

— Мне пришлось пригласить вас в этот бар, потому что так будет лучше. Я не хочу лишнего шума... Вызов в полицию, официальные показания. Это всегда вызывает шум.

— Я не боюсь шума. Наоборот, я люблю шум. Он мне выгоден. Ведь я газетчик, майор Гельтофф.

— Значит, вы не хотите говорить со мной здесь ?

Подумав, Ленц ответил:

— Я слушаю вас.

— Ваша газета единственная, получившая интервью Павла Кочева. Меня интересует, кто из ваших сотрудников беседовал с ним? Когда это было? И где? Я обещаю вам, что это будет нашей общей тайной.

В бар зашли трое молодых ребят и девушка. Они заказали бутылку оранжада и сели к столику возле окна, разложив на нем учебники. Один из парней подошел к музыкальному автомату и бросил двадцатипфеннинговую монету. Яростно загремели ливерпульские битлзы.

«Вот сволочи»,— ругнулся Исаев, выключая диктофон, лежавший в левом кармане пиджака.

Откинувшись на спинку кресла, он напряженно прислушивался к разговору Холтоффа и Ленца.

— Итак, где, когда и кто из ваших сотрудников в последний раз видел болгарского ученого Кочева?

— Вы убеждены, что я обязан отвечать на этот вопрос?

— Хорошо. Давайте иначе. Пришлите ко мне того газетчика, который интервьюировал Кочева. Я обязуюсь не требовать у него данных о теперешнем местонахождении Кочева. Мне нужно показание — всего лишь. Показание под присягой. С такой моей просьбой вы не можете не согласиться.

— Мне не совсем понятен ваш интерес к этому Кочеву. В чем дело? Он преступил закон?

— Нет. Отнюдь. Просто я должен быть во всеоружии, когда им начнут интересоваться официальные инстанции... Наш сенат, боннская администрация...

— Давайте созвонимся сегодня вечером, а?

— В пять?

— В семь. В пять у меня самое горячее время с выпуском номера.

— Вы не ответили — пришлете вашего парня?

— У меня есть и женщины, занимающиеся журналистикой,— улыбнулся Ленц.— Я дал вам ответ, майор. Я буду звонить в семь часов. Всего хорошего.

В машине Исаев сказал:

— Поезжай к себе, Холтофф, и сразу же пусти за Ленцем хвост. И пусть сядут на его телефоны. Он приведет тебя к тому ответу, который я ищу. Хочу предупредить, что, если у тебя возникнет надобность в контакте с Айс-

маном и его людьми, ты поставишь себя в неудобное положение. Понимаешь? Я перестану тебе верить.

— Откуда ты знаешь про мои контакты с Айсманом? Ему нечего бояться — он прошел денацификацию.

— Я знаю, что он прошел денацификацию. Но ему есть чего бояться. Дорнброк, конечно, могучий человек, но не всемогущий — времена изменились, Холтофф...

5

В четверть восьмого Ленц передал майору Гельтоффу кинопленку об эмигрировавшем красном, которую он просил приобщить к делу как вещественное доказательство, снимающее «все и всяческие вопросы по поводу решения господина Кочева».

Холтофф привез эту пленку к себе домой и в гараже, дождавшись, пока стемнело, прокрутил ее Штирлицу через проектор, приспособив беленую стенку под экран.

...Вот веселый Паша Кочев выходит с красивой высокой девицей из кафе, вот он садится вместе с ней и еще двумя парнями в открытый автомобиль, вот они едут по городу; Паша выставил руку навстречу ветру, ловит его пальцами, это очень приятно — ловить ветер сжатыми пальцами; вот он подъезжает к пляжу, переодевается в кабине, купается с молодыми ребятами и девушкой, пьет виски из горлышка — бутылка идет по кругу, ай да веселая компания, ай да идиот Исаев, старый, доверчивый, отживший свое идиот, ай да Паша Кочев, аспирант профессора Исаева, ай да времечко пришло, когда Исаева обвел вокруг пальца мальчишка! При чем здесь мальчишка? Просто сам Исаев годен на свалку, как старая, отжившая рухлядь, как матрац с металлическими проржавевшими пружинами, ай да...

— Ну-ка давай прокрутим еще раз...

— Хватит, сколько можно? Теперь с этим все в порядке, Штирлиц. Зачем зря тратить время?

— Давай все сначала, говорю я тебе!

Он сидел теперь возле самого проекционного аппарата, пристроившись так, чтобы видеть на экране все детали.

«А зачем, собственно? Здесь все точно. Непонятно лишь одно: зачем надо было писать мне записку? Зачем? «Задержусь на пару дней...» Если он дал себя снять, то почему не сказал при этом ни слова? Хочет быть чистень-

ким? Просто ушел, и все? Но он же не дурак, он умный парень, он понимает, что предательство остается предательством, независимо от того, кого предал — друга или незнакомого. На чем они могли его взять? Споили? Ерунда, на этом ловят только трусливых болванов. Женщина? Времена теперь другие, слава богу, перестали бояться шантажа... Почти перестали,— машинально поправил себя Исаев.— Идиот, конечно, испугается, а мало-мальски думающий человек... Нет, на этом они его не могли подловить... Или — или... И случилось это на следующий день после его встречи с Дорнброком...»

— Стоп!— вдруг крикнул Исаев.— Останови аппарат!

«Какое было число на афише, мимо которой они ехали? Там было не то число, которое мне нужно! Вернее, там было число, которое не нужно им, а очень нужно мне,— быстро думал Исаев.— Это точно. Если только я не ошибся; господи, только бы мне не ошибиться! Они проезжали на машине тумбу для расклейки объявлений. И там была афиша о каком-то концерте: «Сегодня, 19-го, в "Конгрессхалле"... А он попросил убежища двадцать первого!»

— Останови аппарат! Мотай назад, Холтофф. Там, где я скажу, останови! Дальше... Внимание... Стоп! Стоп!

«Сегодня... в "Конгрессхалле" концерт Жака Делюка: Бах в новом изложении!» «Тебе всунули липу, Холтофф!— подумал Исаев.— Кочева никто не видел из газеты Ленца. Они врут тебе, Холтофф. Они подставляют тебя под удар, потому что это доказательство будет уже не их, а твоим доказательством. Не принимай эту ленту как доказательство, Холтофф. Сделай с нее пару копий, это обеспечит тебе безбедную старость, когда тебя выбросят в отставку. И ничего не говори Айсману и Ленцу. Попроси их сначала прокрутить это по телевидению. И все. А потом, скажешь ты, это будет приобщено к делу вместе с откликами печати. Ты понял, что они тебе подсовывали, Холтофф?!»— думал Исаев, сидя в кресле.

— Ну что же,— сказал Исаев наконец.— О`кей. Теперь мне все ясно. Попроси Ленца устроить завтра показ этой пленки по телевидению. Мальчик выбрал свободу, мальчик у нас весело живет и ездит купаться... В конце концов парень не обязан встречаться с теми, с кем он не хочет встречаться.

Исаев поднялся и сразу же опустился в кресло — снова свело ногу.

— Хотя знаешь, Холтофф, все-таки сними копию с этой ленты, и пусть она будет у меня.

Когда Холтофф уехал, Исаев взял такси и попросил шофера отвезти его к «Зоо» — оттуда два шага до «Европейского центра», а там на восьмом этаже редакция «Телеграфа». К этому изданию Исаев относился серьезно, а к ведущему обозревателю Гейнцу Кроне — особенно.

6

— Телевидение? Я прошу соединить меня с редакцией «Новостей»... Говорит Гейнц Кроне из «Телеграфа», добрый вечер. Только что вы передавали материал о сбежавшем красном. Я уже обратился в прокуратуру, ибо редактор Ленц комментировал заведомую фальшивку. Наши люди сейчас выедут к вам. Примите их, пожалуйста, и во избежание недоразумений дайте им возможность сделать заявление.

— Каких недоразумений?

— Мы обвиним вас в преступном сговоре с Ленцем, который предлагает нашим властям сфабрикованную с помощью телевидения фальшивку.

— Я приму ваших людей, господин Кроне.

Гейнц Кроне подмигнул Исаеву и спросил:

— Сколько я вам должен за сенсацию?

— Это мой подарок за вашу драку против Франца Йозефа Штрауса.

Они сидели на восьмом этаже громадной махины «Европейского центра» и напряженно смотрели на экран телевизора. Если все пойдет так, как задумал Исаев, то через несколько минут должно состояться повторное прокручивание материала, представленного Ленцем.

...Диктор, мотнув головой, поправил галстук и сказал:

— Дамы и господа, в программу наших вечерних передач вносится корректива. Газета «Телеграф» потребовала повторного показа кинокадров, посвященных пребыванию у нас красного интеллектуала Кочева, сбежавшего из-за «железного занавеса». Я хочу представить вам репортеров «Телеграфа» Франца Проста и Пауля Ритенберга. Пожалуйста.

— Мне нужен телефон,— сказал Ритенберг.

— И мне хотелось бы видеть рядом с нами редактора Ленца,— добавил Прост.

— Первая просьба выполнима, а вторая, увы, нет: редактор Ленц уехал из телецентра.

— Ну что ж... давайте еще раз просмотрим его материал,— сказал Ритенберг,— а мы прокомментируем его по-своему.

Замелькали кадры: Кочев смеется, Кочев пьет, Кочев плавает, Кочев едет в открытой гоночной машине к городу. Вот большой столб, на котором наклеено объявление «Сегодня... в "Конгрессхалле" концерт Жака Делюка...».

— Стоп-кадр!— воскликнул Прост.— Дамы и господа, мы просим вас прослушать и просмотреть выступление редактора Ленца. Пожалуйста, включите запись на видео...— попросил Прост диктора.

Возникло лицо Ленца. Чуть усмехаясь, жестко и снисходительно, он говорил:

— Давайте позволим человеку быть свободным в своих поступках. Право каждого человека вести себя так, как ему представляется целесообразным и возможным. Вероятно, на наши учреждения оказывают давление из-за стены, выдвигая очередную версию о «похищении». А Кочев просто не хочет встречаться ни с кем, кроме тех, кто ему приятен. И это его право!

— Стоп-кадр!— воскликнул Ритенберг, и лицо Ленца замерло на экране.

— В этом месте,— продолжал Прост,— мы хотели бы задать редактору Ленцу лишь один вопрос: когда был снят этот материал о Кочеве?

— Он же сказал,— ответил Ритенберг,— что эти кадры сняты после того, как Кочев принял решение не возвращаться в Болгарию. То есть после двадцать первого...

— Я прошу операторов еще раз показать кадр проезда Кочева — тот самый, где мы прервали показ... Благодарю... Дамы и господа, я прошу вас самым внимательным образом посмотреть на эту тумбу для объявлений: «Сегодня, 19-го, в "Конгрессхалле"...» Кочев запросил право убежища и исчез двадцать первого, ибо и двадцатого, и двадцать первого он переходил зональную границу. Это установлено. Эксперты прокуратуры и наши репортеры сейчас находятся возле этой тумбы. Редактор Ленц может ведь сказать, что это объявление было на тумбе и двадцать третьего, и двадцать пятого, не так ли?— заметил Прост.— Пауль, соединись с нашими коллегами. Я хочу, чтобы эксперт дал телезрителям ответ: наклеивались ли новые объ-

явления на эту тумбу, когда и сколько? И если эксперт прокуратуры подтвердит, что на объявления от девятнадцатого наклеивались каждый день новые объявления в течение всей этой недели, мы потребуем привлечения Ленца к суду за диффамацию, ибо он утверждает, что показанные им кинокадры были сняты вчера по его просьбе.

— Это больше, чем диффамация,— возразил Ритенберг, набирая номер телефона,— это преступление, которое попадает под статьи уголовного кодекса.

В трубке, которую держал Ритенберг, захрипело, и донесся голос:

— Говорит эксперт Лоренц. Вернер Лоренц. На объявлении от девятнадцатого мы обнаружили еще семь наклеенных объявлений. Официальную справку я представлю в прокуратуру сегодня же. Каждый день наклеивалось новое объявление. Следовательно, съемки Кочева проводились девятнадцатого, то есть когда он еще не собирался просить убежища.

— У нас все,— изменившись в лице, сказал Прост,— мы благодарим руководство телевидения за ту помощь, которую оно оказало в разоблачении политической фальшивки.

Той же ночью редактор Ленц был арестован. На первом допросе, который проводил Гельтофф, он отказался давать какие-либо ответы в отсутствие адвоката и был препровожден в камеру предварительного заключения...

7

— Только что звонил Айсман. Он обеспокоен всем этим делом с Ленцем, Штирлиц. Он назначил мне встречу на завтра, с утра,— сказал Холтофф, приехав в маленькое кафе, где его ждал Максим Максимович.

— Он понимает, что ты был обязан арестовать Ленца?

— Я его должен выпустить под залог.

— Объясни, что тебе это делать невыгодно. Если ты его отпустишь, «Телеграф» заставит прокуратуру снова вернуть его в тюрьму. Объясни, что тебе выгодней держать Ленца в тюрьме, пока они выстроят для него надежную линию защиты.

— Штирлиц, мне трудно играть роль болвана. Понимаешь? Может быть, в сравнении с тобой я полный болван, но я должен понимать, хотя бы самую малость, в том, чего ты хочешь добиться всем этим делом.

— Я надеялся, что, быть может, ты хоть сейчас научишься думать, когда на карту поставлена твоя жизнь.

— При чем тут я? Семья, внук...

— Изживай сентиментальность, Холтофф, это всегда губило разведчиков. Если захочешь войти в блок с Айсманом, он меня постарается убрать, но если я буду убран, то — это уже по условиям моей игры — материалы Рунге против тебя будут немедленно опубликованы. И мое заявление о тебе — тоже... Так что ты должен не просто помогать мне в те дни, которые нам предстоит вместе прожить. Тебе еще предстоит оберегать меня от Айсмана.

8

Айсман встретился с Холтоффом рано утром.

Концерн выделил Айсману средства для найма конспиративных квартир — не только в Западном Берлине, но повсюду в Европе: там люди из «бюро Айсмана», ведавшего контрразведкой и «экономическим зондажем конкурентов», встречались с многочисленной агентурой. Холтофф, изменивший фамилию в конце войны, передал Айсману, который нашел его в сорок девятом году в полиции Эссена, всю свою агентуру, привлеченную им в свое время работы в гестапо. С тех пор они регулярно встречались на конспиративных квартирах Айсмана. Холтофф не был посвящен в святая святых концерна, но задания своего товарища по гестапо выполнял охотно, зная, что взамен той помощи, которую он оказывал, он получал незримую поддержку семьи Дорнброка.

— Милый Холтофф,— сказал Айсман,— кто-то играет против нас, и очень сильно играет.

— Ты преувеличиваешь. Просто вы плохо сделали материал для Ленца. Торопись придумать что-нибудь, потому что он уже начал плакать в камере, а это, как ты помнишь, плохой симптом.

— Скажи ему, чтобы он дал тебе вот какие показания... Этот киноматериал ему вручил Люс через своего помощника. Режиссер Люс... Тот самый Люс, который идет по делу Дорнброка... И снят он в его манере, этот материал, не правда ли? Резкий монтаж, свободный поиск вокруг главного героя; Кочев нигде не доминирует в кадре, он всюду проходит вторым планом. Ты поясни это Ленцу. Скажи ему, что этой версии он должен держаться

до конца. Естественно, ты объяснишь ему, что после дачи этих показаний его немедленно освободят под залог, и он будет по-прежнему выпускать газету, и получит в придачу время на ТВ для сенсационного выступления. Материалы мы уже готовим...

– Почему ты думаешь, что против нас играют?

– Я ощущаю это кожей.

– Я бы с удовольствием избавился от этого дела.

– Ничего,– усмехнулся Айсман,– если мы с тобой выскочили из той передряги, то из этой-то наверняка выберемся. Ты начни, ты начни только. А потом дело уйдет от тебя, и уйдет оно к Бергу, к этому паршивому демократу из прокуратуры.

9

«М-р Аверелл У.Мартенс,
бокс-4596, Иллинойс, США.

Уважаемый мистер Мартенс!

Сейчас в Западном Берлине прокурор Берг (профессор права Боннского университета, почетный профессор Сорбонны, рожден в Кенигсберге в 1903 году в семье пастора, социал-демократ) ведет расследование обстоятельств таинственной гибели Ганса Дорнброка, а также исчезновения болгарского гражданина – аспиранта Павла Кочева. Научным руководителем Кочева в течение его двухлетнего пребывания в аспирантуре был я. Именно я ориентировал его на исследование нацистского прошлого концерна Ф.Дорнброка. Именно я рекомендовал ему заняться изучением вопроса о неонацистских тенденциях в Западной Германии, о помощи неонацистам со стороны концерна Дорнброка, возрожденного в начале 50-х годов, несмотря на решения Потсдамской конференции.

Поэтому я готовлюсь к тому, чтобы выступить со свидетельскими показаниями против официальной версии, согласно которой П.Кочев «попросил политического убежища». Я еще не готов к тому, чтобы выступить со своей версией, однако опровержение очевидно неспра-

ведливого так же необходимо, как и утверждение справедливости.

Я был бы глубоко признателен Вам, мистер Мартенс, если бы Вы согласились помочь мне, ответив на ряд вопросов:

1. В 1945–1946 годах Вы являлись начальником отдела декартелизации в военной администрации. В связи с чем Вы оставили этот пост?

2. Вы обнаружили Дорнброка и, задержав его, передали британским оккупационным властям по месту его проживания. Судя по сообщениям печати, Вы также выявили еще несколько десятков нацистов – как «фюреров военной экономики», так и работников аппарата РСХА. Не приходилось ли Вам сталкиваться в ходе расследования с бывшими офицерами СД и СС Айсманом, Холтоффом, Вальтером Нозе и Куртом Гролле?

3. Подвергались ли Вы давлению со стороны людей, близких к германским картелям, во время Вашей работы в Германии?

Я был бы весьма Вам признателен за ответ.

С наилучшими пожеланиями
Максим М.Исаев (Владимиров),
профессор, СССР».

ДОРНБРОК ПРИ АДЕНАУЭРЕ

1

Через десять месяцев после смерти Самуэля служба разведки банковской корпорации Дигона положила на стол Барри документы, которые неопровержимо свидетельствовали о том, что крупнейшие корпорации Штатов направили в Германию своих представителей для контактов с теми, кто определял финансовое и промышленное могущество гитлеровского рейха.

Дигон попросил службу разведки перепроверить эти сообщения. Ему были названы источники информации, показаны копии перехваченных телеграмм и устроена тайная встреча с юрисконсультом одного из дюпоновских банков, который подтвердил поездку в Гамбург и Дюссельдорф своих доверенных людей.

Дигон отправился в Вашингтон: там он встретился с Алленом Даллесом.

— Мне понятен ваш гнев,— дружески улыбаясь, сказал Даллес,— но ведь не мне учить вас реализму: мир без Германии невозможен. Если будет вырезана элита промышленников и банкиров, там начнут царствовать нувориши, выходцы из мелких торговцев, из крестьян. Такие люди не в состоянии понимать прогресс, их тянет назад к очагу, к маленькому домику в горах, к мычанию коров в хлеве. Они будут противиться всему новому — не потому, что они против него, на словах они будут трубить о прогрессе,— просто в силу своей интеллектуальной ограниченности. Неужели вы хотите, чтобы Вильгельм Пик поглотил западные зоны? Что тогда будет с Европой?

— Германские бизнесмены шли с Гитлером. Где гарантия, что сохранив эту «элиту», мы не окажемся вновь лицом к лицу с новым вариантом фюрера?

— Это серьезный вопрос, и он встанет на повестку дня, если мы выведем наши танки из Германии. А разве мы вправе сделать это, бросив на произвол судьбы Европу? Я бы советовал вам слетать туда: вы встретите там много интересных людей и столкнетесь с разными мнениями. Вам будет о чем подумать, мистер Дигон... Во имя спасения Европы я пошел на переговоры с Гиммлером, который казнил моих друзей — Гердлера и фельдмаршала Вицлебена... Я понимаю, узы кровного братства сильны и неизбывны, но, согласитесь, узы морального братства порой так же сильны и трагичны...

Когда Барри К.Дигон отправился в Европу, верховный комиссар американской зоны оккупации Германии предоставил в его распоряжение Джона Лорда. Полковник закончил Гарвард, прошел войну, будучи прикомандирован к разведке, три раза его забрасывали в немецкий тыл, и он возвращался — один раз с переломленной в локте рукой, которую, как ни бились врачи, пришлось ампутировать.

— Я ненавижу наци,— сказал как-то Лорд, когда они ехали с Дигоном по разрушенному Кельну, мимо заводских руин, безлюдных, исковерканных.— Но кто же вдохнет жизнь в эту страну? Кто? Мне больно говорить вам, но никто этого не сделает, кроме тех старичков, которые сидят в тюрьме как военные преступники...

— Значит, вы намерены спасти немецких бизнесменов?— поинтересовался Дигон.— Но ведь все они платили Гитлеру... Они были с наци...

— Они сумели наладить ему производство, и это было мощнейшее производство. А что будет с Европой, если мы выведем наши танки? Сталин через неделю войдет в Париж. Здешних стариков от бизнеса надо доить, и это должны делать мы, чтобы не повторилась ошибка Вудро Вильсона, когда мы ушли из Европы.

— Хотите чего-нибудь выпить?

— Стакан молока — с наслаждением.

— Вы бы не согласились вместе со мной поужинать?

— О`кей. Я знаю одно местечко, где можно поболтать. Как вы относитесь к айсбану?

— Лучше сразу же выстрелите мне в висок.

— Простите, я забыл, что вам нельзя есть свинину. Ладно, сделают крольчатину.

— Это здесь стоит, видно, громадных денег?

— Я одолжу вам, если не хватит! Почему все миллионеры такие страшные скупердяи?

— Я борюсь с собой,— в тон ему ответил Дигон,— но безуспешно. Знаете, у меня есть друг — Джаншегов. Он стоит примерно триста миллионов. Как-то лакей в ресторане — он там всегда ест котлетки — сказал ему: «Мистер Джаншегов, вы даете мне доллар на чаевые; спасибо, конечно, доллар — это доллар, но ваш сын дает мне не меньше десяти». А Джаншегов ему ответил: «Если бы у меня был отец, как у этого сукина сына, я бы давал вам двадцать...»

— В моих руках сконцентрирован такой материал, который позволяет подумать о будущем, точнее говоря — о собственном деле. А оно немыслимо без капиталовложений. Денег у меня нет, оклады в армии полунищенские.

— Вы хотите, чтобы я помог вам?— спросил Дигон.

— Да.

— Я всегда довольно смело шел на финансирование всякого рода начинаний, порой рискованных, но я знал исходные данные: кто? зачем? степень риска? возможность удачи? И это,— он взглянул на Джона,— должно быть не эмоциональным подвижничеством, но цифровой выкладкой.

— Понимаю,— ответил Лорд.— Вам нужны гарантии. Их нет. Но у меня есть факты.

— А вам известен такой факт,— спросил Дигон,— что здесь, в Германии, до тридцать восьмого года у нас с братом был небольшой актив — что-то около сорока миллионов долларов? Деньги это не бог весть какие, но ведь и такие деньги не лежат в мусорном ящике. Давайте будем считать гарантией следующее предложение: я приглашаю вас стать моим доверенным лицом в поисках этих денег. Мне известно лишь то, что все наши бумаги и вся наличность в дрезденском банке были переданы Дорнброку — убийце моего брата. Стоимость работы оцените сами...

Лорд отставил свой стакан с молоком, закурил и достал из кармана пачку маленьких, квадратной формы, тугих мелованных бумажек. Он прикрыл их рукой и сказал:

— Это немецкие картели, мистер Дигон. Связи, данные на сегодняшний день, имена. Я начну по порядку. Я хочу, чтобы вы поняли, отчего я пришел к вам с этим разговором. Итак, начнем с «И.Г.Фарбениндустри». Шефами «И.Г.» вы считали Абса и Шмица, и правильно делали. Я бы причислил сюда и Боша, но он неосторожно вошел в сорок втором году в имперский совет по делам вооружений. Шмиц и Бош сейчас у нас в тюрьме, в Ландсберге. Абса после трехмесячного ареста мы освободили: он ничего не подписывал, кроме банковских чеков, хотя на эти банковские чеки покупались станки для выработки газа «циклон». Но это так, сантименты... Так вот, Абс имел уже семь встреч — с людьми из Штатов и из Лондона. Дюпон прислал к нему своих людей. Уже два месяца здесь живет господин из нашей «Дженерал дайстаф корпорейшн», добиваясь свидания со Шмицем, который сидит у нас в Ландсберге... А Шмиц был директором германского филиала этой компании.

— Это все, что у вас есть?

— Это полпроцента того, что я имею.

— Связи, номера счетов, кредиторы?

— Это я храню в наших сейфах и стараюсь не подпускать туда людей ФБР, которым кто-то хорошо платит,— из тех, кто прилетел к Абсу. Словом, «И.Г.Фарбениндустри», которую мы должны,— Джон поморщился,— декартелизировать, уже обложена со всех сторон, а немцы не забывают тех, кто протянул им руку помощи в трудную минуту; они не смогли забыть Версаль, и появился Гитлер... Далее... Концерн Маннесмана. Генеральный дирек-

тор концерна Цанген у нас в тюрьме. Он был заместителем председателя имперской хозяйственной палаты и руководителем имперской группы «Промышленность», он также курировал группу вооружения. Он у нас в тюрьме, и к нему нашли подходы люди из Канады. Концерн Клекнера. Вокруг этого концерна вьется Аденауэр, и я не исключаю, что его сын вскоре станет юрисконсультом Клекнера, а это будет значить, что англичане наложили лапу на все это дело в Рейнско-Вестфальской области. Крупп... «Дженерал электрик» уже здесь, и, пока мы держим сына старика Круппа Альфреда в Ландсберге, его братья Бертольд и Гарольд фон Болен ведут переговоры с нашими бизнесменами о развертывании производства. Как вы понимаете, сейчас, когда немецкие старички сидят в наших тюрьмах, разговор с ними легок, приятен и весьма результативен в плане ваших интересов. Концерн Симменса — европейская ориентация, нашим туда не влезть...— Джон Лорд откинулся на спинку кресла и улыбчиво посмотрел на Дигона.

— Занятно,— сказал тот,— я рад, что приобрел такого интересного знакомого. Теперь я спокоен за судьбу моих сорока миллионов и могу улететь в Штаты...

Лорд закурил.

«Смелее, парень,— подумал Дигон.— Я знаю, почему ты ничего не сказал о концерне Дорнброка. Если ты скажешь о нем все, значит, с тобой надо иметь дело, но если ты, зная о гибели Самуэля, промолчишь, значит тебе еще рано включаться в серьезное дело. А подчинив себе Дорнброка, я отомщу за брата и получу ту власть в Германии, которая будет служить нашему с Самуэлем делу».

— Крольчатину хорошо готовят,— сказал Дигон, обсосав ножку,— я всегда оставляю на конец разговора вкусный кусочек. Если разговор был неудачным, я заедаю досаду, если он был нужным, я подкрепляюсь перед началом дела...

— О концерне Геринга, вероятно, нет смысла говорить,— отхлебнув молока из высокого стакана, заметил Джон Лорд,— это дело обреченное, Геринг есть Геринг... Ну а Дорнброк есть Дорнброк.

Дигон молчал, он не говорил ни слова, неторопливо потягивая холодную воду: американцы быстро приучили немцев во всех ресторанах подавать к обеду воду со льдом...

— Сколько ему дадут?— спросил Дигон.— Или все-таки повесят?

— Я бы не стал вешать солдат, которые выполняли приказы своего командира,— заметил Лорд.— Дорнброк — единственный, кто не имеет хороших связей с деловым миром за рубежом, он всегда ориентировался лишь на Германию.

— А сколько он выкачал из оккупированных стран?— поинтересовался Дигон.— Или это сейчас не в счет?

— Отчего же,— ответил Джон Лорд.— Это в счет, конечно. Если хотите, можете дать на него письменные показания в связи с гибелью вашего брата. Я приобщу эти показания к делу, и они хорошо прозвучат на процессе.

— В таком случае я бы просил вас ознакомить меня с расследованием по поводу гибели Самуэля.

— Попробуем,— ответил Лорд,— только стоит ли бередить незажившие раны?..

Они молча смотрели друг на друга — Дорнброк и Дигон. Дигону показалось, что он сейчас слышит, как в жилетном кармане тикают большие карманные часы — подарок Самуэля ко дню его двадцатилетия.

— Садитесь, пожалуйста,— сказал Дорнброк, указав рукой на круглый металлический табурет.

— Это я говорю вам — садитесь. Садитесь, Дорнброк.

— В таком тоне разговор у нас не пойдет.

— Он пойдет именно в таком тоне. Я пришел к вам как к убийце моего брата.

«Все-таки невоспитанность — несчастье американцев,— подумал Дорнброк, садясь на свою железную койку,— и винить их в этом нельзя. Это то же, что винить бедняка в бедности».

— Какие основания у вас считать меня убийцей вашего брата?

— Если бы у меня этих оснований не было, я бы не говорил с вами так.

— Прежде чем я попрошу охрану прекратить ваш визит, запомните, пожалуйста, господин Дигон, номер счета в лозаннском банке на ваши сорок три миллиона долларов — я перевел их туда на имя Самуэля К.Дигона: 78552.

— Я бы приплатил вам еще сорок три миллиона, если бы вы тогда спасли жизнь Самуэлю.

— Вы не знали, что такое нацизм. Угодно ли вам выслушать, какую роль сыграл я в этой трагедии?

— Значит, вы сыграли роль в этой трагедии?!

— Гейдрих — вам говорит что-нибудь это имя?

— Да. Это начальник вашей тайной полиции.

— Он вызвал меня и попросил поехать на дачу, где содержался ваш брат. «Вы ведь знакомы с ним?»— спросил он. «Да,— ответил я.— Не коротко, мы имели несколько дел в двадцать седьмом году».— «Уговорите его согласиться с той версией, которая предложена Эйхманом, и мы отпустим его в Америку. Если он пообещает молчать в Штатах о том, как его обрабатывали, но не сдержит своего слова, тогда мы покажем вам, как у нас обрабатывают на Принц-Альбрехтштрассе».— «Я не хочу быть негодяем, обергруппенфюрер. Я хочу, чтобы вы дали мне слово германца: если Дигон будет молчать о том, как его мучили, вы отпустите его».— «Я даю вам такое слово». И я приехал к Самуэлю, и он сказал мне, что ему предлагает Эйхман. «Но я вернусь домой,— сказал он,— и там расскажу все, мой друг, все!»— «Это погубит меня здесь,— сказал я ему, я выступаю гарантом за вас перед властями».— «Что они могут без вас?— спросил он.— Что? Вы даете им те мощности, которыми они угрожают миру. Ну выступите на пресс-конференции и скажите, что я, подлый еврей, обманул вас и что все сказанное банкиром — ложь и клевета на рейх». Я не хочу лгать вам, господин Дигон, я уговаривал Самуэля не делать этого, не ставить меня под удар. Он был неумолим. В конце концов мы сговорились на том, что он, вырвавшись из Германии, обрушится на меня с нападками как на пособника нацистов, как на их адвоката и таким образом оградит меня от кар гестапо. Назавтра меня вызвал Гейдрих и сказал, что моя запись беседы с Дигоном у него на столе. И он дал мне послушать эту беседу. Я виноват в глупости, в доверчивой глупости, но больше я ни в чем не виноват. А потом Гейдрих напечатал в газетах, что мне передаются деньги «еврейского банкира Дигона». Теперь вы вправе вынести свой приговор.

Дигон даже зажмурился от ненависти. Он сжал кулаки, чтобы не дрожали пальцы. «Ты будешь отмщен, брат,— сказал он себе,— я брошу этого наци под ноги, как на закланье... Ты будешь отмщен, Самуэль...»

— Что ж, эта версия точно учитывает всю механику вашего проклятого государства... Вы очень страшный че-

ловек, Дорнброк... Все дело брата хранится у меня в фотокопии. И даже сообщение службы наблюдения, почему запись беседы прекращена. Вы тогда вместе с Самуэлем вышли из комнаты, опасаясь прослушивающих аппаратов. Не так ли? А вот ваш разговор с Эйхманом у меня есть.

— Это фальшивка Гейдриха.

— Есть показания охранника и врача.

— Это люди гестапо.

Дигон поднялся с табурета, подошел к Дорнброку и ударил его кулаком в лицо. Потом он свалил его на пол и начал топтать ногами. Это была страшная сцена: седой, высокий, как жердь, Дорнброк лежал на полу, а маленький, багровый, в слезах Дигон, сопя, топтал его ногами.

А потом, обессилев, он опустился на цементный пол рядом с Дорнброком. Тот поднял окровавленное лицо и положил руку с разбитыми пальцами на плечо Дигона.

— Только не кричите,— шепнул он.— Может услышать охрана, только не кричите...

Назавтра Дигон заключил с Дорнброком секретное соглашение о начале аналитических разработок урановых руд в Фихтельгебиргере. На текущий счет той фирмы, которая занялась выполнением работ в Фихтельгебиргере, лозаннский банк перевел долгосрочный заем в размере сорока четырех миллионов двадцати шести тысяч долларов. Один миллион двадцать шесть тысяч долларов были процентами, которые успели нарасти после смерти Самуэля К.Дигона. Дорнброк внес в это предприятие сто миллионов долларов через подставных лиц. Это были те деньги, которые он получил от союзников, уплативших ему компенсацию за отчуждение всех металлургических заводов и угольных копей концерна...

Дорнброк после этого целую неделю не поднимался с кровати. Он лежал, отвернувшись к стене, и медленно рассматривал пупырышки и линии, оставшиеся после большой жесткой кисти: здесь каждый месяц красили камеры в серый, мертвенный цвет блестящей, жирной масляной краской. Иногда он начинал лениво считать пупырышки, но сбивался на второй сотне, а линии, оставшиеся после кисти, были размытые, не резкие, их он поэтому не считал, хотя ему очень хотелось вывести какую-то закономерность в соседстве точек и протяжении прямых.

«Бог мой, как это все ужасно,— думал он, тяжело переворачиваясь на спину.— Зачем все это? Зачем такая гадость? Есть ли предел допустимого в моей религии дела? Я бы мог закричать тогда, и стражники арестовали бы этого борова, и он бы сел на скамью подсудимых. Мою вину надо еще доказывать, его вина была очевидной».

Он не мог спать даже после того, как тюремный врач принес ему успокаивающее лекарство. По ночам он лежал, запрокинув худые длинные руки за голову, и мечтал об одном — заплакать. Заплакать, как в детстве, чтобы в душе наступило сонливое спокойствие и блаженная тишина.

«Помоги мне заплакать, боже,— молил Дорнброк,— помоги мне выплакать горе». Но заплакать он так и не смог ни разу.

Он впервые поднялся, когда ему сказали, что разрешено свидание с сыном. Он побрился, сделал тщательный массаж лица, чтобы не было видно, как запали щеки и прорезались морщинки возле ушей. Он вышел к Гансу улыбающийся, спокойный и сказал:

— Здравствуй, мой дорогой Ганс, здравствуй, друг мой...

Мальчик кинулся к решетке, и сердце Дорнброка сжалось, но он заставил себя засмеяться.

— Ничего,— сказал он,— львы остаются львами даже в зоопарке. Ну рассказывай, как дела в школе. Мне говорили, ты совсем забросил математику?

— Я забросил математику,— ответил Ганс и заплакал.— Что они делают с тобой, папочка?

Дорнброк пожал плечами и ощутил, как все то гадкое и униженное, что было в нем эти дни, уходит, потому что есть Ганс, есть мальчик, его мальчик, его любовь и надежда, и в нем заново рождается прежний Дорнброк, который может проиграть, но который никогда не сдастся.

— Ганс,— сказал Дорнброк, и услышал свой сильный голос, и, представив себя со стороны, распрямился, и поднял голову,— если ты веришь мне, то знай: скоро все будет хорошо. Я ничем и никогда не подводил тебя. И попроси шофера отвезти наши ракетки в хорошую мастерскую, мы еще сразимся с тобой на корте, но форы, я, правда, дать тебе не смогу. Выше голову, сынок! Ты — Дорнброк! Слышишь? Ты — Дорнброк!

2

После отъезда Дигона (он уехал за неделю перед началом трибунала) адвокатам удалось устроить Дорнброку встречу с Вернером Науманом, заместителем Геббельса, человеком, который был участником последнего совещания в бункере, состоявшегося через сорок минут после самоубийства Гитлера.

...Они тогда сидели вчетвером: рейхсминистр пропаганды Геббельс, Борман, Науман и вождь гитлерюгенда Аксман. Борман молчал: за все время, пока шло совещание, он не проронил ни слова. Говорил Геббельс:

— Германия восстанет из пепла. Идеи фюрера будут всегда обладать притягательной силой для немцев. Имя Гитлера всегда будет окружено ореолом любви, и, лишь уповая на его гений, можно вернуть движение к его изначальной мощи. Борман и я говорим это именно вам, фюреру гитлерюгенда и лучшему пропагандисту рейха. Вы должны будете сделать ставку на молодежь. Вы должны будете донести до подрастающего поколения немцев всю правду о нашем движении.

Науман в тот же день посетил Дорнброка, который уехал в свое поместье еще в середине апреля, когда русские подходили к Берлину, и рассказал ему о последней речи Геббельса.

Дорнброк поморщился:

— Болтовня! Все надо делать не так, Науман. Скорых результатов в политике ждут только мещане, которые считают, что смени одного президента и поставь другого, все изменится в лучшую сторону. Когда Геббельс говорил о ставке на следующее поколение — в этом он был прав. Но вопрос в том, кто и как будет формировать это новое поколение. Если формировать молодое поколение, следуя доктрине покойного фюрера, то мы обречены на крах. Науман... Нет, не национал-социализм должен стать знаменем будущего поколения, а патриотизм; не Гитлер должен сделаться богом, а Роммель — можно расплатиться именем убитого для того, чтобы живой Гитлер был в каждом из нас. Сохранить память о фюрере нельзя теми методами, которые предлагал хромой,— это утопия. Мы, понимавшие всю сложность проблем, стоявших перед рейхом, когда к власти пришел фюрер,— после инфляции, разрухи, голода, «Рот-фронта»,— мы понимали необходимость репрессий и концлагерей. Но

когда об этом во всю мощь начнет говорить немцам пропагандистская машина оккупантов, народ Германии проклянет фюрера, забыв все то, что он им дал. Лишь небольшая часть фанатиков будет рвать глотки, восславляя его; остальные предадут еще до того, как петух прокричит в первый раз. Союзники — и в этом парадокс — будут с двух сторон долбить гитлеризм: ни Сталину, ни Трумэну не нужна Германия Гитлера, то есть мощная единица силы. Западу нужна Германия, включенная в орбиту их эгоистических интересов. Сталину нужна Германия «Рот-фронта». В этом, и лишь только в этом я вижу не выход, нет, я вижу лишь лазейку в будущее. Вы должны звать к демократии, а не к диктатуре, ибо, лишь расшатав демократию еще более разнузданной демократией, мы сможем подвести обывателя к требованию: «Дайте нам железного канцлера, который будет гарантом нашего будущего!»

Науман кое-что записал в потрепанную записную книжку, попрощался и исчез. Дорнброка вскоре арестовали. Пообвыкнув в тюрьме, он нашел Наумана. Тот был на свободе — его даже не допрашивали. Встречу устроил Джон Лорд — и не в камере, а, как просил Дорнброк, в тюремном садике, во время двухчасовой утренней прогулки.

— Ну как поживаете?— спросил Дорнброк и, взяв Наумана под руку, повел по двору.— Старые идеи перестали преследовать вас или вы по-прежнему вспоминаете прошлое?

— Если прошлое можно забыть, значит, его не было.

— Красиво. И верно, в общем-то очень верно. Я хотел спросить вас: как вы мыслите свое будущее?

— Вы, конечно, знаете о «немецкой партии»?

— Это блеф. Вы пытаетесь сделать национал-социалистическую немецкую партию. Не выйдет. Подготовка создания социалистической имперской партии — еще больший блеф. Нельзя в политике показывать кончик фаллоса; не надо партии заявлять себя организацией защиты сильных. Не надо гальванизировать труп. Ставьте на будущее. Нужна партия, которая в своем названии имела бы два слова: «демократия» и «нация». Мои друзья говорили, что вы, когда встречаетесь с единомышленниками, цитируете Геббельса и вздыхаете о Гитлере: «Это был настоящий вождь!» Не надо бы вам этого делать, если вы действительно храните в сердце верность своим

учителям... Идти в будущее следует по пути, обозначенному Гитлером, но под другими знаменами... Я слышал, что вы гонитесь за количеством,— это неразумно. Не надо делать ставку на стадо; ищите тех, кто прошел серьезную школу промышленности, банка, науки. Партия, которая в будущем придет к власти, должна отказаться от роли всезнающего пророка — применительно к экономике, естественно. Никто не вправе претендовать на роль всезнающих мессий... Когда сейчас вы пытаетесь утверждать, что фюрер проиграл потому, что его «обманывал аппарат», вы оказываете ему медвежью услугу — канцлер должен ходить пешком по своей стране, без сотни вооруженных эсэсовцев, которые заслоняют его от народа... Мы ведь ходим по цехам наших заводов, не опасаясь запачкать брюки...

Науман встретился со своим бывшим подчиненным по СС Госсом на следующий день.

— Старик говорил мудрые вещи, Госс. Он говорил так, будто он не в тюрьме, а у себя дома. Он не из хвастунов, но я верно понял: скоро мы его будем встречать у тюремных ворот с национальным флагом. Он согласен финансировать наше движение. Следовательно, главный вопрос: аренда помещений, типографии, кадровые работники — отпадает сам по себе. Остается расхождение: он хочет диктовать нам свои условия, и многие из его условий мы примем. Но он хочет сделать нас своими шавками; он хочет, чтобы мы таскали ему каштаны из огня. А мне не хочется этого делать. Он хочет, чтобы наши идеи работали на его индустрию, а я хочу, чтобы его индустрия работала на нашу идею.

— Здесь возможен компромисс.

— Не убежден... Не знаю... Он, когда вернется в свой картель, сразу же войдет в орбиту мировых экономических связей. И его подомнут американцы. А для них судьба Германии — ничто. Они не станут воевать за наш Эльзас, Бреслау, за наш Кенигсберг. Мы — станем. Так что поглядим. А пока выполняем его предписания и берем на вооружение его программу... Вызывайте этого капитана... Как его зовут? Я забыл.

— Тадден. Адольф фон Тадден.

— Да, Тадден. У него хорошее имя, я вспоминаю имена по линии ассоциативной связи,— заметил Науман,— и готовьте его к делу, надо думать о партии, в

названии которой будет слово «демократия». Он, в общем-то, самая хорошая кандидатура: сестру казнили эти «проклятые наци», а сам сидел в тюрьме у красных в Польше, да и дядя — уважаемый евангелист... Вы убеждены, что история с сестрой не повлияет на него в будущем?

— Убежден,— ответил Госс.— Он истинный немец. При фюрере он ощутил величие государственного могущества, а это незабываемо. Он был капитаном победоносной армии, а теперь он «проклятый немец». Нет, он никогда не изменит своему прошлому...

— Хорошо,— заключил Науман,— согласен. Теперь второе: Дорнброк просил заняться линией его защиты через нашу прессу. Я думаю, это дело для вас. Причем его трогать не надо. Будем валить тех свидетелей, которые дают обвинение против старца...

3

После того как Нюрнбергский трибунал приговорил Дорнброка к девяти годам тюремного заключения, он через своих юрисконсультов уволил всех сотрудников, которые на процессе давали показания не в его пользу.

Каждому из этих сотрудников был вручен синий пакет с типографски отпечатанным текстом: «Благодарим вас за работу, в ваших услугах концерн более не нуждается. С наилучшими пожеланиями».

Подпись была неразборчивой.

Когда уволенные обратились с жалобой в оккупационную союзническую комиссию и к властям Бизонии, Дорнброк — опять-таки через своих юрисконсультов — ответил, что в связи с декартелизацией и сокращением объема работы он крайне ограничен в средствах и не может платить деньги тем людям, которые практически теперь ни за что не отвечают.

Уволенные обратились в суд, требуя восстановления на работе и компенсации. Дорнброк уполномочил юрисконсультов отстаивать интересы концерна, а сам с еще большей, скрупулезной настойчивостью занялся изучением проблемы атомной промышленности и связанных с ней судостроения, ракетостроения, а также электронно-вычислительного планирования.

Однако его бывшие сослуживцы нанесли ему неожиданный удар: в суде первой инстанции увольнение было

признано противозаконным — это со всей возможной тщательностью доказал адвокат Бауэр.

— Кто этот Бауэр?— спросил Дорнброк Джона Лорда.

— Молодой парень... Его никто не считал звездой, он занимался разводами... Из баварской деревни, окончил технологический и юридический факультеты университета. Отец у него давно умер, дядя имеет одну корову, а сам он лишь в сорок пятом отпраздновал свое двадцатилетие... Я попробую свести ваших юристов с полковником Радтке — видимо, мы сможем протащить его на пост заместителя шефа контрразведки.

...Бауэр вошел к Радтке вызывающе спокойно.

— Садитесь, господин Бауэр, добрый день, рад познакомиться с вами,— сказал полковник.

— Добрый день,— сухо ответил Бауэр.— Чем вызвана необходимость нашей встречи?

— Тем, что мы с вами делаем одно дело. Охраняем конституцию республики. Я — в тиши этого кабинета, вы — под юпитерами кинохроники в зале земельного суда. Итак, мой первый вопрос: являетесь ли вы членом коммунистической партии Германии?

— Конечно нет.

— Ого? Не просто «нет», а «конечно нет»! Отчего такая категоричность?

— Я христианин.

— В своем выступлении по делу об увольнении сотрудников Дорнброка вы говорили следующее.— Радтке надел очки, взял со стола папку, раскрыл ее и начал читать:— «Даже сейчас, когда демократия гарантирована законом в нашей республике, нацистский преступник Дорнброк из-за решеток ландсбергской тюрьмы продолжает чинить расправу с неугодными ему людьми лишь за то, что они сказали правду!» Это ваши слова?

— Мои. Что вы можете оспорить в этом утверждении?

— Многое,— ответил Радтке.— Во-первых, Дорнброк не нацистский преступник... Он военный преступник... Если бы он был нацистом, он бы не отделался таким мягким приговором. Его вина — эта вина солдата, который во всех случаях обязан быть патриотом своей родины, то есть выполнять приказания вышестоящего командира. Командир Дорнброка рейхсминистр Шпеер, настоящий нацистский преступник, тут спору нет, отдавал ему при-

казы... Как мог Дорнброк не выполнить приказа в условиях гитлеровской диктатуры? Назовите мне хотя бы одного серьезного человека, имевшего вес в обществе, который бы ослушался приказа министра?

— А Тиссен?

— Тиссен? Тот самый банкир Тиссен, который десять лет платил Гитлеру, а потом дезертировал в стан врага? Он сейчас в почете, но лично я отношусь без симпатии к тем, кто воевал с режимом, отсиживаясь в бернских отелях или в лондонских разведцентрах. Мужество фельдмаршала Вицлебена мне ближе. Далее, господин Бауэр.— Полковник снова открыл папку.

И Бауэр подумал: «Проклятие... Я могу драться на людях, а один на один с начальством робею, делаюсь беспомощным и ничего не могу ответить путного. Мой дед был такой, и отец тоже... Крестьяне взрываются лишь на следующий день после того, как их оскорбили».

— Вы утверждаете,— продолжал полковник,— что Дорнброк из-за решетки тюрьмы уволил своих сотрудников. Это нарушение конституции, и мне хотелось бы пресечь подобного рода деятельность осужденного военного преступника. Какими фактами вы располагаете?

— На этот вопрос я не буду отвечать...

— Это ваше право, господин Бауэр, однако, если Дорнброк привлечет вас к суду за ложные обвинения, вам придется давать объяснения при публике либо, если вы очень дорожите источником информации, сесть в тюрьму, в камеру неподалеку от Дорнброка,— рассмеялся полковник.

— Если я скажу, что эти данные ко мне поступили от одного из сотрудников оккупационных держав?

— Вы поддерживаете с ним контакты по официальным каналам?

— На этот вопрос я не стану отвечать.

— Тогда, возможно, вы ответите мне, кто обратился к вам с просьбой о защите уволенных?

— Советник Доре. Он уволен, хотя проработал в концерне двадцать пять лет.

— Он обратился к вам по чьей-либо рекомендации?

— Меня это не интересовало.

— Какой гонорар вы получили за работу?

— Мои гонорары известны казначею нашей адвокатской гильдии.

— Мне важно знать: получили ли вы какое-либо дополнительное вознаграждение? Вам, вероятно, неизвестно, что сын советника Доре работает в восточном секторе и является членом компартии? Вам известно, что ваша защитительная речь перепечатана на Востоке под заголовком «Обвинение реваншизму в Западной Германии»?

Полковник дождался, пока Бауэр просмотрел статью, и сказал:

— Мы, естественно, будем расследовать ваше утверждение о том, что Дорнброк ворочает делами, сидя в тюрьме. Если это подтвердится, мы потребуем дополнительного суда над ним. Мы будем беспощадны, смею вас заверить. Надеюсь, вы не откажетесь помочь нам в такого рода расследовании?

...Через два дня в нескольких газетах появились статьи: «Адвокат Бауэр работает на аплодисменты Востока»; «Вильгельм Пик делает ставку на молодых адвокатов Запада». В защиту Бауэра выступила коммунистическая печать: «Правду нельзя заставить молчать!»

Председатель адвокатской гильдии вызвал Бауэра и сказал:

— Коллега, нападки справа мы перенесем, но защита слева нас шокирует. Перед слушанием дела в высшей инстанции я бы советовал вам отмежеваться от защиты коммунистов.

— Я уже послал в газеты письмо по этому поводу,— сказал Бауэр,— я возмущен до глубины души.

На следующий день в двух газетах появилось письмо Бауэра: «Я не нуждаюсь в поддержке кремлевских марионеток, я выполняю свой долг перед германским законом и служу интересам моей родины».

Однако если в первой газете письмо было опубликовано без каких-то комментариев, то во второй под письмом Бауэра была помещена маленькая заметка: «Бауэр, защищая коммунистов, делает хорошую мину при плохой игре. Бой надо вести в открытую, а не маскироваться под поборника конституции, защищая интересы тех, кто своей главной задачей ставит лишение нас этой конституции».

Бауэр растерялся. Он позвонил президенту гильдии и попросил совета: как поступить дальше?

— Я не могу давать вам советы такого рода,— ответил президент,— мы живем в демократическом государстве, и я не собираюсь навязывать вам свою волю.

В тот же вечер к Бауэру зашел некий господин и, не называя себя, предложил встретиться с Дорнброком.

Назавтра Бауэр приехал в тюрьму. Дорнброк сидел за длинным столом, отделенный от своих сотрудников и Бауэра тонкой частой решеткой. Лицо Дорнброка из-за этого показалось Бауэру пепельным, очень нездоровым.

— Здравствуйте, Бауэр,— сказал Дорнброк, весело помахав рукой,— мне понравилась ваша речь. У вас хорошие челюсти. Я понимал, что суд первой инстанции не преминет лягнуть меня — всегда приятно бить тех, кто не может ответить. Поэтому наши материалы мы приберегли для следующего процесса. Вот познакомьтесь с этими господами и попросите их расписаться. Сравните их факсимиле с подписями на бланках увольнения... Они идентичны, но оба эти господина не имеют ко мне никакого отношения: они директора самостоятельных фирм.

Бауэр посмотрел на двух директоров и засмеялся.

— Предвидите хорошую драку?— спросил Дорнброк.

— Предвижу избиение. Но у меня есть деньги, чтобы купить пару коров и вернуться в деревню...

— Я попрошу вас задержаться на пару минут,— сказал Дорнброк,— у меня есть предложение.

Когда они остались одни, Дорнброк подошел к решетке. Он долго смотрел на Бауэра — в стареньком костюме, худого, с тенями под глазами; ноги поджимает под стул — ботинки дырявые; а руки сильные, хорошие руки, крестьянские, такие руки не боятся работы и не делят ее на белую и черную; и глаза хорошие — без одержимости и без смеха, и страх в них есть, и неловкость, продиктованная почтением, почтением к нему, старцу Дорнброку, узнику, лишенному чести и прав, хозяину концерна, обладателю трех миллиардов марок в банках Европы и Германии...

— Сейчас вы получаете тысячу марок. Я предлагаю вам тридцать тысяч марок для начала, и вы переходите работать ко мне.

— Сколько?!

— Я не собираюсь вас подкупать, ибо я уважаю вас, но вы мне не нужны как юрист. Вы мне нужны в качестве несколько неожиданном — консультанта по кадрам.

— То есть?

— Подберите десять — пятнадцать парней вашего возраста, тоже желательно из крестьян,— вы люди надежные

и друг друга умеете тянуть за уши, особенно если можно опереться на старика Дорнброка. Вы и ваши люди будете помогать мне бороться с разрухой. Мы должны дать немцам работу, хлеб и масло вместо пушек.

— Сколько вы будете платить людям, которых я найду?

— Им будете платить вы. От пяти до двадцати тысяч.

— Что они должны будут делать?

— Дайте мне выйти отсюда,— ответил Дорнброк,— работы будет невпроворот. У меня тут есть планы, связанные с автомобилями для народа. А пока будете выполнять задания моих юридических консультантов.

— Я согласен, господин Дорнброк...

— Я пока еще не «господин Дорнброк», я, милый, пока еще «номер 862». Теперь вот что. Если вы встретите кого-то из «бывших», и эти «бывшие» не разыскиваются полицией, и им очень плохо, подкормите их и попросите подробно рассказать о себе. Чтобы строить новое, Бауэр, надо очень хорошо знать старое, пусть даже безвозвратно погибшее. Римляне остались римлянами лишь потому, что они великолепно изучили Элладу, Иудею и Египет. Приходить ко мне больше не надо, от процесса во второй инстанции как-нибудь отвертитесь, со мной связывайтесь через юристов и завтра же купите себе пристойный костюм — вы выглядите как оборванец...

...Через полгода Бауэр вылетел в Париж со своими людьми и там организовал блистательную операцию на бирже; юрист — он знал границы и рамки закона; техник — он понимал тенденцию развития послевоенного промышленного производства; крестьянин — он был смел и точен, зная, что его поддерживает молчаливое могущество монархии Дорнброка, несмотря на то, что сам монарх все еще сидел в тюрьме...

«Группа Бауэра» разрослась до тридцати трех человек. Это он приблизил к себе бывшего оберштурмбанфюрера СС Айсмана; это он завязал контакты с людьми Лера из министерства внутренних дел; это он возбудил процесс против профсоюза сталелитейщиков, обвинив их в «нелегальной деятельности, руководимой из-за рубежа», и выиграл процесс. Дорнброк, наблюдая за ним, думал: «На этого парня можно сделать ставку. Этот всегда будет

верным вторым в любом заезде. Пусть он станет ледоколом; следом за ним пойдет Ганс».

Дорнброк никогда не договаривал до конца. Он говорил лишь то, что считал нужным сказать. Но он не считал возможным сказать даже Гансу то главное, к чему пришел в тюрьме. Он повторял это лишь одному себе по многу раз: «С тридцать третьего по сорок пятый Гитлер выбил интеллектуальный цвет нации, предложив взамен себя, организатора и фанатика. В сорок пятом были выбиты пророки «гения». Нация перенесла двойную трагедию: сначала разум был заменен силой, а потом уничтожили ту силу, которая смогла подавить разум. Нация организаторов, философов и музыкантов оказалась волею слепого случая толпой изверившихся, забитых полурабов. У этой нации один выход: используя идеи Винера и Оппенгеймера, претворить их в жизнь, сделать моделью будущего промышленного общества. Этого не в состоянии сделать политик. Это могу сделать я, Фридрих Фердинанд Клаус Дорнброк. Это и только это может вывести мой несчастный народ из того тупика, в котором он оказался. Лишь это будет гарантировать в будущем наше лидерство. А для того, чтобы люди работали так же, как при Гитлере, их надо пугать. Концлагерей нам строить не разрешат, а если б и разрешили, то теперь, после случившегося, прямой жестокостью людей не запугаешь. Пугать надо возможностью повторения жестокости. Для этого мне нужен Вернер Науман с его имперской социалистической партией — это будет тень Гитлера; мне нужно подобраться к левым, чтобы помочь созданию такого движения, которое бы страшило оккупационные власти. Абсолютизм — это балансирование между левыми и правыми».

(...Впоследствии именно люди Бауэра подобрали ключи к окружению ультралевого Тойфеля. Мальчик и не догадывался, каким образом его плакаты печатались в типографии, кто финансировал создание его коммуны. Он был убежден, что это могучая помощь Пекина; порой, впрочем, он думал, что это исходит от последователей Троцкого; никогда ему не приходило в голову, что в основном его финансирует Дорнброк — тот самый Дорнброк, против которого он страстно выступал...)

«Лишь тупость и покорность нации,— продолжал рассуждать Дорнброк,— может в конечном счете привести ее ко всемирному лидерству, лишь страх перед нищетой мо-

жет сделать нацию исповедующей культ работы, которая дает благополучие: дом, кухню и автомобиль с прицепным вагончиком. А пугать следует именно двумя крайностями: тоталитаризмом и анархией. Лишь в этом случае лозунг Гитлера: «Работа делает свободным»— станет бытом каждой немецкой семьи. А после того, как лозунг станет сутью нации, придет время выдвижения авторитета. От того, кого я выпущу на авансцену, будет зависеть будущее мира. Если я не доживу до этого дня, мое дело закончит Ганс...»

«КАЖДОМУ – СВОЕ»

– Поскольку я уже закончил давать показания инспектору Гельтоффу и после этого освобожден из-под ареста, я хочу рассказать на этой пресс-конференции всю правду,– негромко говорил Ленц.– Только я попрошу фоторепортеров поменьше щелкать вспышками – за то время, что я провел в камере, мои глаза несколько отвыкли от света... Господа, дамы... видите, я даже стал путать очередность в обращении – что значит посидеть в тюрьме... Никому не советую попадать в тюрьму, даже если в подоплеке твоего поведения лежит глупый дух интеллигентской корпоративности. Дамы и господа, я должен заявить, что никто из сотрудников моей газеты не вел съемок Кочева. Вы газетчики, и вы должны понять меня: сенсация – наша профессия. Я хотел бы задать вопрос, как бы вы поступили на моем месте, если бы к вам пришел человек и предложил вам пленку, на которой снят господин Кочев? Тот самый, который выбрал свободу! Как бы вы поступили на моем месте, хотел бы я знать?! Я приобрел эту пленку и поехал на ТВ, потому что я очень не люблю, когда нашу с вами нацию обвиняют в похищениях, принуждениях и прочей чепухе. Но в каждой нации, увы, есть разные люди. За действия этого человека, недостойные действия,– пока что я могу их квалифицировать лишь таким образом,– меня арестовали как фальсификатора.

– Вы можете назвать человека, который передал вам пленку?– перебил Ленца американский журналист из ЮПИ.– Его имя?

– Это помощник режиссера Люса.

– Какого Люса? Это автор картины «Наци в белых рубашках»?

– Да.

– Где находится в настоящее время Люс?

– Не знаю. Я надеялся... Я долго ждал, что он придет сам, узнав о моем аресте... Он не пришел... За показ этого материала по телевидению ответственность несу я. Никто из моей газеты не имел отношения к съемкам.

– Кто записал беседу с Кочевым? Ту, которую вы опубликовали?

– Я получил ее от помощника Люса. Я по профессии газетчик, а не инспектор уголовной полиции, я не заметил фальшивки...

– Вы хотите сказать,– заметил Кроне из «Телеграфа»,– что мы работаем в полиции?

В зале засмеялись. Улыбнулся и Ленц.

– Нет,– ответил он,– я не хочу сказать, что вы работаете на полицию, просто, видимо, вы журналисты более высокого класса, чем я.

– Как вы думаете, где сейчас Кочев?– спросил Гейнц Кроне.

– Об этом надо спрашивать не меня.

– Вы ощутили ужас, когда оказались за решеткой?– спросила старуха из «Пари-жур».

– Я ощутил ужас, когда прошло двадцать четыре часа, а Люс, который через своего помощника передал мне этот материал, не сделал никакого заявления, подставив меня, таким образом, под удар.

– У вас есть доказательства связи Люса с левыми?

– Этим предстоит заняться вам, если вы этого пожелаете. Не так уж трудно, я думаю, докопаться до его связей с Тойфелем, Дучке и прочей швалью.

– Вы оскорбляете людей, которые не могут ответить вам, ибо их нет в зале,– сказал Кроне.– Допустимо ли это, господин Ленц?

– А допустимо ли меня, газетчика, подставлять под удар только потому, что я не разделяю социал-демократических взглядов Люса? Кто кого унизил, господин Кроне? Я, назвавший их швалью, или они, посадив меня в тюрьму? От этих людей – я убедился теперь – можно ожидать всего.

– Допускаете ли вы,– спросил Ленца журналист из гамбургской газеты,– что Люс действовал против вас для того, чтобы нанести удар по престижу концерна Акселя Шпрингера?

— Кто вам сказал, что моя газета входит в концерн Шпрингера?

— Вы отрицаете это?

— Я выпускаю газету, а не держу пакет акций. Спросите об этом Шпрингера. Его финансовые дела меня не касаются.

— Но вы допускаете мысль, что могут бить в поддых только потому, что вы, ваша газета публиковала против Люса, против его фильма резкие материалы?

— Мне бы не хотелось допускать такой мысли. Если это так, то это провокация.

— Насколько мне известно, Люс — режиссер. Он что, одновременно сам и снимает?— спросила старуха из «Пари-жур».

— Этого я не знаю. Ко мне пришел человек от Люса с его пленкой. И все.

— Собираетесь ли вы привлечь Люса к суду?

— Я еще не говорил с моим адвокатом. По характеру я не кровожаден, но хотел бы просить Люса избегать личных встреч со мной — это я говорю с полной мерой ответственности.

Кроне спросил:

— Господин Ленц, вы работали в министерстве пропаганды у доктора Геббельса?

— Да.

— Ваш пост?

— Я был референтом в отделе проведения дискуссий с представителями церкви.

— По-моему, с представителями церкви дискутировали в концлагерях,— пожал плечами Кроне,— их же сажали в концлагеря, господин Ленц.

— Смею вас уверить, что я никого не сажал в концлагерь, господин Кроне. Есть еще вопросы, господа?

— Большое спасибо,— сказала старуха из «Пари-жур»,— мы благодарны вам, господин Ленц. Примите ванну, отоспитесь и возвращайтесь поскорее в свою газету.

— Простите, господин Ленц,— поднялся Кроне,— последние вопросы: когда и где вам была передана пленка, сколько вы за нее уплатили человеку Люса и, наконец, сколько вы получили за показ этого материала?

— О том, где и когда была передана пленка, я не буду сейчас говорить, чтобы не вооружать моих незримых врагов лишними материалами. Скажу лишь, что при этом

присутствовало еще два человека. О моих финансовых делах, думаю, бестактно беседовать здесь, ибо я не считаю приличным задавать встречный вопрос господину Кроне. Впрочем, каждому — свое. До свидания, господа, спасибо за внимание...

СТРЕМИТЕЛЬНАЯ МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

— Господин Люс, на мое имя поступила жалоба редактора Ленца с требованием привлечь вас к ответственности.

— Я уже читал об этом в утренних газетах,— устало ответил Люс.— Я к вашим услугам.

— К моим услугам,— задумчиво повторил Берг,— ну что же, пусть так. Что вы можете сказать о заявлении редактора Ленца?

— Это ложь.

— Кому выгодна эта ложь? Вы знакомы с редактором Ленцем?

— Нет.

— Ленц утверждает, что вы знакомы.

— Он мог знать меня. Я его не знаю.

— Где он мог видеть вас?

— Я не иголка в стоге сена,— Люс пожал плечами.— Мы могли видеться на фестивалях, приемах...

— Когда и зачем ваш человек передал ему пленку?

— Какой человек? Что за ерунда! Допросите моих помощников... Какая пленка?!

— Вы сейчас работаете над фильмом?

— Это известно из газет, господин прокурор.

— Я в данном случае не читатель, господин Люс, я должностное лицо, ведущее расследование. Итак, над чем вы сейчас работаете?

— Я снимаю картину, которая называется «Берлин остается Берлином». Такой ответ вас устраивает?

Берг посмотрел на Люса из-под толстых стекол своих диоптрических очков и сказал:

— Вполне. В каком качестве вы выступаете в вашем новом фильме?

— Я выступаю в моем новом фильме в качестве автора.

— Что есть понятие «автор фильма»? Автор фильма — это сценарист?

– В фильме «Берлин остается Берлином» я выступаю как сценарист, режиссер, оператор и автор музыки.

– Теперь мне все ясно, господин Люс, благодарю вас. На каком этапе сейчас работа над фильмом?

– На заключительном.

– Вы знаете всех ваших сотрудников?

– Да.

– Что вы делали девятнадцатого августа?

– Снимал. На улицах. Да, да, именно на тех, которые были показаны по телевидению Ленцем. Я снимал в тот день те же самые объекты, которые показал телезрителям Ленц.

– Когда вы познакомились с Кочевым?

– С этим болгарином? Я его в глаза не видел!

– Вы допускаете мысль, что кто-то из ваших сотрудников мог привлечь его к съемкам?

– Надо запросить план работ того дня, господин прокурор. Я не могу сейчас сказать со всей определенностью, вели мы тогда хроникальные съемки скрытой камерой или же ассистенты организовывали открытую массовку...

– Что значит «скрытая камера»?

– Это такая камера, которую не должны видеть люди, чтобы они были естественны... Многие цепенеют перед объективом или микрофоном...

– Такой метод уже практиковался в мировом кинематографе?

– Сотни раз.

– Могли бы вы определить по отснятому материалу, ваши это кадры или нет.

– Думаю, смог бы... Погодите, господин прокурор! Пусть сделают химический анализ той пленки, которую Ленц показывал на телевидении, и моей. Идиот, как я об этом не подумал раньше!

– Об этом мы подумали. Этим сейчас занимаются эксперты в фирме АЭГ. У вас нет отвода против фирмы?

– Отвод? Почему я должен давать отвод фирме?!

– Я могу считать эти слова официальным согласием на экспертизу пленки, показанной на ТВ, фирмой АЭГ?

– Да.

– Я прочитаю, какие вопросы я поставил перед экспертами, господин Люс. Меня интересует, идентична ли пленка, на которой работаете вы, с пленкой, арестованной мною на ТВ. Меня интересует, идентична ли проявка и

обработка этих пленок — вашей, которую мы изъяли в вашем ателье, и той, которая арестована нами. Меня интересует, наконец, является ли пленка, арестованная на ТВ, той самой пленкой, которая была девятнадцатого заряжена в вашем киноаппарате. Вы ничего не хотите добавить?

— Нет. Вопросы абсолютно точны.

— Хорошо. Они должны ко мне сейчас позвонить, поэтому мы отвлечемся от дел Ленца и вернемся к другой трагедии... к гибели Дорнброка... Вот что меня интересует, господин Люс: у вас в доме был яд?

— У меня маленькие дети... Как же я могу держать в доме яд?

— Этот ваш ответ меня не устраивает. Я хочу точного ответа. У вас был в доме яд?

— Нет.

— Вы настаиваете на этом утверждении?

— Да.

— Вы лжете. Порошок с ядом обнаружен мною в вашем доме.

— Повторяю еще раз: в моем доме никогда не было яда!

— В спальне, в ларчике, который был заперт, лежал порошок с ядом. Вот фотография ларчика... Ручная работа, семнадцатый век.

— Это ларчик жены... Это не мой ларец...

— Вы что, в разводе с женой?

— Я? Нет. Почему?

— Это я хочу спросить почему. Вы не в разводе, следовательно, имущество у вас общее. Как же вы можете говорить, что это не ваш ларчик?

— Я не говорил так... Я сказал, что... Да, простите, это может показаться подлостью... Если можно, сотрите эту часть беседы...

— Увы, это не беседа... Это допрос. Итак?

— Да, это наш... Это мой ларчик.

— Но о том, что там лежал яд, вы не знали?

— Я не знаю, как мне отвечать, чтобы не выглядеть мерзавцем,— растерянно сказал Люс.

— А вы отвечайте правду.

— Вы убеждены, что правдивые показания — это панацея от мерзости?

— Мы уклоняемся от темы беседы, господин Люс. Впрочем, если бы я считал вас настоящим врагом, то вам

бы не помогла ни ложь, ни правда,— впервые за весь разговор Берг очень внимательно посмотрел на Люса, и какое-то подобие улыбки промелькнуло на его лице.— У вас очень плохие отношения с женой?

— Мы любим друг друга, но эта любовь порой хуже ненависти...

— Причина?

— Она — женщина, я — мужчина. Она любит дом и создана для дома, семьи, а я не могу без толпы, без шума, друзей, увлечений, поездок...

— Понимаю... Ваши ссоры носили драматический характер?

— Да.

— Причина? Ревность, отсутствие денег?

— Все вместе. Хотя о моих финансовых затруднениях она ничего не знала... Я старался не посвящать ее в эти дела.

— Как у вас сейчас с деньгами?

— Плохо, как всегда...

— Дорнброк погиб от такого же яда, который обнаружен в вашем доме...

— Ларчик был заперт?

— В общем-то, я должен был задать вам этот вопрос, господин Люс... Запирали вы ларчик или он обычно стоял открытым?.. Да, ларчик был заперт. Я получил данные экспертизы из морга только что, это всегда занимает много времени... Поэтому сегодня мне необходимо знать то, что вчера мне казалось второстепенным... Кельнер, которого я допросил, кельнер из «Эврики», отказался подтвердить под присягой, что именно вы были у него всю ночь с двух и до половины шестого... Он, знаете ли, не очень-то рассматривает хронику киноискусства в иллюстрированных журналах. Поэтому он не обязан знать вас в лицо... Вы не носите очков?

— Там я был в очках...

— В темных?

— В дымчатых.

— А ваша дама?

— Тоже. Она была в парике. Сейчас продают парики, они очень меняют внешность... И в очках...

— Вам придется назвать имя подруги. Я постараюсь сделать так, чтобы это не попало в прессу...

— Но вы понимаете, что яд в ларце у Норы... это все связано...

— Понимаю. А вы свое положение понимаете?

— Начинаю понимать.

— Кому выгодно подвести вас под удар? Под такой сильный удар?

— Не знаю.

— У вас есть конкуренты?

— Есть, но я, к сожалению, не Моцарт... Сальери искать довольно сложно.

— Враждуете с кем-нибудь? Или, быть может, вам мстит муж вашей подруги? Кстати, ее имя, фамилия и адрес...

— Ее муж ничего не знает... Мою подругу зовут Эжени Шорнбах.

— Шорнбах? Ее муж военный?

— Да.

— Чем он занимается?

— Я не знаю.

Берг хорошо знал, чем занимается в Западном Берлине генерал Шорнбах,— он был нелегальным представителем МАД.[1]

— У Шорнбах есть дети? — спросил Берг.

— Да.

— Давно у вас эта связь?

— Нет.

На столе прокурора зазвонил телефон, и Люс вздрогнул, хотя звонок был приглушен зеленой подушкой,— видимо, Берг не любил резких звуков, он и говорил-то тихим голосом, таким тихим, что иногда Люсу приходилось подаваться вперед, чтобы услышать его.

— Прокурор Берг... Да, слушаю... Спасибо. Я пришлю нарочного, а пока вы скажите мне устно результаты экспертизы... Так... Так... Так... Ну что же, не очень густо, но уже кое-что... Посылаю вам человека. Спасибо. До свидания.

Он положил трубку, минуту сидел в задумчивости, а потом вызвал секретаршу и попросил:

— Пожалуйста, отправьте нарочного в кинолабораторию АЭГ, Фюрнбергштрассе, девять, к господину Ушицу. Пакет сразу же передадите мне.

[1] МАД — военная контрразведка ФРГ.

Секретарша посмотрела на Люса с жадным любопытством и, выходя из кабинета, раза три обернулась.

– Так,– сказал Берг,– ладно... У меня язва...

– Что?– не понял Люс.

– У меня язва,– повторил Берг,– питаться надо по часам. Протертые котлеты и чай с сахарином. Не составите компанию?

– Может быть, мы продолжим завтра?

– Нет. Нам придется еще посидеть сегодня...

Они поднялись.

– Это рядом,– сказал прокурор, выключая диктофон так, чтобы это видел Люс,– за углом.

Когда они вышли из прокуратуры, Берг сказал:

– Хорошо, если бы вы сами привезли ко мне вашу подругу.

– Я понимаю.

– Тогда мне будет легче еще раз поговорить с кельнером...

– Спасибо.

– Теперь вот что... Ваш фильм... Ну, этот... который наделал много шума... О наци в белых рубашках... Когда вы этот фильм выпускали, вам никто не звонил, не угрожал, не просил?

– Десятки раз звонили, предлагали, просили...

– А Дорнброк?

– Ганс?

– Да.

– Нет. Он молчал. От его папаши было много звонков... не от него лично, естественно, но из его окружения... ко мне даже приезжал его сотрудник, Айсман. Говорил, что ненавидит нацизм, так же, как все мы. «Нас, немцев, делают чудовищами, зачем же вы помогаете иностранным злопыхателям, Люс?»

– Будете что-нибудь есть?– спросил Берг.

– Я выпью кофе.

– Лучше бы чего-нибудь взяли себе: день у нас предстоит тяжелый и муторный.

– Нет. Я выпью кофе. В глотку ничего не лезет...

– Еще что вам говорил Айсман?

– Ну, их обычное «зачем посыпать раны солью, нация и так достаточно перенесла, злодеяния смыты кровью главных бандитов. Стоит ли оскорблять тех, кто во времена Гитлера лишь выполнял свой долг? Нельзя наказы-

вать слепцов за слепоту». Вы же знаете, что они говорят в таких случаях...

— Кто это они?

— Нацисты. Новые нацисты.

— Вы найдите, пожалуйста, возможность повторить то, что сейчас сказали, во время допроса, когда вас пишет диктофон. Не то у вас положение, чтобы покорно скрестить ручки на животике.

— Я еще вспомнил о Дорнброке.

— Сейчас, дайте я дожую эту чертову котлету. Совсем без соли... Ну что вы про него вспомнили?

— Не знаю, правда, какое это имеет отношение к делу... Ганс той последней ночью спросил, какую руку поднимали нацисты, когда орали «хайль». Я смотрел много хроники, так что я это запомнил... Я ему ответил, какой рукой они орали свое «хайль»...

— Орали-то они глотками... Ну-ну?

— Ганс тогда сказал: «Знаешь, зачем я был в Гонконге?» Я спросил: «Зачем?» А он ответил: «Ты же все равно отказываешься делать фильм... А когда людей заставят кричать «Хайль, Дорнброк!»— будет поздно. Тогда уж,— он сказал,— наверняка все растает...» Это он ответил мне — помните, я говорил, что лед расплавится на полюсах и что не в нацизме сейчас главное, а в одержимом безумии ученых, которые служат сильным. «Дорнброк — Мао сто лет!— сказал Ганс.— Ничего звучит, а? Ученые придумают какие-нибудь особые люминисцентные краски для портретов моего папы и кормчего, как сейчас расцвечивают стены в зале Электро-Сиркус, в Гринвидж-вилледже в Нью-Йорке».

Берг внимательно посмотрел на Люса:

— Ну что ж... Про это тоже скажете под диктофон. Но это, я должен предупредить вас, очень опасное заявление, и я не стану его скрывать от прессы... В нужный момент я это заявление обнародую. Поезжайте за своей подругой, я допрошу ее, а потом вы сделаете мне дополнительное заявление и отправитесь доснимать ваш фильм. Через полчаса я вас жду.

Люс поднялся, замешкался на минуту и спросил:

— Что с экспертизой? Я понял, что они кончили работу...

— Два пункта можно трактовать как угодно, а один — против вас: пленки идентичны. Это я открыл вам, чтобы

проверить вашу порядочность и стойкость. Я, в общем-то, не должен был говорить вам этого, во всяком случае, пока что...

Как только Люс вышел из кафе, обычная медлительность Берга пропала: он подскочил к телефону, быстро набрал номер телефона управления внутренних дел городского сената и тихо сказал в трубку:

— Он поехал. Берите его под наблюдение и не упустите — иначе голову вам снесу!

...Когда Люс давал показания Бергу о том, что Дорнброк через своих людей хотел оказать на него давление при выходе картины «Наци в белых рубашках», он был прав лишь наполовину. Действительно, такая попытка была предпринята, но старый Дорнброк не был инициатором этого давления на Люса: он попросту ничего об этом не знал. Инициатором был Айсман.

Накануне премьеры картины Люса Айсман организовал через своих друзей в газетах Шпрингера ряд хлестких рецензий. «Пощечина истории», «Безответственные упражнения в клевете на народ», «Провинциал в роли обличителя» — таковы были заголовки статей. Смысл их сводился к тому, что Люс не может понять всей сложности исторического процесса: он не хочет отдать себе отчета в том, что нельзя поливать грязью все развитие Германии после тридцать третьего года; да, расстреляли десятки тысяч, но это были коммунисты; да, были эксцессы с евреями, но это вызывалось позицией западных держав, развязавших под дудку Сталина вторую мировую войну; да, Гитлер виноват во многом, но если бы не измена и саботаж, то неизвестно, куда бы повернулось развитие событий («Мы, естественно, приветствуем крушение гитлеризма, но история есть история, и "песня будет хрипом, если лишить ее нот"»); да, были концлагеря, но все разговоры о зверствах и душегубках — это вымысел русских, они сами построили в Аушвице и Майданеке газовые печи, а американцы пошли у них на поводу; да, были ненужные жертвы, но отыщите на сфабрикованных союзниками фотографиях, где были горы туфель, хоть пару одинаковых; кому нужны вставные челюсти, экспонируемые так называемыми антифашистами, плохо говорящими по-немецки, если вставная челюсть подходит лишь тому, для кого она сделана,— это

как отпечатки пальцев: идентичных нет и не может быть... Вся гадость, которую можно было сфабриковать против немцев,— это продукция, сделанная представителями других наций. Обвинять немцев вправе лишь немцы, ни один другой народ не вправе присваивать себе роль судьи...

После того как эти статьи, обращенные к патриотическому пылу лавочника («А мы что ж, были полными идиотами, когда сражались за Германию?!»), взбудоражили общественное мнение, Айсман отправился к Бауэру.

Тот внимательно ознакомился с газетными материалами и спросил:

— А какое это имеет отношение к нашему делу?

— Прямое,— ответил Айсман.— Этот фильм идет вразрез с нашей линией.

— Кто вам сказал, что мы собираемся обелять гитлеризм?

— А кто сказал вам, что я собираюсь спокойно наблюдать за тем, как унижают историю моей нации? Или я неверно понимал вас все это время, или что-то изменилось наверху? Может быть, я не информирован о новом направлении, которое избрал председатель Дорнброк?

— При чем здесь председатель?— поморщился Бауэр.— Просто я не люблю истерик. За истерикой я всегда вижу своекорыстные интересы, Айсман, а я знаю ваше прошлое...

— У нас с председателем одинаковое прошлое, господин Бауэр... В этих статьях,— Айсман тронул мизинцем папку,— не написано о том, как трактуется в фильме режиссера Люса роль Дорнброка во времена нашего прошлого. На него там сыплется больше шишек, чем на простых солдат, честно исполнявших свой долг перед нацией.

— Впрямую?

— Да. Дорнброк получает премию Гитлера, Дорнброк с Герингом в Донбассе. С привлечением хроники из «Дойче вохеншау».

— Что вы предлагаете?

— Ничего. Я считал своим долгом проинформировать вас.

— Беседа с Люсом будет бесполезной?

— Не знаю.

— Попробуйте с ним познакомиться.

Айсман поехал к Люсу. Режиссер смотрел на него с некоторой долей изумления: человек оперировал правильными формулировками, доводы его были безупречны, но самая сердцевина его логики была тупой и старой.

Посмеявшись над Айсманом, Люс сделал заявление для прессы о том, что на него пытались оказать давление «определенные круги» в связи с предстоящей премьерой его нового фильма. Он отказался ответить на вопросы: «Какие круги? Кто именно?» Он не назвал Айсмана только потому, что Ганс Дорнброк, услыхав это имя, сказал ему:

— Он из ведомства охраны концерна...— Рассмеялся и добавил:— Мой служащий. Страшная сволочь, но умный мужик, со своей позицией...

— Фашизм — это позиция?— удивился тогда Люс.

— Если хочешь — да,— ответил Ганс и рассказал Люсу о разговоре, который состоялся при нем между отцом и Бауэром. «Стоит ли волноваться, Бауэр?— говорил старый Дорнброк.— Ну еще один ушат с грязью. Обидно? Конечно. Но неужели это может волновать серьезных людей? Нас с вами? Ганса? Вы предпринимаете шаги и ставите меня в смешное положение, а нет ничего глупее смешного положения. Пусть этот Люс выпускает свой фильм. Идеально было бы противопоставить его фильму другой, объективный, наш. Но поднимать шум вокруг него — это значит лить воду на мельницу наших противников. Они ведь с нами ничего не могут сделать, потому что в наших руках сила. А умная сила позволяет говорить о себе все что угодно. Она лишь не позволяет ничего против себя делать. Надо быть бескомпромиссным, лишь когда возможна серьезная акция — вооруженный бунт, биржевая провокация, отторжение сфер интересов... А так? Надевать терновый венок страдальца на голову художника, который честолюбив, беден, одержим идеей, владеющей им в настоящий момент? Стоит ли? Обратите внимание на то, что я сказал об идее, которая овладела им в «настоящий момент». Художник как женщина, настроения его изменчивы... Об этом бы тоже подумать... Время идет, оно таит в себе непознанные секреты и сюрпризы... Время, Бауэр, всегда работает на сильных...»

Ганс тогда предупредил Люса:

— Бойся Айсмана... Это человек страшный... Я его, во всяком случае, боюсь...

— Так уволь его,— посоветовал Люс.— Это в твоей власти.

Ганс отрицательно покачал головой.

— Нет,— ответил он,— это не в моей власти. Я даже не заметил, как стал подданным дела, а не хозяином его...

Фильм Люса в Федеративной Республике практически замолчали, об этом Бауэр позаботился. Премии, полученные картиной в Венеции, Сан-Франциско и Москве, были обращены против Люса: «Его хвалят иностранцы за то, что он топчет историю нации».

— А вот если он захочет и впредь продолжать драку,— сказал Бауэр Айсману,— тогда надо предпринимать определенные шаги. Если он, несмотря ни на что, решит продолжать свои игры, мы его сомнем, но не как заблудшего, а как провокатора.

Об этом Ганс Дорнброк не знал. Он не знал, что, когда Люс работал над новой картиной, снималось практически два фильма. Один делал Люс, а второй — люди, приглашенные Айсманом; фиксировались все шаги режиссера; снимали самые, казалось бы, незначительные мелочи — даже такие, как организация массовок его ассистентами: заставляют они своих актеров подыгрывать в толпе, чтобы получился нужный Люсу эффект, или кропотливо отыскивают факты без предварительной их «организации».

Как истинный художник, Люс был одержим и доверчив. Это и должно было его погубить. Он об этом не знал, он ведь не работал в гестапо, где хранились материалы на ведущих кинематографистов и писателей рейха; об этом пришлось вспомнить Айсману, и ему доставило большое удовольствие это воспоминание...

2

— Милый мой, нежный, добрый... Люс, родной, я не могу... Ты обязан понять. Ты не должен был даже приезжать ко мне с этим. Ты понимаешь, что это может повлечь... Дети останутся без матери, я никогда не смогу им ничего доказать... не говорить же им, что я полюбила тебя, а их отца я разлюбила давно и что мы просто поддерживаем видимость дома... что все у нас пакостно и мерзко... Они так любят отца.

— Я бы не просил тебя об этом, Эжени, если бы не попал в капкан.. Что-то случилось, понимаешь? Меня взяли в капкан...

— Мои родители тоже не смогут понять меня, они такие люди, Люс...

— Прости меня... ты права, я не должен был приходить к тебе с этой просьбой... Просто я оказался в тупике. Я растерялся.

— Ты не назвал меня?

— Я не назову тебя. Я сниму показание... Вернее, это не было показанием. Это был разговор...

— Если бы ты любил меня, ты бы не упомянул моего имени даже в разговоре.

— А если из-за того, что ты не хочешь давать показания, я попаду в тюрьму?!

— Я провела с тобой ночь, Люс... Это невозможно, пойми... Я ведь не потаскуха с улицы... Я увлеклась тобой, но ты — это мое, и никто никогда на должен об этом узнать...

— Я — это твое,— повторил Люс,— ты заметила, мы все время говорим каждый о себе...

— Я говорю сейчас не о себе. Я говорю о детях. Прости меня, может быть, я сентиментальная немецкая клуша, но я...

— Я такой же сентиментальный немецкий отец. В этом мы квиты. Будь здорова, Эжени, постарайся на меня не сердиться.

— Если бы ты любил меня, ты бы не сказал сейчас так жестоко.

— Да? Может быть. Но мы что-то не очень говорили о любви. Мы ею занимались. Наверное, это очень плохо. Тебе плохо дома, и мне плохо, и мы решили попробовать обмануть самих себя. А в этом нельзя обманывать, потому что тогда начинается скотство... Ну, я пойду. А то наговорю еще каких-нибудь гадостей. Единственное, на что я не имел права, так это слушать тебя, когда ты рассказывала мне, какой у тебя мерзавец муж, как он жесток с тобой и как он предает тебя со шлюхами... Нора, видимо, говорит про меня то же самое.

Люс поднялся и, не попрощавшись, ушел. Он ехал по городу на огромной скорости, и ветер рвал его волосы, и это было все, что он воспринимал сейчас в мире,— ветер, который рвал его волосы.

«В столб,— лениво и как-то отстраненно думал Люс,— и все... Хватит. Я даже боли не почувствую — машина взорвется... Кто может понять, как устает художник? Каждая картина — это пытка. Даже если предаешь себя ради денег. И предательский фильм надо сделать так, чтобы в нем была закончена логика предательства, сюжет предательства и чтобы это понравилось зрителям-предателям... Хорошо, что она сейчас мне все сказала... Хоть не будет иллюзий! Я — пуля на излете. И надо признаться себе в этом. Поэтому сейчас надо вернуться к прокурору и показать зубы, а не искать столб. Хотя это же он призывал показать зубы? Он тоже играет какую-то свою игру, эта старая сволочь».

После того как Люс сделал дополнительные сообщения Бергу, и, в частности, сказал, что никакой женщины с ним в ту ночь не было, и что он был один, Берг предъявил ему обвинение в лжесвидетельстве, в сокрытии фактов по делу гибели Дорнброка и, для того чтобы следствие могло продолжаться нормально, вынес постановление о его аресте.

3

— Алло, соедините меня с Венецией, остров Киприани, пансионат Корачио, фрау Люс. Да, немедленно.— Берг обернулся к секретарше и попросил:— Проверьте еще раз, чтобы разговор писался на пленку. Этот разговор я приобщу к делу. Да, да, слушаю вас! Хорошо, я подожду.— Он снова обернулся к секретарше.

— Я проверяла трижды, господин прокурор... Все в порядке. Диктофон подключен к сети.

— Хорошо,— проворчал Берг.— Она сейчас на пляже. Это рядом, за ней пошли. Знает, что муж в тюрьме, и лежит на пляже... Какая прелесть, а?

— Как он ведет себя в камере, господин прокурор?— не сдержавшись, спросила секретарша — ее одолевало любопытство.

— Хорошо,— ответил Берг.— Он ведет себя пристойно. Алло! Да, да! Фрау Люс, здравствуйте! Прокурор Берг. Я звоню к вам вот по какому поводу... Уже читали? Понятно. Скажите, фрау Люс, что вы хранили у себя в ларчике, в спальной комнате?

— Он отравился именно тем порошком?— после долгой паузы спросила Нора Люс.

Берг облегченно откинулся на спинку кресла и чуть подмигнул секретарше.

— Нет, нет,— сказал он,— не тем. Значит, порошок, который был в ларце, принадлежал вам?

— Да.

— Ваш муж знал о нем?

— Нет. Я не знаю, что ответить... Как мне надо ответить, чтобы это не обернулось против Люса?..

— Отвечайте правду. Итак, он не знал о том, что вы храните у себя в ларчике цианистый калий?

— Нет.

— Где вы его достали?

— Я не могу говорить об этом... Нас слишком многие слышат.

— Я предъявлю иск к тем, кто попробует разгласить нашу беседу, а это могут сделать лишь телефонистки нашего и вашего международных узлов. Их номера занесены нами в протокол, так что говорите спокойно. Где вы достали этот порошок?

— Может быть, мы поговорим, когда я вернусь в Берлин?

— Если потребуется, я вызову вас для допроса. Итак, где и когда вы достали этот порошок?

— Мне достал этот порошок мой друг.

— Друг? Какой друг? Зачем? Вы его просили об этом?

— Нет! Я неверно сказала. У меня есть друг. Он доктор. Я была у него в кабинете и там взяла порошок. У него был открыт сейф, и я взяла там этот порошок. Он ничего не доставал мне... Я сама...

— Как зовут вашего друга?

— Я не назову вам его имени.

— Тогда я сообщаю вам, что ваш муж арестован именно потому, что в вашем ларце обнаружен яд! И если вы не скажете мне сейчас имя вашего друга и его адрес, я не обещаю вам быстрого свидания с мужем. Даже если в этом сейчас не заинтересованы вы, то ваши дети, я думаю, будут придерживаться иной точки зрения.

— Тот человек, у которого я взяла порошок, ни в чем не виноват!

— В организме покойного Ганса Дорнброка был обнаружен идентичный яд. А погиб он в вашей квартире. Мне надо видеть вашего друга и спросить его, сколько

именно порошка у него пропало и как он скрыл эту пропажу от властей!

Лицо Берга было яростным. Напряженно вслушиваясь в тугое, монотонное молчание, он быстро двигал нижней челюстью, будто жевал свою бессолевую котлетку.

Фрау Люс спросила:

— Я прочитала в газетах, что мой муж в ту ночь, когда погиб Ганс, находился в каком-то кабаке. Словом, он не ночевал дома. Вот пусть он и постарается вам объяснить, зачем и почему у меня в ларце был яд. Один-единственный пакетик. Все. Больше я вам ничего не скажу...

И она повесила трубку.

Берг поднялся из-за стола. Он долго ходил по кабинету, а потом взорвался:

— Слюнтяй! И еще берется делать фильмы против наци! А две потаскухи предают его, и он ничего с ними не может поделать! Одна спокойно сидит на курорте и ждет, пока ее мужа будут судить, а вторая... Лотта, вызовите машину... Хотя нет, не надо. Соедините меня с фрау Шорнбах.. Я очень не люблю быть наблюдателем, особенно когда человека топят не в море, а в ушате с бабьими помоями!

Он подошел к телефону — фрау Шорнбах была на проводе.

— Алло, это прокурор Берг! Не вздумайте кидать трубку! Приезжайте ко мне немедленно, если не хотите, чтобы наш разговор записали на пленку в ведомстве вашего мужа.

Когда Шорнбах пришла к прокурору, он сразу же начал наступление:

— Вы готовы подтвердить под присягой, что не были вместе с Люсом в «Эврике»? Прежде чем вы ответите мне, постарайтесь понять следующее: я докажу, что вы были с Люсом в кабаке, я докажу это, как дважды два. Ваш муж должен был говорить вам, что Берг зря никогда ничего не обещает, но, пообещав, выполняет — и не его, Берга, вина, что над ним, Бергом, есть еще начальники... Иначе, я думаю, вы бы не носили фамилию Шорнбах, потому что ваш муж только сейчас должен был выйти из тюрьмы как генерал Гитлера. А доказав, что вы были с Люсом в кабаке с двух часов ночи до шести утра, я сразу же предам это гласности. Но перед этим я привлеку вас в качестве обви-

няемой за дачу ложных показаний, фрау Шорнбах. Если же вы скажете мне под присягой правду, я сделаю все, чтобы ваше имя не попало в печать. Я не могу вам гарантировать этого, но я приложу к этому все усилия. Итак, где вы были в ночь с двадцать первого на двадцать второе?

– Я была дома.

– Вы не были в баре «Эврика» с режиссером Люсом в ту ночь?

– Я была дома, господин прокурор, ибо я не могла бросить детей, так как муж был в отъезде и в доме не оставалось никого, кроме садовника и няни.

Берг поправил очки и спросил:

– Значит, я должен вас понимать так, что вы не покидали дом в ту ночь?

– Да.

– В таком случае, как вы объясните ваш выезд с шофером на Темпельгоф в час ночи? Вы ездили встречать Маргарет, которая пролетала через Берлин, направляясь в Токио, не так ли? Вы забыли об этом?

– Ах да, верно, я выезжала встретить мою подругу, мы не виделись три года, и она летела из Мадрида в Токио... Я передала ей посылку...

– Вы передали ей посылку?

– Конечно.

– Не лгите! Вы не виделись с подругой Маргарет, потому что рейс из Мадрида в ту ночь из-за непогоды был завернут в Вену!

– Я...почему, я же...

– Не лгите! Я, а не вы только что говорил с Токио! С вашей Маргарет! Не лгать мне!– рявкнул Берг и ударил ладонью по столу.– У меня вопросов больше нет. Вы солгали под присягой, и я вынужден арестовать вас, фрау Шорнбах.

– Нет! Нет, господин прокурор! Нет!

«Как он мог спать с такой дрянью? Вся рожа потекла, все ведь рисованное. Михель прав: женщину надо отправлять в баню и встречать ее у входа; если она осталась такой же, как была до купания, тогда можно звать на ужин...»

– Где вы встретились с Люсом?

– На Темпельгофе я взяла такси и подъехала к «Эврике».

– А ваш шофер?

– Я отпустила его. Я сказала, что обратно доберусь на такси.

– Когда это было?

– Без десяти два. Или в два. Нет, без десяти два.

– Куда уходил из «Эврики» Люс?

– Он никуда не уходил. Мы слушали программу и танцевали.

– Когда вы ушли оттуда?

– В пять. Или около пяти.

«Хоть в пять сорок,– подумал Берг.– Или в семь. Мне важно то, что они были вместе, когда наступила смерть Ганса».

Отпустив Шорнбах, Берг попросил секретаря:

– Всех, кто фигурировал на пленке Люса вместе с Кочевым, вызовите ко мне завтра. Если не управимся – допросы будем продолжать и послезавтра...

4

«Тюрьма располагает к анализу, и я не премину воспользоваться этим. Я сейчас попробую все проанализировать. Этим я буду бороться с безысходным отчаянием, которое охватило меня,– не потому, что я боюсь будущего; будущего боятся люди, виноватые в чем-то перед совестью, законом или богом. Я чист. Отчаяние – от другого; оно от обостренного ощущения бессилия человека перед обстоятельствами. Вот эта некоммуникабельность личности и общества ввергает меня в отчаяние, только это, и ничто другое.

В чем моя вина или наша – неважно. В чем она? В том, что с самого начала мы с тобой не приняли закон, общий для обоих. Закон призван объединять разность устремлений и характеров, несовместимость индивидуальностей в единое целое, где гарантии весомы и постоянны. У нас с тобой не было ни закона, ни гарантий. Ты была создана по образу и подобию твоих предков, я – своих. Мы были разные, когда увиделись, и когда полюбили друг друга, и когда у нас появился первый сын, и когда появился второй. Мы с тобой были разными и когда я еще был репортером, и когда я только пробовал ассистировать режиссерам; мы с тобой остались разными, когда я начал делать свои фильмы. Я шел в нашем волчьем мире через борьбу. Иногда я лез через колючую проволоку, и рвало мне не только одежду, но и кожу, иногда, зами-

рая от страха, я бросался в атаку, и мне пробивали пулями сердце. Мне его уже много раз пробивали, и порой мне кажется, что я живу мертвым. Я чувствую себя живым, когда смотрю на наших детей и слышу их или когда вдруг из сумятицы мыслей выстроится сюжет будущей картины...

Паоло как-то сказал мне: «Тебе необходим тыл. Тогда ее ревность будет уравновешиваться преданностью и всепрощением твоей подруги. Ты должен завести себе подругу, как противовес бесконечным бомбежкам Норы. Я ее очень люблю, но она бывает невозможна со своими сценами, со своей слепой ревностью и безответственной сменой настроений».

«А есть ли такие подруги?»— спросил я тогда Паоло. «Наверное, есть. А если и нет, тогда надо выдумать. Вольтер ведь советовал выдумать бога». «Так, может быть, мне попробовать заново придумать себе Нору?»— подумал я, но говорить этого Паоло не стал, потому что я знал, как он мне ответит. Он бы знаешь как мне ответил? Он бы ответил мне примерно так: «Вы прожили вместе десять лет. Она знала тебя, когда ты был никем, она знала тебя, когда ты побеждал, проигрывал, блевал от ярости, болел от счастья и обделывался от страха. Ты же не можешь лишить ее памяти? Она просто человек, прекрасный человек, а ты недочеловек или сверхчеловек — это как тебе угодно, потому что она живет в мире реальном, а ты живешь в хрупком мире, созданном тобой самим. Ты ведь просил ее посмотреть «Восемь с половиной», и она сказала тебе, что это гадость, разве нет? А кто сможет гениальнее Феллини выразить художника? Никто. Это ведь точно». Я не зря ничего не сказал Паоло, я очень хотел попробовать придумать тебя заново. И я поехал в Ганновер продолжать работу. Знаешь, это необходимо для меня — скрыться, запереться в отеле, сидеть по десять часов за столом, и писать какое-нибудь слово на полях, и рисовать морды, а потом начать валять свою муру. И если пойдет, если много страниц будет возле машинки, и я не буду сходить с ума, что и на этот раз окажусь банкротом, и если работа будет идти каждый день, то я двину в какой-нибудь кабак, где будет очень шумно, и мне будет хорошо, когда я буду сидеть за столиком с бандитами, маклерами, кокаинистами, проститутками, и я буду счастлив, потому что там, дома, меня

ждет самая прекрасная женщина, которую я знал, и что она молит бога за мою работу и за меня... А я получал твои гадкие телеграммы...

Сейчас, анализируя наше прошлое, я думаю: а может быть, мои враги — как выяснилось, их у меня немало, и это люди серьезные — подбрасывали тебе что-то против меня, зная, что художника легче всего уничтожить руками самых близких? Никто не переживает предательство так глубоко, как художник,— не я это открыл, так что не будем спорить. Впрочем, художник ли я? Не знаю. Но предательство самых близких я переживаю, как художник. Прости меня. Или ты больна ревностью? Есть, оказывается, такая болезнь, разновидность паранойи.

Так вот, он нашем «деле»... У меня пошла работа. Неплохо пошла. А тут твои телеграммы. Телеграммы барыни, которой нечего делать в этом мире, кроме как устраивать сцены. (Бедный Скотт Фитцджеральд! Помнишь, как Хэм описал его трагедию? Он первым написал о том, что сцены жены приводят мужа, который ее любит, к импотенции. Это старик написал здорово, ты это просмотри еще раз в «Празднике, который всегда с тобой».)

Словом, я пошел в бар — напиться. Знаешь, когда чувствуешь себя одиноким и обворованным, надо обязательно напиться, чтобы завтра продолжать работу. Тогда будет стыдно своей слабости: «Ну ладно, ну шлет гадкие телеграммы, а ты что же? Оказался слабее вздорной бабы? Черт с ней, пусть шлет свои телеграммы».

Лучше бы сменить, конечно, отель, чтобы не читать эту твою гадость. И вот в том баре я встретился с ней. Наверное, ты со своими вздыхателями говорила так же, как она со мной. Она тоже умна — вроде тебя, но на поверку оказалась такой же глупой, как и ты. И еще подлой. Хотя глупость страшнее подлости. Так вот, она говорила, и я говорил, я молчал, и она молчала, и пили мы на равных, и была она в отличие от потаскушек, с которыми я встречался после твоих сцен,— это была моя месть тебе, только месть,— была она чем-то похожа на тебя, но только она не ревновала меня и не посылала мне телеграммы. Теперь-то я понял: она просто не имела на это права. Знаешь, лучшая форма любви — это когда на нее не имеешь права. (Боже мой, как приятно си-

деть в тюрьме и не думать о завтрашней съемке и о том, что надо договариваться с герром Сабо о прокате картины в Англии, и не надо выслушивать истерики продюсера о перерасходе денег, и не надо думать о том, что ты просила сменить дом на район Миттльзее — там сухо, а ты не переносишь сырости.)

Закон... Что такое закон? Это когда человек знает, что, преступив его, в любой сфере деятельности (деятельности, повторяю я, а не разговора, помысла, бравады, игры), он делается правонарушителем и его карают в меру строгости, которая предписана той или иной статьей кодекса. Помнишь, как-то ты сказала мне «скотина»? (Хотя это было так часто, что ты могла забыть.) «Скотина» — это оскорбление словом. За это ты могла быть оштрафована, и тебе пришлось бы попросить у меня денег, чтобы уплатить в казну государства штраф за нарушение закона. Ты пригласила бы адвоката, и тот стал бы доказывать, что я был тебе неверен, а поэтому ты и назвала меня скотиной. Но мой адвокат доказал бы, что я не изменял тебе, а даже если бы и был уличен тобой в измене, ты могла бы — в соответствии с буквой закона — развестись со мной. Развестись — это по закону, лишь оскорбление беззаконно. Ты не хотела развода. Ладно. Тогда возникает вопрос о гарантиях. Где гарантия, что ты снова не будешь ревновать меня попусту и устраивать сцены? Я лгал себе все время — не было таких гарантий. Ты мстила мне за что-то такое, чего в тебе не было, но было во мне. (Чего же в тебе не было, а было во мне? Ну конечно же во мне не было породы, я был суетлив, блудлив, нечестен, болтлив... А что? Все верно. Я не спорю.) Значит, нас с тобой связывало помимо детей то, что называют в порядочных книгах о любви ночью? Значит, прелесть моя (ура, я в тюрьме, и ты со мной не поспоришь!), скотство, одно лишь скотство! Все! На сегодня хватит. Ложусь спать.

...Я перечитал то, что написал сегодня утром. Все не то, и все не так. Я люблю тебя, и ты любишь меня, и мы обречены. Только я обречен уйти первым. Не потому, что я лучше, а ты хуже, просто мужчина всегда впереди, и он принимает первым всю мерзость этого мира на себя.

Одно бесспорно: никогда мне еще не было так спокойно, как здесь. И это не сладостное чувство мести: я, мол, невиновен, а вы меня держите взаперти. Нет. Про-

сто в тюрьме обретаешь свободу духа и отходишь от каторжной суеты каждодневности.

И еще я одно понял: я так устал, что мне даже не страшно за детей. Придется тебе вспомнить стенографию и машинопись. Продашь дом — это поможет вам продержаться первые два-три года. Но ты же всегда говорила, что лучше счастливая нищета, чем такая мука, как в нашем сытом доме.

И все-таки это письмо я отправляю. Только не отвечай мне, пожалуйста. Пусть дети напишут мне письма и что-нибудь нарисуют. Если можно, море, и пусть над морем летают птицы...»

5

— Господин Берг, мою газету интересует, каковы причины ареста Люса.

— Причины ареста Люса известны мне, и я не считаю возможным пока что говорить о них.

— Кроне. Из «Телеграфа». Вы уверены в виновности Люса?

— Ему предъявлено несколько обвинений.

— В каком именно обвинении вы были уверены настолько, что приняли решение арестовать Люса?

— Не в интересах следствия говорить сейчас слишком много... Одно могу сказать: я вижу много загадок в гибели Дорнброка, которая произошла на квртире Люса,— ответил Берг.

— Нам бы хотелось знать подробности, господин прокурор. Я представляю телевидение, и мне интересно, в каком направлении идет расследование вопроса о пленке, которая была передана Люсом редактору Ленцу.

— Я сам люблю подробности и собираю их по крупицам. И когда я наберу достаточно подробностей, я отвечу на ваш вопрос.

— Господин прокурор,— заметил корреспондент телевидения,— мы пришли на пресс-конференцию, а не на турнир остроумия. Наша работа — информация, и, пожалуйста, постарайтесь уважительно относиться к нашей профессии.

— Вы хотите конкретности? Извольте. Я ничего не могу сообщить вам нового по поводу пленки Люса, которую Ленц показывал по вашему каналу ТВ. Я изучаю и эту проблему.

— Нам стало известно, что вы заинтересовались делом болгарского интеллектуала, эмигрировавшего к нам. Удалось ли вам встретиться с господином Кочевым?

— Нет.

— Вы собираетесь добиться встречи с ним?

— Конечно.

— У вас есть какие-то предположения о дне встречи?

— У меня есть всякого рода предположения...

— Почему вы заинтересовались бегством господина Кочева? Почему вы ищете встречи с ним?

— У меня есть на это свои соображения.

— Как себя ведет Люс?

— Тюрьма — это не санаторий.

— В прессе промелькнуло собщение, что Дорнброк погиб насильственной смертью. Как вы можете прокомментировать это сообщение?

— Спросите об этом автора сообщения. От нас подобного рода заявления не исходили.

— Вы работаете в контакте с политическим отделом полиции?

— Да, мы периодически консультируемся с майором Гельтоффом.

— Можете ли вы назвать какие-нибудь новые имена, попавшие в сферу вашего расследования?

— Это преждевременно.

— Когда вы намерены прекратить расследование и передать дело в суд?

— Очень скоро. Я надеюсь, что дело прояснится очень скоро.

— В какой мере сильны связи Люса с левыми, господин прокурор?

— Сейчас я изучаю связи Люса. Все его связи — с левыми и правыми, и особенно с теми, кто имел с ним контакты как с режиссером, когда он делал «Наци в белых рубашках». Больше мне нечего вам сказать, друзья. Я смогу увидеться с вами не ранее конца этой недели. В эти дни у меня будет много канцелярской волынки с оформлением дела...

Берг кивнул головой на кресло и предложил:

— Садитесь. Ваше имя Конрад Ульм?

— Да.

— Вы ассистент профессора социологии Пфейфера?

– Да.

– Покажите себя на этой фотографии,– попросил Берг, протягивая Ульму кадр, перепечатанный из кинопленки Ленца.– Вот эта машина, видите? Это вы?

– Да.

– А кто рядом?

– Это Граузнец, это Урсула, я забыл ее фамилию, это болгарин, который сбежал... Это... Вот этого я не знаю... Он не из наших...

– А машина чья?

– Моя.

– А кто вам предложил поездить по городу в тот день?

– Не помню. Мы же тогда вып...

– Выпили, выпили... Но это не моя компетенция. Пьянство за рулем карает полиция. Попробуйте вспомнить, кто предложил вам уехать с пляжа.

– По-моему, болгарин... Он хотел посмотреть город...

– О чем он говорил с вами?

– Я не знал, что он сбежит, иначе бы я внимательно прислушивался к его разговорам.

– Он был интересным собеседником?

– Урсуле так показалось. Я с ним что-то не очень разговорился. Он показался мне чересчур веселым. Эдаким бодрячком. А я не очень-то верю бодрячкам. Особенно оттуда, из-за стены.

– Давайте я попробую сформулировать очень важный вопрос, а вы мне ответьте на него со всей мерой серьезности... Через два дня после встречи с вами Кочев решил не возвращаться домой. Почувствовали ли вы в его разговорах, в манере поведения желание, намерение, проблеск намерения не возвращаться домой? Может быть, он спрашивал вас, как отсюда перебраться еще дальше на запад, интересовался трудоустройством, спрашивал о болгарских эмигрантах, о господах из НТС, которые дерутся с Кремлем?.. Вспомните, пожалуйста, все, что можете вспомнить.

– Он произвел на меня впечатление бодрячка,– повторил Ульм,– шутил: «Вы все – акулы империализма...» Говорил, что не смог бы здесь жить, потому что «чувствуешь себя завернутым в целлофан – полная некоммуникабельность».

– Он сказал вам, что не смог бы здесь жить?

– Да. Он так говорил.

– Значит, для вас было неожиданным сообщение о том, что Кочев решил не возвращаться на родину?

– Для меня это было полной неожиданностью.

– Садитесь вон за тот столик и запишите это. Я приобщу ваше показание к делу.

– Хорошо.

– И перечислите имена тех, кто был с вами в тот день.

– Хорошо.

– Если у вас возникнут какие-то новые соображения по поводу вашей встречи с Кочевым – тоже пишите.

– Собственно, ничего нового у меня не должно возникнуть. Я, правда, был несколько удивлен его немецким, он говорил как настоящий берлинец. А в остальном он трещал, словно диктор московского радио: «Да, у вас очевидная техническая революция, да, вы сделали гигантский рывок, нет, ваш рабочий класс не может быть пассивной силой, но ваши нацисты подняли голову, и, если вы будет просто митинговать – без программы и без организации, вас сомнут в самом близком будущем». Ну и еще что-то в этом роде.

– Вот вы все и запишите, пожалуйста. И последнее: вы не помните, он не уговаривался ни с кем из ваших приятелей о встрече?

– Я не слышал. Может быть, Граузнец знает? Или Урсула. Она любит экзотику. Она видела первого красного в своей жизни.

– Напишите мне ее адрес и телефон.

– У нее нет телефона, она живет в общежитии.

– Адрес?

– Нойерштадт, семь. По-моему, на третьем этаже. Ее там все знают.

6

Урсулу привезли через полчаса после того, как Ульм кончил свои показания.

– Девятнадцатого мы уговорились о встрече – это верно. Назавтра днем мы с ним увиделись, господин прокурор... Мы выпили кофе...

– Где вы увиделись?

– В «Момзене».

– В какое время?

– В пять часов.

– Кто платил за кофе?

— Я хотела уплатить за себя, но он сказал, что женщине у них запрещается платить за себя, и уплатил за нас обоих. А в чем дело? Что-нибудь случилось?

Берг сбросил очки на кончик носа и уставился на Урсулу с растерянным недоумением:

— Где вы были последнюю неделю?

— Дня два я сидела у себя... Готовилась к экзамену. А потом меня утащили на озеро. Мы там зверствуем в палатках. Рвем мясо руками и вообще веселимся.

— Ага... Ну понятно. Транзисторы-то хоть возите с собой?

— У нас диктофоны. С записанными пленками. Всегда знаешь, что за чем идет: после Элвиса Престли — Рэй Конифф, а потом «поп-мьюзик». А когда слушаешь транзистор, надо напрягаться, потому что обязательно будут какие-нибудь неприятности. Надоело... Пугают гибелью от бомбы, пугают гибелью от русских, пугают гибелью от таяния льдов и загрязнения атмосферы...

Берг рассмеялся.

«Прекрасное доброе животное... Тот, кто на ней женится, будет самым счастливым человеком,— подумал Берг.— Она платит за нежное чувство привязанностью на всю жизнь».

— Ну хорошо,— сказал он,— пошли дальше... Если хотите курить — курите. Я, в общем-то, всем запрещаю курить. У меня язва... Жую протертые котлетки и боюсь табачного дыма...

— Вы похожи на Спенсера Тресси, вам говорили?

— Говорили. Он приезжал ко мне, когда они снимали «Нюрнбергский процесс». Славный старик.

— И вы тоже очень славный.

— Что?!

— Я говорю, что вы тоже очень славный старик. Сейчас совершенно невозможно иметь дело со сверстниками. Их интересует только социология, Маркузе и Режис Дебрэ. Только ваше поколение умеет понимать женщину. Нет, я не психопатка, я просто всегда говорю то, что чувствую. Знаете, я очень смеялась, когда прочитала у Франса — «думающая женщина». Таких нет. Есть женщина чувствующая и нечувствующая...

— Пойди вас разбери,— неожиданно для самого себя сказал Берг и почувствовал, что краснеет.

— Прокурор, вы девственник?..— спросила Урсула.

– Сколько вам лет, Урсула?– перебил ее Берг.

– Двадцать.

– Можно задать вам нескромный вопрос, не относящийся к нашей беседе?

– Я знаю, о чем вы хотите спросить. Да, да, в пятнадцать. Меня поторопили. Да и не очень-то я хотела стоять на месте. Я никого не виню. Я понимаю вас, вы правы. Мы обвиняем ваше поколение, но сами тоже хороши... Но ведь мы ничего не можем изменить: идеи – ваши, танки – ваши и бомбы – ваши. Нам остается только болтать и рвать мясо руками. А этот красный мне очень понравился. Он мужчина, настоящий мужчина...

– Вы были близки с ним?

– Я отвыкла от таких формулировок... Конечно... Если считать соседство за столиком, то мы были очень близки.

– Как же вы определили, что он настоящий мужчина?

– Не знаю. Почувствовала. Он не пускал дым ноздрями, не скорбел. Веселый парень, который знает дело и умеет отстаивать свою точку зрения. Словом, я бы хотела иметь его другом. Мой отец всегда говорил, что надо дружить с мальчиками. Он говорил, что они могут отлупить, но не предать... А что с ним? Он шпион? Вообще, он подходит к роли шпиона...

– Он исчез. Его ищут уже неделю. Говорят, что он решил остаться у нас. Он сказал, якобы, что не хочет жить в условиях коммунистического террора...

– Что за ерунда! Он рассказывал мне про то, как они с друзьями уезжают осенью охотиться в тайгу под Софией...

– Разве под Софией есть тайга?

– Ну, значит, под Москвой. Откуда я знаю, что у них там есть. Но мне впервые было интересно слушать про красных, когда он говорил, как они там живут, разводят костры в тайге, как пьют молоко и какие рассказывают друг другу анекдоты... Он говорил, что собирается дней через пять, как только вернется домой, сразу же уехать на охоту.

– Попробуйте вспомнить, Урсула, как он сказал это?

– Я не попугай. Он сказал, что как только вернется домой и кончит все свои бюрократические дела... Я еще тогда спросила его: «Неужели у вас есть бюрократы?» А он нагнулся ко мне и сказал на ухо:«Есть». И засмеялся.

Он смеялся очень хорошо — всем лицом... Погодите, вот еще что он мне говорил... Он говорил: «Ульм нападал на меня все время: «Все же Судеты — это немецкая земля!» А в Судетах, в Чехословакии, помимо того, что это чешская земля,— самые богатые в Европе залежи урана. Неужели тебе нужно, чтобы ваши сволочи имели свою бомбу?» Конечно, я сказала, что мне не нужна бомба... Ни наша, ни их...

— Вы не обиделись, когда он сказал «ваши сволочи»?

— А по-вашему, Шпрингер и Тадден ангелы?

— Значит, иногда вы слушаете транзистор, если знаете про Таддена и Шпрингера?

— Да нет же... Все мои друзья мужчины говорят об этом — одни ругают, другие хвалят. Но мне Шпрингер не нравится, потому что у него слишком красивенькое лицо.

— Кочев ничего не говорил вам, собирается он сразу же уходить в восточный сектор или у него остались какие-то дела у нас?

— Нет. Он мне ничего не сказал об этом. А, нет, погодите... Он сказал, что хочет зайти попрощаться с профессором... Я не помню его фамилию. Может быть, Пфейфер? Социолог. Ульм у него занимается. А потом сказал: «Если хотите, берите ваших друзей, и вечером, на прощание, перед отъездом, все выпьем пива. У вас,— он добавил,— пиво лучше нашего, я здесь все время пью пиво».

— А куда он вас пригласил?— Берг замер и чуть подался вперед.— Не помните?

— Не помню.

— Но он называл вам вайнштубе или вы просто забыли сейчас?

— Не помню, господин добрый прокурор... Ага! Я — гений! Все говорят, что я дура, а я — гений! «Ам Кругдорф»! Он еще говорил, что «круг» пришло к ним от нас. У русских казаки собирались на «круг» после войны с нами... Не этой, а какой-то другой, когда казаки брали Берлин...

— Урсула,— сказал Берг,— я прошу вас никому не говорить об этом... Вы не должны никому говорить о последней встрече с Кочевым, иначе наши сволочи могут сыграть с вами злую шутку. Если хотите, я заставлю вас подписать официальную бумагу о неразглашении тайны. Хотите? Или удержитесь?

— Нет,— Урсула рассмеялась,— я не удержусь. Я очень люблю расписываться, давайте я распишусь, господин прокурор.

7

— Профессор Пфейфер, здравствуйте, это прокурор Берг. Мне необходимо увидеться с вами.

— По поводу Кочева, я понимаю. К вашим услугам, господин прокурор. Когда бы вы хотели видеть меня?

— Я готов принять вас в любое время. Сейчас свободны?

— Сейчас? Как долго вы меня задержите?

— Как пойдет разговор.

— Минут тридцать? Час? У меня лекция в тринадцать сорок.

— Я жду вас. Мы уложимся, я думаю. Постараемся, во всяком случае.

Профессор Пфейфер был маленький лысый бровастый человек, который, казалось, скреплен шарнирами; он не мог сидеть спокойно на месте, словно собственное тело мешало ему и он не знал, какую же позу принять: то он выбрасывал вперед маленькие толстые ножки, то поджимал их; раздувал ноздри, двигал крючковатым носом и беспрерывно поправлял манжеты, вздымая при этом коротенькие ручки над головой, словно мусульманин во время намаза.

— Нет, нет, о времени, а тем более о точном времени не спрашивайте меня, господин прокурор! Я не в ладах с точностью из-за того, что сам слишком точен. Если я не уверен в абсолютной истинности даты, часа, диаграммы, я не посмею вам ответить — это значит обречь себя на терзания. Я буду беситься, что сказал неверно, и это может нарушить цепь ваших рассуждений. Это было вечером — с такой формулировкой я соглашусь. Он пришел ко мне, когда уже начинало темнеть. Нет, это снимите: начинало темнеть или стемнело — это разные временные категории. Просто вечером. Долго ли он пробыл у меня? Не помню. Мне было интересно с ним: время замечаешь, лишь когда тебе скучно.

— Вы не могли бы рассказать, о чем вы беседовали?

— Обо всем. Потому что единственная наука, которая объемлет ныне все проблемы мира,— это наша с ним наука — социология!

— С чего вы начали беседу?

— С чего начали? Ну, это обязательная буржуазность, они ее тоже усвоили, бедняги, мы им навязали эти условности. «Добрый вечер, господин профессор, благодарю вас за то, что вы нашли для меня время, вот моя карточка». Москва, Институт экономики, телефоны, Кочев, плотная бумага, неплохой шрифт. «Рад вас видеть, коллега, хотите кофе?» — «Нет, благодарю вас».— «Не лгите, вы хотите кофе, люди из-за «железного занавеса» должны быть категоричны».— «Так вы и есть категоричный человек, если говорите за меня».— «Ха-ха, оказывается это я живу за занавесом, а вы самая свободная страна? С сахаром или без?»— «Без».— «Молодец, только без сахара — истинный кофе, снимайте пиджак, валите его на стул, что у вас за тема?» — «Тенденции развития послевоенной экономики в ФРГ, концентрация капитала, неонацизм».— «Не это сейчас главное, это для историка, а не для социолога, пошли на кухню, там газ. Тема узковата, попахивает заданностью. Вы хотите знать мою точку зрения? Извольте. Развитие промышленных мощностей в послевоенной Германии, вне воли магнатов промышленности привело нас к кризисной ситуации. Нет, нет, на бирже все хорошо, и спада вы не дождетесь. Это все пропаганда! Какой там спад! Будет крах, а не спад. После Гитлера мы за короткое время порвали с эпохой скудости! Нет, я не адепт капитализма, я считаю Маркса великим ученым, и мне омерзительны страсти биржи. Просто такова правда, и случилось это потому, что впервые в истории человечества нехватка высококвалифицированного труда облегчала прогресс. Нас научили делать рубашки, машины и телевизоры не искусством рук, но дисциплиной производства: автоматизации промышленного процесса не нужны брюссельские кружевницы или резчики по дереву — им нужны лишь «нажимательные» движения роботов. Загорелась красная кнопка — нажми ее, загорелась зеленая — сними с конвейера готовый телевизор. А скоро нам вообще не будут нужны рабочие в том смысле, как они были нужны двадцать лет назад. Все будет делать машина. А что делать человеку? Частичная безработица, когда автоматизация наиболее уникальных процессов производства выбрасывает на улицу тысячу-другую рабочих, рождает уличные демонстрации длинноволосых и коммунистов. А что будет с миром,

когда машины повсюду заменят человека! Ранее труд был рычагом всеобщей дисциплины мира. Что же станет с людьми, когда их заменят машины? Со всеми людьми: и с Круппом, и с его рабочим? Машины обеспечат и того и другого рефрижератором, автомобилем, цветным телевизором, коттеджем, рубашкой и пиджаком. Как быть тогда? Ну, со всякого рода Вагнерами и Чайковскими, Чеховыми и Хемингуэями понятно: они над миром, они вне схватки. А как быть с остальными? Кто поднесет вам чемодан от такси к лифту в отеле? И почему шофер такси должен выполнять ваше указание — куда вас везти? Вы что, умнее его? У вас на груди табличка, на которой написано: «Я гений»? Мы на грани таких политических сдвигов, что вся эта шумиха в Пекине покажется человечеству детской игрой». «Дайте веревку»,— сказал он. Я это точно запомнил, потому что удивился и глупо на него уставился. «Я повешусь,— добавил он.— В вашем ватерклозете. Вы нарисовали такую беспросветность, что мне не хочется жить». Я посмеялся, мы разлили кофе по кружкам, но я свою тут же разбил, я всегда бью посуду, из-за этого мы расстались с женой, и я начал заваривать еще одну порцию кофе, но он предложил разлить кофе из его кружки на две чашки, и он это довольно ловко сделал, не пролив на пол ни капли, и мы пошли в кабинет. «Истина конкретна, профессор,— сказал он,— и я отнюдь не против вашей конкретики, в ней много правды. Вы разрушаете иллюзии логикой своего предвидения, правильно делаете. Но как же быть? Я против того, чтобы сидеть сложа руки и ждать, пока тебя сбросит в пропасть тот поток, который можно отрегулировать, зашлюзовать, что ли...» — «Вы предлагаете зашлюзовать прогресс? Скажите об этом вашим руководителям! Шлюзовать прогресс в широком смысле — продавать идею, а в узком — государство».— «Самое понятие «зашлюзовать поток» рождено практикой прогресса,— возразил Кочев.— Мы научились шлюзовать реки и, таким образом, подчинили себе природу, получив от нее электрические мощности, необходимые для автоматизации производства».— «Ну, хорошо, верно. Что шлюзовать? Как? И главное, кто этим будет заниматься?» — «Это меня не волнует».— «Вас волнует это лишь применительно к миру проклятого капитала?— спросил я.— У вас, конечно, таких проблем нет и они не

предвидятся?»— «Они у нас есть, а в будущем их предвидится еще больше».— «Вы можете так смело говорить, лишь находясь за границей?» — «Я повторяю одну из статей в «Правде», профессор. Для того, чтобы шлюзовать прогресс, нужно думать о создании общества более высокого по сравнению с тем, в котором мы живем». Черт возьми, господин прокурор, мне это стало по-настоящему интересно, потому что я как раз пишу об этом одну статейку для Гарварда. «Как быть, например, с теми семью миллиардами жителей, которые заселят землю через сорок лет?— продолжал он.— А что, если в результате автоматизации производства количество кислорода окажется недостаточным и мир будет отравлен углекислым газом? Или же маньяк нажмет кнопку, и шарик разлетится в тот момент, когда вы закончите разработку вашей модели будущего общества, построенного на разуме и всеобщем добре? Пугать будущим также неразумно, как и жить устаревшими представлениями».— «Вы прагматик? Вы любите Дьюи? Вы верите лишь сегодняшнему дню и практике, ограниченной зримо представляемыми перспективами?» — «Перспектива всегда воспринимается зримо,— ответил он.— Я тоже люблю точность в формулировках — это от юношеского увлечения филологией».— «А откуда, между прочим, вы так отменно знаете язык?» — «Мой научный руководитель говорит со мной только по-немецки».— «Кто он?» — «Профессор Исаев. Историк».— «Я его книги читал, по-моему. Он занимался периодом третьего рейха?» — «Именно».— «Но все же мне бы хотелось выслушать ваш ответ».— «Меня волнует вопрос: кто и как будет формировать поколение немцев, которые станут руководителями и подданными всеобщей автоматизации производства? Кто станет символом добра и мудрости: чемпион по боксу или философ? Нацистский летчик Рудель или антифашист Экзюпери? Не преждевременно ли перепрыгивать через временной период, в котором мы сейчас живем?» «В этом плане,— ответил я ему,— у нас есть угроза неонацизма, потому что быть интеллектуалом трудно, а стать лавочником легко». Он согласился со мной и сказал, что мир ждет новой литературы, новой живописи, нового кинематографа. «Сейчас в литературе идет интересный процесс сближения с наукой. Научно-художественная литература занимает первое место — огром-

ный читательский интерес. Люди хотят получать максимум информации. Литература изживет «сказочников», то есть тех, кто рассказывает всякие истории, которые были услышаны или замечены, но которые не пропущены писателем через свое ви́дение завтрашнего дня. Те в литературе, кто живет днем вчерашним, не соотнося его с будущим, обречены. Они вообще любят все, что «похоже», и особенно то, что в той или иной мере знакомо им. Поэтому всегда поначалу гении бывают освистаны. Читателя готовит школьный учитель. А каковы учителя в ваших школах? Сколько среди них людей с коричневым прошлым? Ведь ваших сегодняшних учителей воспитывали при Гитлере!»— Пфейфер закурил.— Потом мы немножечко поругались, но он мне понравился.

— Почему вы поругались?

— В этом я виноват я. Я начал спор с высоких позиций будущей правды, а потом меня стало заедать, что он меня бьет фактами нашей повседневности, почерпнутыми из наших же газет, и стал отвечать ему тем же. Но расстались мы хорошо. Он, конечно, из их пропагандистов, он признался мне в том, что хотя и не состоит в партии, но разделяет коммунистические догмы, потому что они «единственно истинные». Он говорил, что у них громадное количество всякого рода непорядков и даже идиотизма, и это меня с ним примирило. Но он говорил мне: «Вы же не хотите ставить во главу угла сегодняшнее положение в вашей стране, вы все время уходите от повседневности, от быта, от практики политической жизни — в будущее. А смоделировать будущее всегда значительно легче, чем точно понять и решить проблемы настоящего. Я же говорю: вот это у нас глупо, это идиотизм, это старина и ветхозаветность; я не ухожу от сегодняшнего дня». Я еще ему сказал: «Вы мужественный человек, Кочев»,— а он ответил, что у меня неверное представление о мужестве. «Почитайте внимательно наши газеты. Мы пишем там похлестче, только надо читать газеты, а не ваши комментарии на наши выступления. Мы решаем отправные вопросы: человек и природа, человек и закон, человек и человек. В частностях портачим, порой — сверх меры. В главном мы идем верно». Я пригласил его выступить перед студентами, но он сказал, что завтра улетает в Софию, потому что срок его командировки окончился. «Правда,— сказал он,— я был

у вас в университете, в восточноевропейском институте. Это ужасно. Их не интересует наша действительность и ее проблемы. А когда им предлагаешь спор, они не могут толково возразить, потеют от натуги и сверлят тебя глазами, как пулеметами. Они вам сослужат плохую службу, если станут специалистами по «русскому или болгарскому вопросам». Им ведь предстоит засаживать информацию в электронно-вычислительные машины, ну и будут они вам туда совать всякую ерунду. Это то же, как если б засовывать в наши ЭВМ по Германии одни лишь данные о речах Таддена и лидера судетских немцев Бекера. Право слово, я бы тогда недоумевал, получив расчеты из ЭВМ...» «Неужели вы всерьез принимаете этих маньяков?— спросил я его.— Это несерьезно, вы тут под давлением вашего пропагандистского пресса». А он мне тогда ответил — бил как молотком, мне это очень понравилось: «Я отношусь серьезно к Германии — ко всему, что там происходит. Естественно, для меня Германия — это не таддены и штраусы со шпрингерами. Нет, отнюдь. Но они же у вас существуют? Через двадцать лет, если вы их сможете сейчас сдержать, они действительно будут смешны и несерьезны...» А в одиннадцать он ушел.

— Когда?

— В одиннадцать,— повторил профессор.— А что?

— Почему вы убеждены, что он ушел от вас в одиннадцать?

— Как почему? Он же сказал, что у него в «Ам Кругдорфе» встреча с каким-то юным крезом. А от меня до «Ам Кругдорфа» двадцать минут ходу. Как раз в одиннадцать двадцать у них была назначена встреча.

— А почему он не мог взять такси?

— Не было денег. Он признался, что им дают мало денег на командировки.

— В связи с чем он в этом признался?

— Он рассматривал мои книги. «У вас безумно дорогие книги,— сказал он.— Кто может покупать эти великолепные книги, если вот этот двухтомник Винера дороже пары туфель? Я тут потерял полкило слюней, пока рассматривал витрины книжных магазинов. У нас в поездках денег с гулькин нос, на книги не хватит, даже если экономить на метро, не говоря уж о такси...»

— Спасибо. Теперь надо записать ваши показания...

— Что?! Всю эту болтовню?! Но я вышел из графика, господин прокурор!

— Вы напишете, что Кочев должен был встретиться с неким «юным крезом» в «Ам Кругдорфе» в одиннадцать двадцать и что у него не было денег на такси. Больше не надо.

— Это — пожалуйста. Только у меня карандаш, я пишу грифелями.

— Вот моя ручка...

— Я расскажу о нашей беседе студентам, им это будет небезынтересно.

— А вот этого делать нельзя, профессор,— сказал Берг,— потому что все, о чем вы мне рассказывали, не подлежит оглашению... Иначе я решу, что Кочев положил вас на обе лопатки,— все-таки на сегодняшний день тоже стоит обращать внимание... Пока-то мы построим постиндустриальное общество... Столько еще хороших людей укокошат...

«СВЯЗИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПОБЕДУ»

1

Айсман позвонил к Бауэру в неурочное время — около двенадцати ночи.

— Прошу простить за столь поздний звонок. Мне привезли телетайп с парижской биржи, я бы хотел, чтобы вы ознакомились с новостями.

— Ладно,— ответил Бауэр, чуть подумав,— приезжайте. Хотя у меня сейчас покер. Через часок, а?

— Хорошо. Я буду у вас в ноль сорок.

Положив трубку, Бауэр вернулся в холл. Он сыграл два хороших «флеш рояля» и взял довольно много денег. Как и до звонка Айсмана, Бауэр шутил и сыпал новыми анекдотами — он знал их бесчисленное множество. Сильный, умный, приветливый, твердый, красивый, он был восходящей звездой делового мира. Никто, правда, не думал, что он так внезапно вознесется, заняв пост погибшего Ганса Дорнброка. Впрочем, кто-то из экономических обозревателей в Гамбурге писал, что в Западной Германии проблема выдвижения молодых кадров «с бульдожьей хваткой и без нацистского прошлого» является глав-

ной, ибо поддерживать контакты с Америкой, где на передний план уже вышли представители новой волны, обязаны «наши люди этого же возраста и примерно такой же внешнеполитической ориентации».

Бауэр прошел на пост заместителя председателя совета наблюдателей перевесом в два голоса. Эти два голоса принадлежали одному человеку – Дорнброку. Если бы не его непреклонная позиция, то заместителем был бы утвержден шестидесятипятилетний адвокат Арендт, работавший юрисконсультом концерна с 1935 года.

Разыгрывая партию – Бауэр объявил «каре»,– он продолжал обдумывать предстоящий разговор с Айсманом, и разговор этот должен был состояться отнюдь не о «новых данных, полученных с телетайпа парижской биржи»,– это был лишь пароль на случай опасности в той комбинации, которую проводил Айсман.

...Он принял Айсмана в баре. Отделанный грубым камнем бар помещался в подвале особняка. Окон там не было, так что даже случайные свидетели разговора исключались.

– Ну что у вас?– спросил Бауэр, не ответив на приветствие Айсмана.– Заигрались? Выкладывайте правду. Я предупреждал вас несколько раз: я не Гиммлер, мне надо говорить всю правду, какой бы она ни была угрожающей. Я не собираюсь ничего никому уступать и поэтому не льщу себя иллюзиями.

– Берг только что был в «Ам Кругдорф».

– Ну и что?

– Мы записали беседу с хозяином. Тот сказал, что видел здесь Ганса Дорнброка и Кочева, и что они тут сидели до половины первого, и что Кочев хватался за голову и писал под диктовку Ганса какие-то цифры, и что потом Ганс дал ему какой-то телефон... Вот послушайте,– сказал Айсман и включил диктофон.– «Я, вообще-то, не хочу влезать во все эти штуки, господин прокурор... Я и сидел при Гитлере, и воевал за него, и за это потом сидел у русских... Так что мне не хотелось самому звонить к вам после того выступления по телевидению...» – «Вы мне ничего по своей воле и не сказали. И если бы я не представил вам доказательств, что друзья красного приезжали сюда, разыскивая его, вы бы мне так ничего и не выложили... Я вынудил вас к признанию, господин Раушинг...» – «Да, это вы верно говорите, господин проку-

рор, вы меня вынудили... Я бы никогда не подумал, что вы сами придете сюда, как простой человек.. Да разве я мог знать, что ко мне тогда приехал сам сын Дорнброка? Теперь буду у всех просить визитные карточки...»— «Ну, это отпугнет от вас посетителей, прогорите... Так чей же он дал ему телефон?» — «Я не слышал номера и имени...» — «А что же вы слышали? Может быть, Дорнброк давал ему адрес? Или писал записку?» — «Нет, он давал ему телефон. Он сказал, что будет ждать его звонка. «Как только,— сказал он,— придете на Чек Пойнт, сразу же позвоните к режиссеру...» А тут снова заиграл автомат, и я ничего не слышал. Я, вообще-то, не люблю слушать, о чем говорят посетители, если только они не со мной говорят. Это у меня с Гитлера: я слушал, что говорили, а потом сам говорил — при Гитлере ведь тоже были люди со злыми языками. А меня за это посадили на восемь месяцев в лагерь...» — «А Дорнброк был с машиной?» — «Да. Здоровенный такой серый автомобиль. Он еще, когда уезжал, наскочил левым колесом на тротуар и крыло помял — такой он был пьяный. Красный, я слышал, просил его не ездить в таком виде, а тот приглашал красного отвезти его до зональной границы, а тот сказал, что сам доберется. А у него было денег мало, я видел, как он наскребал мелочь, когда расплачивался за пиво...» — «У вас есть телефон?» — «Вон у стены, господин прокурор».

Бауэр сказал:

— Ну ясно. Он уже отправил экспертов в гараж Дорнброка?

— Да.

— Когда?

— Три часа назад.

— Вы предупредили, чтобы этих экспертов пустили в гараж?

— Нет, я как раз просил никого не пускать в гараж.

— Это глупость номер один. Как вы можете ее исправить? Сейчас же, немедля?

— Я не могу этого сделать, потому что люди Берга были в гараже Дорнброка и их туда не пустили.

— Кто?

— Густав.

— Завтра же увольте его и принесите официальные извинения Бергу.

— Хорошо.

– Тот парень, которого вы подводили к Кочеву, надежен?

– Поэт? Из съемочной группы Люса? Он вполне надежен.

– Откуда Берг узнал про «Кругдорф»?

– Не знаю.

– Надо узнать. Он же не мог высосать эти данные из пальца. Когда вы записывали разговор Люса с Гансом, тот ничего не говорил ему про пивную?

– Нет. И про красного он ему тоже ничего путного не сказал. Он ему только сказал, что ждет звонка...

– Хозяин кабака сказал и про звонок... Люс сказал Бергу про то, что Ганс ждал звонка?

– Берг никого не подпускает к своим материалам...

– Значит, сами вы ничего узнать не можете?

– Ну почему же... Мы работаем в этом направлении...

– Я просил вас отвечать правду, Айсман. Я спрашиваю еще раз: своими силами вы сможете завтра или послезавтра подойти к материалам Берга?

– Мы стараемся это сделать...

– Да или нет?

– Мне трудно ответить так определенно.

– Значит, следует ответить: «Нет, не смогу». И это будет правда. Не предпринимайте никаких шагов до конца завтрашнего дня. Утром я вылетаю в Париж с часовой остановкой в Бонне. Кройцману из министерства юстиции я позвоню сам. Подготовьте материалы по парижской бирже... Что-нибудь такое, за что я мог бы зацепиться, надо же оправдать целесообразность полета... Будем считать, что биржевики ввели вас в заблуждение – это для прессы... Ну а я вылетел для проверки... Понимаете?

– Да. Я подготовлю такую дезу сегодня ночью...

– Что такое «деза»? Дезинформация?

– Это наш жаргон...

– Следите за жаргоном, Айсман.

– На случай непредвиденного, пока вы будете в Париже...

Бауэр перебил его:

– Никаких непредвиденностей. Я вернусь из Парижа в шесть вечера. Надеюсь, за это время вы сможете ничего не предпринимать?

– Господин Бауэр, я думаю не о себе, а о нашем общем деле...

— Понимаю... Простите. если я был резок. Словом, пока мне трудно наметить перспективу в подробной раскладке возможных изменений... Сначала надо ознакомиться с материалами Берга... Но если вы в чем-то ошиблись, не рассчитав, надо круто менять курс. Здесь я учусь у политиков. Когда они заходят в тупик, использовав все возможности для выполнения задуманной ими линии, они эту линию ломают. Это производит шоковое впечатление, и это шоковое впечатление дает выигрыш во времени. А время — это все. Так вот, если нам придется отступать, мы поможем Бергу доказать алиби Люса. Это раз.

Бауэр взглянул на Айсмана и усмехнулся: у того в глазах было детское изумление.

— Это раз,— повторил Бауэр,— как это сделать — подумаем. Я вам подброшу пару мыслей, а вы разработаете операцию. Теперь второе — мы поможем Бергу запутаться, выдвинув через наших свидетелей две новые версии. Первая: Кочев — агент КГБ, он пытался вербовать наших людей... Впрочем, вторую трогать пока не будем.

— А пленка Ленца?

— Пленка нам на руку. У Люса этот материал скопировали агенты Ульбрихта и подсунули Ленцу, чтобы вызвать напряженность в Западном Берлине. И подумайте — на самый крайний случай — как нам обернуть Кочева против покойного Ганса. Это была бы окончательная победа... Болгарин отравил Ганса, который ездил налаживать контакты в Китай. Как? Ничего?

— Когда станете канцлером, не забудьте старого глупого Айсмана...

— Хорошо,— серьезно сказал Бауэр,— не забуду. Только одна беда — я не собираюсь становиться канцлером. Я не хочу менять свободу на кабалу. Неужели вам по-прежнему хочется быть лакеем?

— Я ваш подчиненный, но есть грань допустимого в разговоре...

— Вы не понимаете шуток, Айсман... Все эти гиммлеры, гессы, таддены... Ваше поколение не понимает шуток.

— Наше поколение понимает шутку, но не любит высокомерия, господин Бауэр. Я могу быть свободным?

— Не сердитесь. Дело-то слишком серьезное, чтобы сердиться по пустякам.

— Я не считаю пустяком обиду.

— Тогда извините меня, я не хотел вас обидеть, Айсман.

Айсман поднялся и, поклонившись, молча пошел к двери.

— Не сердитесь,— снова попросил Бауэр,— послали бы меня к черту, если так уж обиделись.

Айсман заставил себя улыбнуться:

— Считаем инцидент исчерпанным... Я считаю его исчерпанным лишь потому, что лучше получить оплеуху от умного, чем поцелуй от дурака. Мне интересно работать с вами.

— Ну спасибо, старый волк,— ответил Бауэр,— я пойду спать, а вы страдайте до утра: у меня на аэродроме должны быть хорошие материалы для Парижа. Уж если алиби — так во всем алиби.

— Положитесь на меня, господин Бауэр.

— Я только это и делаю,— улыбнулся Бауэр,— поэтому у меня столько неприятностей.

2

— Здравствуйте, дорогой старик! — сказал Кройцман, входя в кабинет Берга.— Извините, что я не позвонил вам, утром ваш номер не отвечал, а с аэродрома уже не было смысла трезвонить.

— Здравствуй, Юрген,— сказал Берг, поднявшись из-за стола,— или теперь я должен называть тебя «господин статс-секретарь министерства юстиции»?

Берг все понял, когда вошел Кройцман, и поэтому решил ударить первым — боннское министерство не имело права вмешиваться в его дела, поскольку прокурор подчинялся лишь сенату Западного Берлина.

— Тогда я обязан обращаться к вам «господин профессор, мой дорогой учитель»,— ответил Кройцман, поняв тайный смысл слов Берга.

— Я читал, что Пушкину один из старых поэтов подарил книгу с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя».

— В этом есть что-то от кокетства...

— Прошлый веке вообще был кокетлив, и, признаться, мне это нравится. Наш прагматизм похож на естественные каждодневные отправления: поел, значит, через пять часов надо бежать в клозет... Ну, что стряслось?

— Вот,— сказал Кройцман, положив перед Бергом страничку машинописного текста с грифом «Совершенно секретно».

— Зачем мне это знать, если тут штамп МИДа и все наглухо засекречено, Юрген? Это имеет отношение к делам, которые я веду?

— К одному из ваших дел — к Кочеву это имеет прямое отношение...

Берг прочитал документ, в котором МИД просил ускорить разбирательство дела Кочева. Болгары неоднократно напоминали и продолжают напоминать, что судьба Кочева беспокоит их, и что они требуют либо встречи с ним, либо официального уведомления властей о том, что они предоставляют ему политическое убежище.

— Я не могу выдвинуть никакой версии, Юрген... Ответь им, что дело находится в стадии следствия... Пока что любая версия будет преждевременной.

— Пресса на все лады обсуждает арест Люса. Эта странная съемка Кочева... Люс левый. Стоит ли нам идти на конфронтацию с нашими левыми во всем этом деле?

— Я бы поставил тебе самый низкий балл за такой ответ, Юрген. Я не знаю, стоит или не стоит идти на конфронтацию: это не моя сфера. Я служу закону, верю закону и отчитываюсь перед законом, принятым сенатом Западного Берлина.

— Я не призываю вас нарушать закон. В данном случае, однако, мне кажется нецелесообразным разделять понятия «нация» и «закон». Речь идет — естественно, в какой-то мере — о престиже государства.

— Нация и закон — разные категории, Юрген. Я до сих пор не совсем понял: ты приехал с каким-то предложением? Или ты хочешь отдать мне приказ?

— Я не смею отдавать вам приказа, профессор,— пожал плечами Кройцман,— вы же это знаете. Вы не подчинены нам... А если бы и подчинялись — я бы не посмел отдать вам никакого приказа. Не согласились ли бы вы встретиться с представителями болгарского посольства и ознакомить их с ходом следствия? Это моя просьба, а не приказ.

— Это не мое дело, Юрген, не надо опять-таки преступать закон. Пусть этим занимается министерство иностранных дел.

— Они давят на нас. Они вправе потребовать у нас отчета в том, как идет расследование. Ваши уклончивые пресс-конференции не устраивают болгар. Они хотят знать правду. И в наших интересах пойти им в этом навстречу, ибо официальный курс «наведения мостов» может быть сильно скомпрометирован дурацкой историей с Кочевым...

— Насморк у Наполеона при Ватерлоо,— заметил Берг,— похоже, а?

— Именно.

— А при чем здесь Люс? Почему ты начал с Люса? Какое он имеет отношение к Кочеву?

— Они уже начали поговаривать о том, что преступления правых мы перекладываем на плечи левых интеллигентов, так уже, пишут они, было в тридцать третьем.

— Ну и пусть себе пишут... Мало ли что мы пишем друг о друге.

— Все верно,— согласился Кройцман,— но министр поручил мне ответить на эту бумагу из МИДа. Поэтому сначала я предложил вам ознакомить красных с ходом следствия. Если вы отказываетесь, то мне придется лишь проинформировать МИД о проделанной вами работе.

— Это пожалуйста,— согласился Берг.— Когда ты рассчитываешь вернуться в Бонн?

— Я это должен сделать сегодня же. Желательно до конца дня.

— А завтра? До завтра никак нельзя подождать?

— К сожалению, нет. Министр пообещал Кизингеру, что я сегодня же привезу исчерпывающие материалы.

— Значит, тебе обязательно надо вернуться туда сегодня?

— Обязательно.

«Ну вот тут я тебя и прихлопну, малыш,— подумал Берг,— а то уж больно ты интересуешься тем, что у меня лежит в сейфе. И это неспроста. Все здесь неспроста — в этом я теперь не сомневаюсь. И то, что Айсман вчера ночью ездил к Бауэру, и то, что тот улетел наутро в Париж, и то, что по пути он где-то садился, иначе мне бы сообщили из Парижа о его прилете туда в то время, когда он должен был прилететь, а он задержался на два часа, этот парень с челюстями...»

— Тогда, Юрген, бери карандаш и записывай то, что я стану тебе рассказывать.

— Зачем мне отрывать вас от дел? Я посмотрю материалы, сделаю необходимые выписки и улечу.

— Я поэтому и спрашивал: сколько ты имеешь времени, Юрген? У меня накопилось более двухсот пятидесяти страниц с расшифрованными допросами... Мой почерк — ты же знаешь... Теперь все стали такими говорунами на допросах... Просто сил моих нет выслушивать их... Ты не успеешь просмотреть и четверти материалов, Юрген, так что лучше тебе записать мои показания,— усмехнулся Берг,— так будет вернее...

«Как он ловко загнал меня в угол,— с каким-то даже удовлетворением подумал Кройцман,— я даже не успел понять, где он расставил силки, и уже оказался в углу».

— Прекрасно,— сказал Кройцман,— я возьму бумагу... Или лучше наговорим на диктофон?

— На диктофон даже вернее, Юрген... Мы с тобой сэкономим время...

Кройцман достал магнитофон из плоского портфеля, зарядил кассету и сказал:

— Я готов.

— Зато я не готов,— вздохнул Берг,— извини, язва есть язва, и за нее я не отвечаю... Клозет рядом, так что я скоро...

Когда Берг вышел, Кройцман ощутил усталость. «Как после экзамена у этого беса,— подумал он.— Он всегда гонял нас на экзамене, но мы любили его, несмотря ни на что. Но он ловко меня обвел... Ничего, все-таки я из его школы, реванш я возьму, и этот реванш будет неожиданным для старика».

— Значит, давай начнем сначала,— сказал Берг, входя в кабинет и на ходу поправляя подтяжки.— Пропал Кочев. В ночь на двадцать второе. Ленц опубликовал интервью: «"Я выбрал свободу!"— заявил Кочев». «Покажите его,— попросили мы.— И кончим на этом дело».— «Он не хочет ни с кем встречаться».— «Хорошо. Давайте мне человека, который беседовал с ним, Кочевым, пусть он под присягой дает показания, и на этом мы ставим точку». Этого человека я не получил, а получил пленку, которая была сфабрикована. Ленц был арестован не мной, а полицией, и он дал показания майору Гельтоффу о том, что пленку и первое интервью ему всучил Люс. Левый. Это уже бомба. Человек, который борется с нацистами и не скрывает симпатий к Марксу, ведет гряз-

ную игру. Более того, он у меня проходит по делу о гибели Ганса Дорнброка.

— Я знаю.

— Это не могло не удивить меня. Более того, алиби, которое выдвинул Люс, подтвердилось не в полной мере.

— У вас достаточно улик для его ареста?

— Вполне. Когда я сажал Люса, у меня были достаточные данные для его ареста.

— Когда сажали. А сейчас? Вы приучали нас, профессор, к точности формулировок.

— Видишь ли, Юрген («Пусть там послушают, как я называю тебя, господин статс-секретарь, пусть. Ты сейчас станешь злиться, а это очень хорошо, когда злятся начальники, особенно из молодых»), видишь ли, сынок, сейчас я проверяю его алиби. Не то, которое он выдвинул, а то, которое мне пришлось вытягивать клещами у свидетелей. Ты же понимаешь, что прокурору не к лицу вытягивать клещами показания в пользу арестованного, но мы живем в демократической стране, слава богу, где задача прокурора не в том, чтобы осудить, а в том, чтобы докопаться до истины.

— Стоило ли ради этого сажать Люса в тюрьму?

— По букве закона я мог это сделать, Юрген.

— Понимаю. Но мы отвлеклись от Люса...

— Нет, мы не отвлекались от Люса. Это ты меня навел на Люса, и я не совсем понимаю, зачем тебе это надо, когда мы исследуем Кочева. Мы должны рассматривать Люса как эпизод в цепи непонятной комбинации, которую все время кто-то норовит разыграть против нас с тобой, против нашего закона. Главное ведь, что волнует нас с тобой: где Кочев? Как нам выпутаться из этого дела, которое красные так мастерски — по твоим словам — используют против нас? Я ищу Кочева, а Люс сидит у меня лишь потому, что я веду дело Дорнброка. Понимаешь? В этом есть свое преимущество.

— Теперь понимаю. Он дал какие-нибудь показания в связи с Кочевым?

— Никаких. Конкретно — никаких.

— А косвенно?

— Он отрицает, что знал Кочева, когда проводил съемку своего фильма «Берлин остается Берлином».

— Вы не позволите мне взглянуть на эти его показания?

— Пожалуйста...

«Вот и все,— удовлетворенно подумал Кройцман,— все дело сейчас ляжет на стол, и я посмотрю его и пойму, как он вышел на то, что интересует Бауэра».

Берг достал из сейфа тонкую папку и положил ее перед Кройцманом.

— Я всегда режу дела на эпизоды,— пояснил он,— здесь как раз то, что тебя интересует... Видишь,— он кивнул на открытый сейф,— эту гору... Все эпизоды разложены по папкам.

«Сволочь,— ожесточился Кройцман,— старая сволочь».

Он пролистал папку и сказал:

— По-моему, Люс дает искренние показания.

— По-моему тоже. Только надо их до конца подтвердить во времени и месте: свидетелями, данными возможного наблюдения...

— За ним наблюдали? Кто? Ваши люди?

— Не только наши. За мной тоже, я заметил, стали наблюдать. Вряд ли за мной наблюдают наши люди...

— Вы позволите мне проверить, кто наблюдает за вами?..

— Пока не стоит. А вдруг это у меня начинает проявляться мания подозрительности? Если за мной смотрят красные, то наша контрразведка, надеюсь, сможет охранить меня... Хотя, впрочем, от чего меня охранять? Хоть я и бабник, но забыл, как это делается; пить не могу — язва... Работа — дом, дом — работа.

— Вы отрицаете возможность того, что вся эта история с Кочевым — провокация коммунистов? От начала и до конца?

— Смысл? Какой им смысл?

— Мы — фронтовой город, мы наводим мосты, а здесь исчезает их гражданин.

— Он не исчезает. Он скрывается здесь, по нашим версиям...

— Все верно. Ну а если все же подумать о моей версии? Она ведь бьет и по Люсу. Раньше он делал фильмы против нацистов, которые так хвалили на Востоке, а теперь делает заявление в печати о том, что мир обречен и никто не в силах его спасти. Может, он отошел от них? Чтобы никто не упрекал его в прямой связи. Агент дожен быть нейтралом в политике, иначе он бесполезен.

— Интересное предположение. У тебя есть какие-нибудь факты?

— Пока нет.

— Что значит «пока»? Ты их ищешь? Помимо меня?

— Разведка не входит в мое ведомство, но они ведь тоже не спят в своем доме.

— Может быть, ты поможешь мне связаться с ними для обмена информацией?

— Вы заметили, что я на это время выключил диктофон? Я говорю о том, что мне шепнули друзья в конфиденциальной беседе.

«Ну-ну,— подумал Берг,— твой выключен, а мой диктофошка пишет».

— А если вы докажете непричастность Люса ко всему этому делу и отпустите его — будете вы готовы мотивированно объяснить происшествие с Кочевым?

— Юрген, я ничего не буду делать специально для красных. Я все буду делать для нас, для нашего закона. И потом, я не совсем увязываю: вначале ты говорил о политике «наведения мостов», а теперь о провокации коммунистов.

— Как раз это и увязывается. Чтобы сорвать нашу политику наведения мостов, они должны убедить общественное мнение, будто наш берег ненадежен.

— Сейчас понял. Ты позволишь мне поразмыслить над твоими словами?

— Конечно. А я пока пороюсь в папках — для себя, если позволите.

— Нет, сынок, не стоит... Там много моих пометок, и это рабочие материалы, а пометки твоего бывшего учителя могут запечатлеться в твоем мозгу, и это будет плохо, потому что ты можешь оказаться в плену моей версии.

— Значит, у вас есть версия?

— Да. Она отличается от твоей. По-моему, Кочев здесь, в Берлине, но почему он здесь и где — это я собираюсь выяснить в течение ближайших трех-пяти дней. Если этот срок тебя не устраивает, тогда я готов передать дело другому человеку, оформив материалы таким образом, чтобы не было горы эпизодов, а лишь единая папка...

— Я буду докладывать министру и советнику Винцбекеру в МИДе.

— Боюсь, их этот срок не устроит, а?

— Если они будут возражать, я стану спорить с ними.

— Вряд ли ты переспоришь министра...

— Я попробую сразиться с ними. Я вижу, вы не хотите,— Кройцман спрятал диктофон в портфель,— раскрывать все карты, и это ваше право. Я могу более настойчиво просить вас показать мне все дело, чтобы составить полное представление, но я не сделаю этого, потому что я вам многим обязан в жизни. Без ваших уроков я бы не был юристом, я был бы обыкновенным болтуном, каких сотни в наших органах юстиции.

— Если хочешь, мы можем вместе пообедать и там поболтаем еще часок.

— С удовольствием.

«У старика есть данные против Бауэра,— подумал Кройцман, помогая прокурору Бергу надеть плащ,— он ведет серьезную игру, и он будет бить наотмашь, когда соберет все доказательства».

— Я жую котлеты, но тебя я накормлю великолепным бифштексом. Знаешь, я даже сам, наверное, сегодня съем бифштекс, чтобы поднабраться сил. Судя по всему, мне предстоит драка не меньшая, чем тебе... Я тут поболтал один вечер с моими ребятами из прессы, многое объяснил им, но попросил, чтобы они пока помолчали. Они пообещали, что будут в драке, если она начнется, на моей стороне... Им легче,— Берг посмотрел в глаза Кройцману,— над ними нет министров.

— Это верно,— вздохнул Кройцман.— Это абсолютно верно...

«Испугался, мальчик,— отметил Берг.— Очень хорошо. Теперь ты понял, что я не очень-то боюсь твоих разговоров с министром? Теперь ты понял, что я на все пойду в этой драке, особенно, если разговор с Сингапуром сегодня ночью состоится, а завтра я получу показания из Гонконга... Но тебе пока про это не надо знать, мальчик. У тебя своя игра, а у меня своя. Только если для тебя это игра, то для меня это жизнь».

3

— Добрый день, господин Шевц... Прошу садиться.

— Добрый день, господин прокурор. Спасибо.

— Я вызвал вас в качестве свидетеля по обвинению редактором Ленцем режиссера Люса в подлоге и клевете.

– Я не имею к этому никакого отношения.

– Где вы работаете, господин Шевц?

– Постоянно нигде. Я работаю время от времени по договору, чтобы обеспечить себе возможность для творчества.

– Творчества?

– Я поэт.

– Где вы публиковались?

– Пока нигде. Вы думаете, это так легко у нас – опубликоваться?

– А разве трудно?

– Еще как... Без связей попросту невозможно... Или если не поддержит какой-нибудь меценат... А я из рабочей семьи, откуда мне взять богатых покровителей?

– Пожалуйста, взгляните на это фото.

– Это я. Знаете, самое выгодное дело – наняться в какую-нибудь съемочную группу... Они неплохо платят, и потом это временно... Люс снимал свою картину, и меня привлек один из его помощников.

– В чем заключалась ваша работа в группе? Как называлась ваша должность?

– Точного названия нет... Говорят: «Работает в окружении». В тот день, когда я снят...

– Какой это был день?

– Из-за этого дня целая шумиха был на телевидении, я смотрел.. По-моему это было девятнадцатого, тут Ленц не прав. А может, двадцатого или двадцать первого, не помню толком, но только не двадцать седьмого... Ну вот... Они мне тогда сказали, что будут снимать, как отдыхает молодежь на пляже, попросили поболтать с разными ребятами так, чтобы собрать их в кружок...

– Кто вас просил об этом?

– Не помню.

– Люс просил?

– Нет, Люс сказал, чтобы я не смотрел в ту сторону, где они спрячут камеру. Чтобы все было естественно...

– А кто вам сказал, что там Кочев?

– Этот шпион? В очках? Никто не говорил. Я и не думал, что он красный...

– Почему вы считаете его шпионом?

– Потому что он предлагал мне деньги на издание книги...

– Когда?

– Вечером. Я ведь на пляже читал стихи, мы пили... Я читал стихи, а красный сказал, что это талантливо и что он любит такую поэзию.

– Ну-ка, продекламируйте мне то, что вы ему читали...

– А я не ему читал... Я же не знал, что он красный. Я читал всем. Я только потом узнал, кто он. Это у меня есть такой ноктюрн...

Море идиотизма
Пополняется ручьями глупости.
Но ведь ручьи рождены снегом,
Который тает?
Возможно ли из белизны рожденье грязи?
Где логика и в чем секрет проблемы?
А может быть, бессилье чистоты
Обречено на превращенье в ужас?
А сила, пусть в крови, в истоме стали,
В конце концов останется булатом
С отливом синевы?
Загнать моря в ручьи.
Ручьи вернуть снегам.
Снег пусть окован льдом.
А я пусть стану тем,
Кто властен над природой.
Закон мой прост, но чист,
Он требует любви,
Свободы, силы.
Он требует меня – для вас!
Эй, ждите!
Я иду!

– Где-то перекликается с Энцесбергером...

– С этим ублюдком? Господин прокурор, я стою с ним на разных позициях! Он же за волосатых!

– Да? Может быть. Я ведь говорю как дилетант... Ну и что дальше?

– Кочев сказал, что это интересно, и спросил, где это напечатано, а я сказал, что это написано чернилами на моих ягодицах. Простите, я, наверное, не имел права вам так говорить, но я ему так сказал, именно так. Он спросил: «Почему вы не публикуетесь, Иоганн?» А я ответил, что он столько же знает о нас, сколько мы о них, и он с

этим согласился... А когда мы в центре разошлись, он предложил мне вечером повстречаться, он сказал, что хочет послушать мои стихи... Он сказал, что вечером пойдет в «Ам Кругдорф», это такой маленький ресторанчик возле университета, и что мы можем перед этим с ним увидеться... Вот...

— Дальше?

— Мы с ним увиделись, а он говорит, что если мне нужны деньги на издание стихов, то он может мне помочь. «Или,— говорит,— давайте мне ваши стихи, Иоганн, я их покажу у нас дома, мы их напечатаем...» А я сказал, что, конечно, лучше мне одолжить деньги на издание книги... Он спросил — сколько, а я сказал, что я толком не знаю, сколько стоит издание поэтического сборника в маленькой типографии. Он спросил: «Тысяча марок устроит?» Ого, еще бы не устроила! А как мне их вернуть? Что, если я не продам книг на тысячу марок? Наши сволочи разве читают поэзию? Они только смотрят грязные фильмы из Штатов, где барахтаются в постели или стреляют ковбои... Спросите наших, кто читал Гете? Из тысячи один. А если и читали, то этого ядовитого Гейне... А он такой же немецкий поэт, как я — французский.

— Почему вы так настроены против Гейне? По-моему, он большой поэт.

— А я разве сказал, что он маленький поэт? Он замечательный поэт, но он зол и дедуктивен, это свойственно людям его национальности. Разве Мендельсон плохой композитор? Но Вагнер выше. И Мендельсон в этом не виноват, я его, кстати говоря, обожаю. Он замечательный композитор.

— В этом с вами трудно не согласиться...

— Кочев, кстати, не согласился... Но неважно. Он,— продолжал Шевц,— сказал: «Я дам вам деньги, и не думайте о том, когда вы их сможете вернуть... Но мне,— продолжал он,— как ученому-социологу, хотелось бы попросить вас о любезности... Сюда приедут мои друзья: познакомьте их с молодыми интеллектуалами, расскажите моим друзьям, кто и как думает о нас и о вас, о ваших нацистах, капиталистах, о Мао...» Я сразу смекнул, в чем дело... Он думал, что если поэт, то, значит, блаженный. Я сначала-то подумал: ну и возьму я ваши деньги, а ничего вам говорить не стану, но потом я сказал себе: «Ио-

ганн, с этого нельзя начинать. Нельзя грязнить себя в самом начале...» И я ответил ему: «Идите прочь! Ищите себе агентов в республиканском клубе!» Он засуетился, стал говорить, что я его не так понял, а я повернулся и ушел...

– И больше с ним не встречались?

– Нет.

– Где вы с ним увиделись?

– Возле остановки метро.

– Какая станция?

– Онкл Томс Хютте...

– В какое время?

– Часов в одиннадцать...

– Он стоял в метро или был наверху?

– Там же все наверху!

– Вы не путаете? Может быть, вы увиделись с ним в центре? На станции Шмаргендорф? Если вы говорите, что увиделись в одиннадцать часов?

– В центре? Нет... По-моему, нет... Да нет же, конечно, возле метро...

– Почему вы не сказали об этом раньше?

– Не дело поэта таскаться по полициям. Его дело – самому быть честным...

– Вы утверждаете, что Кочев предпринял попытку вербовать вас?

– Конечно. А как же иначе можно это расценить?

– Иначе? Можно и иначе... Представьте, что его друзья собираются к нам и что действительно они интересуются, чем живут наши молодые интеллектуалы...

– А деньги мне зачем предлагать? Они же приезжают сюда с пустыми карманами.

– Кто?

– Коммунисты.

– Откуда вам это известно?

– Это всем известно.

– Лично мне это неизвестно. От кого вы узнали, что коммунисты приезжают к нам с пустыми карманами?

– Да все так говорят... И, кроме того, я читал об этом...

– Где? В какой книге?

– У этого... Ну, как его... У Флеминга...

– В какой книге?

– Я не помню. В какой-то из его книг...

– Вы это утверждаете?

– Что?

– То, что именно в одной из книг Флеминга вы читали, что коммунисты приезжают за границу с пустыми карманами?

– Да.

– Вы настаиваете на этом утверждении?

– Я не понимаю, какое это имеет отношение...

– Большого значения это не имеет, но в книгах Флеминга утверждается как раз противное – что все коммунисты приезжают на Запад с огромными деньгами, потому что они работают на КГБ...

– Откуда же я мог узнать про это? Ума не приложу...

– Об этом известно нашей разведслужбе, контрразведке, но это не суть важно сейчас... Сколько времени продолжался ваш разговор с Кочевым?

– Минут двадцать. А что?

– Ничего. Всегда, когда получаешь интересные показания, интересуешься подробностями. Итак, вы проговорили полчаса?

– Да. Минут двадцать-полчаса...

– Какие вы стихи ему читали?

– Где?

– Ну, когда увиделись вечером... Он же пригласил вас, чтобы вы почитали ему стихи...

– Я ему прочел поэму «Цветы, растущие в землю».

– А еще что вы ему читали?

– Несколько стихов из последнего цикла...

– Во что он был одет?

– Он? Как во что?

– Он был в пиджаке или нет? Если в рубашке, то какого цвета?..

– Вот этого я не помню.

– Не может быть, господин Швец, не может быть. Всему верил, а этому поверить не могу... Поэт, который не помнит такой пустяковой подробности... Давайте я буду вам помогать... На нем был черный костюм?

– Не-ет... Тогда ведь было жарко...

– Он был без пиджака, в белой рубашке?

– Нет... Кажется, в какой-то цветной...

– Сейчас, минуту...– Берг отошел к сейфу, достал показания Урсулы и прочитал то место, где она описывала, во что был одет Кочев: «Легкий серый костюм, ко-

торый переливается на солнце, и в белой рубашке с дырочками».

– Но пиджак на нем был?

– Нет. Нет, он был без пиджака, в цветной рубашке...

– Вы готовы подтвердить это под присягой?

– Я лучше вам скажу, что я не помню, во что он был одет.

– Хорошо. Откуда он доставал деньги?

– Деньги? Из заднего кармана брюк.

– А брюки какого цвета?

– Не помню. Кажется, темные... Ночью все кажется темным...

– А сколько стихов из вашего последнего цикла вы прочитали Кочеву?

– Там всего восемь стихов.

– Сколько это страниц?

– Двенадцать...

– Как, по-вашему, он разбирается в поэзии?

– Да. Что да, то да. Он понимает поэзию.

– Он разбирал ваши стихи?

– Да. И делал это интересно. Очень интересно. Поэтому я и развесил уши. Поэтому я и стал заглядывать ему в глаза, до той минуты, пока он не начал меня вербовать...

– Хорошо. Спасибо. У меня остался к вам последний вопрос, Иоганн Шевц...

– Пожалуйста, господин прокурор...

– Вы состоите членом какой-либо партии?

– Я?! А что? Нет, не состою.

– Какой партии вы симпатизируете?

– Партии поэтов...

– Прекрасный ответ. Ну а теперь ответьте мне: зачем вы лжете?

– Кто? Я? Я вам не лгу.

– Все, что вы мне сказали, правда?

– Да. Все это правда.

– Тогда я сейчас включу магнитофон, и вы мне прочитаете вашу поэму, а потом последний цикл, а после этого я их разберу... Страница – это две минуты времени, Шевц... Итого вы читали Кочеву ваши стихи в течение сорока четырех минут. И он, как вы говорили, неплохо разбирал вашу поэзию... Тоже минут двадцать. Потом он вас «вербовал» в течение десяти минут, как минимум...

Итого вы с ним провели час двадцать четыре минуты. А от метро до кабачка «Кругдорф» десять минут езды или тридцать минут ходу. Значит, если вы встретились у метро в одиннадцать часов и вы настаиваете на том, что это было именно в одиннадцать, то как Кочев мог оказаться в «Кругдорфе» в одиннадцать тридцать, причем добирался он туда пешком?

...Наблюдение, пущенное за Иоганном Шевцом, принесло то, что и ожидал Берг: сначала поэт ринулся на квртиру местного руководителя НДП, а после позвонил по телефону к человеку, который встретился с ним на Сименштадте, а оттуда, после беседы с поэтом, поехал к Айсману.

...Человек этот был Вальтер, связник Айсмана по НДП.

4

— Господин Ауфборн, вы утверждаете, что находились в кабинете редактора Ленца, когда к нему пришел помощник Люса и передал пленку?

— Да.

— Как представился посланец Люса?

— Он просто сказал: «Редактор Ленц, мой босс хочет предложить вам сенсационный материал, а мне за то, что я его принес, следует к уплате тысяча марок».— «Что за материал?» — «О том болгарине, который дал деру».— «Пойдемте в наш кинозал...» — сказал Ленц.

— Вы не видели, как Ленц платил человеку Люса деньги?

— Нет.

— Как его звали?

— Он не назвался. Просто сказал: «Я от Люса».

— Вы говорили, он представился помощником Люса?

— Нет, это неверно. Это я так понял его... Вообще-то, он сказал: «Я от Люса».

— Опишите его.

— Очень неприметная внешность. Я еще удивился, что в кино существуют такие неприметные люди. Шатен, небольшого роста, в коричневом костюме...

— В какое это было время?

— Часов в двенадцать или около этого.

— То есть во время обеденного перерыва?

— В редакции не очень-то соблюдается обеденный перерыв. Все время горячка.

— Вот я тоже не соблюдал обеденных перерывов и нажил себе язву двенадцатиперстной кишки...

— У меня была язва до фронта... На фронте все зарубцевалось.

— Вы на каком фронте воевали?

— Я был все время на севере. Помогал финнам, потом был в Норвегии.

— Вы проходили денацификацию?

— Да. У англичан. Сразу после войны меня сунули в лагерь только за то, что наша часть была приписана к СС. А я и в глаза-то не видел этих палачей... Неужели я виноват в том, что на горнолыжников напяливали черную форму?

— Сколько времени вы провели в лагере?

— Семь месяцев.

— К суду вас потом привлекали?

— Тогда всех привлекали к суду.

— Я понимаю... Всех привлекали, почти всех... Но вас, именно вас, привлекали?

— Да.

— Вы были осуждены?

— Осужден?! Я был оклеветан!

— На сколько лет вас оклеветали?

— На пять лет.

— За что?

— Они, видите ли, обвинили нас в том, что мы сожгли какую-то партизанскую деревню в Норвегии. А мы не сжигали никакой деревни. Там убили трех наших ребят и вели по нас стрельбу с крыш. Мы, естественно, отвечали тем же...

— Как давно вы работаете у Ленца?

— С тысяча девятьсот сорок седьмого года.

— То есть сразу же после освобождения из тюрьмы?

— Да.

— Вы сидели в одной камере с Ленцем?

— Да.

— И сразу же начали вести отдел спортивных новостей?

— Да. К черту политику! Только секунды и минуты... Я даже перестал заниматься предсказанием чемпионов, хватит! Все наши беды оттого, что мы не знаем, на кого

и когда ставить...

– Ставьте на...– Берг осекся и вздохнул.– Ладно... Бог с ними, с предсказаниями. Кто еще был в кабинете Ленца, когда пришел помощник Люса?

– Нет, это не помощник Люса, а человек от Люса.

– Да, да, я понял и записал это ваше уточнение. Когда в кабинет Ленца вошел Диль?

– Кажется, к концу нашей беседы.

– Что он мог слышать из разговора?

– Наверное, лишь заключительную часть...

– Господин Диль, что вам известно о посещении редактора Ленца человеком от Люса?

– Почти ничего, господин прокурор. Редактор Ленц, одеваясь, сказал Ауфборну, что он надеется через час вернуться. «Мы быстро посмотрим этот материал,– сказал он,– и вернемся. Игра стоит свеч».

– В каких частях вы служили, господин Диль?

– Я не воевал. Я работал в тылу.

– После войны вы привлекались к ответственности?

– Вы меня вызвали в качестве свидетеля по делу Люса. Какое отношение ваш вопрос имеет к этому делу?

– Словом, вам бы не хотелось отвечать на этот вопрос – я верно вас понял?

– Да.

– Благодарю вас, у меня к вам больше ничего нет. Одно только уточнение: человек Люса был невзрачен собою, шатен, в коричневом костюме? – откровенно посмеиваясь, спросил Берг.– Вас, видимо, удивила его внешность: человек из кино, а такой ординарный... Не так ли?

– Вы правы, господин прокурор, в его внешности не было ничего приметного.

– Да уж конечно, если б там было что-нибудь заметное, вы бы не могли этого не отметить для себя: все-таки восемь лет работы в полиции у нацистов – это большой срок...

– Я протестую, господин прокурор! Я работал не в полиции нацистов, а в полиции Германии. Вы тоже работали, пользуясь вашей терминологией, в органах юстиции у гитлеровцев.

— Между прочим, вы совершенно правы. Да, господин Диль, я действительно работал в органах юстиции при гитлеровцах, и даже то, что вы карали, а я пытался защищать,— даже это не успокаивает мою совесть: ведь я работал у гитлеровцев, господин Диль.

— Редактор Ленц, я допросил ваших свидетелей. Они дали вполне убедительные показания. Прежде чем мы приступим к следственному эксперименту, я бы хотел вернуться к вопросу о публикации в вашей газете интервью с болгарином.

— Теперь, когда, кажется, все становится на свои места и все поняли, что я пал жертвой провокации, я вам отвечу. После того, как помощник Люса прокрутил мне материал, и я уплатил ему деньги, он передал мне интервью с болгарином.

— И фотографию Кочева он тоже передал вам?

— Да.

— Как вы объясните тот факт, что он вам дал фотографию не из отснятого материала, а с паспорта Кочева?

— Вы убеждены,что мы напечатали фото Кочева с его-паспорта?

— Так утверждают болгары.

— Я не могу, конечно, опротестовывать заявление болгар...Они это официально утверждают?

— Вполне.

— Естественно, я не могу их опротестовывать... Вероятно, вызвав на допрос помощника Люса, вы сможете задать ему этот вопрос и потребовать мотивированного ответа.

— Вы правы. Прошу вас ответить мне: согласны ли вы встретиться с помощником Люса?

— Конечно.

— Тогда я попрошу вас пройти в соседний кабинет.

Они перешли в большой зал, где была собрана вся группа Люса: ассистенты, помощники, звукооператор со своей командой, помощники продюсера, шоферы, обслуживавшие «лихтвагены» и «тонвагены», привлеченные статисты. Сам Люс сидел поодаль, на отдельном стуле, а за ним стоял полицейский.

— Пожалуйста, укажите мне, господин Ленц, человека, передавшего вам за тысячу марок материал, отснятый Люсом.

Ленц попросил:

— Включите, если можно, верхний свет, тут довольно темно.

Берг неторопливо подошел к двери и повернул выключатель. Дрогнув голубым, беззащитным поначалу светом, мертвенно засветились большие плафоны.

«Почему этот покойницкий свет называют дневным? — подумал Берг.— Какая глупость! Это все реклама...»

— Так лучше?— спросил он Ленца.

— Да, благодарю вас.

Ленц дважды очень внимательно оглядел собравшихся здесь людей и сказал:

— Простите, господин прокурор, но здесь этого человека нет.

— Продюсер Шварцман,— обратился прокурор к маленькому человеку, то и дело утиравшему со лба пот,— кто из вашей группы не явился?

— Здесь все наши люди. Все, без исключения. Даже те, кого мы привлекали на суточные договоры.

Прокурор обернулся к Ленцу и вопросительно посмотрел на него.

— Нет,— повторил Ленц,— здесь нет человека, назвавшего себя помощником режиссера Люса.

— Вы не звонили Люсу после того, как его помощник продал вам материал?

— Зачем?

— Ну, для проверки, страховки, что ли...

— Страховкой занимаются банки, господин прокурор, мое дело — газета.

— А если, как это сейчас выясняется, у вас был проходимец, провокатор?

— Я могу только сожалеть об этом... Я хочу принести свои извинения режиссеру Люсу и посоветовать его продюсеру тщательнее хранить отснятый материал... Мы, газетчики, умеем хранить наши тайны.

— Продюсер Шварцман, кто у вас имеет доступ к отснятому материалу?

— Я хочу ответить редактору Ленцу,— сказал продюсер,— мы тоже умеем хранить наши тайны. Вы воспользовались краденым товаром, Ленц... Вы поступили как перекупщик краденого... Отснятый материал хранится в нашем сейфе, и доступ к этому материалу имеем только я и режиссер Люс.— Он достал из кармана ключ и пока-

зал его прокурору.— Вот этот ключ, и еще один такой сделан для Люса. И все. Больше никто не мог получить материал, кроме нас! Никакой мифический помощник не мог получить этого материала!

— Значит, вы хотите сказать,— спросил Берг,— что лишь вы и Люс могли продать материал Ленцу?

— Да. Пусть он обвинит в этом нас, а не мифического помощника. Пусть он обвинит в этом меня. Я посмотрю, что из этого получится!

— Я должен защитить редактора Ленца,— откровенно зевнув, сказал Берг,— извините, господа, я сегодня почти не спал. Мы проводили экспертизу в ателье... Вот заключение экспертов,— он протянул листки бумаги Шварцману,— здесь акт обследования вашего сейфа. Он был вскрыт, ваш сейф. Он был вскрыт дважды. Один раз, вероятно, когда брали материал Люса для копировки, а второй раз, когда этот материал положили обратно. К сожалению, нам не удалось узнать, когда это случилось. Экспертиза, которую я провел с пленкой, дала мне, правда, несколько иные данные... Но сейчас не время об этом...

— Какие-то провокаторы,— воскликнул Ленц,— хотят сталкивать лбами немцев, придерживающихся разных политических взглядов! Мой дорогой Люс, я прошу у вас прощения! Я готов понести ответственность за излишнюю доверчивость! Это для меня хороший урок на будущее... Страшно, конечно, в каждом видеть провокатора или врага, но если нас...

— Хорошо,— перебил его Берг,— это все для прессы, господин Ленц. Вы свободны.

Через два часа после того как Берг закончил эту комедию, он получил сообщение: Кочев запросил политическое убежище в Южно-Африканской Республике. В пространной статье, опубликованной в Иоганнесбурге, он писал: «Моя мать поймет меня и простит. Мои друзья, которые ведут в Софии, Праге, Будапеште, Белграде и Москве неравный, но благородный бой с тиранией, простят меня и поймут. Я знал, что КГБ повсюду имеет свою агентуру, и они легко могли похитить меня из Западного Берлина,— именно поэтому я запросил убежища здесь, в ЮАР. Я не буду вести никакой борьбы против режима. Пока что я буду отдыхать и думать, как мне найти самого себя в свободном мире. О том, к какому решению я приду, я сообщу через печать».

СХВАТКА

1

Кройцман прибыл в Гамбург поздним вечером. Сразу же с вокзала он поехал в дом к адвокату Енеке, который обычно по пятницам собирал у себя близких друзей на «сеансы продления молодости». Приезжали выпускники Боннского университета: «студенты» располагались в баре, а жены студентов, одна из которых, фрау Никельбаум, уже успела стать бабушкой в свои сорок лет, болтали наверху, в холле, где им были приготовлены кофе и мороженое.

Кройцман приехал к своему университетскому приятелю именно сегодня отнюдь не потому, что тот приглашал его к себе уже два года кряду.

— Зазнался, бурш,— говорил Енеке своим низким рокочущим басом по телефону,— это поразительно, как меняются люди, став членами кабинета министров! Кройцман, я презираю тебя! Более того, я тебя ненавижу! Если ты не приедешь ко мне на уик-энд, я обвиню тебя через прессу в высокомерии и зазнайстве!

— Хорошо,— ответил Кройцман,— я буду у тебя вечером. Краузе сегодня у тебя?

— Конечно! Даже если он засидится в газете, попозже он обязательно придет. Он тебе нужен?

— Нет. Мне нужны просто друзья, потому что я здорово устал со здешними стариками. А Блюменталь?

— Этот черт громит нас каждый вечер за то, что мы пассивны в борьбе с большевизмом и Тадденом. Конечно, придет. Жду. Имей в виду, я предупрежу Лорхен, и если ты не придешь...

— Не пугай меня, бурш. Я и так запуган до смерти.

Выпив с однокашниками грушевой водки, рассказав десяток историй о глупости боннской администрации — чем выше рангом руководитель, тем он более беспощаден в оценке ситуации и лидеров,— Кройцман поднялся наверх, поздравил фрау Никельбаум с рождением внука, поболтал с Лорхен и посетовал на занятость Гретты в институте косметики, где она проводит дни и ночи в своей лаборатории. «Хотя, быть может, это и верно, дети ценят работающих матерей... Не то чтобы

работающих, а, скорее, отсутствующих в доме — кто спорит, что работа дома самая изнурительная! У тебя есть прислуга?» — «Бог мой, о чем ты говоришь?! Это невозможно. Я была вынуждена сама научиться водить машину — у Енеке идиосинкразия, а шофер просит пятьсот марок в месяц, это ведь невозможно! Раз в неделю ко мне приходит жена консьержа, а все остальное приходится вести самой — и сдачу белья, и прием покупок из бакалеи, и заказ на мойку окон, и вызов реставратора мебели — все сама!» — «А дети?» — «Остальное время — дети... Енеке со своим басом и идиосинкразией; приемы, бакалейщики, которые дерутся у моих дверей за право продавать телятину, и дети».— «Мне очень жаль тебя, Лорхен».

Потом Кройцман спустился вниз, взяв кружку с пивом, подошел к Георгу Краузе, только что приехавшему из своей газеты.

— Георг, у меня к тебе дело...

— Я примерно догадываюсь, о чем ты говоришь...

— Шпрингер уже просил тебя вмешаться?

— У меня есть своя точка зрения на события.

— И ты ее никак не увязываешь с мнением шефа?

— Зачем? У нас есть курс — Германия, ее интересы, этому курсу я следую, а уж детали — это моя прерогатива. Разве ты находишься в ином положении, сидя в министерском кресле?

— Почти министерском,— улыбнулся Кройцман,— как правило, ни один из заместителей не становится министром. Выигрывает темная лошадь со стороны, но обязательно со своей новой программой, противоположной той, которой я должен был следовать, замещая министра.

— Ну, не надо со мной так говорить, Юрген... Не надо, а то я перестану тебе верить. Я ведь знаю, что ты член Наблюдательного совета у Дорнброка.

— По-моему, этих данных в прессе не было. Откуда тебе известно об этом?

— А зачем мне платят деньги? — спросил Краузе, пожав плечами.

Они закурили, молча рассматривая друг друга, будто впервые встретились... Наконец, Кройцман спросил:

— Ты не помнишь, хотя бы в общих чертах, что вы дали о Берге?

Краузе достал из внутреннего кармана мятые гранки и сказал:

— Енеке предупредил, что ты интересовался, буду ли я сегодня. Пройди в другую комнату, там и почитаешь этот... фельетон о падении нравов в нашем мире.

Кройцман улыбнулся и вышел в соседнюю комнату — там был рабочий кабинет, а еще дальше — библиотека. Здесь, оставшись один, Кройцман разгладил мятые, еще влажные, пахнущие непередаваемым, прекрасным, единственным, типографским запахом, гранки.

«Кому это на руку?— так начинался редакционный комментарий.— Когда с безответственными речами выступает кто-то из министерства здравоохранения, обещая победить рак в течение ближайших же месяцев, или министр Розенград клянется, что он повысит пенсию старикам старше семидесяти лет, мы не очень-то реагируем на это, потому что привыкли относиться к высказываниям наших «веселых» министров с известной долей скептицизма. Однако мы с обостренным вниманием следим за всем, что касается основы основ нормальной жизнедеятельности демократического государства,— за соблюдением закона. Естественно, судья и прокурор, призванные охранять конституцию, это такие люди, к которым с снисхождением не отнесешься,— каждый человек так или иначе соприкасается с законом: и в счастье рождения, и в горечи смерти. Прокурор Берг известен общественному мнению как убежденный радикал: его позиция всегда отличалась аскетизмом, который кое-кто расценивал как проявление здоровой оппозиции практике наших судов и правовых институтов. Это личное дело прокурора Берга. Однако когда на пресс-конференции он повторяет пропагандистские утверждения, сфабрикованные на Востоке,— мы имеем в виду дело болгарского интеллектуала Кочева, попросившего право убежища у правительства ЮАР,— тогда следует всерьез задуматься над тем, чьи интересы отстаивает прокурор Берг в Федеративной Республике. Фридрих Дорнброк ждет официального подтверждения трагедии, а Берг посыпает солью раны отца, до сих пор отказываясь сказать, что произошло той ночью — самоубийство или же убийство его сына? Правосудие — это всегда кара и милосердие. Отсутствие одного из этих компонентов приводит к тоталитаризму. Прокурор Берг, с кем вы?!»

Кройцман быстро поднялся, глянул в бар и поманил Краузе пальцем.

— Этого печатать нельзя,— сказал он, когда они вернулись в библиотеку,— ни в коем случае!

Краузе посмотрел на часы:

— Через час мы начнем отправлять тираж по адресам. А с чем ты не согласен? Почему?

— Возмутительный тон. Просто, я бы сказал, недопустимый. Ты же знаешь старика. После появления такой статьи ты развяжешь ему руки. Такие люди, как Берг, умеют звереть. Ты привык к нему как к доброму, покладистому старику, который мямлит, не торопится, многое знает, многое умеет,— многое, Георг, многое: он звезда первой величины... Но он умеет быть зверем. Иногда тихим, а иногда громким и всегда хитрым... Он был добр к нам — своим студентам, но он будет беспощаден к нам — своим врагам...

— Что ты предлагаешь?

— Сними этот материал.

— Этого я сделать не могу. У нас нет цензуры, чтобы сослаться на пустое место в газете.

— Какой-нибудь запасной материал есть?

— Я же не могу поставить на место комментария фотографию Сурейи в мыльной пене... Читатель привык: на этом месте мы всегда бьем кого-либо. Я не совсем понимаю, почему ты так печешься о Берге. Если смягчить удар по нему, тогда вся тяжесть падет на тебя...

— Верно. Но уж если вы решили ударить, то сделайте это тактично, уважительно по отношению к старику. Если хочешь, я помогу тебе накидать план твоего варианта комментария...

Георг снова посмотрел на часы, снял телефонную трубку, набрал номер и сказал:

— Зигфрид, это я... Попроси задержать на полчаса выпуск номера... Нет, нет, задержи вторую полосу, а все остальное пойдет без изменений.

Он обернулся к Кройцману и сказал:

— Диктуй!

— Ну что ты, Георг... Я не могу тебе ничего диктовать... Я позволю себе пофантазировать — всего лишь...

— Юрген, нельзя так... Нельзя никому не верить. Если мы играем одну партию, то нельзя же обставлять свое возможное алиби, как в бульварном романе начала века.

Союз сил предполагает откровенность. Я ведь прекрасно понимаю, ты приехал совсем не ради того, чтобы тискать Лорхен, а чтобы сделать то, что тебе важно сделать...

— Нам,— поправил его Кройцман.— Нам, Георг. Хорошо. Итак, я фантазирую... Ну не сердись... Я принял твои условия.

Краузе достал блокнот и приготовил ручку. Кройцман, расхаживая по кабинету, диктовал:

— «Первое поражение Берга». Начало пойдет? «Все мы восхищались якобинской страстностью прокурора Берга, когда он проводил свои известные процессы и всегда доказывал правду, выступая против зла. Однако дело Кочева, когда Берг арестовал людей, которых ему пришлось затем выпустить с извинениями,— симптом, и симптом очевидный. Мы не смеем ставить под сомнение высокую гражданскую порядочность Берга и его высокий профессионализм. Речь идет о другом. Больной человек, далеко перешагнувший пенсионный возраст, он идет на разных курсах с современностью, которая рождена новым временем, отличается новыми особенностями и входит в неразрешимое противоречие с тем временным периодом, когда сформировалось мировоззрение Берга. Да, старые киты уходят, и это тревожный симптом. Но кто придет им на смену? Кто сможет карать зло и охранять добро так, как это умел делать тот же Берг всего десять лет тому назад? Увы, мы не можем сказать: «Назад, к прежнему Бергу!» Мы вынуждены сказать: «Г-н министр юстиции! Где новые кадры? Где те люди, кому предстоит править страной, выполняя волю нации?» Нет, «нацию» убери. Вместо «нации» поставь «народ». «Где молодая волна? Г-н министр юстиции, мы ни в чем не обвиняем вас, мы лишь задаем вам этот вопрос».

Краузе кончил записывать, задумчиво посмотрел на Кройцмана и сказал:

— Ты сейчас был великолепен, Юрген. Тебе следует поговорить со Шпрингером. Это будет удобно. Мы поедем к нему за город... Я это устрою...

2

Берг следил за тем, как Люс читал газеты. Когда режиссер отложил их, Берг сказал:

— Я не хотел беседовать с вами до той поры, пока вы не ознакомитесь с тем, что сейчас пишет пресса. Есть занятные новости. Вы отстали от событий, пока сидели в камере.

Он говорил негромко, очень весомо, словно вбивая гвозди. Он не боялся, что его сейчас запишут на пленку, потому что работал приемник.

Передавали концерт «поп-мьюзик».

— А теперь слушайте меня внимательно, Люс, потому что я буду продолжать с вами беседу, которую не смог закончить Ганс Дорнброк. Только сначала я вам немного порасскажу о нацизме — так, как я его воспринимаю. Ладно?

— Мне бы хотелось сначала съездить домой.

— Вы это сделаете позже, когда я покину этот кабинет.

— Неужели из-за шпрингеровских комментариев вы подадите в отставку?

— Именно. Если бы они хамили, как все остальные, я бы оскалился. Но эти ударили в поддых. Я лежу в больнице пять месяцев в году, а молодые прокуроры прозябают на второстепенных ролях, потому что старая перечница как-никак «звезда первой величины». Это написали умные люди, знающие меня... Хорошо написали, ничего не скажешь... Так вот, о нацизме. Как по-вашему, что это такое?

— Это злодейство. Это концлагеря, вера в гениальность идиота, душегубки в Аушвице,— устало и заученно ответил Люс.

— Нацизм — это не только концлагерь и душегубка в Аушвице,— возразил Берг.— Это страшнее. Значительно страшнее, ибо нацизм убивает не только коммунистов, славян, евреев, священников, гомосексуалистов и цыган. Нацизм убивает всех людей, подвластных ему. Гитлер уничтожил миллионы Бетховенов, два миллиона Гете и три миллиона Дюреров. Я расскажу вам, как они убили меня... Я тогда был адвокатом, я пытался защищать вместо того, чтобы обвинять. Я совершил с собой сделку, я сказал себе, что защита невиновных принесет больше пользы, чем попытка обвинения всеобщего, слепого, счастливого, фанатичного зла. В глубине души я чувствовал, что иду на сделку, но ведь человек... Словом, когда я должен был защищать в имперском народ-

ном суде одного красного... он был болен, он лежал в госпитале и давно отошел от борьбы, но его все равно вытащили в суд... Я написал защитную речь, лучшую в своей жизни, таких мне больше не написать... Председатель районного бюро адвокатов попросил меня зайти к нему и поинтересовался, зачем я взял на себя защиту врага нации. Я ответил, что не считаю моего подзащитного врагом нации и поэтому гражданский долг призывает меня встать на защиту справедливости. «Значит, вы не верите в справедливость фюрера и партии, противником которых он был?» Я должен был ответить, что я не верю в справедливость фюрера, но я не хотел садиться на скамью подсудимых вместе с моим подзащитным... Я промолчал. А председатель нашего бюро, он сейчас депутат парламента в Шлезвиг-Гольштейне, сказал мне: «Я не слышу вас, Берг. Вы не ответили на мой вопрос». Я сказал ему, что я верю в закон. «А чьими законами вы руководствуетесь? Законами фюрера и нации, которую ведет к победе партия национал-социалистов? Или вы руководствуетесь какими-то иными законами?» И я ответил: «Нет, конечно, я руководствуюсь законами нашего государства».— «В нашем государстве были веймарские законы. И кайзеровские! И буржуазно-еврейские! Так какими же законами вы руководствуетесь?» И я ответил: «Нашими. Именно это и предписывает мне стать на защиту невиновного».— «Ну что же... У нас никто не может запретить человеку поступать по законам совести. Я высказал вам свое мнение, Берг». И я выступил в суде, а прокурор и судья, посадив моего невиновного подзащитного, написали письмо в мое бюро... Там в зале сидел какой-то журналист... То ли русский, то ли французский, но из красных. И было общее собрание защитников, Люс, обратите на это внимание. Общее... И все эти защитники, в глубине души честные люди, проголосовали за то, чтобы лишить меня права работать в адвокатуре. Нет, меня не арестовали, что вы! Меня просто перевели на работу в архив. Архив городка Бад-Нойштадт... Большая деревня... А там снова устроили собрание, и жители потребовали, чтобы меня убрали от них, потому что я защищал красного... Словом, я написал письмо в мое бюро, в котором я признал свою вину. Я написал, что не до конца понимал величие нашего правосудия, которое, в отличие от других, никогда не пока-

рает невинного, ибо главный защитник немецкой нации — наш фюрер... Когда к нам пришли русские и американцы, и началась денацификация, и стали поначалу сажать в тюрьму наци, я отказался принимать участие в расследованиях. «Я сам был пассивным наблюдателем нацизма, значит, я был пособником. Найдите кого-нибудь другого». А американский капитан, из журналистов, сказал мне тогда хорошую фразу: «Нацизм — это шайка. А шайка живет по законам шайки: они уничтожают всех инакодействующих. Не приди мы, они бы передушили и инакодумающих. Назовите мне хотя бы одного человека из ваших, кто отвечал бы самым высоким требованиям. Назовите мне имена борцов... Отдайте долг ушедшим и незащищенным, Берг,— сказал он мне тогда,— обвините живущих убийц». Я вам рассказал типичное о фашизме, самое в нем страшное. Это было повсеместно: в науке, театре, в литературе... А Аушвиц и Дахау?.. Ну что же... Это хотя бы логично: уничтожали врагов, тех, кто был сильнее меня и честнее. Потом мы с вами поговорим о новом нацизме... Он очень интересен, он хочет — вы это верно отметили — быть в белых рубашках и пока даже без портретов фюрера. Но он хочет того же, чего хочет нацизм прежний: он хочет единомыслия нации, он мечтает о конформизме. Идет борьба, Люс, подспудная, беспощадная и кровавая... Когда Шпрингер погубит своего конкурента в «Шпигеле», а какое-нибудь правительство в связи с «чрезвычайным положением» запретит все радикальные газеты, и мы останемся один на один с официозом Шпрингера,— вот тогда вам будет поздно показывать зубы, Люс. Тогда вы будете обречены на гибель. А теперь перейдем к делу... Вы знаете, почему я вас арестовал?

— Факты были против меня?

— Э... какая глупость! Факты у меня есть и сейчас, даже против президента банка Абса, а он негласно формирует кабинет государства... Какая чушь!.. Я мог взять с вас залог и отпустить на все четыре стороны. Просто, пока вы ездили к вашей сучке,— он осклабился, и лицо его стало неузнаваемым, жестким и сухим,— простите, но иначе я о предателях-женщинах не говорю, за вами следили мои люди, но не потому, что я вам не верил, а для того, чтобы установить, кто еще за вами следит. И следят ли вообще. Если бы не следили, я бы еще долго

думал, кто вы такой, Люс... Я боюсь тех, кто шарахается — и в политике, и в искусстве... Это же все рядом — искусство и политика. Вы — взаимообогащающие сосуды: правители смотрят ваши фильмы, чтобы понять современного человека, ибо времени для непосредственного знакомства с народом у них нет, а вы, в свою очередь, придумываете себе их, правителей, и подсказываете этим, какими им следует быть... Словом, за вами следили люди из окружения Дорнброка. Конкретно — сотрудники бюро Айсмана. К нему тянутся нити... Вы представляли какую-то опасность для концерна. А с теми, кто представляет опасность, они разделываются, и их можно понять: у них огромное дело, им нельзя ошибаться. Ну а мне вы были нужны живым. Поэтому я вас и спрятал у себя на то время, пока я нащупывал их сексточки.

— Что?— не понял Люс.

Берг вдруг развеселился:

— Ну, это такие болевые места у контрагента... У кого щиколотка и пятка, у кого поддых, у кого лоб. Словом, вы мне были не нужны в качестве трупа, потому что я видел в комбинации много дыр,— это был как ловленый мизер в преферансе. И я многого добился, спрятав вас в тюрьме. Они вынуждены были снять с вас обстрел и вместо вас подставили какого-то мифического помощника. А мне удалось узнать, что Кочев, этот красный, сидел с Гансом в кабаке, и тот дал ему ваш телефон и просил позвонить с зональной границы — видимо, он понимал, что и за ним самим следили.. Почему же за ним стали следить, за сыном Дорнброка? Я покажу вам материалы, которые я получил из Гонконга, я все вам покажу, вот эта гора папок — для вас. А вы лишь мне сказали и никому больше не говорили и не скажете о том, что Ганс предлагал вам делать фильм о нации и о бомбе для председателя... Для какого председателя? И о какой бомбе шла речь? Вы понимаете, Люс, что вы оказались вроде меня при нацизме? Вы понимаете, что Кочев ни в какой не в ЮАР? Это чушь! Ему незачем бежать в ЮАР. Сколько их, таких, как он, живет у нас во Франкфурте самым спокойным образом! И здесь, в филиале «свободы», Кочева нет, Люс, и Дорнброк не покончил с собой, а был убит... Отравлен... Почему?

«Он хочет, чтобы я вошел в это дело,— понял Люс.— Он подтаскивает меня к тому, чтобы я предложил ему свои услуги. А что я могу сделать? Хотя, в общем-то, я могу кое-что сделать, но это обречет меня на нищету и голод, я понимаю, куда клонит старик. Интересно, он скажет об этом впрямую или будет толкать меня к решению, как поводырь слепца?»

— Почему вы не выступите с этим в прессе?— спросил Люс.

— С чем?

— С тем, о чем вы только что рассказали.

— Факты? Где тело Кочева? Кто его убил? Кому это было выгодно? Кто отравил Ганса Дорнброка? Только самые близкие люди, это понятно, но кто именно? Не мог же отец санкционировать это! Если я пойду к старшему Дорнброку, какие я ему выложу доказательства?

«А все-таки тюрьма калечит человека быстрее, чем можно было предположить,— подумал Люс.— Я дорого бы дал, чтобы найти в себе силы сказать старику «до свидания» и уйти домой. Почему я должен доделывать его дела? А я буду потеть, казнить себя, понимать, что берусь не за свое дело, но все равно не смогу подняться и уйти отсюда. А может быть, слава богу, что это так? Может быть, я перестану быть самим собой, если найду в себе силы уйти, сказав ему «до свидания»? У меня не хватит сил, чтобы уйти, но хватит ли у меня сил, чтобы потом держаться — после того, как я стану рядом с ним? Он старик, ему нечего терять...»

— А если это сделаю я?

— Что именно?

— Заявление для печати...

— Ерунда. Не рвите пушнину и не качайтесь на люстре... Вас сомнут. Художник должен молчать до тех пор, пока он не сделает свое дело. Важен его фильм. Книга. Холст. Разговор можно забыть, болтуна — скомпрометировать или убить, а фильм убить нельзя. Словом, беретесь за эту тему? Ваш фильм об этом? Или — ну их всех к черту!

«Все верно,— подумал Люс.— Он назвал то, о чем я догадывался с первой минуты. Молодец. Он очень верно думает. Он прав: умереть спокойно, в теплом клозете — заманчивая перспектива, но тогда, наверное, надо уйти на телевидение и делать воскресные программы для «семьи и дома». Тогда надо поставить на себе точку. Если уйти сейчас, тогда, значит, надо сказать себе правду: «Ты устал, Люс, ты сломан, и

не твое это дело идти в драку с наци, не твое...»

— Берусь,— сказал Люс.— Считаем, что я берусь за такой фильм.

— Имейте в виду: это смертельная игра. И в этой игре я могу вам оказать лишь одну помощь — сдохнуть за компанию, если перед этим не сыграю в ящик от язвы... Все время болит, сволочь этакая...

— Я сделаю это дело, Берг... Только мне надо сначала влезть в этот материал, я ничего не смогу, если у меня не будет под рукой материалов...

Берг посмотрел на него, сбросив по своей обычной манере очки на кончик носа.

— Ладно,— он открыл стол.— Вот вам фотокамера. Снимайте все. Пленка сверхчувствительная. Проявите сами и сами напечатайте. И положите в банк. В филиал швейцарского. А еще лучше — на время первой стадии работы исчезните. А потом положите в банк. И все. Это единственно надежная гарантия. Но еще раз: вы понимаете, что я втравливаю вас в смертельную игру?

— Вы втравливаете меня в хорошую и нужную игру. Если по ходу дела мне потребуется комментатор в кадре, вы согласитесь сняться?

— С моей-то желтой рожей?

— Вы похожи на Спенсера Тресси...

— Если подгримируете — сыграю, черт возьми. Кого угодно сыграю...

— Кого угодно не надо. Надо, чтобы вы сыграли Берга... Неплохая роль, скажу я вам, господин прокурор, право слово, это будет, пожалуй, самая интересная роль из всех, какие мне удавалось сделать.

— Теперь вот что...— протянул Берг,— поезжайте в библиотеку и заберите газеты с моего абонемента — я предупрежу, чтобы вам их отдали... Я смотрел газеты Сингапура, Гонконга, Тайбэя и Осаки...

Люс недоуменно посмотрел на Берга.

— Вы же сами мне говорили о том, что Ганс летал на Восток и вернулся оттуда другим... Дорнброк есть Дорнброк, хоть и сын... О нем должны были писать тамошние газеты. Словом, кое-что я нашел. Посмотрите и вы... Я дам вам адрес моего приятеля, он постоянно живет на Востоке, доктор Ваггер... Он поможет вам... Начинайте оттуда, Люс... Причем вам еще не поздно отказаться. Это я говорю вам в последний раз, и не потому, что сомнева-

юсь в вас... Просто мне очень жаль, когда убивают хороших людей, да к тому же еще и талантливых.

«ДОБРОЕ ИСКУССТВО КИНО...»

Из библиотеки после работы с материалами, которые были отложены для прокурора Бёрга, не заезжая домой, Люс отправился к своему продюсеру. «Я скажу Шварцману часть правды,— думал Люс, подкачивая бензин в карбюратор «мерседеса».— Но этой части будет достаточно, чтобы он дал мне денег на поездку. Шварцман — парень с головой, и нюх у него отменный. Он поймет то, что следует понять...»

Шварцман встретил Люса радостно, с открытой улыбкой и какой-то странной горделивостью за своего режиссера, ставшего в эти дни столь известным в боннской республике.

— Вы не представляете себе, Люс, как я рад за вас. Да разве я один? Фройляйн Габи, пожалуйста, соорудите кофе. Вы не хотите выпить, Люс?

— С удовольствием.

— Коньяк, пожалуйста, фройляйн Габи. Тогда, может, чего-нибудь перекусить? Старый осел, я не удосужился спросить вас об этом сразу...

— Почему «старый осел»? Вы думаете, что в тюрьмах по-прежнему голодают? Вполне сносная еда... Спасибо... Вы милый человек, Шварцман...

— Я рассчитывал, что вы приедете ко мне первому. Впрочем, куда вам сейчас еще ехать, если не ко мне?

— Да как вам сказать... В тюрьме показывают цветные сексуальные сны, а в нашем городе есть куда заглянуть по этому поводу. Слушайте, Шварцман, мне нужны деньги.

— Сколько?

— Тысяч тридцать — тридцать пять от силы.

— Эти деньги я смогу дать. Вам надо получить эти деньги сегодня?

— Нет проблемы, Шварцман. Можно подождать до завтра. Теперь дальше. Мне надо уехать.

— Вы хотите отоспаться? Я понимаю.

— Нет, я отоспался в тюрьме. Года на три вперед. Мне надо уехать по делу. На месяц, два...

— Это невозможно, Люс. У меня подписаны договоры с кинотеатрами. Вы должны закончить ваш фильм в ближайшие три недели...

— Вам выгодно, чтобы картина появилась как можно скорее, пока у всех в памяти наш скандал? Его забудут через несколько дней, уверяю вас, Шварцман. Пресса подкинет какие-нибудь сенсации про хиппи, и все бросятся на новенькое. Моим врагам выгодно, чтобы меня как можно скорее забыли...

— Я понимаю, Люс, я все понимаю, но с меня — именно поэтому — владельцы кинотеатров потребуют неустойку, если я не передам им ваш фильм к сроку...

— Какова сумма неустойки?

— Думаю, очень большая...

— Я отслужу неустойку, Шварцман. Дело в том, что в тюрьме я задумал новую ленту.

— Ну и прекрасно. Закончите эту и немедленно войдете в следующую... У меня просто-напросто нет средств, чтобы внести неустойку. Вы же знаете, что и под эту картину я получил ссуду в банке, а это было нелегкое дело — получить под вас деньги. Что за тема нового фильма?

— Об этом пока рано говорить.

— Фильм будет игровым?

— Не знаю. Пока не знаю. Скорее всего, сплав актерской игры с хроникой...

Шварцман поднялся, прошелся по кабинету, то и дело вытирая шею платком — он сильно потел, когда волновался.

— Если это связано с документалистикой, я попробую поговорить кое с кем на Кудаме[1]: они прокатывают оскопленную шведскую порнографию, ваша задумка может их заинтересовать.

— Спасибо,— сказал Люс.— Только это еще не точно — документалистика...

— Новый фильм будет автобиографичным, связанным с вашим делом?

— Как сказать...

— Сказать мне надо правду.

— Если я скажу «да»?

— Тогда я спрошу, кто будет играть роль вашей подруги. На это клюнут...

— Этого не будет. Не в этом смысл моего замысла.

— Тогда ваше предприятие никого не заинтересует. Если бы вы пошли на то, чтобы рассказать зрителям про

[1] Кудам (*сокр.*) — Курфюрстендам — улица в Западном Берлине, где сконцентрированы крупнейшие кинотеатры.

свой интимный мир, мне удалось бы что-нибудь придумать. Толпа любит подглядывать в замочную скважину.

— Как вы думаете, во что может вылиться неустойка? Приблизительно, весьма приблизительно?

— Тысяч двести. Не меньше.

— Но я же доделаю этот наш фильм!— сказал Люс.— Ну, скажем, через два месяца мы его сдадим... Это никак не повлияет на сумму неустойки?

— Об этом сейчас преждевременно говорить, Люс. Вероятно, в дальнейшем что-то мы сможем получить назад. Но об этом сейчас рано говорить.

— Я очень сожалею, милый,— сказал Люс, поднимаясь,— но мне придется вас огорчить... Если вы не сможете договориться о пролонгации картины, этой картины, или же что-нибудь придумать с новой, я вынужден буду уплатить вам неустойку ...

— У вас нет денег, Люс.

— Я, быть может, останусь голым, но я задумал эксперимент. К этому эксперименту рано или поздно приходит каждый художник, Шварцман...

— Что за эксперимент?— устало спросил продюсер, тоже поднимаясь.

— Чехов писал, что надо по капле выдавливать из себя раба. Вот этим я и решил заняться в тот месяц, под который просил у вас деньги.

От Шварцмана Люс поехал к владельцу радиозаводов Клементу фон Зеедле. Их познакомили месяцев пять назад, и Зеедле сказал тогда, что собирается вложить деньги в кинопроизводство. «Заезжайте,— предложил он тогда Люсу,— обменяемся соображениями. Я, естественно, не очень-то разделяю ваши политические концепции, однако искусство ваше впечатляет, и равнодушных я не видел — одни хотят линчевать вас, другие собирают деньги на прижизненный памятник. Заезжайте, быть может, договоримся о чем-то на будущее».

— Здравствуйте, рад вас видеть, Люс,— сказал Зеедле.— Я был огорчен, узнав о ваших неприятностях. Кофе? Коньяк?

— Спасибо. У меня к вам деловой разговор.

— Кофе не мешает делам... Кстати, неприятности кончились или остались хвосты?

— Все кончилось.

— Ну и слава богу... Я был убежден в этом...

Кабинет у Клемента фон Зеедле, в отличие от маленького бюро Шварцмана, был громадный, обставлен новой мебелью, но не той, которая рекламируется как «самая удобная и надежная», а особой, сделанной на заказ в Скандинавии, из светлого дерева; кресла обтянуты настоящими тигровыми и леопардовыми шкурами, на стенах не репродукция с Гогена, а настоящий Пикассо и Сальвадор Дали.

В отличие от Шварцмана, владелец радиозаводов не стал вызывать секретаршу, а сам заварил кофе и поставил перед Люсом чашку.

— У меня родилась идея, господин Зеедле. Идея нового фильма.

— Спасибо, что пришли ко мне. Польщен. Когда бы вы смогли начать работу?

— Сегодня.

— Прекрасно. Сколько это будет мне стоить?

— Первый взнос — двести тридцать тысяч.

— Это ерунда. Это не деньги. Каким будет второй взнос?

Люс почувствовал, как его тело, все это время напряженное (из-за этого ему было неудобно сидеть в машине, и у Шварцмана, и здесь), стало прежним, упругим и подвластным ему. Он откинулся на спинку стула и вытянул ноги.

— Я не совсем готов к ответу, но думаю, что мы уложимся в семьсот тысяч, от силы в миллион.

— Я советовался с моими друзьями... Они говорили мне, что прокат требует сейчас лишь широкоформатных цветных лент... Вы знаете об этом?

— Да.

— Простите, что я задал вам этот вопрос, но многие режиссеры считают, что целесообразнее выражать идею в черном цвете,— продолжал Зеедле.— Теперь последнее... Тема вашей новой работы?

— Я не умею рассказывать замысел. Что-то про банду. Пиф-паф, коварство, ум, ловкость, насилие, смерть...

— Но об этом уже много сделано,— удивился Зеедле.— Вы — и вдруг вестерн? Оставьте это безвкусным парнишкам из Голливуда. Давайте что-нибудь в духе Антониони, но так,— неожиданно засмеялся Зеедле,— чтобы при этом можно было коснуться проблем радиопромышленности в двадцатом веке.

— Так я не умею,— сказал Люс и почувствовал, как тело его снова стало деревенеть. Он поджал ноги и с трудом оторвался от спинки стула.

«Удобное,— подумал он,— прямо-таки всасывает. Самым страшным для него будет то время, когда придется расстаться с этой мебелью».

— Полно вам, Люс,— сказал Зеедле,— не надо хмуриться. Сделайте скидку на мою неопытность. Я никогда не имел дела с вашим братом. Только гангстеры? Не обворовываете ли вы себя этим? Люс — и вдруг гангстеры. Ну ладно, в конце концов вам виднее: я рискую деньгами, вы — своей репутацией. Проспект вы захватили?

— Что?— не понял Люс.— Какой проспект?

— На сухом языке моей профессии проспект означает подробное описание того предмета, который вы собираетесь предложить покупателю.

— Я не умею писать проспекты.

— Дорогой Люс, я не могу начинать дело, не имея перед собой предмета, ничего о нем не зная. Покупая автомобиль, вы садитесь за руль и пробуете, удобна ли вам новая модель. Почему вы хотите поставить меня в положение человека, вынужденного покупать кота в мешке? Хорошо, вы не умеете писать проспекты — с этим я могу согласиться, это тоже искусство своего рода. Но вы можете рассказать под диктофон или моему стенографисту о том, что будет происходить в вашем новом фильме? Глава банды — старик или юноша? Что они делают — марихуана, сексуальные анормальности, киднаппинг? Это ведь вы можете рассказать мне и моему стенографисту, не так ли?

«Врать ему?— подумал Люс.— Нельзя этого делать. У меня должны быть чистые руки. Потом это смогут обернуть против меня. Нет. Врать я не стану. Или — или».

— Господин Зеедле, я боюсь огорчить вас, но я действительно не умею рассказывать про свой будущий фильм...

— Милый Люс, я очень ценю Мецената и люблю читать про него, но сам я — хищник. Капиталистический хищник. Так, кажется, называют меня ваши единомышленники. Я вкладываю деньги в дело для того, чтобы получить прибыль. Причем на каждую вложенную марку я хочу получить восемь пфеннигов, всего лишь. Но я обязан получить их, в противном случае я окажусь бан-

кротом, а это нечестно по отношению к трем тысячам моих рабочих, согласитесь?..

Люс ехал домой медленно, выбирая самую длинную дорогу. Он понял, что и в библиотеке, и у Шварцмана, и здесь, в особняке Зеедле, он все время думал о том, как произойдет его встреча с Норой. Он боялся ее скандалов. Люс начинал ненавидеть ее, когда она устраивала сцены. Паоло советовал относиться к этому с юмором, но Люс отвечал ему: «Ты идиот! Ты прописываешь мне свои рецепты. У тебя туберкулез, а ты хочешь своими пилюлями лечить мою гонорею. Ты же знаешь мою матушку, ты помнишь, как она мордовала отца, Паоло! Во мне этот страх перед сценами заложен с детства! Если бы я не любил Нору — все было бы просто и ясно. А так... Какое-то пожизненное заключение в камере любви со строгим режимом, без права свиданий и переписки. Любовное Дахау».

Люс остановил машину около дома. В гараж заезжать он не стал.

«Если она встретит меня так, как я мечтал об этом в тюрьме, я спущусь вниз, загоню машину в гараж и плюну на все это дело Дорнброка, пока не закончу фильм для Шварцмана, а если будет очередная истерика — уеду немедленно. Как угодно — все равно уеду».

Он подошел к двери. В медном прорезе для писем торчал уголок красной международной телеграммы. Люс прочитал: «Я в Ганновере. Буду умна и великодушна. Нора».

Люс нажал кнопку звонка. Он еще ничего не понял. Он прочитал телеграмму еще раз. «Какой Ганновер?» Потом понял — ну конечно, в газетах наверняка напечатали про его встречи с женщиной в Ганновере...

Он отпер дверь: в доме было пусто.

«Браво, что за жена,— вздохнул Люс,— муж в тюрьме, жена на Киприани, но обещает быть великодушной в Ганновере. Идиот! Я всегда мечтал, чтобы она поняла меня. Дрянная эгоистка! Она и в скандалах всегда думала только о себе, о своих обидах, о том, что про нее скажут, если узнают, что я с какой-то бабой был в кабаке».

Люс поднялся в свой кабинет. Он открыл окна и лег на тахту. Кабинет у него был большой, а тахта стояла в маленькой нише, которую Люс называл закутком. Он с

детства мечтал о таком закутке. Их дом разбомбили в сорок втором, и он шесть лет жил в подвале вместе с матерью и больной теткой. Как он мечтал тогда о своем закутке, где можно читать и никого больше не слышать, а лишь просматривать на стене то, что сейчас прочитал, и слышать музыку, и придумывать свои счастливые и благополучные концовки вместо тех трагичных, которые доводили его до слез... Когда он купил этот дом, и Нора решила, что его кабинет будет наверху, он даже как-то не очень поверил в реальность этой большой комнаты и поначалу чувствовал себя здесь гостем. Лишь когда он поставил тахту в нишу и подвинул тумбочку, на которой всегда громоздилась гора книг, и таким образом отделился от громадного кабинета, обставленного симметрично и аккуратно, он уверовал в то, что все это реальность: и дом, и сад, и тишина, и большой кабинет...

«А ведь придется продать этот дом,— подумал Люс. Он подумал об этом спокойно, и его, признаться, удивило это спокойствие.— Нет иного выхода. Дети? Верно. Но что будет лучше для них: если отец окажется честным человеком при маленькой квартире в новом доме без подземного гаража и таинственного чердака, где можно упоительно играть в «разбойников», или же если их отец окажется обывателем, для которого ясеневые полы в этом коттедже дороже истины? Мы торопимся дать детям все то, чего не имели сами, но при этом потихоньку теряем самих себя. И приходится ради иллюзии устойчивого благополучия откладывать главный фильм на «потом», рассчитывая поначалу заложить крепкий фундамент материальной обеспеченности на тот случай, если «главный фильм» окажется ненужным этому времени. Подлость какая, а? Какому времени, где и когда «главный фильм», а точнее говоря, «главная мысль» была нужна? Лишь жертвенность может сделать эту «главную мысль» нужной времени и обществу. А если алтарь пуст и жертва не принесена — «главное дело» отомстит... Оно вырвется из рук, его забудешь после пьяной бессонной ночи, его упустишь в суматохе ненужных маленьких дел... И предашь себя — по мелочам, исподволь, незаметно... Сдаешь позиции ото дня ко дню, а позиции в творчестве — это не стратегическая высота на войне, которая переходит из рук в руки и которую можно снова взять с боем... Правда тоже имеет свои навыки, и

растерять их легко, а вновь наработать невозможно, как невозможно вернуть молодость... И это я все сказал себе,— вздохнул Люс, закуривая «ЛМ»,— лишь для того, чтобы принести «жертву» — продать этот дом, дать детям нормальную квартиру, в которых живут пятьдесят миллионов немцев, а самому взамен остаться художником, а не превратиться в поденщика от творчества... Дерьмо ты, Люс, самое обыкновенное дерьмо. Можно ведь сейчас позвонить Бергу и не устраивать этот духовный стриптиз, а попросту сказать, что я передумал, что в драку не полезу — расхотелось... Да и силенок не хватает...»

Он спустился вниз, на кухню, заглянул в холодильник, открыл жестяную банку пива, сделал несколько глотков.

«А честно ли,— продолжал думать Люс,— связывать мои проблемы с детьми? Может быть, я исподволь готовлю себя к отступлению, оправдываясь перед собой существованием моих ребят? Это здорово нечестно, Люс. Они есть, и слава богу, что они есть! Нет ли во мне желания спрятаться за детей, чтобы сохранить благополучие и спокойствие для себя? А, Люс? Как я тебя?! Ничего?»

Он быстро поднялся наверх, взял со стола телефон и, расхаживая по кабинету, набрал номер.

— Алло, это Люс, добрый вечер. Что, господин Паоло Фосс уже вернулся? Соедините меня с ним. Спасибо. Алло, добрый вечер, идиот. Ты мне нужен. Срочно. Не можешь? Когда?— Люс посмотрел на часы.— А транзит? Ты убежден? Хорошо, я вылечу. Встречай меня. Когда я буду в Ганновере? Через час? Ладно. Не смейся, кретин! Ну что ты смеешься?!

Через два с половиной часа Люс был в Ганновере.

— Видишь ли, миленький,— говорил Паоло, когда они ехали с аэродрома,— ты меня ставишь в диковатое положение. Ты ошалел, сказал бы я. Ты знаешь, мое дело — реклама изделий из пластмассы. Я не могу быть твоим анонимным продюсером. Если мои партнеры узнают, что я вложил дело в твой фильм, меня ждет крах. Уничтожат, даже косточек не оставят. Я могу одолжить тебе денег. Тысяч пятнадцать. Пожалуйста. Но двести тридцать тысяч! Ты странный человек, ты порой поражаешь меня. Надо же всегда точно знать, с какой просьбой можно обращаться к другу, а с какой нельзя. Добрый ты и хороший

человек, но иногда ведешь себя словно дешевая кокетка: «Милый, купи мне серебристую норку». Не говоря уже о том, что вся эта твоя затея кажется мне самоубийством.

— Почему?

— Ты что, сам не понимаешь, на кого замахиваешься? Если все обстоит так, как думает Берг, ты понимаешь, кто окажется твоим врагом?

Люс задумчиво спросил:

— Ты пластинки по-прежнему рекламируешь?

— Конечно.

— Помнишь, мы раньше проигрывали на патефоне большую пластинку с одной песней? Помнишь? А теперь на одной маленькой пластинке записывают пять песен. Все убыстрилось, Паоло, все сейчас убыстрилось. Зло убыстрилось, но и добро тоже должно стать быстрым, иначе снова начнется ночь, и уже не твоего отца, а наших детей сделают рабами в новых концлагерях.

— Тебя всегда заносило на длинные фразы с восклицательными знаками и многоточиями, Люс. Не надо.— Паоло припарковал машину возле маленького ресторанчика.— Пойдем съедим по айсбайну. Ты желтый, и под глазами синяки.

— Пойдем.

— Так вот, милый, раньше надо было думать. Обо всем надо думать заранее. Откуда ты знаешь, о чем я думаю, отказываясь войти в твое дело? Ты же знаешь, как я «люблю» нацистов — и новых и старых, однако я с ними работаю, и по субботам они собираются у меня за городом... Каждому свое, Люс. Я тоже думаю о будущем, но у меня — свои возможности, а у тебя — свои. Каждый человек живет своей задумкой, Люс. И я не имею права сейчас рисковать с тобой, потому что твой проигрыш будет означать гибель моей задумки... Извини меня за монолог, просто я рассвирипел, когда ты напомнил про отца...

— Что ты с ними сможешь сделать, с этими дорнброками, Паоло? Ты сам теперь стал крошечным дорнброком...

— Есть стратегия и тактика, Люс.

Люс поднял глаза на Паоло. Он долго смотрел на него, а потом улыбнулся.

— Знаешь,— сказал он,— я теперь никогда не буду называть тебя идиотом. Я тебя очень люблю, дурака моего...

— Зато я тебя ненавижу... Жри айсбайн, тут делают самый лучший айсбайн, видишь, на косточке, и жир белый.

— Ладно. Жру. Только скажи мне, что делать. Кто мне может помочь?

— Я заказал тебе билет на Париж. В двенадцать в отеле «Георг Пятый» тебя будет ждать Аллан Асон.

— Но он же работает на американцев и англичан. Он никогда не ставил на немцев... Его епархия — Франция, Штаты, Лондон...

— Он мой друг.

— С ним можно говорить в открытую?

— Как тебе сказать... нет, нет, я ему верю... Просто, когда ты говоришь в открытую, ты ставишь собеседника в трудное положение. Аллан живет в сфере бизнеса, у него свои сложности... Словом, Годара и Лелюша он выручал...

В Париже, в отеле «Георг Пятый» — от Триумфальной арки вниз по Елисейским полям, третья улица направо, поворот возле ресторана «Максим»,— было полно американцев. Они подчеркнуто старались казаться европейцами.

«Идиоты,— думал Люс,— вместо культуры они перенимают здешнюю буржуазность — жилет в тон к галстуку. Такие славные парни, а поди ж ты...»

Аллан Асон опоздал, потому что никак не мог припарковать «ситроен». Он сделал два круга, а потом бросил машину портье:

— Мишель, я ничего не могу поделать...

— Не тревожьтесь, мсье Асон... Я поставлю машину.

— Спасибо. Заприте заднюю дверь, у меня там свертоk...

— Да, мсье Асон...

Аллан Асон извинился перед Люсом за опоздание и добавил:

— Впрочем, вы кандальник, вам теперь положено ждать хозяина — отныне и навсегда. Или станьте, как Делон, продюсером. Он сделался невыносимым сейчас — такой гонор... А картины делают про треугольник, сплошной восемнадцатый век... Виски? Луи, виски, воды и орешков. Поужинаем в ресторане «Каспийская икра». Вам сейчас нужна калорийная пища.

Луи принес бутылку. Люс усмехнулся: на бутылке висела большая медная бляха: «Господин А. Асон».

Аллан заметил его улыбку:

— Ну и что,— сказал он,— не хихикайте. Это удобно. И я не виноват в том, что они вешают на грудь бутылки тяжелую медь — в конце концов, это бар Георга Пятого, а он из аристократов. Пейте и не иронизируйте, немец. Даже талантливые немцы вроде вас все равно филистеры.

— Даже такие талантливые французы, как вы,— ответил Люс,— падки на аристократизм Георга Пятого.

— Каждый умный ищет своего сюзерена... Сколько надо денег?

— Сначала четверть миллиона.

— Долларов?

— Марок.

— Тема картины?

— Наша банда. Финансисты, наци...

— Имена будут вымышленные?

— Нет. Подлинные. Иначе нет смысла все это начинать.

— Одно имя. Хотя бы одно... Слушайте, не поедайте меня глазами, все-таки я офицер Почетного легиона и доносить на вас не стану...

— Дорнброк...

— Дорнброк,— задумчиво произнес Аллан.— Дорнброк... Не выйдет, Люс. Объясняю: мой американский компаньон связан с Дорнброком. У них дела в Латинской Америке и в Африке. Я нарушу условия договора с компаньоном, если ударю Дорнброка. Дорнброк сильнее нас в миллион раз. Это — без преувеличения. У меня болтается в делах миллионов десять, наличностью — полтора. А у Дорнброка в наличности не менее миллиарда. Измените имя, место действия, и я вступлю в ваше дело. Я люблю ваше творчество.

— Если я изменю имя, нет смысла заваривать кашу.

— Понимаю. Но вы должны понять и меня, Люс. Дело есть дело.

— Я понимаю. Как вы мне можете помочь иначе?

— Всегда называйте кошку кошкой, Люс. Вам нужны деньги в долг под это предприятие? Если бы не Дорнброк, я бы дал вам денег. Но... Но!— он поднял палец.— Все знают, что вы человек безденежный. Откуда вы получили деньги на эту картину? Кто вас финансировал? И это обнаружится. Это не так трудно обнаружить. Дорнброк не простит мне этого. Я открываю вам карты, Люс. Не сердитесь на меня.

— Вы с ума сошли, Аллан... За что же мне сердиться на вас? Будьте счастливы, славный вы человек.

— Пошли ужинать. Девку хотите? В «Брумеле» великолепные девки. Есть немки.

— Я не могу. Спасибо.

— Ослабли после тюрьмы?

— Наоборот. Отдохнул. Просто... Ладно. Ура! Пьем! Спасибо, Аллан.

— Слушайте, я предлагаю компромисс. Пишите мне письмо. Официальное. Пришлите сценарий. О кошке и мышке. Девочке и бабушке. О космосе или подземелье. Я финансирую вас. Только возьмите на себя ложь. Потом я возбужу против вас дело и откажусь прокатывать ваш фильм во Франции. Прокатают другие, я договорюсь с Фернаном из Бельгии, он хорошо прокатывает немцев во Франции.

— Я думал об этом,— ответил Люс и снова выпил.— Нельзя. Мне нельзя подставляться. Понимаете? Потом будут восторгаться тем, как я обманул продюсера и какая баба лизала мне пятку... И вспомнят, что я начал фильм правды с маленькой лжи!— Он расстегнул мягкий воротничок, спустил галстук и потер заросшие щеки.— Это угробит все дело. Мне надо, чтобы люди смотрели чистый фильм. Понимаете?— Люс хрустнул пальцами и сделал еще один глоток.— Тут все очень сложно, Аллан. Надо идти в это дело с чистыми руками... Обязательно с чистыми руками...

— Мне очень хочется помочь вам, Люс.

— Я вижу. Спасибо. Я привез вам подарок, Аллан. Пусть принесут еще орешков — очень вкусно. Я думал, что я буду всегда это хранить как талисман.— Люс достал из кармана старую алюминиевую ложку.— Я украл ее в тюрьме. Держите. Хлебайте ею ваше дерьмо, бедный, славный Аллан.

— Спасибо. Я повешу эту тюремную ложку над моим рабочим бюро. Пошли. В ресторане нам уже заморозили водку в куске льда и поджарили черный хлеб. А с икрой ничего не делали, чтобы сохранить калории, которые так необходимы для вашего творчества и моего жульничества...

2

Самолет в Западный Берлин уходил утром. Люс побродил по Латинскому кварталу, зашел в подвальчик «Бомбардиры», где студенты горланили песни и пили ко-

фе, а потом поехал в Орли. Он снял номер в отеле при аэропорте. Спать не хотелось. Он лег на жесткую кровать, не включая света, и долго лежал, прислушиваясь к тому, как ревели турбины самолетов: грозно — те, которые улетали, и жалостливо — только что приземлившиеся, уставшие в полете. Он долго лежал расслабившись и ни о чем не думал... Потом достал из кармана телефонную книжку, включил свет и открыл страничку с буковй «а». Люс просмотрел все имена и фамилии, отметил машинально, что всего записано двадцать два номера («Плохо, что не двадцать один»), удивленно пожал плечами и открыл страничку на букву «м». Телефон и адрес Хосе Мария Альберто Трокада был записан именно здесь — его имя навсегда сомкнулось для Люса с Мадридом.

Испанский банкир, он имел несколько пакетов акций в обувной промышленности и большую фабрику детских колясок.

«Мои коллеги,— говорил он Люсу, когда они познакомились в Сан-Себастьяне во время кинофестиваля,— вкладывают сейчас деньги в электронику и приборостроение. Это глупо! Испания уже не сможет догнать ни Италию, ни Россию, ни Францию по уровню промышленной мощи. Испанцы — страшные модники. Клянусь честью, я имею право говорить так, потому что я рожден испанским грандом. У нас самый последний нищий отказывает себе в еде, чтобы купить красивые туфли. И если у испанца есть возможность жениться — будьте уверены, он народит кучу нищенят: аборты запрещены. У нас,— Альберто вздохнул,— цензура на рождаемость, кино и литературу. Так что тот, кто вкладывает деньги в приборостроение, тот ставит на битую лошадь. Коляски — дальновиднее. И кинематограф. Я бы с радостью вложил деньги в кинематограф. Причем ставил бы я не на нашего режиссера. У нас есть два великих художника, но оба они красные. Я бы с удовольствием поставил на иностранца. На вас. Испанским режиссерам чудовищно трудно работать: голую женщину в кадре вырежет церковная цензура, а слово о бардаке в стране вырежет цензура государственная, будь они неладны!»

«Цензура — ваше порождение,— сказал тогда Люс.— Она вас защищает, вами оплачивается, вам служит».

«Милый друг,— поморщился Хосе Мария,— другие времена, другие нравы. В новом веке надо уметь по-новому работать. Цензура у нас сейчас служит самой себе.

Это парадоксально, но это истина...»

Люс попросил телефонную станцию отеля соединить его с Мадридом.

— Мсье, Мадрид работает на автоматике,— ответила телефонистка.— Наберите цифру «одиннадцать», дождитесь музыкального сигнала, наберите цифру «пять» и затем ваш мадридский номер.

Люс поблагодарил ее и набрал номер телефона Хосе Мария.

— Алло,— сказал Люс,— это Мадрид? Я прошу сеньора Трокаду.

— Что?

— Вы говорите по-немецки?

— Что?— повторила служанка по-испански.

— А по-французски? Парле ву франсе?

— Немного.

— Где сеньор Трокада?

— Его нет дом...

— Где? Где он?

— Отель «Кастеляна Хилтон». Бар, ресторан...

— А телефон? Какой там телефон?

— Что?

— Я спрашиваю: какой там телефон?

— Моменто... Пасеа де ля Кастеляна... Моменто... 257-22-00.— У служанки был нежный, чуть заспанный голос.

— Мучас грасиас,— сказал Люс.

В Мадриде сейчас было три часа утра — в это время служанки просыпаются, а в ресторанах и барах только-только начинается настоящая жизнь.

Люс соединился с «Кастеляна Хилтон» и попросил найти в баре или ресторане сеньора Трокаду.

— Яволь, майн герр,— ответили ему на другом конце провода с истинным берлинским придыханием.

— Вы немец?— поинтересовался Люс.

— Яволь, майн герр! Карл Йозеф Кубман, майн герр.

Через несколько минут Карл Йозеф Кубман пророкотал в трубку:

— Сеньор Трокада час тому назад уехал со своими друзьями в ресторан «Ля лангуста Американа», на Рикардо Леон, телефон 247-02-00.

— Благодарю вас,— сказал Люс и сразу же озлился на себя: «Идиот, зачем благодарить наци?! Наверняка он на-

ци, который удрал туда в сорок пятом. Проклятая немецкая привычка».

Трокада действительно сидел с друзьями в «Ля лангуста Американа».

— Где вы, милый Люс?!— закричал в трубку Трокада, и казалось, что он сейчас сидит в соседнем номере парижского отеля «Эр Франс».— Немедленно подъезжайте сюда!

— Это трудно, дорогой Хосе Мария, я в Париже.

— Ну и что? Прилетайте. Мы славно попьем ваше любимое «тинто». А?

— Спасибо, старина, думаю, мы это сделаем в следующий раз, может быть, завтра. Если столкуемся сейчас.

— Я вас понял. Считайте, что столковались. Я — «за».

— Мне нужно для начала тысяч семьдесят. Долларов.

— Это возможно. Каким будет второй взнос?

— Еще тысяч сто.

— Считайте, что заметано. Прилетайте завтра, обговорим детали. Клянусь честью, мы с вами сделаем ленту века! Одно условие — только не современность! И без всяких социальных трагедий: здесь это никого не интересует. Вы понимаете? Шекспир, Бальзак, Барроха. И войны тоже не надо — у нас свое отношение к прошлой войне. Я, естественно, не разделяю этого отношения к прошлой войне, но надо смотреть на вещи трезво. Классика, мой дорогой друг, все что угодно из классики!

— Классика меня сейчас не интересует!

— Езус Мария, не мне вас учить! Соблюдайте пропорцию форм, и пусть ваши герои говорят о злодеях императорах и о коррупции в сенате Рима! Пусть ваши герои ругают кого угодно, только б они ходили в шкурах или бархатных камзолах!

— Мне не хотелось бы врать. Тем более, что речь в моей новой ленте пойдет не о вас, а о Германии.

— Здесь это не пустят. Наше правительство любит канцлера Кизингера! Я догадываюсь, как и что вы хотите снимать о Германии,— наше министерство иностранных дел будет возражать, уверяю вас! Словом, мне трудно объясняться по телефону. Прилетайте, я постараюсь вас убедить...

— Спасибо,— вздохнул Люс.— Я, быть может, перезвоню вам... Салют!

— Хайль Гитлер! — засмеялся Хосе Мария.— Жду звонка.

«Ему трудно говорить по телефону,— вздохнул Люс,— бедный добрый буржуа. Ему и вправду трудно: у них все, как в Германии сорок четвертого года. А он привык ездить в Париж, где болтают, не оглядываясь на полицию...»

Люс сел на подоконник. Он тоскливо ждал рассвета, а потом спустился вниз, уплатил в «ресепсьон» за номер и телефонные разговоры и пошел к мертвенно освещенной громадине самого красивого европейского аэропорта: там хоть можно быть среди людей, выпить в баре и заодно решить, каким образом завтра же, не позднее середины дня, оформить продажу дома. Или заклад под вексель. А «мерседес», который заводится с пол-оборота, продать надо будет рано утром. А вечером вылетать в Гонконг. Молодец прокурор! Он подобрал такие материалы в библиотеке, по которым можно составить точный маршрут.

Дети? Что ж... Дети. Пусть у детей будут честные отцы — это важней, чем количество комнат в квартире, право слово.

Он взял в баре виски, отошел от стойки, сел в уголке и, повернувшись к стене, уперся взглядом в свой взгляд: стена была зеркальная. Люс оглянулся — в баре было пусто. Он набрал в рот виски и пустил тоненькую струйку в свое изображение на зеркале, и его лицо в зеркале потекло, сделавшись смешным и жалким.

Он поднялся и пошел в «информасьон» — выяснять, сколько стоит билет до Гонконга через Сингапур, Тайбэй, Токио и Кантон.

ЗАБОТЫ ПОЖИЛЫХ МУЖЧИН

1

Берг неторопливо просматривал утренние газеты. Спешить ему теперь было некуда, поэтому газеты он листал лениво и внимательно.

> «Прокурор Берг попросил отставку, ссылаясь на резко ухудшившееся состояние здоровья. По сведениям, полученным из осведомленных источников, министр поручил статс-секретарю министерства доктору Кройцману немедленно вылететь в Западный Берлин для проведения консультации с врачами. Министр выразил озабо-

ченность в связи с состоянием здоровья прокурора Берга. Предполагают, что в случае, если врачи будут настаивать на госпитализации Берга, его дела, носящие чрезвычайный характер, временно примет Кройцман, один из наиболее талантливых учеников Берга». *(«Ди вельт».)*

«В «Байерн-курир» появилась заметка, в которой уход Берга в отставку трактуется как «признание прокурором собственного бессилия». Подобного рода комментарий может рассматриваться лишь как полная некомпетентность или злостное сведение счетов с одним из самых уважаемых юристов Федеративной Республики. Берг не щадил сил, отдавая всего себя созданию нашего демократического законодательства. Писать так о человеке, состояние здоровья которого считается далеко не нормальным, не в духе нашей прессы. Комментарий баварской прессы прозвучал резким диссонансом в серии откликов на это событие, с которыми выступили ведущие газеты. Мы, со своей стороны, можем лишь выразить прокурору Бергу глубокую признательность за все то, что он сделал для нашего правосудия». *(Г.Краузе. «Гамбургер рундшау».)*

«Демократическая перепалка в нашей «демократической» прессе лишний раз свидетельствует о том духе «изящной» коррупированности, который царит в ФРГ. Надо смотреть правде в глаза: Берг уже давно неугоден ХДС/ХСС, с тех пор, как он привлек в 1964 году к ответственности семь высших офицеров бундесвера за злодеяния, совершенные ими в России и Франции во время войны, когда эта семерка носила не зеленые, а черные мундиры. Берга вынудили уйти в отставку. Нам лишь остается сожалеть, что прокурор не проявил гражданского мужества и не продолжил борьбу». *(Г.Кроне. «Телеграф».)*

Берг сунул газеты в карман халата и пошел в ванную комнату. Каждое утро он подолгу растирал тело жестким полотенцем и считал, что это спасло его от склероза, по-

скольку кровообращение получало допинг — не фармакологический, а естественный. «Лоси тоже трутся в лесу об деревья,— думал Берг,— а надо во всем брать пример с животных. Черчилль правильно делал, что спал после обеда: все звери спят после обеда. Жирный? Ну и что? Лучше помереть жирным стариком, чем стройным молодым мужчиной».

Он залез в ванну, положил на столик рядом с собой пачку газет и подумал: «Сначала я немножечко отмокну, поблаженствую, а потом посмотрю остальной мусор... Только б не уснуть... Кто-то мне говорил, что можно, уснув в ванной в сосновом экстракте, проснуться у врат дома господня... А раскладывают они свои козыри разумно... Мои любимые ученики Краузе и Кройцман делают хорошую мину при плохой игре... Но им не откажешь в изяществе... Обидней всех ударили мои социал-демократы из «Телеграфа». Обиднее, потому что больней. А больней, оттого что они правы. Но они правы абстрактно, потому что они в оппозиции и никогда не были втянуты в круговерть государственного аппарата. Когда чиновнику говорят, что он устарел, это значит, что ему показывают на дверь. А цепляться за пост — это значит показаться смешным, честолюбивым и корыстным. Это бы они обыграли в своих газетах в следующем туре, а человек, который смешон, никого уже не сможет победить... Краузе, конечно, сыграл со мной свою самую талантливую партию. Вообще, люди Шпрингера — умные люди. Победив, они не топчут, а протягивают руку помощи. Таким, как я, конечно, кто смог чего-то достичь в этом дерьмовом обществе... Бедных длинноволосых они бы поставили к стенке не задумываясь. А с длинноволосыми ларчик открывается просто: перепроизводство интеллектуалов... Некуда идти работать тем, кто, кончив университет, считает себя Гегелем или Бисмарком. Только на баррикады... Не в школу же на нищенский оклад в четыреста марок. Ларчик просто открывается... Ларчик? А, это я про жену Люса. Он будет биться насмерть, потому что любит детей и боится за них, а с ней у него плохо. Будь у него все хорошо, он бы не лез ни в какую драку, а держался за ее юбку».

Берг взял следующую газету, просмотрел, нет ли там комментария о его отставке; заглянул в раздел спортивной хроники: он следил за тяжелоатлетами, штангисты

были его страстью; потом открыл раздел судебной хроники и полицейских новостей и сразу же натолкнулся на заметку, набранную петитом:

«Наш постоянный корреспондент при главном полицейском управлении Таубен передает, что позавчера из Гамбурга вернулась фрау Шмидт, проживающая на Генекштрассе, 7. Она обнаружила в своей квартире, где отсутствовала с 19 августа, странную картину: было разбито окно и разбит экран телевизора. Фрау Шмидт вызвала домовладельца, который, в свою очередь, немедленно пригласил представителей страховой компании. Эксперт определил, что ТВ марки «Филлипс-209« (380 марок) разбит пулей, поскольку он извлек ее из телевизора. По требованию эксперта Ангемайна были вызваны представители криминальной полиции. Полицейская экспертиза установила, что пуля была выпущена из пистолета «Пельман МБ-6» калибра 9,3. Однако установить, как она попала в телевизор, разбив окно и срикошетив о металлическую держалку люстры, полиции установить не удалось».

Берг пожал плечами и отложил газету... «Идиотизм. Но интересно. Пусть занимаются этим мои молодые преемники. А я буду блаженствовать в сосновой ванне. И читать сообщения о победах моих тяжеловесов. Лишь в этом есть закон и гарантия,— продолжал думать Берг,— только в спорте, и отнюдь не во всем, а лишь в тяжелой атлетике. Весы точны, их не обманешь: вес штанги должен быть соотнесен с абсолютным весом спортсмена. В футболе можно дать лишнюю секунду, которая окажется решающей, или не заметить игру рукой на вратарской площадке. В боксе царит случай: победителю в первых двух раундах случайно во время третьего раунда разбивают бровь, и его снимают с поединка. Что это? Случай? Нет. Это обычное, откровенное издевательство над законом, ибо законы стареют, как и эпохи. А никто не внес коррективу в этот старый закон с тех пор, когда шли бои профессионалов и озверелые зрители требовали от боксера лишь победы или гибели: ведь Рим породил гладиаторов, но сейчас об этом говорят как о вандализме».

Прокурор взял с полочки еще один тюбик соснового экстракта и вылил его в ванну.

— Бог, прости меня,— хмуро пробурчал Берг,— но все же химия стала сильнее тебя. Ты властвуешь над случаем,

а химия над бытом. Разве ты мог бы перенести меня за мгновение в сосновый лес? А химия дала мне, твоему слабому слуге, сделать это одним движением руки...

«Не одним,— поправил себя Берг,— а тремя движениями. Сначала я поднял руку, потом взял тюбик, а после вылил содержимое в ванну... Ага, старая перечница, правильно тебя прогоняют — ты же забыл о четвертом движении, ибо если не я вернул тюбик на место, то кто же? И лишь если это не моя рука, я могу отвергнуть пятое движение, но ведь это — моя рука, и я опустил ее в ванну. И протянул вдоль тела. Это уже, кстати шестое движение. Кройцман, ты умница, надо гнать взашей того юриста, который лишен дара фиксировать место, лицо, движение, сумму, цвет и запах...»

Берг снова развернул газету. «Симпозиум юристов». Он даже не стал читать, о чем там говорилось. «Если это демократические юристы, они наверняка примут резолюцию по поводу Вьетнама и шовинизма Израиля, а если «свободные», то пошлют телеграмму в Москву о разгуле антисемитизма и потребуют вывода русских ракет из Ханоя...— подумал он.— Какой закон может быть в этом мире беззакония? Пока есть интересы Дорнброка, он будет требовать такой закон, который охранял бы его интересы. А охрана интересов одних всегда предполагает ущемление интересов других. Можно написать самый точный свод законов, но ведь закон приводят к жизни люди, а люди не могут быть свободны от общества, в котором живут. Мы кичимся своими демократическими законами. Да, в суд может обратиться человек с иском к федеральному канцлеру. Пожалуйста. Мы примем его иск. А дальше? Или, пожалуйста, давайте будем обвинять убийц Ганса Дорнброка! «Прошу вас, прокурор Берг, взять на себя это дело!» А вместо убийцы мне подставляют жертву. А когда я отделяю злаки от плевел и продолжаю искать преступника, меня загоняют в угол — демократично, свободно, с уважением к моей личности... С кем я решил бороться? С кем ты решил схлестнуться, Берг?! Тебе-то, казалось бы, стыдно заглатывать наживку из тех слов, которые составляют строчки нашей «самой демократической конституции». Лично мне беззаконие сейчас нравится больше закона: за то, что я отступил, министр назначит мне законно высокую пенсию — об этом, видимо, Кройцман уже позаботился... Бедный Люс... Прости меня... Все-таки я

всегда был предателем. От этого нельзя излечиться, как от тупости».

Вдруг Берг рывком поднялся из ванной и, не вытеревшись полотенцем, побежал в кабинет к телефону. Он еще раз заглянул в отдел полицейской хроники и набрал номер дежурного по полиции.

— Это прокурор Берг... Скажите, в каком районе находится Генекштрассе, семь?

— На востоке,— ответил дежурный,— возле зональной границы...

— Это неподалеку от Чек Пойнт Чарли?

— Совершенно верно.

Берг позвонил к Гельтоффу.

— Доброе утро, майор.

— Доброе утро, господин прокурор,— ответил Гельтофф и посмотрел на часы: пять минут назад к нему звонил Штирлиц и назначил встречу.

— Я хочу сейчас приехать к вам по одному занятному делу.

— Я жду вас, господин прокурор, через два, а еще лучше через два с половиной часа...

— Хорошо. А пока я попрошу вас, поручите кому-нибудь из ваших помощников сопроводить меня в одно место. С экспертами.

— А вы... Разве вы не в ...

— В общем-то да, я в отставке, но я еще не сдал дела... Тут у меня возникла одна идея... Я ее осуществлю и сдам дела, я ведь еще не получил официального ответа на мою просьбу об отставке...

2

— Холтофф, здравствуй,— сказал Штирлиц,— извини, что я так внезапно тебя вызвал. Мне срочно нужны материалы в связи с этим делом,— и он положил перед Холтоффом газету, в которой была напечатана заметка о пуле, разбившей телевизор в пустой квартире фрау Шмидт.— Ты ничего не знаешь об этом?

— Ничего,— ответил Холтофф, внимательно прочитав заметку.— Ровным счетом ничего. Почему тебя это интересует? И вообще, Кочев уже в Африке, так что давай соблюдать джентльменский уговор... Ты обещал мне...

— Я помню свои обещания. Мне нужно, чтобы через два часа все данные об этой заметке были у меня. По-

шли туда экспертов, опытных экспертов, опроси жильцов, которые слышали выстрел, осмотрите все вокруг.

– Через два часа у меня будет прокурор Берг. Он только что звонил и просил дать ему экспертов и наряд полиции...

– Что?!

– Почему ты так удивился?

– Но ведь он в отставке...

– Во-первых, официально его отставка еще не принята, а во-вторых, он сказал мне, что у него возникла какая-то идея.

– Хорошо. Здесь же. Вечером. В семь. Устроит?

– Ладно. Но это – последнее, о чем ты меня просишь, Штирлиц...

Слежку за собой Максим Максимович обнаружил сразу же, как только сел в такси.

– Сначала Шарлоттенбург,– попросил он шофера,– потом поезжайте через Вильмерсдорферштрассе мимо клуба «007», а потом к Чек Пойнт Чарли. И не торопитесь, пожалуйста. Я хочу отдохнуть в машине. Будем считать эту поездку прогулкой.

Он так составил маршрут, что, не называя Генекштрассе, вынуждал шофера проехать именно по этой улице. «Все-таки я хорошо помню Берлин,– с какой-то неожиданной для себя хвастливостью подумал Исаев.– Если они спросят шофера, тот ответит, что о Генекштрассе я и не заикался. Правда, эта поездка непредвиденная, и это ударит меня по карману. Слава богу, издатель уплатил немного денег за книгу. Если бы не этот нечаянный гонорар, мне бы не хватило денег на то, чтобы угостить Холтоффа коньяком перед его беседой с Ленцем».

На Генекштрассе он увидел три полицейские машины и Берга, который ползал по асфальту, разглядывая в лупу металлический люк канализации...

«Так. Все точно. Ай да старик Берг, который «отстал от жизни»! Ай да молодец! А от слежки я уйду. За рулем этой машины, что на хвосте, молодой парень. От этого я уйду. Все-таки старость – не так уж плохо. Проходные дворы Берлина я знаю лучше этих мальчиков, и я от них уйду, но не повели бы они теперь Холтоффа. А кто именно? Неужели Холтофф признался Айсману? Если меня водит контрразведка – это ерунда. Я – частное лицо, я не интересуюсь

здешними секретами и не предпринимаю никаких противозаконных шагов. Так что эти пусть смотрят, не жалко... Я опасен только для старых наци... Вот если включился Айсман — это хуже. А с другой стороны, может быть, это и к лучшему. Надо бы запомнить номер машины... Хотя, наверно, это «ренткар», взятый по чужому паспорту».

— Значит, утром двадцать второго вы подметали тротуар и возле окон фрау Шмидт увидели битое стекло, собрали его в совок и высыпали в мусорный ящик?— снова спросил дворника Берг.

— Да.

— А почему вы так определенно утверждаете, что это было двадцать второго?

— Потому что двадцать первого была свадьба у моей дочери, и молодежь разбила три фужера... Сейчас молодежь неповоротливая, они как слоны... Я еще подумал, что они, может, что-нибудь пили тут, на улице, когда ушли, а потом били бокалы, и поэтому не обратил внимания на дырку в окне фрау Шмидт.

— Напишите, пожалуйста, свои показания. Это можно сделать в нашей машине.— Берг обернулся к полицейскому.— Проверили, как мы записали этот разговор на диктофоне? Все хорошо?

— Да, все в порядке, я слушаю одновременно запись через наушник.

— Ну-ка дайте послушать мне тоже. Так.. Спасибо. Эту кассету я беру с собой. Что там у экспертов по баллистике?

— Они сейчас придут. Что-то меряют еще раз...

— Позовите одного из них поскорей,— раздраженно сказал Берг,— нельзя быть такими копушами.

Когда прибежал запыхавшийся эксперт, Берг спросил:

— Рикошет?

— Да.

— У вас все подтвердилось?

Эксперт ответил:

— Мы нашли след от пули и высчитали точный угол.

— Жарьте немедленно в лабораторию. У меня к вам один лишь вопрос: нет ли на пуле следов металла, который применяется в автомобилестроении? Непонятно? Ну, нет ли на пуле следов от металла, из которого, например, штампуют дверцы машины?

«На пуле образца 67-В калибра 9,3 обнаружены следы металла, который идентичен металлу, применяемому фирмой «Мерседес» при производстве машин марки М-2200».

(Из заключения эксперта.)

Берг отдал приказ не выпускать из Западного Берлина ни одной машины марки «мерседес» без предварительного полицейского осмотра. Этот приказ он отдал Гельтоффу. Ему же он отдал приказ немедленно и негласно начать проверку всех машин, которые приходили в автосервисы после двадцать второго, скорее всего утром: ремонт простой и быстрый — автогенная подварка рваного отверстия одной из дверей автомобиля, вероятно правой задней...

3

Бауэр, выслушав Айсмана, поднялся с маленького деревянного стула. «Как у рейхсфюрера,— успел подумать Айсман.— Тот тоже не терпел роскоши». Какое-то мгновение он стоял неподвижно, а потом сказал:

— Ну что же... Поздравляю... Поздравляю, Айсман.

— Тот случай, который никто не мог предусмотреть...

— Предусмотреть этого вы не могли. Но следовало хотя бы наутро поехать туда, где проводилась операция, и тщательно осмотреть все вокруг. Но иногда провал оборачивается победой. Так вот сейчас именно тот случай, когда мы имеем шанс обернуть ваш провал в нашу победу. Большую победу... Очень большую. Вы даже не понимаете, в какую громадную победу мы это все можем обернуть. Слушайте меня внимательно и действовать начинайте сразу же, потому что теперь времени у нас в обрез. Штирлиц все еще в поле вашего зрения?

— Он ушел,— хмуро ответил Айсман.— Штирлиц есть Штирлиц.

— Неважно. Он скоро появится. Сегодня или завтра он придет к Гельтоффу. Он не наш человек. У вас в разведке он был агентом иностранного государства. Какого — не берусь судить! Склонен предполагать, что не западного. Если бы американцы интересовались Кочевым, они пошли бы по официальным каналам Гелена. Впрочем, я допускаю, что они могли пойти и в обход Гелена: им нужны свои источники у нас, поскольку мы активнее

всех ведем торговлю с Востоком, а это их беспокоит, и они не во всем могут полагаться на Гелена — будущее Европы зависит не от них теперь, а от нас. Я отвлекся, но это так, для заметки на полях. Мне неважно, кто такой Штирлиц — русский или американец. Он не наш. Он связан с Гельтоффом, и тот, видимо, отслуживает ему долги за старые грехи. Он сглупил, изменив фамилию и уйдя от денацификации, на этом его легко взять... Это вы недодумали... Так вот, сейчас вы прикажете Гельтоффу подвести Штирлица к прокурору Бергу. Гельтофф должен свести Штирлица с Бергом — как, я не знаю, придумайте сами, заставьте подумать Гельтоффа. И следите за Бергом. Не спускайте с него глаз с утра до вечера. Мне надо, чтобы, как только Штирлиц переступит порог кабинета Берга, я узнал об этом. Машины с людьми БНД[1] будут рядом. Мы накрываем иностранного агента у прокурора. Это конец Бергу и выигрыш всего дела.— На мгновение Бауэр, расхаживавший по кабинету, остановился.— Подкиньте Гельтоффу вот какую идею: «Ты скомпрометирован, ты на грани гибели — в общественном, разумеется, смысле. Ты упадешь так, что тебе уже не подняться. Погубить тебя может Штирлиц. Если он заставил тебя служить, значит, у него есть на тебя компрометирующие материалы. А если мы скомпрометируем Штирлица как иностранного агента, а Берга как человека, пошедшего на контакт с ним, то всем дальнейшим показаниям Штирлица грош цена: кто поверит шпиону?» Более того, мы запросим правительство ЮАР о выдаче нашим властям Кочева, но ЮАР ответит нам, что такового у них нет, хотя заявление от него поступило. Следовательно, он фиктивная фигура, этот Кочев, и, таким образом, заговор иностранной разведки провалился. Заговор против статуса Западного Берлина, против нашего суверенитета. Почему заговор? Да потому, что никакого Кочева вообще не было. Была провокация против Люса и Ленца. А Кочев сидит себе в Софии! И поднимите срочно все, что у вас есть по старым материалам на Штирлица, пусть просчитают на наших ЭВМ, кому была выгодна его работа.

Айсман задумчиво сказал:

— Вы сам дьявол... Уж если я и крикну снова «хайль», то это будет «хайль Бауэр». Я обещаю вам сделать все, что в моих силах.

[1] БНД — боннская политическая разведка.

— Нет уж, «хайль Бауэр» вы, ради бога, не кричите. Лучше четко выполняйте то, что я задумываю. Я всегда вам говорил, что нацизм мне омерзителен.

4

— Дорогой Холтофф, у меня очень мало времени...

— У меня тоже в обрез, я весь в полнейшем разгоне, Айсман.

— Ну спасибо, что ты тем не менее заехал... Ты потом куда?

— В полицию. Берг не дает мне покоя с этими такси.

— А когда ты успеешь заехать на встречу со Штирлицем?

Холтофф откинулся на спинку кресла, как от удара. Рядом с Айсманом сидели два связника: Курт и Вальтер.

— Ты ему выложил о нас все? — так же спокойно и негромко продолжал Айсман.

— Я не понимаю... О чем ты?

— Не глупи. Часть ваших разговоров мы записали, а про то, что мы записать не смогли, ты скажешь сам. Ты знаешь, как мы умеем работать. Ты настоящий немецкий отец и дед и должен понимать, что если будешь молчать, то твоя семья сегодня же, а вернее, сейчас же будет вырезана...— Айсман закурил и повторил яростно:— Вырезана! Ну? Ты ему выложил все?

— Да,— ответил Холтофф.

— На чем он тебя взял?

— На прошлом... На Рунге. На Мюллере.

— Ладно. К этому мы потом вернемся, Холтофф, ты нам нужен на том посту, где сейчас стоишь. На твоем пути одна преграда — Штирлиц... Ты нам нужен на этом посту, несмотря на твое предательство, и ты останешься на этом посту, ибо так надо для дела. А остаться ты можешь, если сведешь Берга со Штирлицем.

— Как?

— Подумай. По нашим сведениям, Штирлиц не является гражданином ФРГ... Понимаешь?

— Я перестал вообще понимать что-либо,— тихо ответил Холтофф.— Лучше мне уйти, тогда хоть семья сохранится... Не будет позора...

— Поясняю: представь, что полиция берет агента иностранной державы у Берга... Понял? Кто поверит показаниям шпиона? Нация не поверит изменнику, если

даже он немец, а уж иностранцу — тем более. Пусть он тогда говорит про тебя все что угодно. Шпиону веры нет.

— У тебя есть что-нибудь от сердца?

— Выпей холодной воды. Ты понял? Я играю с тобой в открытую, я говорю тебе то, чего не имел права говорить... Ты оступился, но ты был моим другом, и ты мой товарищ по партии...

— Я понял,— сказал Холтофф и неожиданно для себя заплакал.— Я понял, что я осел, я должен был сразу прийти к тебе... Я не поверил в друзей. Я раньше верил только одному человеку, а потом я перестал верить всем на этой земле... Я осел, и мне нет прощения...

Дождавшись, пока Холтофф успокоится, Айсман продолжал:

— Разговор со Штирлицем построй примерно таким образом... Скажи ему, что все нити по делу Кочева находятся у меня в руках. Скажи ему — не бойся валить на меня,— что я знаю все. Пожалуйся ему, что я требую невозможного — затягивать экспертизу с автомобилями. Попроси, чтобы он срочно пошел к Бергу и открыл те карты, которые ты ему передаешь. Вот пакет — тут много компрометирующих документов на твоего бедного Айсмана... Ты понял? Бей в лоб правдой. Не лги. Ты знаешь Штирлица: на мякине его не проведешь... Скажи ему, что, если он устранит меня с помощью Берга, тогда ты выведешь его на человека, который ехал в «мерседесе» и стрелял через дверцу...

5

— Прости, я опоздал, Штирлиц...

— Я уж начал волноваться... Здравствуй, Холтофф.

— Меня вызывал Айсман.

— Что случилось?

— Он подставляет меня под удар, сволочь этакая... Он требует, чтобы я сначала затянул дело с проверкой «мерседесов», а потом опротестовал данные моей же экспертизы... У тебя нет чего-нибудь от сердца?

— Выпей коньяку, я же говрил тебе...

— Нет, сейчас мне совсем плохо...

— На... Положи под язык. Это нитроглицерин.

— Спасибо. Он сразу расстаял, это ничего?

— Так и должно быть...

— Что делать с Айсманом?

— Сложный вопрос. Ты что предлагаешь?

Холтофф достал из кармана пакет и передал его Штирлицу:

— Спрячь это. Тут кое-что на Айсмана. Здесь достаточно материалов, чтобы утопить его. Не надо здесь смотреть! Зачем ты здесь смотришь?

Штирлиц удивился:

— А вдруг ты суешь мне какой-нибудь государственный «топ-секрет»? Меня возьмут с ним и посадят на десять лет, и ты будешь счастлив, разве нет?

Холтофф похолодел. Он смотрел Штирлицу в глаза, окруженные мелкой сеткой морщин, которые казались под стеклами очков особенно глубокими.

— Покажись врачу,— посоветовал Максим Максимович.— Не играй с сердцем, старина, с ним шутки плохи...

И углубился в изучение материалов Айсмана. Он долго рассматривал фотографии, на которых тот был запечатлен расстреливающим женщин в Освенциме; было там несколько фотокопий постановлений на ликвидацию узников с санкцией Айсмана; было показание старухи еврейки про то, как Айсман лично убил ее двух малолетних внучек...

— Да...— сказал наконец Исаев.— Материал страшный.— Он протянул конверт Холтоффу:— Возьми. Зачем ты даешь это мне? Почему бы тебе самому не распорядиться? Прокуратура совсем рядом с твоим домом, да и времена иные...

— Это должно исходить от другого человека.

— А почему этим «другим человеком» должен быть я?

— Потому, что к Айсману тянутся нити от красного... А им ты занимаешься... А Берг, получив эти материалы, прижмет Айсмана и посадит его, а из-за решетки он мне не страшен, он там будет молчать...

— А может быть, послать эти материалы в газету?

— Кто их пошлет?

— Аноним...— ответил Исаев и задумчиво посмотрел на Холтоффа.— Аноним...

— Аноним есть аноним, Штирлиц... Ты же знаешь нашу печать...

— А если отправить это в Бонн?

— Там это смогут прикрыть. Берг этого прикрывать не станет.

— Разумно,— произнес Исаев очень медленно, чуть не по слогам.— У тебя есть телефон Берга?

Холтофф отхлебнул глоток воды со льдом из высокого стакана и ответил устало:

— Конечно. Какой тебе? Домашний или рабочий?

— Рабочий, естественно. Я же буду делать официальное заявление...

— 88-67-76. Запиши.

— Не надо. Я пока еще умею запоминать. 88-67-76. Сейчас я вернусь, погоди минуту.

— Куда ты?

— Я позвоню и запишусь к нему на прием. Прямо с утра. Я приду к нему завтра первым и поговорю до того, как начнется обычная нервотрепка...

— Не надо первым,— быстро сказал Холтофф.— Я у него завтра буду с экспертами в девять. Не надо нам сталкиваться там, бога ради...

— Ты к нему надолго?

— На час-полтора...

— Хорошо. Сейчас. Я позвоню именно отсюда, тут безопасно...

Исаев отошел к телефону, который стоял на столике у входа, и набрал номер. Холтофф напряженно прислушивался к разговору Штирлица с секретарем Берга. Когда тот вернулся на место, Холтофф сказал:

— Я буду завтра ждать тебя здесь же. В три. Успеешь к этому времени?

— Да. Я думаю, да. Теперь последнее: откуда ко мне попал этот пакет? Допустим, он меня спрашивает. Что я отвечаю? Твоя версия?

— Получи гарантию у Берга, что Айсман будет посажен, и пусть он тогда приводит меня к присяге.

— Все в порядке,— доложил Айсман Бауэру,— он ушел к Ульбрихту, а завтра в десять будет у Берга с материалами. С прекрасными материалами, компрометирующими фашистского головореза Айсмана...

— Ну что ж,— ответил Бауэр,— в добрый час. Поздравляю с удачей. Значит, завтра в десять пятнадцать они будут скомпрометированы, а мы подведем черту под этим делом, достаточно всем нам поднадоевшим...

6

«Уважаемый Максим М.Исаев!

Я отвечаю на ваши вопросы в той же последовательности, в какой Вы их поставили...

1. Действительно, в 1945-1946 годах я был руководителем отдела декартелизации. Мне вменялась в обязанность борьба против преступного германского промышленного бизнеса, виновного в том, что Гитлер пришел к власти, а также в том, что он развязал войну. Вы спрашиваете: в связи с чем я оставил свой пост? Я не оставлял своего поста. Я был уволен.

2. Летом 1946 года я был приглашен к министру Келли и его помощнику м-ру Д.Ф.Лорду, которые просили меня не привлекать к ответственности Айсмана, поскольку он, по их словам, «был завербован и работал над выявлением особо опасных нацистских преступников». Я отказался подчиниться этой «просьбе». Уже тогда, по моим сведениям, г-н Айсман начал выполнять определенные задания картеля Дорнброка, который, правда, действовал нелегально, прикрываясь фиктивными директорами, игравшими в независимость и антинацизм. Несколько раз аппарат генерала Макклея предлагал мне «выпустить» пар» и не «давить на бедных немцев, которые лишь выполняли свой долг». Я не считал себя вправе идти на сделку с совестью. Я продолжал расследования, арестовывал пособников нацистов, которые начали прятаться за ловко придуманную личину «людей, не имевших возможности сопротивляться диктату аппарата партии».

3. Я не просто подвергался давлению со стороны лиц, связанных с немецкими монополистическими картелями. Я был ошельмован ФБР вкупе с людьми из комиссии Маккарти и обвинен в «коммунистической подрывной деятельности». Вздорность этого обвинения была очевидна. Однако мне потребовалось два года для того, чтобы опровергнуть это обвинение. Естественно, как только это обвинение было предъявлено, мои руководители отстранили меня от работы по декартелизации, а вслед за этим я был уволен из армии.

Я готов предоставить в распоряжение прокурора Берга все те документы, которыми я располагаю и поныне.

С наилучшими пожеланиями
Аверелл У.Мартенс, адвокат.

P.S. Естественно, что письмо обязано быть приобщено к делу, которое ведет прокурор Берг».

7

Берг проснулся и сразу же посмотрел на часы. Было четыре часа утра. В дверь кто-то настойчиво звонил.

«Если бы меня хотели убрать — но это верх глупости,— сонно подумал он,— тогда они завалят всю свою мафию,— они бы навестили меня через черный ход, там нетрудно подобрать ключи...»

Он поднялся, накинул халат и пошел к двери. Посмотрел в глазок: прямо против двери стоял высокий седой человек в очках. Он неторопливо попыхивал трубкой и периодически нажимал на кнопку звонка.

— Кто? — спросил Берг.— Кто там?

— Кочев был моим аспирантом. Днем я к вам прийти не могу — за мной и за вами следят... Если вы не хотите пустить меня, я положу вам в ящик пакет, возьмите его. Там, где написано «фальшивка»...

Берг открыл дверь и сказал:

— Проходите.

— Спасибо.

— Представьтесь, пожалуйста...

— Исаев Максим Максимович... К этому имени я больше всего привык.

— Русский?

— Я советский гражданин...

— Вы пришли ко мне как частное лицо или как представитель государства?

— Я готов выступить в обоих этих качествах... Я както не приучен разделять эти понятия.

— Вы меня интересуете лишь как частное лицо... Если вы представитель государства, извольте обратиться ко мне официально...

— Хорошо. Уговорились. Я — частное лицо...

— Значит, вы готовы дать свидетельские показания?

— Бесспорно.

— Почему вы пришли ко мне в это странное время?

— Потому, что, приди я к вам завтра в прокуратуру, я был бы арестован у вас. А поскольку вы бы рассматривали документы, которые я вам сейчас принес, вы были бы скомпрометированы связью с красным... Айсман через Гельтоффа вручил мне эти фальшивки — их можно опровергнуть в пять минут... А вот это опровергнуть нельзя — это записка Кочева, которую он оставил для меня в отеле за три дня до своего исчезновения.

— Вы говорите, как настоящий немец...

— Я долго жил в Германии.

Берг помолчал, рассматривая ночного посетителя, а потом спросил:

— Что вы делали здесь?

— Я работал у Шелленберга... Вместе с Гельтоффом и Айсманом.

Заметив, как сузились глаза Берга, Исаев протянул ему паспорт и портмоне.

— Здесь награды, полученные мною от Франции, Югославии, Польши, Норвегии.

— Вы понимаете, естественно, что наш с вами разговор сейчас невозможен? — спросил Берг, возвращая Исаеву его документы.— Если кто-либо узнает о вашем странном визите, сомнут не меня — я этого не боюсь,— сомнут то дело, которое я веду.

— О моем визите не узнают. Я сделал так, чтобы меня ждали у вас завтра утром в прокуратуре. Я звонил вашему секретарю... как Штирлиц... Если вы сейчас откажетесь выслушать меня, вы лишитесь ряда материалов, которые вам будут необходимы. Мне казалось, что вы не относитесь к нам как к прокаженным и не считаете каждого приехавшего из Москвы агентом разведки. В конце концов, вам мешают те же самые люди, которые являются и нашими противниками..

— Ну, это я слышал, господин Исаев... Это пропаганда, не имеющая отношения к правосудию.

— А то, что я дал Павлу Кочеву тему для диссертации «Концерн Дорнброка», это имеет отношение к правосудию? Или сие тоже пропаганда?

Берг пожевал губами, несколько раз тяжело поднял глаза на Исаева, ответил наконец:

– Чем вы это докажете?

– Я продиктую вам день, месяц и год, когда это было записано в решении нашего ученого совета. Я назову вам серию статей, опубликованных Кочевым в Болгарии, Советском Союзе и ГДР.

– Пришлите мне эти данные по почте, господин Исаев.

– Но я пришел к вам не с этим. Я пришел к вам с конкретным планом действий.

– Благодарю вас, у меня есть свой план действий.

– Я не навязываю вам свои предложения. Я считаю нужным рассказать вам то, что мне известно.

– Вы не можете судить, господин Исаев, о том, какими данными я располагаю. Об этом могу судить только я. Один.

– Послушайте, господин Берг. Меня никто не уполномочивал заниматься делом Кочева, поверьте мне... Убежден, что его делом занимаются иные люди, которые не стали бы приходить ночью в дом прокурора... Неужели предубеждение, простительное мещанину, помешает вам выслушать меня? Постарайтесь понять: я с самого начала не верил в бегство Кочева. С самого начала. Я достаточно хорошо знаю этого парня.

– Каким образом вы очутились в Западном Берлине?

– Я здесь по приглашению Института социологии.

Берг внезапно вспомнил показания профессора Пфейфера: когда тот рассказывал о беседе с исчезнувшим красным, он назвал фамилию русского ученого, руководившего научной работой Кочева. Все фигуранты по этому делу были выписаны у Берга, а листочки хранились дома, в сейфе.

– Ваша фамилия Исаев?

– Да.

– Присядьте, пожалуйста, здесь. Сейчас я вернусь.

«Он думает меня попугать,– понял Исаев.– Решит, что я убегу, потому что подумаю, будто он звонит в полицию. А между прочим, если он позвонит в полицию, придется бежать. Как хромой кляче. Иначе делать нечего. Он сломает мне весь план. Пока все шло так, как хотел я... Пока я все делал верно. Я верно рассчитал, уехав днем в Берлин... Мои «друзья»– и Холтофф и Айсман – не могут смотреть за мной в столице, они сильны только здесь, в западных секторах. Я пришел сюда чистым, они не жда-

ли меня ночью. Зачем им было меня ждать? Они убеждены, что я заглотал наживу Холтоффа, я это сыграл достаточно убедительно... Очень будет обидно, если Берг позвонит в полицию. Это будет — прямо скажем — полный скандал... Неужели он слепой дурак? Неужели жизнь их так ничему и не научила?»

Через несколько минут Берг распахнул дверь кабинета.

— Войдите,— сказал он.— Я не звонил в полицию и не играл на ваших нервах. Я проверял вашу фамилию по моему досье. Ну, допустим, я вам верю. Допустим, вы действительно...

Исаев перебил его:

— Стоп! Давайте уйдем отсюда. Вам вполне могли всадить аппаратуру. И это никому не нужно, если наш разговор запишут. Пойдемте в ту комнату, где нет телефона! Там будет спокойнее...

8

В шесть часов утра Берг приехал к генералу Шорнбаху. Горничной, открывшей дверь, он сказал:

— Не будите госпожу, но попросите срочно выйти ко мне генерала...

— Я не знаю... Так рано... Он спросит, кто вы, мой господин?

— Вы ему скажете — старый друг. Очень старый друг. Он выйдет.

Берг в свое время требовал для генерала пожизненного заключения; генералу дали семь лет, но освободился он спустя два года с помощью людей из концерна «Хехст», который стал преемником декартелизованного «И.Г.Фарбен». Потом «Хехст», связанный с военной промышленностью, выдвинул Шорнбаха в военную разведку: необходимо было знать армейскую конъюнктуру. Сейчас Шорнбах — вот уже пять лет,— сидел «под крышей» политической разведки в западноберлинском «бундесхаузе», и его интересы, соединявшие армию и «Хехст», входили в конкретное противоречие с интересами Дорнброка — чем дальше, тем сильней и заметней.

Кандидатуру Шорнбаха и подсказал Бергу Максим Максимович.

— Бейте в открытую,— сказал он на прощание.— Если НАТО — это Вашингтон и Бонн в первую голову — захо-

чет отладить контакты с Пекином, он не позволит это сделать частному лицу, даже Дорнброку. Они это будут делать сами, на государственном уровне. Словом, «Хехст» будет против Дорнброка — в это и цельте. Шорнбах клюнет: он получает деньги не столько за погоны, сколько за то, что служит «Хехсту».

Шорнбах, заспанный, в халате и пижаме, увидав Берга, замер на пороге:

— Вы?!

— У меня к вам дело. Оно не имеет никакого отношения к прошлому.

— Что вам надо, Берг? Вы достаточно мучили меня двадцать лет назад... С чем вы пришли сейчас?

— Я хочу, чтобы вы помогли стране, генералом которой вы являетесь. Я хочу, чтобы вы помогли нам в борьбе с бандой. Нужно, чтобы вот на этом документе, написанном мною, вы поставили визу: «Срочно, дело государственной важности, принять к исполнению». Читайте. Я бы не стал вас просить ни о чем противозаконном. Читайте внимательно, и вы поймете, что в этом деле вы получите свой выигрыш.

Шорнбах прочитал листок бумаги с машинописным текстом и автоматически подчеркнул красным карандашом, который он машинально попросил у Берга, все пять пунктов: «установить наблюдение по линии МАД за домом майора Гельтоффа; найти человека, который был владельцем «мерседеса» с простреленной дверью, установить его имя; выяснить, куда этот человек будет уходить из города, а он будет уходить сегодня или завтра; организовать наблюдение за Айсманом».

— Какую выгоду от этого мероприятия получит моя организация?— спросил Шорнбах.

— Вы поможете разоблачить банду, которая в своих узкокорыстных интересах срывает все попытки здравомыслящих политиков дать Европе мир и спокойствие.

— Я бы хотел побольше конкретики...

— Вы получите конкретику, когда начнете передавать мне сводки наружного наблюдения за бандитами и данные электронного прослушивания их бесед. Работу надо начинать сегодня же. С утра. Вот здесь — мотивировка вашего согласия,— он протянул ему второй листок бумаги,— это мое к вам личное письмо, но оно тоже носит сугубо секретный характер...

— Почему вы пришли с этим в МАД?

— Да потому, что в здешней полиции есть люди Айсмана. Потому, что в ФСА есть люди Бауэра и Дорнброка. А ваша служба, как мне известно, ориентируется на другие силы...

— Допустим... Но почему вы пришли с этим именно ко мне?

— Потому, что любой другой начал бы думать перед тем, как согласиться, а вам я времени на размышление не оставляю.

— Я был солдатом, прокурор, и я умел смотреть в глаза пулям, потому что я не был членом НСДАП и я не был в СС, хотя — в этом вы были правы — я давал приказы взрывать мосты, и дороги, и города при отступлении; этим я спасал Германии жизнь ее солдат. Поэтому я всегда имею право на размышление — даете вы мне на это время или нет, не суть важно. Я был солдатом, это верно, солдатом в чине майора, но я не был палачом, прокурор, и не шантажируйте меня.

— У меня мало времени на дискуссии о том, где лежит грань между понятиями «выполнение приказа» и «преступление». Сейчас вы охраняете наши военные интересы, и я хочу, чтобы вы выполнили свой долг.

Шонбах взял листок бумаги и, чуть откинув голову,— очки он оставил в спальне — дважды прочитал второе письмо Берга.

— А где показания о переговорах Дорнброка с китайцами?

— Вы должны очень не любить меня, и я понимаю эту, мягко говоря, нелюбовь. Но у вас нет оснований подозревать меня в непорядочности. Если я говорю вам, что эти показания у меня будут, значит, я говорю правду. И если я говорю, что это — показания, то, значит, это — показания, и если я говорю вам, что этот свидетель заслуживает доверия, верьте мне, я имею все основания говорить так. Эти показания станут уликами после того, как вы поможете мне...

— Но если вы пришли ко мне, то, значит, кроме этих общих теоретических выкладок,— Шорнбах положил руку на письмо Берга,— бесспорно интересных, должны быть хоть какие-то гарантии для того, чтобы я вступил в дело. А гарантии — это имена...

Берг пожевал губами и ответил:

— Я не могу пойти на это. Я не вправе распоряжаться чужой жизнью. Я вправе распоряжаться своей жизнью, и поэтому я принес вам показания фрау Шорнбах, которые я выкрал из дела... За это я могу быть предан суду... И я отдаю это вам... Вот, пожалуйста.

Берг положил листки из дела на стол. Шорнбах даже не стал их просматривать. Он лишь презрительно усмехнулся и закурил.

— Это о ее связи с Люсом? Я знаю об этом. И мой руководитель тоже... Так что не делайте противозаконных действий, прокурор Берг, не надо. Возьмите эти бумаги и приобщите их к делу. И считайте, что я вам отомстил хоть в малости. Если я и совершал нечто противозаконное, то лишь в интересах дела, которому я служил... Хотите закурить?

— Я не курю...— Берг медленно поднялся. Плечи его были опущены, руки безжизненно обвисли...— Я ошибся в вас, Шорнбах, и я даже рад этой ошибке... Такое порой встречается в следственной практике прокуратуры, но, увы, не часто...

— Вы думаете, я раскаялся в том, что служил прошлому? Ошибаетесь. Просто нами правил маньяк и несостоявшийся талант. А это очень страшно, когда страной правит несостоявшийся талант... Лозунг «Германия превыше всего» он замарал кровью. А Германия должна быть превыше всего для каждого немца, только подтверждать это надо не концлагерями, а нормально отправляемой юриспруденцией... Если все, что вы пишете, правда, отчего вы не соберете пресс-конференцию? Отчего не вызовете к себе на допросы всех тех, кого вы подозреваете в измене и преступлении?

— Потому что бессмысленно вызывать в демократический суд фашистов. Я напомню вам Геббельса: «Они впускают нас в свой парламент, но мы не скрываем своих конечных целей — разгон этого парламента буржуазных демократов и еврейских банкиров. У нас свои цели!» Я очень хорошо помню эту фразу, Шорнбах... Они убьют, откупятся, убегут, отравят, скомпрометируют... А если они победят и на этот раз, они снова прикажут вам взрывать, но теперь уже не мосты, а страны; и если мир все же останется твердью, населенной людьми, вам уже не отделаться семью годами... Вас разорвут на кусочки, Шорнбах. Право слово, лучше вам быть гене-

ралом в дни устойчивого мира, чем фельдмаршалом в часы войны...

Шорнбах закурил новую сигарету и сказал:

— Пожалуйста, присядьте, прокурор Берг. Как и всякий военный, я тугодум, поэтому мне надо помозговать, прежде чем я дам вам ответ: войду я сегодня к моему руководителю с поддержкой вашего предложения или, наоборот, верну его вам сейчас же...

Шорнбах рассуждал неторопливо, тяжело, и эта тяжесть мысли мешала ему, и он сознавал, как это ему мешает, но он понимал, что переделать себя не сможет, и поэтому приучал себя никогда не торопиться в раздумьях.

«Если Дорнброк действительно ведет свою самостоятельную атомную игру, то это рискованная игра большого замысла. Мы считали это невозможным. Мы помним статьи об этом, мы считали эти статьи инспирированными. Мы сделали иную ставку: мы верим, что придет время, когда Пентагон сам попросит нас взять атомное оружие. Ломать союз с Америкой для нас сейчас равнозначно самоубийству: в случае конфликта русские танки через два часа войдут в Бонн. Дорнброк связан с НДП — тут Берг прав, а НДП — это экстремизм, а всякий экстремизм чреват неожиданностью. В общем-то, Берг не пришел бы ко мне с пустыми руками. Он боится идти в полицию, там много наци. Мы — армия, мы были растоптаны в Нюрнберге, но в конце концов история простит германскую армию... А Дорнброк, если он действительно ведет свою автономную партию и мы его схватим на этом, пойдет на те условия, которые продиктуем ему мы».

— Я попробую поддержать ваше предложение,— сказал наконец Шорнбах.

Берг так и не сел. Он по-прежнему стоял, бессильно опустив худые длинные руки.

— Благодарю. Но ваша поддержка будет иметь смысл лишь в том случае, если вы сегодня же включитесь в дело.

— Окончательное решение принадлежит шефу. Если все будет хорошо, я позвоню вам. И скажу, что все в порядке. Это значит, что вы станете получать информацию: копии со второго экземпляра,— уточнил Шорнбах.— И пожалуйста, подготовьте более развернутую мотивировку

вашего обращения именно в МАД. Формально вы были обязаны обратиться в БНД или ФСА, не так ли?

Шорнбах поднялся, зажег спичку, подпалил листки с показаниями своей жены, так и не прочитав их, и бросил в камин.

— Вот так,— сказал он,— и считайте, что мы квиты взаимными унижениями...

К своему руководителю Шорнбах не поехал: он лгал Бергу, когда говорил, что только решение шефа определит его позицию в этом деле.

Сразу после того, как Берг ушел, генерал, тщательно побрившись и смазав волосы «гамбургской водой», отправился к личному представителю председателя наблюдательного совета концерна «Хехст».

Представляя в армии интересы концерна, Шорнбах понимал, что решение конечно же предстоит принять не его руководителю, а тем силам, которые определяют экономическое могущество государства. Он, впрочем, допускал мысль, что, возможно, Дорнброк уже вошел в контакт с «Хехстом» и тогда придется отрабатывать назад и начинать игру против Берга; но такой допуск был незначительным — Шорнбах знал о противоречиях между Дорнброком и «Хехстом». Он понимал также, что после разговора в «Хехсте» — хочет он того или нет — придется идти на контакт с американцами, которые тесно координируют свою работу с бундесвером. Во всех случаях он отдавал себе отчет в том, что игра, предложенная Бергом,— это серьезная игра, как бы неожиданно она ни развивалась.

Запросив Бонн по телетайпу кодированным текстом, представитель «Хехста» получил быстрый ответ: «Попросите Шорнбаха проконсультировать этот вопрос с его старыми друзьями. Наш ответ вы получите через час».

Встретившись на конспиративной квартире с представителем ЦРУ, Шорнбах изложил суть дела, не показав ему при этом меморандум Берга.

Американец спросил:

— Вы думаете, что фракции ХДС так уж ничего не известно об игре Дорнброка с Китаем? Тем более, вы утверждаете, что он расторговывает не только ваши чертежи, идеи, ракеты, топливо, но и наш общий уран?

— Дорнброк — сильный человек... Штраус периодически ездит к нему за консультацией...

— Но и мы не очень слабые люди, мистер Шорнбах, и могу вам сказать мое личное мнение: мне такая игра сейчас не нравится.

— Вы опасаетесь, что Китай сможет...

— Я ничего не опасаюсь,— снова перебил его американец,— мне нечего опасаться... Вы наш старый друг, вы должны понимать, что когда наступит время начать игру с Китаем, то делать это придется нам, а не Дорнброку. Впрочем, я дам вам ответ завтра, часам к семи. Хорошо?

Об этом разговоре Шорнбах сразу же проинформировал личного представителя правления «Хехста». Тот немедленно связался с Бонном.

— Если уж и предстоит начинать игру с Пекином, то не Дорнброку и тем более не Уолл-стриту, а нам,— сказал председатель наблюдательного совета концерна.— Видите, коллеги,— обернулся он к помощникам,— как хорошо иметь верных людей в армии, поддерживающих деловые контакты с американцами. Посмотрим, что ответит Вашингтон; я думаю, они в обычной своей бюрократической манере запоздают с ответом или — что более вероятно — решат сами перехватить инициативу. Поэтому я думаю, нам следует попросить Шорнбаха немедленно принять предложение Берга. Я считал бы целесообразным, не откладывая, послать кого-то в Пекин и проинформировать их министерство внешней торговли об опытах, которые мы ведем в лабораториях по химической и бактериологической борьбе...— он чуть поиграл бровью,— с паразитами в сельском хозяйстве.

ДОРНБРОКИ — ОТЕЦ, СЫН И ДЕЛО

1

Когда Дорнброк впервые после освобождения из тюрьмы прилетел в Нью-Йорк, на аэродроме его встречал Дигон. Их окружила громадная толпа репортеров.

— Мистер Дигон, чем вызван визит Дорнброка в Штаты?— спросил парень из радиокорпорации Си-би-эс.

Дигон знал, что его люди из отдела прессы подготовили этот первый вопрос; были, правда, и другие вопросы, но он ответил на этот, нужный ему:

— Жизнь учит нас умению чувствовать смену исторических периодов. Нельзя строить современный мир на

дрожжах мести и злобы. Нас объединяет с Германией общее и главное — вера в свободу человека, в его неотъемлемое право на демократию, предпринимательство, на гарантированное чувство собственного достоинства. Годы — как учитель; нас объединяет будущее, и оно сильнее трагического прошлого.

Дорнброк стоял на солнцепеке, чуть надвинув на лоб кепи, и думал: «Поразителен прагматизм этих американцев. Они живут лишь собой и все самые высокие идеи мира подчиняют интересам дела. Наш дух, мятежный, сумасбродный, надменный,— как бы его ни определяли — всегда выдвигал на первое место идею и ей подчинял все дела, ибо дела личностны, а идея общезначима. Говори, милый, о том, что нас сближает, говори. Все равно придет время — я стану топтать тебя в камере; только ты будешь визжать и молить о пощаде... Теперь ты влез в мое дело и наивно думаешь, что контролируешь меня и я без тебя шагу не ступлю... Нет! Теперь ты без меня не сделаешь шага, а пока говори — ты красиво говоришь, без бумаги, как истинный оратор...»

— Мистер Дорнброк, какие вопросы вы намерены обсуждать с мистером Дигоном?

— У нас много вопросов, которые следует обсудить,— ответил Дорнброк и сразу же двинулся на толпу репортеров, а трое людей из его охраны ринулись вперед, расталкивая журналистов профессиональными приемами: точно так же действовала охрана Гитлера, когда он «встречался с народом» во время демонстраций на нюрнбергских партийных съездах.

— Ваши руководители,— говорил Дорнброк, когда они прилетели с Барри Дигоном на его остров и остались одни на пустынном белопесчаном берегу океана,— своими руками отдали Китай красным. У меня есть кое-какие связи на Востоке, и если мы начнем первыми работать в этом направлении, то через десять-двадцать лет мы сможем диктовать условия этому сумасшедшему миру.

— Восток — понятие необъятное...

— Я имею в виду Китай,— сказал Дорнброк.

— Сейчас два Китая...— улыбнулся Дигон.

— Черт возьми, я не захватил плавок...

— Ерунда... Здесь можно купаться голым. Эти пять километров побережья — мои... Китай — это интересно, но у нас эмбарго на торговлю с Пекином.

— А кто сказал, что мы собираемся торговать с Пекином? Мы будем торговать с Китаем... Мы уже говорили, что есть два Китая...

— Что интересует наших контрагентов?

— Трубы. Генераторы. Турбины. Если вы вложите в это дело деньги, то, я думаю, прибыль будет идти в максимальном размере: на доллар — семь центов. Два — мне, пять — вам.

— Турбины, генераторы, трубы... Это электричество, Фриц, а где начинается мощное электричество, там появляется атомная бомба...

— Ну и что?— удивился Дорнброк и вошел в воду.— Когда нищие хотят иметь свою бомбу, они погибают: государственное тщеславие еще никого не приводило к победе.

— В достаточной ли мере вы учли фанатизм Востока?

— Я с этого начинал свои умопостроения, Барри... Какая теплая вода,— он окунулся,— у нас море так не прогревается даже в августе.

— Это океан...

— Устроим заплыв?

— С удовольствием. Вы как плаваете?

— Как топор. Но все-таки топор, который научили брассу.

И они поплыли. Сначала Барри обошел Дорнброка: он любил кроль и для своих шестидесяти двух лет отменно держал стометровую дистанцию. Дорнброк плыл брассом. «И плывет-то, как немец,— подумал Дигон, оглянувшись,— обстоятельно, словно работает». Раза два Барри отдыхал на спине, а Дорнброк все плыл и плыл, отфыркиваясь, делая глубокий захват воздуха, снова отфыркиваясь, как машина.

«Он меня утопит,— вдруг подумал Дигон,— я устал, а он идет словно заведенный».

— Тут акулы,— сказал Дигон,— пожалуй, стоит повернуть. Они подходят на триста метров, а мы уже отмахали четыреста.

Дорнброк на мгновение повернулся на спину и ответил:

— Они обломают зубы о мои кости.

Дигон проплыл еще метров пятьдесят и крикнул:

— Фриц, пожалуй, я погреюсь на солнце, а вы резвитесь. Если акула начнет играть с вами — крикните, я постараюсь вызвать вертолет, чтобы найти ваши останки.

— Спасибо,— ответил Дорнброк, не оборачиваясь, и поплыл дальше.

Вечером они ужинали впятером: Дигон, его жена Люба и дочь Суламифь. Дорнброк взял с собой в поездку сына. Суламифь и Ганс сидели рядом. Они были разные, и в этой своей разности они смотрелись вместе так красиво, будто это было не вправду, а так, как печатает «Лайф» на рекламных вклейках: «Посетите Гавайи». Высокий, белокурый, голубоглазый Ганс и маленькая, с черными глазами, темноволосая Суламифь.

Дорнброк заметил, как Ганс два раза уронил вилку, засмотревшись на Суламифь. В тот вечер Ганс был в ударе: он великолепно сыграл Шуберта, потом показывал Суламифи карточные фокусы, а потом они вдвоем уехали на яхте.

В Берлине через три месяца после возвращения из Америки секретарь положил на стол Дорнброка письмо, адресованное Гансу. «Любимый мой,— писала Суламифь,— это не в традициях нашего десятилетия — тосковать, но я тоскую, как последняя дуреха, и совсем не могу без тебя. Мои родители никогда не позволят мне выйти за тебя замуж, потому что ты не нашего вероисповедания, но я готова прилететь в Европу и стать твоей женой, и пусть они проклянут меня. Это ненадолго. Если ты хочешь этого — пришли телеграмму на мой «Постбокс» в университет. Я работала летом продавщицей в универмаге, в отделе мужских сорочек, и заработала денег на билет в Европу. Папа говорит, что мне необходимо трудовое воспитание. Я научилась определять размер шеи покупателя без сантиметра. У тебя размер шеи пятнадцать с половиной — и попробуй сказать, что я не права. Твоя Сула».

Дорнброк долго думал над этим письмом. «В конце концов они ее простят, это верно,— рассуждал он,— и Ганс унаследует состояние Дигонов. Хотя там есть еще два сына. Ничего, ее доля — миллион двести, это не так уж плохо. Это совсем неплохо».

Но вдруг с фотографической, беспощадной точностью он вспомнил ее курчавые завитушки у висков, длинные миндалевидные глаза, нос с типичной, хотя и очень красивой, горбинкой — и острое забытое чувство омерзения охватило его.

Дорнброк взял письмо Суламифи и пошел через анфиладу комнат: в его замке было семьдесят комнат — по числу лет, прожитых им на земле,— к сыну. В комнате Ганса не оказалось, но его костюм валялся на стуле, и Дорнброк понял, что сын сейчас в гимнастическом зале.

— Ганс,— сказал старик, спустившись на первый этаж,— извини, что я оторвал тебя. У меня к тебе разговор.

— Сейчас, папа.

Ганс накинул халат, подошел к отцу и поцеловал его в щеку; они были одного роста и очень похожи.

— Сядь, сынок. Я закурю, ты позволишь мне закурить в твоем храме здоровья?

— Категорически возражаю. Ты обещал мне не курить...

— Это будет предпоследняя сигарета или же первая в серии тех, которые мне предстоит докурить... Все зависит от нашего разговора... Я пришел извиниться перед тобой. Идиот Галес подсунул мне письмо, адресованное тебе. Я прочел его чисто автоматически. Извини меня... Вот оно...

По тому, как вспыхнул Ганс, старик понял, что все это серьезно.

— Прочти, сынок. Прочти при мне и скажи, что ты намерен делать.

Ганс прочитал письмо, и лицо его сделалось счастливым, а от этого он стал совсем юным — никак не дашь двадцати двух...

— Я пошлю ей телеграмму. Я ее люблю...

Дорнброк докурил сигарету и, затушив окурок о подошву старого, подбитого третьей подошвой башмака, сунул его в спичечный коробок...

— Сынок, ты помнишь время, когда я сидел в тюрьме, а тебя били за то, что ты сын нациста?.. Ты помнишь, как тебя били? Собиралось человек десять — разве один на один смог бы кто-нибудь из них справиться с тобой? — и били, нападая со спины.

— Помню. Как сквозь папиросную бумагу... Будто этого вообще и не было.

— А я этого не забуду никогда. Ты помнишь, как меня унижали в тюрьме, сынок?

— Вот этого я никогда не забуду.

— Кто бил тебя? Кто унижал меня? Кто посадил меня в тюрьму? Кто требовал для меня в Нюрнберге пожизненной каторги, сынок?

— Как это кто? Люди...

Дорнброк отрицательно покачал головой:

— Нет. Не люди. Это были евреи, которые хотели уничтожить нас...

— Я не смею навязывать тебе своих убеждений, папа, но мне кажется, что это все пережитки... Ты сам помогаешь Израилю...

— Это дело другого рода. Я буду помогать им до тех пор, пока нам это выгодно.

— Но Дигон? Вы же...

Дорнброк положил на колено сына свою левую руку: суставы указательного пальца и мизинца были переломаны и срослись криво, и поэтому кисть отца всегда вызывала в Гансе острую жалость.

— Это мне переломал каблуками Дигон... В тюрьме... Когда я не мог защищаться...

Лицо Ганса свело судорогой, он накрыл кисть отца своей ладонью и тихо сказал:

— Ты никогда мне не говорил этого... Но ведь она дочь... Разве дочь виновата в преступлении отца?

Дорнброк отрицательно покачал головой.

— Нет,— ответил он.— Она ни в чем не виновата...

— Но...

— Послушай, сынок, я знаю твою доброту, ты унаследовал ее от матери, и это хорошо — человек должен быть добрым. Но я знаю твою твердость, это ты взял у меня. Я не боюсь, что, став мужем Суламифи, ты будешь рассказывать ей о нашем с тобой деле, а тебе пора начинать работать со мной — кроме тебя, у меня нет никого... Когда за секреты дела боятся руководители, это свидетельствует об их слабости или уязвимости в отправном звене. Нам с тобой ни того, ни другого бояться не приходится... Она прелестна, и я понимаю тебя, но она дочь своего племени, а ты сын своего народа. Не делай ее несчастной, Ганс... И не доставляй мне горя — если, конечно, ты в силах выполнить эту мою просьбу. Мальчик, я тоже не люблю громких слов, но разве тебе не больно читать о том, как оккупанты из Америки насилуют немецких девушек? Разве не горько тебе видеть их танковые маневры на нашей земле? Раз-

ве ты не чувствуешь ответственности перед нацией, ты, сын Дорнброка?

Он поднялся и, сгорбившись, медленно пошел к стеклянной двери. Он ждал, что Ганс окликнет его. Но сын молчал. Тогда он обернулся и сказал:

— Сынок, я не переживу этого... Дигон решит, что мы таким коварным образом хотим получить долю Суламифи... Пощади меня, сынок... И не ломай жизнь этой девушке... Она девушка? Что же ты молчишь, Ганс? Не надо так молчать, мальчик... Если мне скажут, что ради твоей жизни нужна моя, я буду счастлив отдать мою глупую жизнь... Разве ты не убежден в этом?

— А разве ты не убежден в том, что я отдам свою жизнь за тебя, папа?— глухо сказал Ганс.— Разве ты не убежден в этом?

...Домой в тот день Ганс не вернулся. Он провел ночь у какой-то рыжей старой проститутки возле вокзала, а наутро отправил телеграмму в Нью-Йорк. Телеграмма была короткой:

«Спасибо тебе за все, Сула. Не прилетай.

Ганс».

«Статс-секретарю
министерства экономики
Отто фон Нолмару.

Мой дорогой Отто!

До меня дошли слухи, что ты отправляешь на этих днях группу инженеров в Гонконг, Токио, Тайбэй, Манилу и Пекин. Верно ли это? Если верно, то могу лишь поздравить тебя, а заодно и себя, твоего старого друга,— это разумный шаг во всех отношениях. Зная твою занятость на новом посту, мы не приглашали тебя на последние заседания наблюдательного совета (я надеюсь, ты по-прежнему не считаешь себя обремененным этой должностью?), а там у нас шла речь о серьезных интересах концерна на Востоке.

Не счел ли бы ты возможным включить двух представителей от нас в состав этой делегации? Думаю, ты поддержишь это мое предложение. В случае, если делегация составлена из работников министерства, то тебе не трудно будет принять

на службу, хотя бы временно, тех людей, которых мы подберем для этой миссии.

С лучшими пожеланиями

Фридрих Ф.Дорнброк,
председатель наблюдательного совета.
12/VI 1966г.»

«Начальнику федеральной
разведывательной службы
министраль-директору Гелену

Дорогой генерал!

Министерство экономики предложило мне отправить двух экспертов на Восток в составе широкой и представительной делегации. О.фон Нолмар из министерства экономики примет наши кандидатуры. Одного человека я уже рекомендовал: это Г. Айсман. Вполне вероятно, что Вам приходилось встречаться с ним по работе, это надежный человек, обладающий широким диапазоном знаний; хотел бы просить Вас — в неофициальном порядке — выделить знающего специалиста по Востоку, который бы работал во время этой поездки с Айсманом. Думаю, такой «альянс» принесет нам равную пользу.

До сих пор сожалею, что в прошлую среду Вы не смогли быть у меня на дне рождения Ганса. Он по-прежнему относится к Вам и Вашей благородной работе с восхищением. Как, впрочем, и я.

С наилучшими пожеланиями
Ваш Фридрих Ф.Дорнброк,
председатель наблюдательного совета.
14/VI 1966г.»

***

Айсман вытер пот со лба. Рубашка прилипла к телу, и трусы тоже были совершенно мокрые.

«Бауэр здесь был в самые холода,— подумал он,— иначе бы он не говорил, что здесь сносная жара. А при моей мнительности все время кажется, что промокли брюки, и на них сзади выступило черное пятно. Слава богу, никто

не знает о моей мнительности, на этом меня можно было сто раз поймать — так я боюсь показаться смешным. Если бы мне так же научиться скрывать свой страх перед полетами, тогда я мог бы считать себя лучшим лицедеем в Германии».

— Скоро?— спросил Айсман.— Если мы еще десять минут просидим в этой раскаленной машине, я сойду с ума.

Представитель концерна по торговле с Азией Роберт Аусбург, глядя на мелькавшие мимо окон каучуковые плантации, ответил:

— Я дрался у Роммеля, там было почище.

— А я бывал на севере Норвегии,— озлился Айсман,— там льды. Что это за манера — козырять привычками? Вы знали, что мы прилетим, и могли бы купить для нас машину с кондиционером.

— Об этом мне ничего не было известно. Я получил телеграмму, в которой говорилось, что вы прилетаете. Откуда мне знать, что вы не переносите жары? Там ничего не было о машине...

Айсман переглянулся со своим помощником Вальтером, которого ему выделил Гелен, и, пожав плечами, чуть тронул пальцем висок.

«Какой-то сумасшедший,— подумал он.— Или совершенно развратился вдали от родины. Еще бы: постоянное влияние англичан. Одни здешние фильмы чего стоят — сплошная порнография и безответственная болтовня».

— У тебя все готово?— спросил Айсман.

— Что именно?— по-прежнему не оборачиваясь, спросил Роберт.

— Я не вас. Вальтер, ты готов?

— Да,— ответил Вальтер и положил обе руки на плоский черный чемодан, лежавший у него на коленях. Он страдал от жары особенно тяжело, потому что вынужден был сидеть в пиджаке — под мышкой у него висел парабеллум. Сначала он попробовал затолкать его в задний карман брюк, но Айсман долго смеялся, посмотрев на Вальтера сзади: «Ты сошел с ума, он у тебя пропечатан сзади, как приговор суда».

В чемоданчике, помимо диктофона, вмонтированного в ручку, было два шприца, несколько ампул с рибандотолуолом, лишающим человека воли на двадцать минут, и папка с фотокопиями ряда документов, получен-

ных в свое время Дорнброком от Гиммлера — в ту ночь, когда рейхсфюрер готовился уйти в Азию и просматривал архивы своей восточной агентуры.

— Вот тот храм,— сказал Роберт, кивнув головой на странное сооружение из стекла, дерева и бетона.— Вы это хотели? Адвентисты седьмого дня?

— Смешная архитектура,— сказал Вальтер.— Как универсальный магазин в Австралии.

— Можно подумать, что ты был в Австралии,— сказал Айсман.— Болтун несчастный...

— Я видел фото...

— Ах, ты веришь фото?— удивился Айсман и попросил Роберта:— Скажите этой макаке, чтобы он приехал за нами через два часа.

— Он понимает по-немецки,— сказал Роберт, кивнув головой на шофера.— Он со мной работает восемь лет.

Шофер обернулся — его лицо сияло улыбкой, а узкие щелочки черных глаз были колючими.

— Ничего,— сказал он.— Белые ведь верят в то, что их прародителями были обезьяны. Так что мне это даже приятно, я себя чувствую вашим папой...

Когда машина отъехала, Айсман сказал Вальтеру:

— Какой болван... Идиот несчастный... Не мог предупредить, что эта обезьяна знает наш язык...

— Говорят, у него мать полька.

— У кого? У этого желтого?!

— Да нет! У Аусбурга.

— Ничего. Пусть работает. Плевать. Пока пусть работает. Он тут крепко вжился. А верно, что его мать полька?

— Я слышал...

— То-то я сразу почувствовал к нему неприязнь... Ладно... Сейчас нам важен здешний макака... Он важнее всего для нас... Ты готов?

— Готов, черт возьми.

— А что ты такой раздражительный?

— Надень мой пиджак — станешь раздражительным.

Айсман достал платок и снова вытер лицо и шею.

— Ничего,— сказал он,— если все пройдет так, как мы задумали, вернемся в отель и влезем до ночи в холодную ванну.

Вальтер толкнул ногой дверь храма. Она, казалось ему, с трудом должна была открыться, потому что была массив-

ной, диссонировавшей со всем зданием, но открылась легко (была на пневматике), поэтому Вальтер чуть не упал — руками вперед. Он по инерции пробежал несколько шагов и остановился в пустом прохладном полутемном зале. Темно здесь было оттого, что вокруг храма росли пальмы и кустарники, преграждавшие путь солнечным лучам.

Айсман сказал:

— Плохая примета — спотыкаться. А зальчик ничего себе... Тут бы столы для пинг-понга поставить, а не скамейки. Дурачат несчастных макак этой красотой.

— Никого нет.

— А вон дверь. Узнаем его домашний адрес. Хотя раньше все они жили возле своих кирх. Как в автомобильном сервисе: родился кто или помер, а он тут как тут. Ненавижу церковных крыс, терпеть не могу.

Он постучал в дверь, которая была врезана в сплошную панель стены — за кафедрой и электророялем.

— Да,— ответил молодой голос по-английски.— Войдите.

В маленьком кабинете — стол и два стула — сидел паренек в строгом синем костюме. Увидев европейцев, он поднялся и сказал:

— Прошу вас, джентльмены...

— По-немецки,— сказал Айсман,— говорите по-немецки. Мы не понимаем вас.

Парень соболезнующе развел руками.

— Чжу Ши,— сказал Айсман.— Отец Чжу Ши? Где он?

— Чжу Ши? Настоятель?— парень снял телефонную трубку и набрал номер.— Отец Чжу Ши сейчас дома.

Он принял их в садике. Его дом был окружен со всех сторон пальмами, а в садике был бассейн с голубой водой.

— Я слушаю вас, господа.

Айсман, выдержав паузу, сказал слова пароля — старого, еще времен Гитлера:

— Никогда не думал, что путь из Европы в Азию так утомителен.

— Да,— ответил Чжу Ши,— резкая перемена температуры сказывается на организме.

Айсман и Вальтер переглянулись. Старик говорил совсем не то, что должен был сказать. Его отзыв был: «Зато азиатское гостеприимство поможет вам быстро прийти в себя».

— Нет,— сказал Айсман.— Я говорю, никогда не думал, что путь из Европы в Азию так утомителен.

— Садитесь, прошу вас.

— Вы должны ответить...

Чжу Ши перебил Айсмана:

— Я отвечаю так, как мне представляется нужным отвечать. Азиатское гостеприимство выражается в том, где принимают гостя: на палящем солнце или в тени, возле воды.

— Спасибо,— сказал Айсман и снова вытер лицо платком, который стал мокрым.— А куда садиться?

— На циновки. Это удобно.

Айсман неловко опустился на бамбуковую циновку и вытянул ноги. Чжу Ши заметил:

— Это высшее неуважение к хозяину — вытягивать ноги. Вы обязаны подломить их под себя. Так просто: посмотрите, как это я делаю.

— У меня ранена нога,— ответил Айсман.— Колено пробито. Он,— Айсман кивнул головой на Вальтера,— сядет, как у вас положено, а меня уж вы простите, пожалуйста...

— Снимайте пиджак,— предложил Чжу Ши.— Вам жарко.

— Ничего,— ответил Вальтер,— я люблю тепло.

— Не надо меня обманывать. Снимайте пиджак, снимайте, ваше оружие меня не пугает. Мне всегда интересно смотреть на вооруженных людей: это помогает мне ощущать себя сильнее собеседника. Ведь сила духа значительно сильнее материальной. Разве не так?

— Возможно,— согласился Айсман.— Нас здесь никто не слышит?

— Никто,— ответил Чжу Ши.— Кроме вашего чемоданчика.

— Ладно. Я рад, что вы ничего не забыли. Вас не очень удивил наш визит?

— В определенной мере удивил.

— Прошло двадцать лет — и на́ тебе, как снег на голову, да?

— Меня удивило не это. Меня больше удивила ваша неподготовленность к встрече со мной.

Айсману понравилась эта конкретность:

— В чем вы видите нашу неподготовленность?

— Хотя бы в том, что вы начали искать меня в храме. Следовательно, вы не представляете государственные

службы. В противном случае люди из вашей миссии заранее установили бы, когда я занят в храме.

— Вы правы. Мы не представляем государственную службу. Мы представляем интересы одного из наших промышленных объединений.

— Понимаю. Какие у вас вопросы?

— Сначала хотелось бы услышать подтверждение вашего согласия помогать нам и впредь.

— Я теперь не занимаюсь мирскими делами. Меня волнует дух человеческий, а не сила.

— Стоит ли предъявлять ваши расписки в получении денег у Шелленберга и несколько рапортов в РСХА?

— Зачем? Я помню. Надеюсь, вы не решитесь шантажировать меня.

— Конечно, мы не собираемся предпринимать необдуманных шагов. Нам нужна ваша помощь и консультация. Всего лишь.

— Я к вашим услугам.

— Нас интересует, где сейчас люди из вашей резидентуры?

— О, кто знает! Столько лет прошло!

— Здесь вы остались один?

— Да.

— И поменяли евангелическую церковь на адвентизм?

Чжу Ши улыбнулся:

— Об этом не так уж трудно догадаться.

— Вы поменяли ориентацию? Адвенты, как мне известно, ориентируются на европейские центры религиозной мысли...

— Вы правы. Я несколько раз бывал на западном побережье Штатов.

— Следует понимать так, что теперь вы склонны помогать своим новым сторонникам по вере?

— Вы неверно формулируете вопрос... Прошу простить, я не имею чести знать ваше имя.

— Айсман. Вас вербовали люди из того отдела, где я работал.

— Одна из ошибок ваших коллег заключалась в том, что они работали с минимальным прицелом в будущее. Вас губила мелкотравчатость. Я понимаю, как вам было трудно: вы должны были следовать указаниям сверху. Я пришел к иному выводу, осмыслив свою прошлую жизнь. Я пришел к выводу несколько парадоксальному. Следует

думать о человеческой общности, о том, чтобы сплотить народы в единую семью, верную идеям бога, но не о том, чтобы передвинуть границы или аннексировать территории.

— Это интересная идея. Идти к ней можно тремя путями: во-первых, по линии создания мощного производства, надмирного по своей сути; во-вторых, по линии религии, надмирной по своей идее, и, наконец, по линии создания партии, которая бы учитывала интересы и промышленности и религии.

Чжу Ши с интересом посмотрел на Айсмана, который в это время думал, как эту свою тираду стереть с пленки диктофона: он сказал больше, чем мог сказать,— не для Чжу Ши, но для своих берлинских руководителей, которые будут, безусловно, самым тщательным образом, изучать запись.

— В том, что вы сказали, много разумного, и я думаю, ничего не изменится в общей схеме, если мы выведем вперед религию и позволим ей главенствовать в осуществлении идей промышленности и той партии, которая помогает промышленности совершенствовать род людской в сфере производства. Дух же следует отдать религии, она организовывает разум вернее партий.

— Если я соглашусь на ваше изменение в моей схеме — будет ли это означать, что вы готовы помочь нам кое в чем?

— В чем именно? Религия приучает к точности.

— Как разведчик в прошлом,— сказал Айсман,— вы понимаете, что я не могу ставить вопрос, не имея вашего согласия на продолжение сотрудничества...

— Мы с вами запутаемся во взаимном недоверии.

— У меня нет времени путаться во взаимном недоверии, господин Чжу Ши. Если я не получу ответа, мне придется предпринять определенные шаги, которые вынудят вас довериться мне.

— Если вы решите скомпрометировать меня прошлым — вы проиграете. Выброшенный за борт общественной жизни пастырь адвентов, оказавшийся резидентом разведки Гиммлера, никогда и никому не сможет помочь в будущем. Это может огорчить ваших руководителей. Меня же это мало заденет. Я пришел к вере в идею, и я не боюсь будущего. Я бы советовал вам передать мое предложение вашему руководителю... Если он согласится посвятить

меня в суть вашей задачи, я с радостью продолжу беседу с вами в удобное для вас время, кроме, конечно, тех часов, когда я занят в храме.

– Хорошо,– сказал Айсман,– я подумаю. Ваше предложение разумно. Нельзя ли попросить кого-нибудь принести воды?

– Сейчас я принесу воды. У меня лишь чистая холодная вода. Вы, вероятно, хотели бы выпить оранжада или колы?

– Это не обязательно. Просто холодной воды.

– Хорошо.

Чжу Ши поднялся и шагнул к дому, но Айсман вскочил и с неожиданной для него ловкостью ударил старика сложенными щепоткой пальцами в поддых.

Старик молча повалился на циновку.

– Укол,– сказал Айсман Вальтеру.– Дома никого, иначе бы он позвонил в колокольчик.

Через пять минут после укола, близко заглядывая в глаза лежащего на циновке старика, Айсман спросил:

– Именем бога, ответьте мне, отец Чжу Ши, кому вы сейчас хотели звонить, когда пошли за водой?

– Мистеру Лиму,– ответил Чжу Ши, глядя в лицо Айсману громадными глазами, расширившимися, совсем без зрачков, очень блестящими.– Мистеру Лиму. Он очень умный, сильный и добрый человек...

– Вы готовы выполнять все его поручения?

– Да.

– Господин Чжу Ши, вы понимаете, что говорите мне запретное?

– Понимаю.

– Вы это делаете потому, что верите мне, да?

– Да.

– Где ваша резидентура?

– Я ее передал мистеру Лиму. В пятьдесят втором году он принял от меня тех, кого я смог найти.

– Он знал, что вы были нашим другом?

– Да.

– Мистер Лим сам попросил вас поменять веру?

– Да.

– По его поручению вы ездили на западное побережье Штатов?

– Да.

– Там есть ваши люди?

– Да.
– Кто они?
– Их много.
– Где списки людей?
– В сейфе мистера Лима.
– Какие имена вы можете назвать по памяти?
– Настоятель нашей общины в Далласе отец Хуа Сю, настоятель общины в Лос-Анджелесе отец Хосе Косьендес...
– У вас есть каналы связи?
– Нет. Только личные контакты.
– Чем занимается мистер Лим?
– Вы не знаете мистера Лима?!– лицо старика стало на какое-то мгновение безумным, и он засмеялся. Айсман успел поразиться тому, какие у него белые красивые зубы, у этого древнего старика.– Мистер Лим – хозяин банковской корпорации «Чайна бэнкинг корпорэйшн», он владелец здешних верфей, и ему принадлежит пакет акций концерна по рыболовству в Маниле.
– Вы давно знаете его?
– Да. Мы с ним встречались в Пекине.
– Когда?
– В сорок пятом году. Он тогда был офицером...
– С ним у вас есть канал связи?
– Да.
– Называйте, пожалуйста, пароль и отзыв...
– У нас цифровая связь. Объявление в газете... Нужно обратиться в газету «Дейли ньюс» и поместить следующее объявление...

Мистер Лим включил приемник, стоявший у него на столе, и сказал:
– Я ждал вас. И напрасно вы довели до самоубийства старика. Да, да, он утопился в своем бассейне. Зря вы это сделали, неэкономно поступаете с нужными людьми. Воспитание, перевоспитание, убеждение... А вы – омерзительными методами, словно нацисты... Ну ладно, о прошлом скорбят лишь крысы... Так вот, Дорнброк меня интересует в такой же мере, как и я его...
– Не в такой же мере, мистер Лим,– сказал Айсман,– мы вас интересуем в большей мере, потому что Чжу Ши нам кое-что сказал о западном побережье.

— Ну что ж... Тогда наша полиция сейчас же арестует вас за убийство Чжу Ши и за то, что вы пользовались средствами, лишающими человека воли. Вы в Азии, здесь я сомну вас. Вы, видимо, не успели посоветоваться с Дорнброком после того, как разработали Чжу Ши. Не заигрывайтесь. Я готов принять здесь Бауэра.— Айсман и Вальтер переглянулись; они много раз уговаривались не переглядываться во время работы, но что-то мешало им выполнять этот уговор.— А еще лучше сына Дорнброка. Он ведь теперь заместитель председателя наблюдательного совета, он наследник всего дела, всех семи миллиардов. Я приму условия Дорнброка, я понимаю, чего он хочет. Наши стремления совпадают. С вами я говорить больше не могу, поскольку у меня встреча с послом Кореи. О вашем решении уведомите меня завтра в это же время. Можете воспользоваться моим телетайпом. Ваш Роберт пользуется телетайпом англичан, а этого в данном случае делать не стоит.

«Концерн Лима, крупнейший в Гонконге и в Юго-Восточной Азии, начал переговоры с представителями концерна Дорнброка о подписании контракта на сумму в 25 млн. долларов»,— сообщила через два дня «Дейли ньюс», одна из самых влиятельных здешних газет.

3

Шифрограмма, отправленная кодом концерна, гласила: «Господин председатель имеет честь пригласить господина президента банковской компании «Нэшнл бэнк» на трехдневную прогулку по Средиземному морю на яхте «Северный ветер». Господин президент обяжет своим посещением господина председателя, заранее уверенного в том, что его предложение будет рассмотрено в самое ближайшее время».

Этот код Дорнброк применял в крайнем случае, когда он хотел быть понятым и службой безопасности США, и самим Дигоном. Для Дигона здесь было лишь одно слово, неизвестное дешифровальщикам в форте Миде[1]. Слово «его» («..его предложение будет рассмотрено»), которое было отнюдь не обязательным с точки зрения общепринятого протокола, означало сигнал тревоги, причем в высшей мере серьезной...

[1] Форт Миде, центр НСА,— управление национальной безопасности США.

Дигон дважды поговорил со своими юристами, отдал все необходимые распоряжения, посоветовался с врачами и вылетел на своем «боинге» в Европу.

На яхте, когда они остались вдвоем, Дорнброк выложил на стол фотокопии материалов, обработанных гонконгским филиалом ЦРУ, о том, что компании, контролируемые Дигоном, засечены на поставках Пекину стратегического оборудования. Этот провал мог обернуться скандалом.

— Вы обещали, что эта операция пойдет через вас, через ваших шведских друзей,— сказал Дигон, трижды просмотрев материалы.— Вы меня поставили в крайне затруднительное положение...

— Это вина ваших сотрудников, которые болтают, как бабы. Вы сможете как-то пригасить это дело через Даллеса? Он зоологичен по отношению к красным.

— Но это не Москва, а Пекин.

— Безразлично.

— Он считает, что весь спор между Москвой и Пекином — это далекий стратегический план красных, чтобы усыпить нашу бдительность...

— Да, он никогда толком не занимался марксизмом, ему трудно понять существо разногласий между Кремлем и Пекином... Вы правы...

— Что вы можете предложить? — спросил Дигон.— На карту поставлена моя репутация...

Дорнброк закрыл глаза и сдержался: ему хотелось сейчас рассмеяться — Дигон заглотал крючок. Дорнброк давно готовил этот удар. Он сейчас проверял Дигона. Тот на какое-то мгновение показал свою озабоченность, более того — испуг, и Дорнброк сделал вывод, что Дигон никак не консультировал свои торговые операции ни с государственным департаментом, ни с ЦРУ, которые могли бы санкционировать его торговлю с Китаем в плане общего зондажа, выгодного правительству. Дорнброк сейчас получил еще одно подтверждение своему давнишнему убеждению, что Дигон во всех своих операциях преследует лишь собственные выгоды, а никак не выгоды Америки. Главное, что Дигон теперь у него в руках. Он теперь пойдет за ним, за Дорнброком, а Дорнброк во всей азиатской комбинации преследует не своекорыстные выгоды концерна, но будущее германской нации, которая должна быть нацией со своим сверхмощным оружием. Для этого

он готов пожертвовать сотнями миллионов марок... Надо уметь терять: только такой человек, который умеет легко терять, может в конце концов найти.

...Айсман дожидался вызова в соседней каюте. Она была обшита голубым атласом. По разводам наперегонки бегали острые зеленые зайчики — по морю шли мелкие, быстрые, пожирающие друг друга волны.

Когда его пригласил Дорнброк, Дигон впился своими цепкими выпуклыми глазами в Айсмана и быстро, оценивающе оглядел его фигуру, лицо, костюм; Айсман отметил даже, что американец успел обратить внимание на его хромоту, хотя, когда он стоял, хромота не была заметной.

— Доложите план возможных мероприятий, Айсман,— сказал Дорнброк.— Подробно, как вы докладывали мне. Этот господин не просто мой друг, этот господин помогает нам делать общее дело, так что предельная откровенность, предельная.

Айсман ожидал, что Дорнброк пригласит его сесть, но председатель этого делать не стал, углубившись в просмотр бумаг.

— Есть, по крайней мере, три надежных варианта... Первый: в наших возможностях сделать в филиале ЦРУ на Дэй-Шао-Чоу маленький пожар. Это наши люди в Гонконге могут гарантировать...

— Материалы,— Дигон ткнул пальцами в папку, лежавшую на столе,— уже могли уйти в Штаты.

Айсман отрицательно покачал головой:

— Я прилетел оттуда вчера. До понедельника не уйдут, сегодня уик-энд.

— Так. Дальше?

— Можно провести операцию запутывания...

— То есть?

— Мы постараемся поставить вашим парням в Гонконге и Сингапуре парочку противоречивых материалов, которые опровергали бы эти — компрометирующие вас...

— Уже лучше. Еще что?

— Устранить тех ваших сотрудников, которые открывают тайны врагам...

— ЦРУ мне не враг.

— Я понимаю... Но ведь они говорили об этом не ЦРУ. Ваша разведка лишь перехватила эти разговоры...

— Нет, нет,— сказал Дигон,— не годится. Кому нужна кровь в нашем деле...

— Какой вариант вы утвердите? — спросил Айсман.— Какой из первых двух?

— Второй. Это лучше...

— Но этот вариант тоже не вегетарианский,— заметил Айсман,— здесь нам придется тоже несколько минут пошуметь.

— Не понимаю,— сказал Дигон.

— Это не наше дело, Айсман,— заметил Дорнброк.— Вы делаете свое дело, и нам нет нужды знать, как вы его делаете. Мы лишь оценим результаты вашей работы. Итак, утверждаем второй вариант...

Все было разыграно точно. Айсман не был участником комбинации — в данном случае его не посвятили в подробности. Поэтому его доводы, как и вопросы Дигона, звучали убедительно и очень искренне... Беседа была записана на пленку и снята двумя микрокинокамерами. Синхронность звука и текста была очевидной. Дигон дал санкцию на акт, направленный против его страны, против Центрального разведывательного управления. Сегодня Дигон будет ознакомлен с этими материалами — тут надо бить в открытую. От него потребуют решения: либо он во всем идет с Дорнброком, либо его сегодняшняя беседа, направленная против его правительства, и его предложения, которые караются по федеральному закону, будут переданы в Вашингтон, и тогда ему придется тяжко — конкуренты утопят его, стоит лишь Дорнброку начать бой. Надо загнать его в угол, проиграть с ним партию, подобную той, которую Гейдрих некогда играл с ним самим. Дело есть дело, тут нельзя церемониться — карты на стол, решение должно быть принято сразу же... Дигон не готов к таким методам — он сломается. Он станет человеком Дорнброка... Таким образом, в нужный момент и в определенный час сработают такие механизмы, которые приведут в действие людей в сенате и конгрессе, заинтересованных в Дигоне. И сделает это Дигон во имя Германии, которую представляет Дорнброк. Он не сможет этого не сделать, ибо он попался. Они же прагматики, эти американцы, Дорнброк всегда видел в этом их главный недостаток. У них вместо бога бизнес. А у него бизнес во имя бога, которым для него стало будущее нации.

– Кто этот парень? – спросил Дигон, поднимаясь (скрытые в фальшивых иллюминаторах камеры шли за ним следом).– Он производит впечатление делового человека.

– Верно,– ответил Дорнброк, глядя на Дигона с улыбкой,– он прошел хорошую школу у Гиммлера...

«Ну что?!– думал он, рассматривая в упор Дигона.– Теперь понял?! И теперь ты еще ничего не понял. Только один я понимаю главное: когда на полигонах Азии мы отработаем оружие мести из твоего урана, твоей стали и твоих денег, мы, немцы, станем хозяевами положения, потому что миллиарды азиатов будут выполнять нашу волю, одетую в броню оружия возмездия, нашего оружия!»

ДЕНЬ, ВЕЧЕР И НОЧЬ РЕЖИССЕРА ЛЮСА

1

Люс купил бутылку виски в самолете: здесь это было значительно дешевле, чем на земле,– без пошлины. Американцы, летевшие в Сайгон и Сингапур, покупали по десять-пятнадцать блоков сигарет. Стюардессы были в длинных малайзийских юбках, громадноглазые, с тонкими руками, которые Люсу казались шеями черных лебедей – так грациозны были их движения и так они дисгармонировали с резкими и сильными кистями коротко стриженных парней в военных куртках, которые протягивали девушкам деньги.

Люс раскупорил «Валантайн» и сделал два больших глотка из горлышка.

«Так же пил Ганс,– вспомнил он,– значит, прирежут меня или травануг, как бедного Дорнброка. И у него так же тряслись тогда руки. Только у меня дрожь мельче, чем у него. Как озноб. А у него руки дрожали в те моменты, когда он после глотка смотрел на меня и ждал ответа, а я думал, что он несет бред. Миллиардерским сынкам можно нести бред. Мне надо молчать, чтобы иметь возможность выразить свои мысли в фильме, не пугая заранее продюсера. А им можно говорить все, что заблагорассудится, этим сынкам... Вот как можно обмануться, бог мой, а?! Больше всех в его гибели виноват я... Выходит так... Только у него тряслись руки, потому что он впервые решил стать гражданином, а у меня руки трясутся потому, что я и сейчас не могу стать мужчиной. Какой там гражданин... Мразь, настоящая мразь...»

Облака под самолетом громоздились огромными снежными скалами. Они были пробиты наискось сильными сине-красными лучами заходящего солнца. Здесь, в Азии, они были какие-то особые, эти облака. В Европе они были плоские, а здесь громоздились, словно повторяя своей невесомостью грозные контуры Гималаев.

«Но все-таки Нора напутала в главном,— подумал Люс, сделав еще один глоток,— она смешала доброту с безволием. Она решила, что я безвольная тряпка, и сказала мне, что я женился на ней из-за ее наследства. И этим она угробила наш альянс, именуемый католическим браком. Это значит, я жил десять лет с человеком, который не верил мне ни на йоту. Хотя Паоло прав — все от комплекса... Наследство папы-генерала... Мы получили от него в подарок «фольксваген», прошедший сорок две тысячи... Конечно, я женился на этом «фольксвагене», на ком же еще?! «Мы не можем разойтись, потому что у нас дети!» Но я ведь плохой отец, по твоим словам! А ты отменная мать! «Кому нужны твои фильмы?! Кому?!» Все верно. Никому. Дерьмо, а не фильмы. А вот этот может получиться. Потому что продюсеры под него не дали ни копейки... А тебе, моя радость, придется пойти поработать в оффис... Триста сорок марок в месяц — за культурные манеры и благопристойную внешность. Если человеку говорить десять лет, что он свинья, он в это уверует — так, кажется, в пословице? Но я пока еще капельку верю в то, что остаюсь человеком...»

Он купил билет из Берлина с десятичасовой остановкой в Венеции. Там он сразу же поехал по главному каналу, сошел на Санта Лючия, не доезжая остановки до площади Святого Марка, чтобы еще раз — второй раз в жизни — пройти по махоньким улочкам, мимо «Гритти», выпить чего-нибудь крепкого в павильоне на набережной, который всегда пустует, несмотря на рекламу и рисунки с обещанием самых дешевых блюд: англичанам — английских, янки — американских... Этот несчастный павильон всегда пустует, потому что Хемингуэй обычно пил в соседнем «Гарри».

Там, постояв на площади, Люс мучительно вспоминал название римского фонтана, куда надо бросить одну монетку, чтобы вернуться в Вечный город, две — чтобы жениться на любимой, а три монетки надо кидать тому, кто хочет развестись...

«Почему я уперся в этот проклятый фонтан? — подумал тогда Люс.— А, ясно, просто здесь, на Святом Марке, нет фонтана, а моя мещанская натура вопиет против этого: такая громадина — и без фонтана. А поставь на ней фонтан — все бы рассыпалось к чертовой матери: гармония разрушается одним штрихом раз и навсегда».

Он сел на параходик, который отходил на остров Киприани, и поехал к жене и детям. Он ехал лишь для того, чтобы сказать Норе о разводе и оговорить все формальности.

...Разговор на Киприани был долгим, хотя Люс уверял себя, что он едет к ней на пять минут и на час — к детям.

— Если ты приехал только для того, чтобы сказать мне о разводе,— побледнев, сказала Нора,— тогда тебе незачем видеться с детьми: они все понимают, это садизм по отношению к ребятам. Я к этому привыкла, но я не думала, что ты можешь быть таким жестоким и по отношению к детям...

«Хорошо бы взять с собой камеру,— думал он о постороннем, чтобы не взорваться и не нагрубить, слушая вздор, который несла Нора.— Хотя лишний груз... Багаж стоит чертовски дорого... А сколько потребуется пленки? Оставить в номере нельзя — засветят... Нет, надо надеяться на блокнот, диктофон, а главное — на память. Но какая же сволочь этот Карлхен — как он трусливо убежал от меня! Есть фанатики-ультра: правые и левые. А этот фанатичный центрист: во всем и всегда — с властью! С любой, но с властью!

— Когда я приехала от дедушки, ты развлекался у проституток! Да, у проституток в Мюнхене! Мне сказала об этом Лизхен!

— Она что — держала свечку? («Берг прав: искусство сейчас на распутье. Нацистам выгодно такое искусство, герои которого поют старогерманские песнит и ходят в народных костюмах — посмешище всему миру. Это же не ансамбль танца, а народ. То, что позволительно ансамблю, непозволительно стране. Они хотят таким образом сохранить традиции. А какие у нас традиции? От Фридриха Великого — к Бисмарку, а потом через кайзера — к Гитлеру. Сохранить традиции — дело этнографов; прогресс тем и замечателен, что разрушает традиции, утверждая себя в новом. Керосиновая лампа — нежная традиция ушедшего века...»)

— Мне ты все время твердишь: «экономия, экономия, экономия во имя моей работы», а сам кидаешь деньги на ветер со своими друзьями и шлюхами, которые тебя предают на каждом углу!

(«В Берлине сто тысяч углов, на каком именно? Что она несет?»)

— Кто тебе это сказал?

— Мои друзья...

— А мои враги,— закричал он,— рассказывали мне сто раз о том, как ты утешаешься от моего садизма со своим доктором! Мой садизм — это когда я не сплю с тобой... А я во время работы становлюсь импотентом! Ясно тебе?!

(«Ничего, пусть помолчит минуту, а то у меня голова начала кружиться от ее слов и сердце жмет... Так можно довести до инфаркта... А может, она психически больна? Слава богу, молчит... Почему я думал о традициях?.. Ах да... Берг... Старики хотят, чтобы мы делали такие же фильмы, как те, которыми они умилялись в немом кино... Пусть тогда ездят на лошадях, а не на машинах. Все наши лавочники боятся лезть в технику — они в ней ни черта не понимают, потому что неграмотны, а в кино лезут все, это же так легко — делать кинематограф! Старому лавочнику неинтересно читать книгу о молодом физике, ему непонятен мир этого нового человека; ему хочется читать о себе самом, чтобы все было ясно и просто: порок наказан, добродетель, капельку пострадав, восторжествовала. «Детишки, подражайте добродетели, видите, зло отвратительно!» Вот так они и цепляются за штанину прогресса. И выходит, что «нога техники» шагнула черт те куда, а «нога духа» — в болоте, потому что за нее уцепились старые лавочники. Им бы о своих детях подумать, но они не могут — честолюбие не позволяет: «Глупая молодость, что она смыслит в жизни?!» Так и подталкивают своих детей к бунтам! Черт, теперь сердце зажало... А, это она снова о том, что я развратное животное...»)

— Зачем же ты тогда живешь со мной? Разве можно жить с развратным животным? Ты ведь такой гордый человек...

— Какой же ты негодяй! Разве бы я жила с тобой, если б не дети?!

(«Если я сделаю этот фильм, я принесу больше пользы детям, чем когда она возит их на пляжи... Это заставит их определить позицию в жизни — с кем они? Детям не

будет стыдно за меня... Это ужасно, когда детям стыдно за родителей... Сын Франца смеется над отцом в открытую: «Наш лакей пишет очередной трактат о пользе виселиц в борьбе с коммунизмом». Так и говорит. Но при этом покупает машины и девок на деньги отца. И ни во что не верит. И о стране говорит «загаженная конюшня». Я бы застрелил такого сына... А Франц только смущенно улыбается и продолжает писать свои лакейские трактаты...»)

— Хватит, Нора. Это нечестно... Я ведь не устраиваю слежку за тобой... А мог бы... И я все знаю про этот самый порошок в нашей спальне... Хватит...

Потом были слезы; она говорила, что надо забыть «все гадости и глупости прошлого». А он повторял только одну фразу: «Нора, все кончено».

Втайне — сейчас в самолете он признался себе в этом — он надеялся, что все еще может наладиться. Но он повторял свое «Нора, все кончено», потому что он и не верил ее обещаниям «начать все наново — без идиотских сцен». Она снова начала плакать, а потом, зло прищурившись, сказала ему: «Ты женился на мне из-за наследства...» Тогда он повернулся и вышел. Она закричала вдогонку: «Люс! Фердинанд! Фред! Вернись! Иначе будет плохо! Вернись!» Раньше это действовало — «сумасшедшая баба, повесится в туалете»,— и он возвращался. Сейчас, перепрыгивая через три ступеньки, он бежал вниз, словно за ним гнались, и в ушах звучало: «Ты женился на мне из-за наследства, а когда я сказала тебе, что отец ничего не оставил, ты пришел с разводом!»

Руки перестали дрожать, телу стало тепло, а ноги сделались горячими — все те шесть часов, что он добирался до римского аэропорта и ждал самолета, пальцы ног были ледяными, бесчувственными. Только сейчас, когда самолет переваливал Гималаи, и он крепко выпил, многочасовое ощущение холода оставило Люса.

«Из моих восьми картин,— подумал он, снова прикладываясь к бутылке,— пять я сработал для того, чтобы Нора не чувствовала разницы между домом ее родителей и моим домом... Я смущался своей бедности и старался выполнить ее желания еще до того, как она их загадывала... Она забыла, что ее папа получал ежемесячно деньги от армии, а мне надо было каждый раз срывать с себя кожу и прикасаться обнаженными нервами к току высокой

частоты — только тогда срабатывает искусство. Я шел на компромисс с собой ради нее. Я прикасался к току, и мне было больно, но я вместо правды делал сладкий суррогат, чтобы она с детьми ездила к морю. Я продал себя раз пять. А ведь я держал в руках правду... Все, хватит. Горе не беспредельно. Только счастье не имеет пределов... Что же,— грустно улыбнулся Люс,— назову эту, если получится, просто «4». Без «1/2» — я никогда не работал с соавторами. Господи, никогда мне не было так пусто, как сейчас. Раньше я думал не о себе, а о том, что будет с Норой и детьми, если меня не станет. Почему я должен всегда думать об этом? Нет, Люс, эту картину ты будешь делать, не думая о том, что будет с ними... Ты будешь делать ее только для того, чтобы подраться насмерть с теми наци, которые вновь хотят править страной! Предать себя можно не только в голоде, под пыткой, но и в любви, а это самое страшное предательство, потому что здесь все зависит от самого себя, Люс... Или не Люс... Какая разница — что́ я, один такой на свете?»

«В день своего приезда Л. посетил директора античного музея Ваггера и остановился у него на ночь. Ваггер эмигрировал из Германии в 1933 году. По убеждениям близок к левому крылу социал-демократии, постоянно переписывается с прокурором Бергом. Наутро вместе с Джейн Востборн, работающей в музее в качестве реставратора (жена начальника отдела американской контрразведки в консульстве, англичанка, рождена в Лондоне в 1935 году, в Штатах жить отказалась), Вагген и Л. посетили редакции газет, освещавших переговоры и визит в Гонконг и Сингапур г-на Д. После этого они отправились в кабаре, где выступал «мюзикл Шинагава», и опросили всех, кто знал об отношениях Исии и Д. Ряд проведенных мероприятий по прослушиванию дает все возможности предполагать выход Л. на узловые, многое объясняющие моменты, связанные с визитом Д. в Кантон и Синьцзянь. Предполагается, во-первых...»

В этом месте глава концерна «Чайна бэнкинг корпорейшн» мистер Лим отложил документ, напечатанный на тоненькой голубоватой рисовой бумаге — на такой бумаге в двух экземплярах печатались совершенно секретные материалы концерна. Один экземпляр уничтожался сразу же после того, как его просматривал мистер Лим, а второй с нарочным переправляли на материк.

— Что вы собираетесь делать «во-первых», меня не интересует,— сказал Лим помощнику по вопросам общей стратегии,— это прерогатива службы безопасности. Но то, что он ходит вокруг узловых вопросов, конечно, не может нас очень-то уж радовать. Подумайте, как поступить,— я в этих делах не советчик...

2

Помощник по вопросам общей стратегии вызвал шефа службы безопасности концерна и раздраженно сказал:

— Мистер Лао, пожалуйста, не просите меня впредь знакомить босса с вашими материалами. В конце концов, это ваша прерогатива — безопасность концерна. Если вы считаете необходимым поставить в известность мистера Лима о чем-то своем, запишитесь к нему на прием, в этом я смогу оказать вам содействие.

Лао ехал в своем громадном «додже» и мысленно чертыхался, разглядывая затылок шефа. Затылок был коротко подстрижен, и на нем ясно видны темно-коричневые родимые пятна. Пятна были странной формы. Если смотреть на них сощурившсиь, они напоминали контуры Латинской Америки.

«Сволочи,— думал мистер Лао,— они все хотят делать моими руками, чтобы в случае провала оставить меня один на один с законом. Они теперь вроде бы вообще ничего не знали про Люса, один я знаю про него все! Очень меня интересует этот выродок! Если мы делаем одно дело, так всем за него и надо отвечать. Лучший образчик иерархической бюрократии:«Я не хочу знать ничего о ваших методах, меня интересуют вопросы общей стратегии!»

Мистер Лао закурил и с отвращением посмотрел на себя в зеркальце шофера.

«Я тоже хорош,— подумал он, поняв, отчего смотрел на себя с отвращением.— Я боюсь замахиваться на мистера Лима даже в мыслях и топчу лишь моего непосредственного руководителя. Важно сейчас держать себя в руках и не походить на них в том разговоре, который предстоит провести с Хоа».

— Вы убеждены, что он пойдет с вами?

— Да, мистер Лао.

— Почему вы так убеждены в этом?

— Потому что он европеец... Они все доверчивы, как неразумные дети, мистер Лао.

— Это неверно. Они далеко не так доверчивы, как вам кажется. И потом он не европеец...

— Он белый, мистер Лао.

— Он не европеец,— раздраженно повторил Лао,— он немец.

— Я имел дело с немцами. Они отличаются от европейцев лишь одним — они умеют пить. Англичане сразу же заливают в себя тонну пива, делаются откровенными хамами и унижают нас; американцы бьют по плечу и обнимаются; французы предлагают вступить в противоестественную связь, а немцы пьют и пьют, а потом шагают смотреть злачные места.

— Где вы с ним закончите вечер?

Хоа позволил себе поправить мистера Лао:

— Ночь. Я закончу с ним ночь. За Даблексроуд есть интересный дом, где собираются матросы, сделавшие своей профессией гомосексуализм. Они были у врачей, и те ввели им в мышцы груди стеарин, и теперь они похожи на громадных женщин. Они очень нежные и, перед тем как отдаться клиенту, рассказывают о своих плаваниях в дальние страны.

— Разве он гомосексуалист?

— Нет. Но я рассказал ему, что знаю место, где он может наглядно познакомиться с уродством колониального империализма. «Такого,— сказал я ему,— вы не найдете в Европе. Только в Сингапуре или в Макао, но в Макао это опаснее, потому что там португальские колониальные власти боятся заходить в злачные районы, а в Сингапуре много полиции... Только у нас на острове вы увидите этот ужас воочию и без риска для жизни..»

— Я не хочу, чтобы у нас были неприятности с полицией, Хоа.

— Я тоже не хочу неприятностей с полицией, мистер Лао. Во двор сможет въехать автофургон. Я подам его задом, а там очень узкий дворик. И поеду на свой сампан. Один. И выйду в море — тоже один.

— А если он уже сказал своим знакомым, что именно вы пригласили его на Даблексроуд?

— Ну и что? Матросы подтвердят, что я привел его туда, и шофер такси, который будет мною заарендован на эту ночь, подтвердит, что мы вместе пришли. Но он ска-

жет, что я вышел оттуда через пять минут один, и это будет правда. Он отвезет меня домой, этот шофер. А потом я вернусь на Даблексроуд, но уже на своем фургоне. Я заеду во двор — я же говорил вам, что там узенький темный двор. Я скажу ему, что пора в отель, и поведу по черной лестнице к фургону. Он — первым, а я — вторым. Закричать он не успеет, ибо, когда шило пробивает сердце, наступает мгновенный паралич дыхательного аппарата.

— Значит, когда вы будете подниматься за ним по черной лестнице, вас увидят?

— О нет, мистер Лао. Я пошлю за ним Чжу.

— Кто это?

— Он работает по двору... Я плачу ему деньги. Это мой человек. Он войдет в заведение, а не я. Я буду ждать Люса на втором этаже и скажу, что сегодня возможен налет полиции и лучше отсюда уйти. Люс говорил мне, что ему не нужны скандалы. Помните, когда я предложил Люсу запросить полицию — что за драка была с американцами у мистера Дорнброка, он не захотел обратиться в официальные инстанции...

— Этот Чжу проверен вами достаточно хорошо?

— Да.

— Вы проверяли его родных, знакомых?

— Да. Я это делал в течение трех лет. Я давно присматривался к Даблексроуд, и Чжу, занимающийся двором, привлек меня прежде всего. Там очень темный маленький дворик...

— А когда Чжу увидит, как вы закончите это дело, он не дрогнет?

— Я думал об этом, мистер Лао. Он может дрогнуть. Поэтому я попрошу его остаться в заведении после того, как он отправит ко мне Люса, и дождаться прихода моего друга мистера Баума, и сказать ему, что я буду ждать мистера Баума в автофургоне на углу.

— И мистер Баум покажет в случае нужды, что вы были в фургоне один?

— Да. Потому что тело Люса будет лежать под циновками, а сверху я набросаю несколько плетеных мешков. Из-под свежей рыбы. Таким образом, мистер Баум подтвердит, что я был один. А Чжу, когда его спросят, скажет, что человек, которого я просил спуститься...

Лао перебил:

— Чжу не должны спрашивать об этом. Чжу должен так передать Люсу вашу просьбу, чтобы никто другой это-

го не слышал и не видел. Чжу может рассказать, что выполнил лишь одну вашу просьбу: он нашел мистера Баума и передал ему, что вы ждете на углу в своем автофургоне.

— Я позволю себе не согласиться с вами, мистер Лао. Очень извиняюсь, мистер Лао. Но заведение расположено на пятом этаже, а на черной лестнице по две двери на каждом пролете. Там живут три порочные женщины, находящиеся под надзором полиции, семья прокаженного индуса, который сейчас скрылся, семья Чавдарапанга, который дважды сидел в тюрьме за грабежи, и вдова Ли, занимающаяся нищенством. Все двери имеют замки; они могут быстро отпираться и так же быстро захлопываться... Ведь когда есть много версий, тогда исчезает та единственная, которая ведет к истине...

— Сколько стоит вся операция?

— Это очень сложная операция, мистер Лао.

— Она будет стоить не дороже пятисот долларов?

— Она будет стоить не дешевле тысячи...

— Какие доллары вы имеете в виду, Хоа?

— Американские, мистер Лао.

— Тогда я вынужден отказаться от ваших услуг.

— Мне очень обидно огорчать вас, мистер Лао, но вряд ли кто-нибудь другой возьмется за эту работу... Все-таки он не наш...

— Эту работу выполнит любой безработный моряк за сто местных долларов.

— Вы совершенно правы, мистер Лао, но, если этого моряка возьмет полиция, он назовет ваше имя, а для того, чтобы потом доказать, что это клевета, вам придется уплатить адвокату еще тысячу долларов... Поверьте, мистер Лао, я очень дорожу вашим добрым отношением и не посмел бы попросить у вас ни цента больше того, чем все это стоит. Поверьте мне. Оно рискованное, это дело... Ведь Люс ходит здесь вокруг ваших интересов...

— Откуда вам это известно?

— В противном случае зачем бы он вам понадобился?

— Словом, я плачу семьсот долларов, это максимальная цена.

— Я не смею вести с вами торговлю как с купцом, занимающимся розницей, мистер Лао. Я точно взвесил все «за» и «против». Согласен на восемьсот долларов лишь из-за моего к вам глубокого уважения.

«Ну что ж,— подумал Лао,— этого пора менять. Он начал торговаться, а это тревожный симптом. Вероятно, его следует убрать, когда он будет везти тело к порту. Это сделает Чанг. Я не хотел пускать Чанга в это дело, потому что он мне дорог как брат... Но, видимо, это придется сегодня сделать Чангу. Одна автоматная очередь поперек машины, и в машине будет два мертвых тела... И никакого риска: о моих связях с Хоа не знает никто, кроме нас двоих...»

— Хорошо,— сказал Лао.— Вот деньги... В течение полугода, пожалуйста, не входите со мной в контакт. Через полгода запишитесь через моего секретаря на прием, обговорив заранее, что хотите попросить ссуду в размере двух тысяч долларов на приобретение катера для обслуживания шипшандлерами иностранных судов в порту... А о сегодняшнем деле вы никогда не будете говорить со мной... Этого дела, после того как вы его проведете, не было.

— Да, мистер Лао. Я понял вас. Я тоже очень осторожен в моем бизнесе. Я ни о чем не буду говорить. Какой интерес мне говорить об этом деле?..

3

В тот же день Люс пришел в кабаре «Гренада» и, отозвав бармена, сунул ему в карман хрустящего белого пиджака пять долларов.

— Теперь давайте по порядку,— сказал Люс,— мне сказали, что вы все про них помните, а особенно про его первую ночь у вас. Меня интересуют даже самые на первый взгляд незначительные детали: с кем он перемолвился словом и что пил...

Исии заглянула ему в глаза; зрачки замерли, потом расширились, потом вдруг собрались в игольчатую, острую точку. Подушечки мягких пальцев на ощупь двигались по его ладони медленно, словно слепцы по пыльной степной дороге.

В прокуренном кабаре было темно: когда она выступала, свет выключали. Лишь изредка она включала маленький фонарик, и острый луч света, такой острый, что, казалось, он имел вес и постоянную протяженность, выхватывал из темноты глаза, губы и лоб того человека, которому она предсказывала судьбу. Ладонь, линию жизни, судьбы и смерти она вообще не освещала — у нее были зрячие пальцы.

— У вас было трудное детство, вы росли сиротой. Сиротство— это когда ребенок рано лишается матери,— добавила она, и Ганс заметил, как побледнело ее лицо. Исии взяла с его столика бокал с водой и сделала быстрый, судорожный, какой-то птичий глоток.— Вы лишились первой любви не по своей воле. Это было ваше второе горе — как смерть матери. Смерть матери и потеря любимой — всегда несправедливость, а человека больше всего ранит несправедливость.

Сначала, когда она подошла к нему, он посмеивался: Ганс Дорнброк не верил гадалкам, гороскопам и приметам. Отец любил повторять: все решают мощности, направленные в нужное время по точно выверенным траекториям. Остальное вторично и не суть важно. Правда, когда отец взял его с собой на маневры бундесвера, чтобы показать действия тактических ракет типа «земля-земля», производимых одним из заводов, принадлежавших концерну Дорнброка, Ганс вспомнил старшего брата. Карла разорвало прямым попаданием снаряда в последний день войны, и это воспоминание мешало ему спокойно наблюдать за тем, как резко оседали установки, словно тяжелоатлеты после взятия веса, и как ракеты, шелестя, неслись низко над землей, а потом раздавался тугой толчок, и танк занимался резким черно-красным пламенем. Он сказал об этом навязчивом воспоминании отцу, когда они возвращались из Дюссельдорфа в Западный Берлин. Старик ответил: «Сынок, бремя ответственности, которое ты отныне взял на себя, лишает тебя права на воспоминания, расслабляющие душу. Оставь сантименты политикам. И если ты хочешь отомстить за Карла, делай наше дело с одной лишь верой: оно правое, потому что оно подчинено интересам нации. Мы служим Германии, и это должно владеть твоим существом, лишь это. И знай, что большие задачи всегда будут предполагать потери — так устроен мир, и если многое в нем мы можем переделать, то эту сущую мелочь нам с тобой изменить не дано».

— Вы очень страдали и сделали много плохого, когда лишились вашей любви,— говорила Исии то очень быстро, то замирая, словно желая врасти своими пальцами в ладонь Ганса.— Вы сейчас на распутье, вы мечетесь, вы теперь различаете добро и зло, поэтому вам тяжело. Зрячим вообще тяжело; слепцы — самые счастливые люди на земле.

Она говорила тихо, но ему показалось, что за соседними столиками смеются над словами Исии, и поэтому он заставил себя усмехнуться, чтобы показать, как снисходительно он относится к ее пророчеству.

— Я говорю правду,— настойчиво повторила женщина,— разве нет? Ответьте мне, иначе я не смогу продолжать. Ответьте мне,— настойчиво повторила она,— и не думайте о том, что на вас смотрят. Я говорю правду?

— Да,— ответил он, хотя собирался отрицательно покачать головой и сказать «нет».

— Вы изуверились в том, кто был вам близок. Вы порой бываете в отчаянии. Мне страшно за вас. Но вы не можете стать над собой, вы подчинены своему первому «я», вы боитесь своего второго «я», которое и есть ваша суть. Мы все боимся своего «я», которое у нас вторично, потому что это предполагает разрушение привычек и условностей. Вы любили женщину чужой вам крови. А человек вашей крови не дал вам счастья, и вы все время думаете об этом и, чтобы забыть это, делаете то, что делать не нужно. Вы истязаете себя. Зачем вы делаете это? Вы не можете обидеть человека, которого считаете другом? Но ведь все определено — то, что есть, и то, что будет. Вам ведь не дано уйти от будущего. Никто не может уйти от будущего. После того как вы лишились любви, вы впервые узнали пустоту. Вы заполняли пустоту и не хотели видеть того, что вокруг, но это окружающее вас лишь смеялось над вами: вы не можете жить вне жизни... Никто не может жить вне того, что вокруг нас... А вы слишком добрый,— вдруг улыбнулась она в темноте,— вы знаете, как это плохо — быть добрым, вы поняли это, вам это объяснили... и вам приходится быть балаганщиком... Как мне... Как всем... Вы играете чужую роль... Но если вы откажетесь от нее — исчезнет актер и останется одна память о нем... О вас... Обо всех нас...

Ганс вспомнил, как ректор университета позвонил к нему вскоре после того, как Дорнброк-старший сделал заявление в печати: «Молодое поколение тоже умеет работать — я становлюсь на защиту молодых. Нельзя выводить мнение обо всех наших юношах и девушках, базируясь лишь на скандальных выходках безответственной группы студентов. Могу сказать, что мой сын умеет работать, хотя он так же как и господа из Далема[1], терпеть

[1] В Далеме (район Западного Берлина) находится университет; прогрессивная часть студенчества этого университета выступает против неонацизма.

не может чванства, буржуазности и несправедливости...»

Ректор просил Ганса выступить на семинаре студентов-социологов.

— Любая тема, Ганс,— говорил он,— на ваше усмотрение. Вы сделаете доброе дело, поверьте мне.

Ганс отказывался:

— Я не умею говорить, я не люблю этих показных мероприятий — «вполне приемлемый капиталист». Профессор, прошу, не настаивайте на вашей просьбе.

— Знаете что, Ганс, перестаньте вы стыдиться самого себя. У меня есть две приятельницы: одна чуть полновата, а вторая — жирная, как бочка. Так вот, чуть полноватая красавица носит железобетонные купальники, горбится, чтобы не был виден ее животик, одевается, как старуха, и поэтому смотрится со стороны глупо, смешно и действительно кажется жирной. А бочонок, ее зовут Инга, наоборот, напяливает на себя мини-платья и ходит, выпятив пузо, и никто не замечает ее полноты. Надо быть тем, кто ты есть,— только тогда это не будет раздражать близких и шокировать незнакомых. Все ясно? Капиталист? Так вот извольте быть самим собой. Можете называть себя по-старому — «капиталистом», а можете обозначаться «деловым человеком». Оставайтесь всегда Дорнброком. Мы ждем вас послезавтра.

Он приехал в Далем. Студенты собрались в громадной аудитории. Человек пятьдесят в зале, который мог вместить триста. Ганс начал свое выступление очень просто. Он сказал:

— Коллеги, признаться, не знаю, зачем я здесь понадобился... Я побаиваюсь стоять на этом месте — обычно здесь стоит экзаменующийся,— он широко улыбнулся, обернувшись к профессору,— и леденеет, потому что страшится корифеев, которые будут гонять вдоль и поперек, пока наконец выставят удовлетворительный балл. Думаю, целесообразнее так построить нашу встречу, чтобы вы спрашивали меня. Я готов отвечать на ваши вопросы.

Профессор экономики сказал:

— Было бы хорошо, если бы вы рассказали о вашей точке зрения на основные аспекты промышленного развития в мире...

— С удовольствием,— Ганс снова улыбнулся (улыбка у него была ослепительная, располагающая).— Теперь я готов говорить об этом без страха за балл...

Его перебила девушка. Она поднялась и сказала:

— Господин Дорнброк, неужели вам не совестно паясничать здесь, как дешевому актеру, когда на планете сейчас, в эти минуты, пока вы расточали улыбки профессорам, уже умерло пять человек от голода?! Расскажите нам о том, как вы собираетесь бороться с нищетой, неравенством и бойнями? Про аспекты промышленного развития в мире мы знаем не хуже вас!

Ганс тогда, после слов этой девушки, показался себе крохотным, совсем маленьким, как булавочная головка, и он все больше и больше уменьшался, он видел это как бы со стороны, и ему стало очень себя жаль, а потом он увидел, как студенты поднялись и, повернувшись к нему спиной, вышли из аудитории.

Ректор после говорил:

— Это коммунисты, это провокация, они будут наказаны.

Ганс ответил ему устало, ощущая тяжесть во всем теле:

— Они оперировали данными ЮНЕСКО... И они правы, потому что мне нечего им возразить... Правы они, правы — актер, балаганный шут! И не смейте впредь обращаться ко мне с просьбами о выступлении.

Ректор обозлился:

— В таком случае пожертвуйте свое состояние на строительство сиротских приютов и бесплатных клиник! Надо уметь отстаивать позицию! Если вы не научитесь этому, вас сомнут!

— Какая же у меня должна быть позиция? Мне стыдно смотреть им в глаза, профессор, потому что они живут впроголодь, а я катаюсь по миру на своем самолете...

— Ради удовольствия или для дела?!

— У нас дело — одно удовольствие,— ответил Ганс,— оно само катится, мы только успеваем подбирать деньги...

Когда через какое-то мгновение в кабаре врубили красно-зеленые софиты, Исии уже не было.

Дорнброк посмотрел на Роберта Аусбурга, представителя концерна в Азии, и сказал:

— Неплохо бы еще выпить. Только безо льда, это какое-то пойло — здешнее виски со льдом.

— Двойное?

— Тройное!

— Хорошо. Здесь надо много пить. С пóтом выходит вся гадость, утром свежая голова. Не верьте тем, кто болтает, что в тропиках нельзя пить. Это говорят алкоголики. Ну как Исии? Она фантастическая девушка. Ее многие боятся. Угадала что-нибудь?

— Вы славный парень, Роберт.

— Я старше вас на тридцать четыре года.

— Простите...

— Я ваш служащий. Мелкая сошка. Валяйте, говорите, что хотите. Но она чем-то вас задела. Или просто хороша? Она не продается, я это выяснил. Она мне нагадала скорый отъезд, и я решил попробовать ее. Она отказывает даже миллионерам, не только такой швали, как я.

— Хватит заниматься мазохизмом.

— Спасибо за совет. Э! Виски!— крикнул он официанту.— Тройной — боссу и четыре — мне. Просто стакан. И не лей туда воды, сукин сын!

— Вы здесь со всеми разговариваете по-свински?

— Нет, только с лакеями. Сошкам нравится унижать тех, кто стоит ниже их.

Ганс отошел к бару и выпил рюмку хереса. Заревел джаз. Он никогда не думал, что японцы умеют так играть «поп-мьюзик». Гастролирующие здесь японцы копировали негров, и это у них здорово получалось, потому что японцы женственны и ритм у них подчинен мелодии. В этом сочетании рева и тонкой мелодии «рев» бился, как слепой силач, прикованный к пронзительно-грустной мелодии, которая оставалась даже тогда, когда исчезала... Как луч света в темноте... Он ведь остается еще какое-то мгновение после того, как исчезнет,— либо зеленой, либо бело-дымчатой линией, либо еще более темной, чем окружающая ночь.

«Сейчас напьюсь,— подумал Ганс.— Эта сумасшедшая японка наговорила такого, что позволяет мне напиться. Я даже обязан напиться, а то не усну. Нельзя привыкать к снотворному, это хуже наркотика».

— Слушайте, Роберт, не волоките меня в отель, ладно? — сказал он, вернувшись к столику.— Если я напьюсь, оставьте меня, потому что я могу оскорбить вас, а это плохо — вы ведь такая старая сошка...

— Почему вы решили, что я поволоку вас в отель? Возьмите такси, и шофер отвезет вас туда. И потом, на-

верное, ваши секретари уже ищут вас. Вы не сказали им, что едете сюда?

— Я не обязан им докладываться.

— Не врите. Не вы их хозяин, а они ваши хозяева. Что вы без них можете? Они вам пишут тексты выступлений, пока вы тут пьете. Они вам рассказывают обо всех изменениях на бирже и расшифровывают телеграммы от папы. Теперь чем выше тип, тем он больше подчинен шушере вроде меня. Вы без нас ни черта не можете. Сами настроили заводов, а теперь не можете с ними справиться. Но вы остаетесь в истории, а нас, ее истинных творцов, забывают через день после смерти.

— Хотите, я вас поцелую?

— Конечно, не хочу. А зачем, собственно, вам меня целовать?

— Чтобы вы не обиделись, когда я пошлю вас к черту.

— Не надо посылать меня к черту, Ганс. Я должен сопровождать вас в Кантон, а там без моего китайского ваши секретари не поймут ни слова. Они учили китайский в Киле, а я в Сингапуре и Кантоне. Вам понравился Сингапур? Или Тайбэй интересней? Не смотрите, не смотрите, японка в зал не выходит... Я же говорю — она не шлюха... А вот сейчас я поеду к настоящим шлюхам. Хотите? Тут есть пара славных камбоджиек. Они на втором месте после вьетнамок в Азии. Едем?

— Нет. Спасибо.

— Почему? Боитесь, что заснимут на пленку и потребуют денег? Вы для этого слишком независимый человек... Вы ж не мелкий шпион... Вас не надо перевербовывать. Будьте здоровы! Пейте же, мне одному при вас не положено. А то хотите, здесь есть один великолепный клуб: моряки, сделавшие себе операции, чтобы стать женщинами.

— Я могу сблевать, Роберт...

— Ну и что? Подотрут. Только на танцплощадке не блюйте — кто-нибудь поскользнется, и вам намоют рожу.

— Слушайте, идите к черту...

— Иду, мой господин, иду... Между прочим, настоящий черт похож на Фернанделя... Такой же добрый...

Когда Роберт уехал, Дорнброк выпил еще два тройных виски, долго говорил с кем-то, потом дрался, но очень вяло — так же, как и его противник, целовался с бармe-

ном, плакал, когда в кабаре стало пусто, и не помнил, как заснул. Он, наверное, спал долго, потому что, когда проснулся, в окнах уже родился тяжелый рассвет. Он сначала увидел рассвет в окнах, а потом увидел у себя под глазом чьи-то пальцы, почувствовал, как тепло ему лежать на ладони — маленькой, мягкой и крепкой.

Он поднял голову: напротив него сидела Исии.

В серых рассветных сумерках в пустом кабаре лицо ее было совсем другим: пепельным, с синими тенями под глазами и таким красивым, что Ганс сразу же вспомнил Суламифь.

— Зачем вы мне вчера так говорили?

— Я позволяю себе делать то, что хочу... Нам так мало отпущено, да еще делать то, что противно твоему существу... Ложь противна нашему существу.

— А делать больно — это приятно вашему существу?— Ганс поднялся.— Тут выпить нечего?

— Можно взять с полки. Бармен ушел спать, я просила его не будить вас. Вы так сладко спали...

Он взял с полки бутылку виски, налил себе и выпил.

— Кто вам рассказал обо мне?

Она пожала плечами, ничего не ответила, только вздохнула.

— Выпейте.

— Я не пью.

— Почему? Я не стану тащить вас к себе.

— Я понимаю. Просто мне нельзя пить.

— Почему? Надо пить. Всем. Особенно в тропиках.

— Вы, вероятно, не англичанин? У вас очень заметный акцент.

— Я немец.

— Я только два раза видела немцев. В Таиланде и Сайгоне. Они на вас так непохожи: такие шумные...

— Вы знаете, как тяжело и не нужно жить, если тебя никто не любит? — спросил он неожиданно для себя и испугался.

Она тихо улыбнулась:

— Не пугайтесь... Это я заставила вас сказать так.. Вы же не собирались говорить этого. Это у вас было на самом донышке, вы даже не знали, что в вас живут эти слова... А они в вас живут, иначе бы вы их не сказали...

— Зачем вы просили меня сказать это?

Она пожала плечами:

— Не знаю...

— Тогда вы хуже, чем уличная шлюха! Ясно?!— он рассвирепел.— Зачем вы заставили меня сказать вам это?! Зачем?!

— Бедный вы мой... Я и сама не знаю, зачем я заставила вас сказать это... Простите меня...

4

Доктор Ваггер, друг прокурора Берга, заехал за Люсом в «Гренаду» в восемь часов.

— Читайте этот документ,— сказал Ваггер, резко взяв с места на второй скорости,— сейчас я вам не могу его передать, я его отправлю на ваш адрес в Европу с моим верным товарищем. А пока запомните детали, вам это пригодится. Свет не включайте, не надо... Нагнитесь к щитку — так вам буде виднее... Куда вас отвезти?

— В университетский клуб,— ответил Люс и развернул хрустящие странички, переснятые на копировальной машине...

«56/19-5. Гонконг. По шифру председателя.
Совершенно секретно. Р. Аусбург —
Ф. Дорнброку, Бауэру.

Встреча с китайской стороной состялась сегодня, в 10.00 по токийскому времени. Присутствовал председатель наблюдательного совета концерна «Лим лимитед» и «Чайна бэнкинг корпорейшн» мистер Лим и два неизвестных мне господина в полувоенной форме. Судя по поведению мистера Лима, он в данном случае был лицом, подчиненным этим двум господам. Один из них, лет тридцати восьми (фото, сделанное с помощью микрокамеры, прилагаю), был отрекомендован мистером Лимом как генерал авиации. (Поскольку полный отчет о беседе уже отправлен с нашим самолетом, я не останавливаюсь на деталях, с тем чтобы сосредоточиться на главном событии переговоров.) Генерал начал беседу после вступительного слова мистера Лима, заверившего китайскую сторону в том, что «Дорнброк К.Г.» готов в самый короткий срок вторично провести монтаж и испытание Н-бомбы, а за-

тем приступить к опробованию средств доставки и управления. Генерал, выразив удовлетворение нашим сотрудничеством, отметил, что наш концерн точно выполнил взятые на себя обязательства, однако, как мы и предполагали, он добавил, что китайскую сторону не может далее устраивать положение, при котором всего лишь трое китайских ученых принимают участие в теоретической разработке и математических расчетах, в то время как с нашей стороны работает двадцать девять специалистов. Я рассчитывал, что г-н Дорнброк-сын внесет то компромиссное предложение, которое было санкционировано группой Н в совете наблюдателей нашего концерна. (Я был убежден после встреч с м-ром Лимом, что наше компромиссное предложение о расширении количества китайских ученых в разработке и расчетах Н-оружия с трех до одиннадцати человек устроит наших контрагентов при условии, что мы передадим две бомбы из пяти, которые предполагается произвести в следующем году, в распоряжение китайской стороны «для охраны своих национальных границ в случае вторжения противника».) Однако неожиданно для меня и для м-ра Лима, сносившегося накануне с д-ром Бауэром, г-н Дорнброк-сын отказался подписать протокол, который бы давал санкцию на увеличение количества китайских ученых в совместной работе над Н-оружием. Генерал задал вопрос: «Является ли эта точка зрения личным мнением г—на Дорнброка, или же это мнение большинства членов наблюдательного совета концерна?» Г-н Дорнброк в резкой форме ответил, что «наш концерн является семейным концерном и мнение большинства утверждается или опротестовывается отцом. Впрочем, без моего согласия,— добавил он,— окончательное решение любого вопроса невозможно». Генерал поставил вопрос в иной плоскости. «Следовательно,— заметил он,— дальнейшее продолжение переговоров вам представляется нецелесообразным?» Я ждал, что Дорнброк-сын решится на проведение оправданно жесткого кур-

са — по всему было видно, что генерал согласится на наш приоритет в дальнейших теоретических поисках и вопрос будет стоять лишь о передаче китайской стороне двух или трех бомб. Однако г-н Дорнброк-сын ответил в том смысле, что дальнейшие переговоры бесполезны. Китайская сторона была явно обескуражена таким поворотом событий, неожиданным как для меня, так и для м-ра Лима, поставленного в крайне затруднительное положение. Таким образом, переговоры прерваны, и ответственность за срыв переговоров лежит на нашей стороне. Мы будем вынуждены удовлетворить все претензии по неустойкам, которые предъявит нам м-р Лим и те господа, с которыми он сотрудничает. Жду указаний.

15 часов 52 минуты. *Аусбург*».

Ваггер высадил Люса за два квартала до университетского клуба.

— Присмотритесь к Уолтер-Брайтону,— посоветовал Ваггер,— вы с ним все время пикируетесь, а старик совсем не так уж плох. Звоните завтра, быть может, придут известия для вас...

5

Люс взглянул на часы, вспомнив о встрече с Хоа. Он засиделся в университетском клубе профессоров. Все-таки Уолтер-Брайтон был надоедливым собеседником.

Ваггер привез Люса в клуб потому, что Ганс Дорнброк дважды был здесь. Спрашивать о Дорнброке в открытую Люс не хотел. Он вообще никому, кроме Ваггера, не говорил о цели своей поездки. «Отдыхаю, смотрю мир, я раньше не был в Азии, это восхитительно — какой резервуар людских и промышленных мощностей; да, контрасты поражают, здесь бы снимать ленты о колониализме — не нужны декорации, картина могла бы получиться отменной, обязательно черно-белой, поскольку противоречия разительны, а сшибка добра и зла яростна — только черно-белое кино, только!» Он исподволь подходил к интересующему его вопросу, после долгих часов бесполезных, как ему

казалось, словопрений. Порой Люс выключался, особенно если собеседник был нуден и неинтересен; Люс лишь кивал головой, а сам анализировал те факты, которые ему удалось собрать за день. Пока что с фактами дело обстояло плохо. Он пошел на риск: попросил Джейн узнать у своих приятелей, как здесь проводил время Дорнброк. Он поначалу не хотел этого делать, но Ваггер ему сказал, что женщина эта странная, но честная, он имел возможность дважды убедиться в ее порядочности. «Не обращайте внимания на ее мужа. Он шпион, но кто сказал, что жена шпиона тоже из породы ищеек? Она не общается с ним, что-то у них неладно. Она им тяготится, Люс. Я не думаю, что дядя Сэм приставил ее к вам. Он вами, конечно, интересуется, вездесущий дядя Сэм, но только, мне кажется, она ему не служит. Мне было бы обидно ошибиться...»

Люс закурил и заставил себя вернуться к беседе: профессор Уолтер-Брайтон продолжал свой часовой монолог о функциональной роли закономерности в истории прогресса.

— Профессор, не надо гневить бога!— Люс поморщился.— О какой закономерности вы говорите?! Неужели прошлая война была закономерна? Или то, что сейчас делается во Вьетнаме? Неужели закономерны нацисты у меня дома? Неужели голод, фашизм, дикость, бомбежки угодны закономерности, запрограммированной — через наши гены — неким высшим разумом?!

Уолтер-Брайтон попросил себе еще стакан пива, отхлебнул глоток и сказал:

— Наше с вами мышление разнится в способе, но едино в выводе. Мы идем разными путями к единственно верному доказательству, закрепленному формулой. Я готов подстроиться к вашему способу мышления. Более того, я разовью этот ваш способ... Видите, я не называю методом то, что обязан называть методом, а подстраиваясь к вам с самого начала, называю это способом... Это то же, что эксперимент называть опытом. В этом громадная разница — эксперимент и опыт... Итак, я продолжаю вашу мысль: «Профессор Уолтер-Брайтон, о какой закономерности вы говорите!»

— Это уже было...— сказал Люс.— Это мой метод, а не ваш способ...

— Всегда считал немцев выдержанной в отличие от нас, американцев, нацией...

— Простите. Умолкаю.

— Только не навсегда,— заметил Уолтер-Брайтон и продолжал:— Так вот, после того, что уже было вами сказано, я стану говорить за вас то, чего вы еще не говорили... Не успели сказать — уговоримся считать так... Эйнштейн ведь начал свою теорию с вольного допуска: «Предположим, есть бог...» Так чего же не договорил Люс, разбивая доводы Брайтона? «Какая, к черту, закономерность,— не договорил мистер Люс.— Не далее как месяц назад в Китае взорвали бомбу. Все было подчинено этому взрыву, даже расчеты прогнозов в гидрометеорологическом центре: синоптики считали, что ветра не будет и облако уйдет вверх, к низким слоям атмосферы, а потом воздушные потоки рассеют радиоактивные осадки в безлюдных районах Тибетского нагорья и гобийских пустынь. Но случилось непредвиденное: воздушные потоки, зародившиеся за три часа до взрыва бомбы где-то около Гренландии, переместились в Азию и со стремительной, невероятной, непредугадываемой скоростью понесли облако от безлюдных пустынь к густонаселенным районам, и десятки не родившихся еще гениев, а подчас и незачатых были убиты волею случая... Непредвиденные потоки воздуха, которые пока бесконтрольны и неуправляемы, смогли убить двух Моцартов, которые родились бы в начале следующего века, одного Ганди, которому в момент смерти было семь минут, и он умер, потому что облако прошло над нашим городом (я сам наблюдал его движение), Резерфорда, который сосал материнскую грудь в Гонконге, и Христа, который играл в пряталки со своей сестрой в Маниле. Она, его сестра, останется в живых, потому что случилось глупое чудо: он облучился, а она нет... Вообще-то, первыми гибнут талантливые — это закон, увы... Следовательно,— должен продолжать мой друг Люс,— одно облако, рожденное одним взрывом ядерной бомбы, уже убило семь человек, искалечило сорок и убьет в течение ближайших трех лет еще человек двести-триста, по самым грубым подсчетам... О какой же закономерности развития вы тут болтали, американец?!» Но американец вам ответил,— сказал Уолтер-Брайтон,— это уже я говорю,— пояснил он,— закономерность всегда рождается случайностью; всякая случайность обязательно выражает какую-то закономерность. Ньютон случайно посмотрел на яблоню и вывел закон земного притяжения. Но ведь он не случайно смо-

трел на яблоню — дурак смотрит на нее чаще, чем гений; он попросту размышлял, и все его душевные и физические порывы были предопределены заранее рассчитанной программой научного подвига, лишь поэтому фиксация случайного сделалась первоосновой закона, определяющего бытие...

Уолтер-Брайтон снова отхлебнул пива и в тишине, которая была еще более явственной оттого, что под потолком мерно крутились лопасти пропеллера, разгонявшие влажный горячий воздух, добавил:

— А мои соплеменники во Вьетнаме... Я не думаю их оправдывать, спаси меня бог, это позор Америки. Что же касается новых нацистов в Германии, то это ваша забота, дорогой Люс. Я свое отбомбил в сорок пятом. Мы помогли стереть с лица земли Гитлера. Так отчего же сейчас снова появились гитлеровцы? Случайность? Или закономерность?

6

В вестибюле отеля Люса ждали журналисты.

— Что вас будет интересовать?— спросил он.—Подробности берлинского дела? Тогда разговор у нас не пойдет — об этом уже писали наши газеты.

— Вы сейчас в Азии,— заметил высокий молодой китаец с диктофоном на плече.— Мы не любим резкостей сначала, мы, впрочем, умеем быть резкими в конце. Почему вы решили, что нас интересует берлинское дело? Нас интересуете вы — художник Люс.

— Режиссера легко купить, сказав ему на людях, что он художник,— вздохнул Люс.— Мы все страдаем комплексом неполноценности, который замешан на избыточности честолюбия в каждом из нас.

— Значит, поговорим? — улыбнулся журналист к коллегам:— Пошли, ребята, Люс зовет нас.

Они спустились в темный бар; глухо урчал кондиционер, было прохлдано, Люс отчего-то вспомнил тот бар в Ганновере, где собрались старички из «лиги защиты чистой любви», и подумал, как давно все это было и каким он тогда был другим.

— Мистер Люс, я представляю газету «Дейли мэйл», меня зовут Ли Пэн,— сказал пожилой, в шелковом костюме седоватый человек,— мне хотелось бы спросить вас: почему вы пришли в искусство?

— Вопрос ваш необъятен. Мне трудно ответить на ваш вопрос. Вообще-то, я не умею говорить. Хорошо говорят поэты и критики... Видимо, человека приводит в искусство желание самовыразиться. Весь вопрос в том объеме информации, которым начинен человек. Что он может выразить? Исповедь хороша, если с ней пришел в мир Руссо. Или шофер, который отдаст себя в руки биофизиков, чтобы те записали на магнитофонную ленту, что живет в нем ежеминутно. Человек весь соткан из противоречий, в нем легко уживается зло с добром. И он, человек, всегда склонен видеть в себе добро. Я не хотел обидеть шофера, простите меня.

— Мистер Люс, вы сказали о комплексе неполноценности. Каждый художник страдает им?

— Категоричность вопроса предполагает категоричность ответа, а я не знаю, что вам ответить. Не просите меня отвечать за всех. Было бы замечательно, научись каждый отвечать за себя.

— Вы индивидуалист?

— Художник не может быть индивидуалистом, поскольку он стремится выразить себя не стене, а людям; каждый художник ищет аудиторию; разобщенность двадцатого века подвигнула искусство на рождение кинематографа: некто точно учел жажду зрелищ и гнет скуки...

— Значит, потребитель создает нужное ему искусство?

— Вам бы за круглый стол интеллектуалов,— усмехнулся Люс,— они великолепно пикируются и точны в рапирных ответах: я имею в виду руководителей интеллектуалов и критиков. А вообще-то вы правы: потребитель рождает искусство. Шекспира родил королевский двор, как, впрочем, и он впоследствии родил новый метод королевского правления, ибо владыки прислушиваются к мнению художника, даже после того, как они отдали приказ казнить его.

— Вы боитесь владык?

— Я боюсь конформизма. Владычество предполагает личностность, а это уже кое-что, поскольку есть возможность либо утверждать явление, либо бороться против него. Конформизм, как высшее проявление утилитарности двадцатого века, безлик, а потому могуч. Можно бороться с ветряными мельницами — их было в Кампо де Крип-

тано не более сорока штук. Невозможно бороться с конформизмом — он суть порождение машинной цивилизации.

— Значит, положение безвыходное, если вы не можете бороться с тем, чего вы больше всего боитесь?

— Положение трудное,— ответил Люс.— Я не оболыщаюсь, я выхода не предложу. Выход, видимо, будет предложен самим прогрессом, это явление саморегулирующееся. Я боюсь отнести себя к элитарному слою общества, это одна из форм расизма, однако, с моей точки зрения, лишь элитарный слой в обществе, выступающий в качестве некоего арбитра, морального арбитра, не позволит обществу остаться аморфным.

— Кого вы относите к элитарному слою общества? Только художников?

— Если рабочий мыслит, он по праву может считаться элитой в элите. Я считаю отличительной чертой элитарности умение мыслить революционно, вровень с прогрессом, наукой. Извечные ценности морали, которые несет в себе элитарная прослойка,— я отношу сюда не только людей высокого искусства и науки, но и тех, кто свято следует извечным принципам,— могут спасти человечество от того духа приспособленчества, который предполагает конформизм. В условиях конформизма слабые надевают личину силы, чтобы не быть освистанными, а всякое отклонение от стандарта несет человеку моральную, а подчас и физическую гибель — нет ничего страшнее слепоты общества, это страшнее, чем истинная слепота одного человека. И если я что-либо ненавижу, так это конформизм — оборотную сторону любого тоталитарного государства, нацистского в первую очередь.

— О вас пишут как о крайне левом. Вы действительно примыкаете к ультралевым?

— Я не очень-то согласен с делением искусства по принципу унтер-офицерской всезначимости. Достоевский считался крайне правым, а Вагнера причислили к лику ультра. Страшно, когда бездарь одевается в тогу левого...

— А когда талант примеряет пиджак правого?

— Мне нужны ордена и регалии для того, чтобы защищать мое искусство.

— Какими орденами вы награждены, мистер Люс?

— Я цитировал Стендаля.

– Что, с вашей точки зрения, определяет меру талантливости художника?

– Объем информации, заложенный в его произведении. Человечество здорово поумнело за последние годы. Необходимо соответствие, я бы сказал, опережающее соответствие художника и общества. Нельзя формировать общественное мнение, находясь в арьергарде знания. Трудно делать эту работу, состоя в рядах; этот труд допустим только для тех, кто вырвался в авангард мысли. Могут, конечно, не замечать, кидать камнями или улюлюкать – тем не менее правда за авангардом.

– Вы против традиций? Вы отвергаете Томаса Манна?

– Традиции, если они талантливы, всегда авангардны.

– Над чем вы сейчас работаете?

– Я хочу снять интеллектуальный вестерн.

– Тема?

– Я ищу тему,– ответил Люс, сразу же поняв, что этот вопрос маленькой фарфоровой китайской журналистки был продиктован из Берлина через мистера Лима.

– Вас не смущает презрение интеллектуалов – «серьезный Люс» ушел в жанр вестерна?

– Меня не смущают мнения. Как правило, боятся мнений люди, не уверенные в себе, в своей теме.

– Ваш интеллектуальный вестерн будет затрагивать вопросы политики?

– Не знаю. Пока – не знаю.

– А в принципе – вы не боитесь политики в искусстве? Высокое искусство чуждо политики, оно живет чувством, не так ли?

– Феллини как-то сказал мне: «Люс, если вы не будете заниматься политикой, тогда этим придется заняться мне». Я пообещал Феллини еще года два спокойной жизни. Феллини и Стэнли Крамер – две стороны одной медали, которую нелегально чеканят во всем мире, посвящая ее истине.

– Я читала критические статьи, посвященные вам, мистер Люс. Вас бранили за то, что вы следуете в своем творчестве дорогой обнаженной публицистичности. Поэтому вас относят к разряду деловых художников, прагматиков и конкретистов, творцов второго сорта. Вас это ранит?

– Художник, даже если он занесен официальной критикой в ряд творцов второго сорта, работающих предметно и прагматично, все равно есть человек, живущий без

кожи. Меня бы очень ранило это мнение, не знай я отношения к моей работе самой широкой аудитории. Я — вратарь, и мои ворота защищают не три бека, а миллионы моих сограждан.

— В своем фильме «Наци в белых рубашках» вы обрушились на господ из организации фон Таддена. Так ли страшны эти люди? Являются ли они представительной силой у вас на родине?

— Лучший способ изучить явление — это сконцентрировать внимание на крайних явлениях, ибо в них четко и перспективно заложена тенденция.

— Вы говорите сейчас как политик...

— Всякий художник — хочет он того или нет — политик. Трепетный художник, живущий вне политики, как правило, обречен на гибель, если только не случайное стечение обстоятельств, когда сильные мира сего — от литературы, политики или экономики — почему-либо обратят внимание на это явление и окажут ему свое покровительство.

— Вы исповедуете какой-нибудь определенный метод в кинематографе? Вы следуете кому-либо? Вы стремитесь быть последователем какой-то определенной школы?

— Следуют школе честолюбцы от искусства. Старые мастера кичливо ссылаются на школу учеников, выдвигая кандидатуры своих питомцев на те или иные премии. В искусстве нельзя следовать образцам. Последователем быть можно, а подражателем — недопустимо.

— Вы убеждены, что ваше искусство необходимо людям?

— Не убежден. Я прагматик, и порой меня одолевает мысль, что, быть может, мир в силах спасти гений физика и математика, который подарит человечеству средство защиты от уничтожения. Искусство обращено к личности, научно-технический прогресс — к обществу.

— Зачем же в таком случае вы живете в искусстве?

— Потому что я выполняю свой долг перед своей собственной совестью. Я воспитывался во время нацизма, а нацизм многолик и всеяден, а у меня есть дети. Я боюсь за них, и я в ответе за них перед богом.

— Вы считаете, что нацизм можно проанализировать, используя форму интеллектуального вестерна?— снова

спросила китаянка.— Почему бы вам не избрать иную форму, конкретную, построенную на фактах сегодняшнего дня?

Люс ответил:

— Спасибо за предложение, я буду думать над ним. До свидания, господа, мне было чрезвычайно интересно с вами...

7

...Он зашел в свой номер, разделся, влез в ванну и долго лежал в голубой холодной воде. Потом он докрасна растерся мохнатым полотенцем и убавил кондиционер. В номере уже было прохладно, и он подумал, что когда выйдет на улицу к Хоа, то на липкой ночной жаре снова схватит насморк. Он все время мучился насморками: и в Сингапуре, и в Тайбэйе, и в Гонконге. После прохлады закупоренного номера, где мерно урчит кондиционер, липкая жара улицы, потом холод кондиционированного такси — и жара, страшная, разрывающая затылок жара, пока дойдешь от такси до холодного аэропорта или до кабака, где кроме кондиционеров под потолком вертятся лопасти громадных пропеллеров, разгоняющих табачный дым.

«Я похудел килограмма на три,— подумал Люс, упав на низкую мягкую кровать,— прихожу в норму. Кто это говорил мне, что если ты жирен сверх нормы, то это вроде как целый день носить в руке штангу. Выходит, я каждый день таскаю штангу в десять килограммов».

Он посмотрел на часы, лежавшие на тумбочке: Хоа будет ждать меня в десять тридцать.

«У меня еще тридцать минут,— подумал Люс.— Можно успеть поработать...»

Люс поднялся с кровати, достал из портфеля диктофон и включил звук.

«Джейн. Нет, что вы, Фердинанд... Он был влюблен в нее.

Люс. По-моему, это естественное состояние для мужчины — желать ту женщину, в которую влюблен.

Джейн. Но он хотел жениться на ней... Вы ведь очень щепетильны в вопросах брака. Знакомство, дружба, потом помолвка, свадьба, а уже потом...

Люс. Кто это вам наплел? Мы не мастодонты.

Джейн. А я думала, вы это смогли сохранить в Германии.

Люс. Я же не думаю, что вы э т о сохранили у себя в Британии...

Джейн. У вас больше от традиций, чем у нас. Уж если англичане новаторы, так они во всем новаторы.

Люс. Почему вы говорите об англичанах «они». Можно подумать, что вы полинезийка.

Джейн. Я плохая англичанка, Фердинанд. Я просто никакая не англичанка. А может быть, я настоящая англичанка, потому что меня все время тянет на Восток.

Люс. А она очень красива?

Джейн. Кто? Исии? Очень.

Люс. Ноги у нее кривые?

Джейн. Что вы!.. У нее замечательная фигурка. Иначе кто бы ее пригласил в ночную программу? Такие «мюзикл» здесь очень дороги.

Люс. Я три дня проторчал в баре министерства информации, пока не докопался до фамилии продюсера, который привозил их сюда. Вы неверно сказали его имя.

Джейн. Почему? Синагава-сан.

Люс. Нет. Не Синагава, а Шинагава. Это, оказывается, большая разница. Мне еще надо узнать, где Дорнброк арендовал для нее дом...

Джейн. Вам не скажут. Там, где всеобщий бедлам, особенно тщательно следят за индивидуальной нравственностью.

Люс. Я звонил к этому самому Шинагаве... В Токио...

Джейн. Ну и что?

Люс. Он улетел на гастроли со своими девицами в Тайбэй. Я заказал себе билет на послезавтра.

Джейн. Летите «МСА». У них самое комфортабельное обслуживание и не было ни одного несчастного случая... Мне будет скучно без вас, Фердинанд... У вас сценарий как детективное расследование... Я никогда не думала, что банальную историю о миллиардере и бедной японочке из варьете можно повернуть таким образом, как это хотите сделать вы... К сожалению, я не видела ни одной вашей картины...

Люс. Слушайте, Джейн, я не могу понять: вы говорили, что он привозил к ней какого-то из ваших врачей. Но ведь они были знакомы только двадцать дней... Не могла же она за это время...

Джейн. Он любил ее, Фердинанд... Знаете, даже если у нее была беременность от другого, он бы все равно привез ей врачей...

Люс. А сам жил в другом отеле? И к ней приезжал только днем? И ограничивался тем, что танцевал с ней по вечерам в «Паласе», а днем валялся в вашем «свимминг-клабе»? Так, что ли?

Джейн. Надо придумывать для себя какой-то идеал... мечту... Без этого нельзя...

Люс. Про это я слыхал. Только не думал, что женщины тоже придумывают себе...всяческие химеры...

Джейн. Придумывают, когда плохо. Вы знаете, кому сейчас хорошо, Фердинанд? Я не знаю. Всем плохо. В той или иной степени, но плохо...

Люс. Как фамилия доктора, которого он привозил?

Джейн. Я этим не интересуюсь. Мы интересуемся только своими. Если бы она была англичанкой, я бы сказала вам, кто ее смотрел, что у нее обнаружили и как прошла операция, если она была сделана.

Люс. Вы бы мне очень помогли, Джейн, если бы смогли найти того врача.

Джейн. Постараюсь.

Люс. Хорошо бы это сделать сегодня или завтра в первой половине дня.

Джейн. Сегодня вряд ли. У нас сегодня дома какой-то банкет в клубе. Значит, никого не будет дома. Знаете, что делает англичанин, попав на необитаемый остров? Он сначала строит тот клуб, куда он не будет ходить...Скорее всего, я позвоню вам завтра до одиннадцати. Хорошо?

Люс. Знаете, за что я люблю англичан, Джейн? У вас в языке нет разницы между «вы» и «ты». Просто «you». Каждый волен понимать это обращение так, как ему хочется. Вы вообще-то демократичная нация — такая, как о себе пишете?

Джейн. Конечно. Демократичная. Дальше некуда. Когда мне было десять лет и я вместе с однокашником возвращалась из школы, отец спросил меня: «Надеюсь, он джентльмен?» А в пятнадцать лет мама спрашивала про каждую мою подругу: «Ты убеждена, что она настоящая леди?» Очень демократично.

Люс. Не люблю людей, которые ругают свою нацию.

Джейн. Я не человек. Я женщина. И мне очень нравилось, как Дорнброк говорил о вас, о немцах..

Люс. Ругал?

Джейн. Не всех.

Люс. Кого?

Джейн. Себя прежде всего. Но он говорил, что в нем сосредоточен немецкий дух со всеми комплексами: если уж доброта — до конца, а жестокость — то без колебаний и самотерзаний. Он очень верно сказал, что каждый человек обладает бесконечными потенциями — как в зле, так и в добре.

Люс. Где он это сказал?

Джейн. Когда напился в нашем клубе... Наверное, врачи сказали ему то, чего он не хотел знать. Ее часто тошнило, бедняжку...

Люс. А как же выступления?

Джейн. Она делала свой номер, а потом сразу же уходила к себе в уборную».

В диктофоне звук оборвался, и Люс вздрогнул, настороженно приподнявшись на локте.

«Психопат. Просто кончилась пленка в кассете. Чего мне сейчас-то пугаться? Ведь один. И свободен. Уверял себя, что дорожу жизнью только из-за детей. Значит, врал себе? Вообще, люди врут себе чаще, чем другим. Чужие могут схватить за руку, а сам все себе простишь».

Люс посмотрел на часы: было 10.20.

«Пора спускаться вниз... Пока оденусь... Он велел мне одеться как оборванцу. Расхотелось мне что-то идти в этот мужской бардак... Не хочется, и все тут. Господи, подумаешь, Хоа обидится... Ничего страшного. Я, конечно, благодарен ему за то, что он здесь для меня сделал... Если бы я ходил и спрашивал у каждого встречного азиата: «Что вы знаете про визит Дорнброка?»— меня бы давно засекли. У старика Дорнброка здесь наверняка есть свои люди. А так я собираю материалы к новому фильму о трагедии Востока. Пусть не поверят. Я сам просил Хоа показать мне здешние злачные места, которые типичны для постколониального общества... Но он ведь мне навязывал этот морской притон... А снять бы там, конечно, было здорово...» Люс достал из чемодана свои мятые, закапанные краской джинсы, которые когда-то были настоящими белыми «Ли», надел рубашку хаки, но, подумав, снял ее. «Решат, что я какой-нибудь военный янки из Вьетнама. Отлупят еще. Лучше надену синюю. Жарко, но это будет в самый раз».

Одевался он сейчас, как и думал, лениво, чуть заторможенно.

«А "Сестра Керри" сегодня смотрится как слащавое мещанство,— рассуждал Люс, натягивая мокасины,— черт меня угораздил зайти в кино. Надо беречь первые впечатления. Любил этот фильм, любил Драйзера — так нет, черт меня потащил в кино! Там же никакой информации — одни сантименты. Впрочем, мне предстоит в жизни сыграть роль Оливье, когда будет процесс с Норсй. Хотя тот был метрдотель и ему важны были его привычные условия: дом, манишка и положение в обществе. А мне хоть в конуре, только б работать».

Было 10.28. На улицах только-только зажигались огни.

«Хоа точен. Наверное, сейчас он подходит к стоянке такси. Чудак, почему не прийти сюда? — подумал Люс.— Хотя он объяснял: раньше англичане запрещали цветным входить в отели. Демократы, ничего не скажешь. А теперь цветным можно всюду ходить, но разве сразу выдавишь из человека то, что закладывалось столетиями? Черт, ну почему мне так не хочется идти в этот морской бардак? А чего мне хочется? Сесть в самолет, и вернуться в Берлин, и сказать Бергу, что я уже почти все нашел? А он спросит: «все» или «почти все»? Он страшно рассказывал, как погибли его жена, сестра, дети... «Моя сестра была ангел... Ее звали Кэтрин. В Греции мне говорили, что это имя бывает у женщин двух противоборствующих характеров: либо это святые и страдалицы, либо своенравные грешницы». Интересно, зачем он это рассказывал? Она всегда улыбалась, даже когда он беспробудно пил, работая нотариусом. «Она тайком продавала что-то, и дети были сыты, и всегда встречала меня с улыбкой, потому что она понимала, из-за чего я пью. Она понимала лучше всех врачей, что алкоголизм — это социальное заболевание. Или болезнь талантов. Когда спивается безвольная шваль — и лечить-то не стоит, туда ей дорога...» Люс спрятал блокнот в карман синей рубашки и взял ключ с тяжелой бронзовой бляхой, на которой был выбит номер его комнаты — 19.

В это время раздался телефонный звонок.

— Алло!— сказал Люс, проклиная себя за то, что снял трубку.

— Хэлло, Фердинанд, это Джейн. Вы должны мне гинею: я нашла доктора!

— Я всегда путаюсь в ваших деньгах. Гинея — это больше фунта или меньше?

— Ладно, дадите пенс. Я знаю, что немцы самая скупердяйская нация в мире. Вы можете сейчас приехать в клуб?

— У меня встреча.

— Когда?

Было 10.32.

— Меня уже ждут.

— Что-нибудь важное?

— Не то чтобы очень. Но я просил мне помочь одного человека...

— Этот человек мужчина или женщина?

— Ах, вот как?

— Конечно. Вы не догадывались?

— Если бы! Вы как сосулька...

— Длинная?

— Холодная.

— Ладно, приезжайте с вашим приятелем, я попробую вас разубедить. Я не холодная. Совсем наоборот. И доктор Раймонд здесь. Я накачала его элем, теперь он расскажет нам все, что угодно.

— Господин Хоа, добрый вечер, простите, что я задержался...

— О, мистер Люс, мы приучены к ожиданию... Как вы себя чувствуете? Кажется, неплохо, а? Вы отлично переносите жару. Многие европейцы здесь совершенно изнемогают и все время отлеживаются в номерах. Вот тот автомобиль наш. Я заарендовал это такси.

— Я плачу, естественно. Только мы несколько изменим маршрут, господин Хоа. Нас ждут в клубе... У меня там одна встреча. Вы выпьете пару стаканчиков виски, а я поболтаю с нужным мне человеком...

— В каком клубе, мистер Люс?

— В «Олд Айлэнд».

— Это невозможно, мистер Люс. Мне запрещен вход в этот клуб.

— Что?! Вы мой гость. Я приглашаю вас, господин Хоа...

— Большое спасибо, мистер Люс, но, пожалуйста, не приглашайте меня в «Олд Айлэнд». Я в данном случае дорожу не столько своей, сколько вашей репутацией. От вас

отвернутся знакомые... Это клуб для белых аристократов... Если бы это был «Нью Ланкэстр филдс», я бы еще согласился, туда имеют доступ несколько наших, им выдали гостевые билеты, но «Олд Айлэнд»... Нет, мистер Люс... Лучше я подожду вас где-нибудь в городе. И если у вас еще не пропало желание посмотреть этот морской вертеп, я отвезу вас туда,— Хоа улыбнулся,— в этот клуб вас не пустят без моей рекомендации...

— Нет. Так не пойдет. Я пригласил вас в клуб, и вы меня обидите, господин Хоа, если откажетесь.

— Поймите, мистер Люс...

— Все. Дискуссия закрыта,— сказал Люс и назвал шоферу адрес «Олд Айлэнда».

Когда Люс и Хоа вошли в «Олд Айлэнд», портье, высокий китаец с плоским лицом, преградил дорогу Хоа и негромко сказал ему что-то. Хоа в нерешительности остановился.

— Этот джентльмен («Привет, Джейн! Хорошо, что она рассказала про своего папу»)— мой гость. Нас ждет миссис Джейн.

Портье помедлил минуту.

— Позвольте, сначала я найду миссис Джейн, сэр,— сказал портье.— В наш клуб вход цветным категорически запрещен. Я очень сожалею, сэр...

— Хорошо, мы подождем,— согласился Люс и почувствовал, что свирепеет.

Хоа сказал шепотом:

— Если бы на вашем месте был англичанин, он бы ударил портье за такой ответ. Портье понял, что вы не англичанин. Позвольте мне уйти, мистер Люс.

— Как вам не стыдно, мистер Хоа? Здесь ваша страна, в конце концов. Научитесь уважать свою нацию. А по морде я бью только врагов. Чем виноват этот несчастный?

— Ну что вы... Он несчастный? Он очень уважаемый человек, этот мистер Ю Ли. Он так богат... Я бы мечтал, чтобы мой сын смог стать таким человеком, как мистер Ю Ли.

— Он лакей...

— Да, но он лакей в белом клубе.

Джейн выбежала из небольшого белого дома в глубине сада. Какое-то мгновение она вглядывалась в кромеш-

ную темноту тропической ночи, а потом, заметив, видимо, белые джинсы, бросилась через громадный, подстриженный как футбольное поле газон к Люсу. Следом за ней, чуть покачиваясь, шел маленький кривоногий человек в мятом белом костюме. Джейн обернулась и крикнула:

– Док, скорей!

– Сначала научитесь напиваться, а потом будете торопить,– буркнул доктор Раймонд.– Распустили женщин, боже мой, как распустили женщин...

Джейн, радостная, подбежала к Люсу, но, увидев рядом Хоа, остановилась, будто натолкнувшись на невидимую преграду.

– Хэлло, Джейн,– сказал Люс,– это мой друг, мистер Хоа.

Джейн, помедлив самую малость (но эту «малость» успел заметить Люс), протянула руку Хоа:

– Хэлло, мистер Хоа, рада вас видеть. Это доктор Раймонд.

Доктор близоруко посмотрел на Люса, потом перевел взгляд на Хоа и, не протянув ему руки, спросил:

– Это он вас пригласил?

– Да, сэр,– поклонившись, ответил Хоа с замершей улыбкой.– Я предупреждал мистера Люса, что могут быть неприятности.

– Пошли,– сказал доктор,– я люблю злить наших подонков. И перестаньте заученно улыбаться, я скажу всем, что вы личный представитель генералиссимуса. Посмотрите, как они будут жать вам руку.

– Не надо этих игр, доктор,– попросил Люс.– Он не представитель генералиссимуса, а просто славный китаец...

– Не надо, так не надо,– согласился доктор.– Чем дальше провинция, тем больше мещанской чопорности, маскируемой под истинный аристократизм. Полгода я приучал их к тому, что блюю на газон. Ничего, приучил...

Люс остановился и, достав сигареты, закурил.

– Поскольку, как я понял, возможны всякие неожиданности в клубе, доктор,– сказал он,– у меня будет просьба... Если Джейн любезно займет мистера Хоа разговором, я задам вам пару вопросов...

– Ол райт,– согласилась Джейн и, взяв Хоа под руку, пошла с ним по газону к пруду, где в плетеных креслах

сидели несколько человек и о чем-то громко разговаривали; иногда они начинали очень громко смеяться, и Люс успел подумать: «Зря она туда повела его. Они же пьяные».

— Доктор, Ганс Дорнброк был моим хорошим другом. Он погиб...

— Читал. Меня это несколько удивило. Он плакал, как маленький, когда я ему сказал, что его девочка обречена, что у нее рак крови... Смешно, не будь лейкемии у этой девочки... Я еще поражаюсь, как она столько лет протянула... Она родилась в Хиросиме после взрыва, и ее родители отдали богу душу из-за рака крови.

— А беременность?

— Какая беременность? Вы что, с ума сошли? Она не могла беременеть, что вы, Люс...

«Уолтер-Брайтон,— вспомнил Люс,— облако над городом».

Люс увидел, как поднялись люди около пруда и как там воцарилось молчание, когда туда подошли Джейн и Хоа. Он слушал только прерывающийся от волнения голос Джейн.

Люс сказал:

— Док, ну-ка пошли туда...

— Считайте, что вы получили еще один сюжет для будущих работ: колонизаторы унижают вашего китайского друга...

Люс подбежал вовремя. Высокий парень в белом смокинге и серых брюках надвигался на Хоа, который был бледен, это было заметно даже сквозь его темный загар.

— Ах ты, желтый! Ты друг Люса? — говорил высокий.— А где этот твой Люс? Ты посмел прийти сюда со своим другом? Тебя зовут мистер Хоа? Да, Джейн? Его зовут мистер Хоа?

— Прекратите, Ричмонд, это ужасно. Что вы делаете?

— Простите, Джейн, но я не делаю ничего, что противоречит уставу нашего клуба.

Люс остановился перед Ричмондом и сказал:

— Вы меня искали? Я — Люс.

— Кто вы — мистер Люс?

— А вы кто — Ричмонд? Или как вас там? Вы позволили себе быть непочтительным с моим другом, которого я пригласил в ваш клуб.

Люс почувствовал, как его начало трясти.

Ричмонд растерянно посмотрел на окружавших его людей и сказал:

— Этот джентльмен дурно воспитан... Как вы разговариваете в клубе?

— Нет, это я хотел спросить, как вы разговариваете в вашем клубе? Я буду очень рад, если однажды ваше длинное тело вытащат из здешнего вонючего канала... мне казалось, что это так жестоко — убивать белых миссионеров... Честное слово, я бы и не подумал помочь вам, если бы вот такая же орава китайцев, как ваши друзья, преследовала вас, как это делаете вы сейчас с мистером Хоа.

— Он личный посланник генералиссимуса,— рассмеялся доктор.— Бросьте, ребята! Надо помириться. И пошли выпьем...

— Он просто-напросто мой друг. У него свой маленький частный бизнес, и он не от Чан Кай-ши. Пошли, Хоа, из этого хлева. Пошли.

Он повернулся и быстро пошел к выходу. Джейн бежала рядом с ним и повторяла все время:

— Фердинанд, милый, простите их, они пьяны...

— Трезвые они бы просто отвернулись от него,— он кивнул на Хоа, по-прежнему стремительно вышагивая,— или бы даже милостиво протянули два пальца.

— Позвольте мне уйти вместе с вами, Фердинанд...

— Я ухожу отсюда вместе с моим другом...

— Мистер Хоа, простите этих людей, я прошу вас... Они пьяны...

— О, что вы, миссис Джейн,— по-прежнему улыбаясь своей обязательной улыбкой, ответил Хоа. Он был все так же бледен, и в темноте это было заметней, чем возле фонарей, которые горели вокруг пруда.

Люс вышел из клуба первым, следом за ним — Джейн и Хоа. Когда он подходил к машине, он услыхал сзади тяжелые шаги быстро бегущего человека и крик Джейн:

— Люс!

Он обернулся. На него бежал Ричмонд, выставив вперед кулаки.

Джейн бросилась к Люсу, закрыла его собой и стала отталкивать к машине.

— Хоа!— крикнула она беспомощно.— Суньте его в машину! Ричмонд, милый, не надо! Завтра вам будет стыдно! Фердинанд,— она умоляюще обернулась,— сядьте в такси, он изувечит вас!

Люс дал посадить себя в машину, но, когда они отъехали, он начал ругаться:

— Поверните обратно! Я говорю вам — поверните обратно! Вы не дали мне ударить его! Поверните обратно, шофер!

Джейн открыла окно, и в машине, где глухо урчал кондиционер, сразу же стало жарко. Она высунула лицо навстречу ветру и тихо сказала:

— Фердинанд, таких, как вы, ричмонды всегда будут бить... Поэтому-то вы мне и нравитесь...

«ВЫ ЖЕ ОТЕЦ, ГОСПОДИН ДОРНБРОК!..»

В восемь утра Берг позвонил в секретариат Дорнброка.

— Доброе утро, говорит прокурор Берг. У меня есть необходимость встретиться с господином Дорнброком.

— Доброе утро, господин прокурор, председатель нездоров, однако я доложу его помощнику о вашем звонке.

— С кем я говорю?

— Это секретарь помощника господина председателя.

В трубке что-то щелкнуло, и настала полная тишина.

Берг еще раз проглядел те вопросы, которые он собирался задать Дорнброку.

— Дорнброк слушает...

— Доброе утро, это прокурор Берг.

— Здравствуйте. Вы хотите, чтобы я приехал к вам? Или в порядке одолжения вы сможете приехать ко мне? Я болен...

— Если врачи не будут возражать, я бы приехал к вам немедленно.

— Врачи, конечно, будут возражать, но я жду вас.

Дорнброк, укутанный пледом, лежал на тахте как мумия. На черно-красном пледе его большие руки казались особенно белыми.

— Я понимаю ваше горе, господин Дорнброк, поэтому задам лишь самые необходимые вопросы.

— Благодарю вас.

— Скажите, ваш сын был здоров? Совершенно здоров?

— Вы имеете в виду его душевное состояние? Он был здоров до того, как отправился в поездку по Дальнему Востоку. Он вернулся оттуда иным... Совершенно иным.

Я не узнал Ганса,когда он вернулся оттуда.

– Чем вы это можете объяснить?

– Не знаю.

– У вас есть враги, которые могут мстить?

– Враги есть у каждого человека. Могут ли они мстить мне, убивая сына? Или воздействуя на него какими-то иными способами, доводя его до самоубийства? Я не могу ответить на этот вопрос.

– Когда вы видели сына последний раз?

– Вечером накануне трагедии.

– Где?

– Дома.

– У вас не было никакой беседы с сыном?

– Была.

– О чем?

– О наших делах.

– Он был спокоен?

– Нет. Он был взволнован.

– У вас, отца, нет объяснений этой взволнованности?

Дорнброк отрицательно покачал головой.

– Вы верите в то, что ваш сын мог покончить с собой?

Дорнброк смотрел на Берга и не говорил ни слова. Они смотрели друг на друга, и лица их были непроницаемы.

Берг, впрочем, заметил, как дрогнули губы Дорнброка, это было только одно мгновение, но и Дорнброку было достаточно одного лишь мгновения, чтобы увидеть, как прокурор заметил эти его дрогнувшие губы.

«Ну и что? – глядя на Берга, думал Дорнброк.– Ну и что, прокурор? Ты идешь по горячему следу, но моего мальчика больше нет. Нет больше моего Ганса, а если я сейчас назову тебе имя, тогда не будет моего дела, и тогда уже вовсе ничего не останется в этом мире...»

– Вы можете сказать мне, что́ вменялось в обязанности вашему сыну во время его последней поездки?

– То же, что и всегда: решение дел, связанных с производством и финансированием нашего предприятия.

– Вы можете ознакомить меня с деловыми бумагами, со всеми документами, связанными с его поездкой?

После долгого молчания Дорнброк ответил:

– Я должен согласовать это с наблюдательным советом.

— Когда мне следует ждать этого согласования?
— Как только врачи позволят мне встать.
— По телефону согласовать нельзя?
— У нас так не принято.
— Но если этого потребуют определенные обстоятельства, можно рассчитывать на ваше содействие?
— Если обстоятельства расследования окажутся столь серьезными, я пойду на то, чтобы вынести этот вопрос на правление без моего личного участия.
— В какое время вы виделись с вашим сыном в тот трагический день?
— Это было вечером.
— Конкретно.
— Не помню.
— В шесть?
— Позже.
— В восемь?
— Не помню.
— Как долго продолжалась ваша беседа?
— Не более часа.
— И потом ваш сын уехал?
— Я этого не видел.
— Больше вы с ним не встречались?
Дорнброк отрицательно покачал головой и ничего не ответил.
— Значит, вы с ним больше не встречались? — повторил Берг настойчиво, и Дорнброк понял, что в портфеле у прокурора записывающее устройство.— Я понял вас правильно?
«Я вижу,— думал Берг.— Я все вижу. Ты хочешь что-то мне сказать, старик... Скажи, все равно ведь тебе не жить спокойно... Всегда перед тобой будет стоять лицо сына... Ты ведь знаешь, кто погубил его. Ну скажи!»
Дорнброк выдержал его взгляд, но почувствовал, как стало резать в глазах. Он притронулся пальцем к сухим векам и ощутил резкую боль.
— Вы не упустили никаких деталей, которые позволили бы мне найти убийцу вашего сына? — тихо спросил Берг.— Я найду его, господин Дорнброк. Только с вашей помощью я бы сделал это значительно быстрее... Вы же отец, господин Дорнброк...
Дорнброк закрыл глаза, давая понять, что он очень устал.

— Итак, вы считаете возможным самоубийство вашего сына? — тихо спросил Берг.— Вы, отец, считаете это возможным?

И Дорнброк, не открывая глаз, ответил:

— Да.

...Берг знал теперь почти все о последнем дне Ганса Дорнброка. Он опросил сорок семь свидетелей и сейчас имел точную схему того рокового дня. Оставался лишь один пробел. Берг знал, что, вернувшись из Токио, прямо с аэродрома Ганс поехал на теннисный крот. Он сыграл два хороших гейма один на один с тренером Людвигом, потом провел шесть геймов в паре с Вилли Доксом, журналистом из Лондона, а после этого, приняв горячий душ, отправился в свое бюро.

Берг знал теперь, что секретарь передал Гансу список звонивших во время отъезда. Набралось три странички плотного машинописного текста. Ганс пробежал фамилии, споткнулся на одной — «Павел Кочев. Болгария», поинтересовался:

— Кто это?

— Ученый из Болгарии. Стажируется в Москве. Хотел встретиться с вами.

— Это его телефон?

— Да. Но я думаю, что он уже уехал. Звонок был неделю тому назад.

— Что ему нужно?

— Он не сказал об этом. Он лишь поинтересовался, не можете ли вы с ним встретиться.

— Благодарю вас. Попросите ко мне доктора Бауэра.

Но Берг не знал, о чем беседовал Ганс с Бауэром, и это был тот главный пробел, который сводил на нет все доказательства прокурора...

...Когда Бауэр вошел к Гансу, по обыкновению подтянутый, улыбающийся, Дорнброк представил себе, как сейчас изменится Бауэр, когда он скажет ему о провале переговоров с Лимом. Ганс знал, что всю предварительную работу проводил Бауэр, и понимал, какой это будет для него удар,— отец простит Ганса, но он никогда не простит провала Бауэру.

— Я должен вас огорчить,— сказал Ганс,— наши азиатские планы подлежат переосмыслению.

— Да? — удивился Бауэр.— А мне казалось, что там все отлажено достаточно точно.

— Мне тоже так казалось поначалу. Однако неразумное упорство китайской стороны...

Бауэр перебил его:

— Это ерунда, дорогой Ганс! Пусть вас это не тревожит.

— Меня это перестало тревожить лишь после того, как я отказал им в паритетности...

— Ну, это не беда,— сказал Бауэр,— я уже послал шифровку Лиму, что Фридрих Дорнброк, в отличие от Ганса Дорнброка, согласен на их условия. Видимо, послезавтра я полечу туда, подпишу соглашение. Лиму прилетать сюда неудобно, вы же знаете — мы здесь на виду...

Бауэр сейчас не улыбался. Он смотрел на Ганса с нескрываемым презрением, и лицо его было как маска.

— Кто... Кто позволил? — спросил Ганс, поднимаясь из-за стола.— Кто вам санкционировал это?

— Я же сказал — ваш отец. И группа членов наблюдательного совета, посвященная в Н-план.

— Я опротестую это решение.

— Вы опоздали. Решение утверждено всеми членами наблюдательного совета. Закон против вас.

...Ганс увидел Исии утром, после того как от нее ушел доктор Раймонд из английской колонии. Она казалась ему прозрачной — так бледно было ее лицо и тонкие руки. Он сказал ей тогда, обняв, что больше никогда над ней не будет радиоактивного облака, и все наладится, и болезнь ее пройдет, и увез ее в тот же день в Токио.

— Я обращусь в прессу, Бауэр.

— Пожалуйста.

— Это будет скандал.

— Скандала не будет. Мы докажем, что вы заболели.

Бауэр тяжело смотрел на Ганса, но его лицо — все, кроме глаз,— было по-прежнему улыбчивым, открытым и добродушным.

«Что, мальчик? — думал он.— Получил? Барский сын решил поиграть в добродетель? Мелюзга, на что замахиваешься?! Я шел к моему делу через голод, унижения и предательство идеалов. Как я плакал по ночам, когда начал служить твоему отцу?! Как я скрывался от моих прежних друзей?! Как я стыдился самого себя! Но мне никто не помог кормить мать, сестер и дядю — никто! Когда твой отец сидел в тюрьме, тебя все равно возили в школу на «майбахе» и жил ты в пятикомнатном номере, в лучшем отеле Дюссельдорфа, потому что вашу виллу отобрали американцы! Когда я голодал, а твой отец сидел в тюрьме, тебе все равно привозили парное мясо из Баварии, а я пил морковный кофе, защищая в суде бедняков, виновных лишь в том, что они бедняки... Что, барский сын?! Ты, кажется, хочешь драться? Я уничтожу тебя, маленький сытый барин, потому что моя жизнь стоила мне горя и чести, а тебе твоя жизнь ничего не стоила... Чего же она вообще стóит?»

Ганс опустился в кресло, закурил.

— Я вам еще нужен? — спросил Бауэр.

— Если позволите, я задержу вас на несколько минут...

— О да, конечно... Как слеталось? Много впечатлений? Говорят, Азия — это фантастично? Мистика и надмирность... А какие женщины! — вдруг рассмеялся Бауэр.— Я возьму у вас консультацию перед вылетом, ладно?

«Они знают все об Исии,— понял Ганс.— Они там смотрели за мной».

— Послушайте, Бауэр,— сказал он,— вам всего пятьдесят один год. У вас здоровье спортсмена. У вас впереди лет двадцать интересной, счастливой жизни. Почему вы добровольно подчиняете себя делу, а не радуетесь ему? Зачем вам затея с бомбой? Я понимаю — отец... Он человек прошлого, но зачем это вам?

Бауэр мгновение раздумывал.

«Впрочем, почему бы не попробовать,— решил он,— коалиция с Гансом в будущем допустима, если он отойдет, предоставив право решать тем, кто может решать. Я могу его смять, но отец есть отец, самые неожиданные качества в человеке — родительские. Я попробую предложить компромисс этому изнеженному барскому сыну, но это будет последняя попытка мира...»

— Вы больно бьете,— сказал Бауэр.— Ганс, дело — это не ваша стихия. С детства вы не выработали в себе

дисциплины обязательности. Вы живете рефлектируя. Я на это не имею права. Мы не отдадим кнопку мистеру Лиму, даже если его друзья будут владеть тремя бомбами. Они идут на то, чтобы исполнять роли статистов, они требуют лишь соблюдения приличий. В конце концов они примут нашу доктрину, а не мы их. Это аксиома. Они отстали, они ничего не смогут без нас. Надо же думать о будущем, Ганс!

— Кнопка в ваших руках, а испытания в чьих?!

Бауэр вздохнул:

— Ганс, вы сосредоточиваете внимание на второстепенных, хотя и крайне болезненных, вопросах... Так нельзя. Если бы вы предложили разумную альтернативу сегодняшнему статус-кво в мире, я бы пошел за вами. Но идти все-таки придется вам за мной.

Бауэр потянулся и цыкнул зубом. Если бы он ушел сразу же, без этого цыканья и не потягиваясь лениво и снисходительно, Ганс, возможно, не стал бы звонить сначала Люсу, а потом, заметавшись, к болгарину из Москвы. Но у него не было выхода: послезавтра Бауэр вылетает в Гонконг, а там Ганс ему не сможет помешать.

Болгарин еще не уехал. Ганс позвонил по оставленному болгарином телефону и передал, что он с радостью увидит господина Павла Кочева в «Ам Кругдорфе» вечером, часов в одиннадцать.

«Пусть,— решил Ганс.— Черт с ними! Я ударю с двух сторон. Где выйдет. Я предложу Люсу войти в драку: если я дам имена, места и шифры, мир возмутится, и моему старику придется отступить. Болгарин — подстраховка. Откажись Люс — я разрешу болгарину опубликовать мои данные».

После этого Ганс уехал в институт медицины, чтобы обсудить болезнь Исии и разработать курс лечения. Ганс рассчитывал отправить к ней врачей в течение этой недели, а следом за ними вылететь в Токио самому... А уж после этого отправился домой. После двухчасового объяснения с отцом он поехал в ресторан «Ам Кругдорф», а оттуда — к Люсу.

...Последние годы Фридрих Дорнброк жил по методу «минутного графика». Об этом ему рассказал Дюпон.

«Знаете,— говорил Дюпон,— мне девяносто восемь, но я не ощущаю возраста. Надо подчинить себя времени. Вам, немцу, сделать это значительно легче, чем мне, американскому французу». «Я живу во времени,— ответил тогда Дорнброк,— у меня расписан каждый час, смешно было бы нам жить как-то иначе». «У вас расписаны часы, и это плохо,— сказал Дюпон.— Это проигрыш во времени. Надо расписать день по минутам. Когда у меня впервые сорок лет назад отекли ноги, я подумал: «Эге, это уже симптом. Молодость кончается». А наша мужская молодость действительно кончается к шестидесяти годам. Начинается зрелость, которая не имеет права перейти в старость. Я встаю каждое утро — вот уже сорок лет — ровно в семь тридцать. Две-три минуты я лежу в кровати и счастливо ощущаю себя. В семь тридцать три ко мне без стука входит массажистка. Клаудиа работает у меня сорок лет,— пояснил Дюпон.— Она мнет меня час. В это время я подремываю, а когда Клаудиа начинает мять мне шею и работать над позвоночником, чтобы разогнать соли, дрема проходит. Я в это время помогаю ей: думаю о чем-то извечном. О море или небесах. Или о том, как хорошо в этот час в густом сосновом лесу. В восемь тридцать четыре я ложусь в ванну с сосновым или морским экстрактом. Там уже приготовлены газеты: секретарь по прессе отчеркивает для меня красным карандашом все курьезы, детективные штучки и небольшие полуэротические рассказы в рисунках Пэта Ноя. В девять я сажусь к столу. Я ем только овсяную кашу без молока и двести граммов вареной телятины. Чашка зеленого чая. В девять пятнадцать я выхожу из дома и совершаю сорокапятиминутную прогулку по саду. В десять — отъезд в банк. До двенадцати я слушаю заключения экспертов по промышленности, сельскому хозяйству, бирже и по внутриполитическому положению. Затем полчаса новости из-за рубежа. В это время я лишь слушаю и не позволяю себе задавать вопросы или выдвигать предложения. После того как все новости изучены, в двенадцать тридцать две — второй ленч. Триста граммов вареной глубоководной рыбы — без соли, пять сырых яиц перепела — великолепная профилактика от склероза, чашка кофе, ломтик сыра. В тринадцать — подвожу итоги полученной информации, выдвигаю несколько гипотез и прошу перепроверить их в нашем бю-

ро электронного вычисления. Причем я не позволяю себе идти вразрез с мнением моих экспертов, ибо они молодые люди, они заинтересованы в деле, поскольку вошли в правление, а не остались служащими. Но они не изучали латыни,— улыбнулся Дюпон.— И лишь знание предмета позволяет мне выдвигать гипотезы — ничего больше. К тринадцати тридцати мы получаем из вычислительного центра анализ первых двух часов работы биржи и принимаем решения. В четырнадцать часов я начинаю прием иностранных представителей. В пятнадцать часов я уезжаю к себе и полчаса плаваю в бассейне. До семнадцати часов — предобеденный сон. В семнадцать — полстакана крепкого бульона: я не верю, что бульон — это зло, как утверждают некоторые медики... Они видят в бульоне некий суррогат, абортируемый мясом, насквозь пронизанный «органическими ненужностями». Утренняя еда римских императоров предполагала стакан бульона, а древние были умнее нас. После бульона — пятиминутная беседа с женой. Потом слегка обжаренная дичь с вареньем из кислой сливы, пятьдесят граммов икры с лимоном и два индийских абрикоса. В девятнадцать тридцать — две партии в шахматы с моим садовником, мсье Бикофф. В двадцать часов ко мне приезжает помощник по внешнеполитическим вопросам, и мы работаем до двадцати тридцати. В двадцать тридцать — вечерний чай. В двадцать один — полчаса чтения. Плутарх или Флеминг. В двадцать один тридцать я ложусь в постель. В двадцать два я сплю. И время не может сыграть со мной свою обычную штучку. Я не отдаю времени — время. То, что я сегодня нарушил график, рассказывая о своей системе, свидетельствует о моем самом добром отношении к вам, Дорнброк. Не считайте только, что, следуя системе, я жертвую чем-то. Я любил выпить, но я и сейчас позволяю себе коктейль по субботам, в девятнадцать пятьдесят, после одной партии с мсье Бикофф. Ожидание этого коктейля все дни недели — это тоже стимул. Я не знаю, что слаще — запретный плод или ожидание, когда ты его вкусишь. Раз в месяц, по воскресеньям,— концерт. Я ломаю график, если гастролируют Менухин, Рихтер или Армстронг,— я преклоняюсь перед искусством великих. И последнее: лишите себя воскресенья, Дорнброк. Это страшный день. За один этот день человек стареет не на минуты или ча-

сы, он стареет в этот отвратительный день всеобщего лицемерия на день, да, да, на целый день! До свидания, Дорнброк».

Бауэр не поверил своим глазам, когда подъехал к громадному, мрачному, обнесенному глухим забором особняку Дорнброка: в кабинете старика горел свет. Такого не случалось вот уже пятнадцать лет.

— Не удивляйтесь,— сказал Дорнброк, увидев Бауэра. Он был одет и неторопливо расхаживал из угла в угол громадной, почти совершенно пустой комнаты — лишь стол, тахта, два кресла и большие портреты жены и старшего сына Карла, погибшего в последний день войны.— Я не сплю с тех пор, как вернулся Ганс. Видимо, и вы приехали ко мне в связи с его состоянием?

— Да.

— Он ушел к Ульбрихту?

— Пока нет. Но он все рассказал Кочеву.

— Все? Абсолютно все?

— Да.

— Красный уже дома?

— Еще нет, господин председатель.

— Где Ганс?

— Он у режиссера Люса.

— Люс тоже дома?

— Нет, он в другом месте, а оттуда улетает в Ганновер.

— Едем,— сказал Дорнброк.— Я готов.

Бауэр сидел во второй комнате и прислушивался к разговору отца и сына. Старик так же, как и дома, расхаживал из угла в угол.

— Пойми, Ганс, не я, не мои компаньоны, не Бауэр проиграют, если ты будешь стоять на своем. Проиграют миллионы людей, которые доверили нам свои сбережения, которые купили акции, которые положили деньги в наши банки. Проиграют рабочие наших заводов, словом, проиграют немцы... немцы, наши с тобой сограждане. Молодости свойствен эгоцентризм. Ты смотришь на себя со стороны, ты не хочешь смотреть на себя как на человека, принимающего участие в громадном деле... Ты, я надеюсь, не веришь пока еще, что я работаю во имя лич-

ного обогащения? Ты ведь знаешь мои требования к жизни: овсяная каша и чашка бульона. Я работаю и живу во имя нации, во имя будущего Германии, во имя будущего Европы, во имя будущего твоих детей, Ганс...

— Моих детей? — переспросил Ганс.— Вот как?

— Ганс, если ради твоей жизни...

Ганс перебил его:

— Знаю, папа... Знаю... Ты отдашь свою жизнь без колебаний. Я слышал это. Я о другом. Неужели думать о будущем нашей нации следует, лишь убивая людей?

— Убивая людей?! О чем ты?! У тебя плохо с нервами.

— Где красный?

— Какой красный?

— Спроси Бауэра. Или людей из бюро Айсмана. Красный должен был позвонить мне. Если он не звонит, значит, его тоже убили.

— Кого еще убили, Ганс? О чем ты? Кто кого убил?

— Меня убили! Ты меня убил! — закричал Ганс.— Своей борьбой «за светлое будущее нации!» «Политики не в состоянии обеспечить будущее нации!» Ты ведь так говоришь! «Они обрекают Германию на положение второразрядной державы! Нашим генералам позволяют командовать танковыми маневрами, а кнопки в руках американцев! Кто пустит нас испытывать свое оборонительное оружие в Сахаре? Французы?! Американцы?! Или англичане в Тихом океане?! Союз униженных спасет нас! Полигон в Азии — во имя будущего!» Это ты внушал мне все время! И от радиоактивных осадков снова гибнут люди! И умирает та, которую мне послал бог!

— Снова ты о себе, мальчик,— тихо сказал Дорнброк.— Нельзя так. Ты мой преемник. Тебе выпала горькая и великая участь продолжать дело. Ты ответственен перед богом за судьбу нации.

— Не пугай меня. Со мной случилось самое для тебя страшное: я перестал бояться. Раньше я боялся только за тебя: «Что с папочкой? Как он там, в этой тюрьме? Что с ним?» Потом я боялся за нас тобой. А когда ты решил ввести меня в дело, я перестал бояться вообще, и мне даже поначалу нравилось быть сильным! А теперь не нравится! Наше дело убивает, отец! Оно сейчас убивает мою любимую!

— Я никогда не думал, что ты окажешься таким слабым! Как твоя мать... Поэтому она и погибла рано...

— Это ты виновен в том, что она погибла! Ты!

— Ганс, ты болен. Завтра ты ляжешь в клинику... Мне очень жаль тебя, мальчик... Ты болен.

— Да? Я сумасшедший? А сумасшедшие могут болтать все, что угодно? Так следует понять тебя, отец?

— Поехали, Ганс, поедем домой... Ты ляжешь спать, а утром мы с тобой договорим. Я прошу тебя, сынок... Давай завтра поговорим обо всем спокойно. Я согласен — ты отойдешь от дел, ты будешь заниматься чем угодно... Давай уедем завтра в горы и будем там жить вместе, как раньше... Будем рано вставать, бродить по лесу, Ганс... Давай сейчас уедем домой... Завтра мы вышлем самолет в Токио, и твою девушку привезут к нам в дом... Только давай сейчас уедем...

— Я выйду из дела, а твоим преемником станет Бауэр? Я знаю, чем это кончиться, папа. Я готов уехать с тобой, но пусть Бауэр уйдет от нас.

— Мы завтра договоримся обо всем, сынок,— устало сказал Дорнброк,— только, пожалуйста, поедем сейчас со мной...

— Ты уберешь Бауэра? Ты не позволишь ему ехать к Лиму?

— Ганс, ты требуешь невозможного... Молю тебя, пойми: дело есть дело, Ганс!

— Я никуда не поеду. Я жду звонка.

— Этому красному никто не поверит.

— Ты же говорил, что ничего не знаешь о красном? А? Бедный папа... У тебя сдает память, папа. Раньше я не замечал этого за тобой... Красному не поверят — ты прав. Поверят мне.

Бауэр откинулся на спинку кресла и смежил веки: он скорее угадал, чем услышал, как старший Дорнброк выходит из комнаты. Яркий свет резанул глаза — старик широко распахнул дверь, а Бауэр сидел в холле, не включая лампы.

Он все решил, пока слушал разговор Дорнброков. Он принял решение. Деяние, каким бы страшным оно ни было, обречено на прощение, если оно служит делу. У Дорнброка не будет иного выхода. Он останется один и не сможет без Бауэра — ему не пятьдесят, ему семьдесят восемь.

«Однажды нужно сжать зубы и принять самое главное решение в жизни,— подумал Бауэр.— Как бы ни было оно рискованно, чем бы оно ни грозило. Если Дорнброк останется один, тогда я приму его дело, я доделаю то, что он начал. Он не сможет не понять этого».

— С Гансом плохо,— сказал Дорнброк, и Бауэр увидел в его лице растерянность.— Побудьте с ним. Я опасаюсь за него. Вызовите врачей, предпримите что-нибудь...

— Хорошо, господин председатель. Я побуду здесь. Но кто вас отвезет?

— Я пройдусь пешком, а потом найму такси. Не оставляйте мальчика — с ним плохо. Ему нельзя быть одному... Я решу, что делать, и сообщу вам свое решение чуть позже. Только не бросайте его, Бауэр, я вам доверяю его, друг мой...

Дорнброк вернулся к себе, когда уже начинало светать. Раздеваться он не стал. Попробовал прилечь на тахту, но лежать не смог, и он начал вышагивать из угла в угол, по обыкновению заложив руки за спину. Поймал себя на мысли, что комната, где он только что был, сбила его и он норовит повернуть назад на десятом шаге, хотя его кабинет позволяет делать двадцать два шага, неторопливых, широких, размеренных.

Он не мог сосредоточиться, чего не замечал за собой с дней юности, когда предавался мечтаниям, сидя за конторкой в фирме дяди, в крошечной фирме по продаже строевого леса. Он тогда постоянно мечтал, и он хорошо запомнил эти свои грезы. Ему виделся успех, все время успех. Он видел себя то военачальником, то знаменитым оратором в рейхстаге, то личным секретарем Круппа. Особенно болезненно он грезил успехом после посещения «синема». Он блаженствовал и сладостно замирал в своих мечтаниях, опуская при этом одно лишь звено — действие, активное, самое первое, которое единственно и может привести к успеху. На фронте он лез в атаку первым, но орденами награждали тех, кто отсиживался в штабах и был на глазах у командования; он был ранен, но его ранил тот, кто бежал следом, случайно прострелив мякоть ноги, и Дорнброка чуть не упекли в тюрьму за дезертирство. Вернувшись домой, он запил. Он не видел выхода. А в «синема» по-прежнему показывали хроники, в которых выступали ораторы в рейхстаге, ездил в закрытом автомобиле Крупп, безумствовали лю-

ди во фраках, когда в «Ла Скала» выступал Шаляпин. Случай помог ему. Он был в Мюнхене в тот день, когда Гитлер вышел со своими единомышленниками на улицы: «Работу — немцам! Хлеб — немцам! Долой позор Версаля! Рабочий — хозяин фабрики, крестьянин — хозяин земли! Вон коммунистов! Вон еврейских банкиров! Германия — для немцев!» Вскоре Гитлера бросили в ландсбергскую тюрьму. Дорнброк тогда решил: «К богатству, которое дает силу,— через служение нищим». Именно тогда он посетил Штрассера и организовал «Товарищество по кредиту». Он помогал разорившимся лавочникам и хозяевам крошечных мастерских, он давал деньги — практически без процентов — тем, кто разделял программу Гитлера. А потом случилось то, о чем он и мечтать позабыл: умер дядя, и небольшое дело перешло к нему. Он выгодно продал две партии леса и наутро, проснувшись, понял, что стал богатым человеком. Через десять лет он был пятым по богатству в рейхе. Фюрер вручил ему, беспартийному, золотой жетон почетного члена НСДАП и сделал лауреатом премии Гитлера за «выдающиеся успехи в организации народной промышленности».

Он сейчас вспомнил, как после смерти Магды он увез пятнадцатилетнего Карла и двухлетнего Ганса в Италию. Он лежал на пляже вместе с ними, седой, поджарый, слыша за своей спиной почтительный шепот: «Вон Дорнброк... Дорнброк. Глядите, Дорнброк», но он смотрел лишь на маленькое тельце Ганса, который счастливо смеялся, трогая ножкой теплое море. «Ну, скажи морю "доброе утро"»,— говорил тогда Дорнброк и, подняв сына на руки, вносил его в море, в это прозрачное, теплое, горькое море, и мальчик судорожно обнимал его своими ручонками за шею и счастливо, чуть испуганно смеялся, шепча: «Пойдем, где страшно и глубоко, папочка».

Он был не по годам развит, его мальчик. Дорнброк усмехался, когда слушал речи Гитлера: «Дети Германии — это дети партии, это мои дети! Они все одинаковы для меня, дети Германии!» Дорнброк думал: «Он говорит так, потому что у него не было детей. Я могу умиляться дочкой Симменса, но люблю я только своих мальчиков. Нет, я лгу себе. Я люблю маленького нежного Ганса, который рисует журавлей и закаты над морем. Карл слишком похож на меня, а любят всегда свою противополож-

ность. Я смотрю на Ганса, как на чудо. А Карл — это моя копия, я знаю, о чем он думает, про что спросит и в чем он мне откажет».

Дорнброк вспомнил, как они играли с Гансом в карты, когда остались вдвоем, потому что Карл дни и ночи проводил у себя в гитлерюгенде. Они играли в карты по вечерам. Дорнброк знал, что Ганс ждет его — мальчик очень любил играть в карты,— и поэтому отец пораньше сворачивал дела и торопился к сыну. Однажды он поймал себя на мысли, что слишком жестко играет с мальчиком и обрекает его на проигрыш, и ему стало так стыдно, что краска залила лицо.

Когда умерла Магда, он поклялся, что ни одна другая женщина не переступит порога его дома. Так было три года. Но потом он съездил в Кенигсберг и там познакомился с фройляйн Гретой. Она была владелицей салона красоты. Совсем еще молодая, эта женщина умела вести дело, была очень мила, и взгляды их во всем совпадали. Он пригласил ее в Берлин. В воскресенье он взял Ганса — мальчику было тогда шесть лет — и поехал к Крюгеру, на Унтер-ден-Линден. Ганс смотрел на Грету необычными глазами: они у него сузились, и красивое личико сына стало из-за этого уродливым и жалким. Когда подали мороженое с вафлями, Ганс заплакал. Громадные слезы капали в мороженое. Грета сказала: «Наш маленький Ганс не любит это мороженое, Фриц, разве вы не видите!» — «Я вас не люблю, а не мороженое,— ответил мальчик,— и еще я люблю папочку!»

Ночью у него была истерика. Дорнброк взял сына на руки и шептал ему какие-то нежные, особые слова — сейчас он не мог вспомнить эти слова. Он просто чувствовал сейчас, какие это были нежные слова. Он сказал тогда сыну, что они всегда будут жить втроем: Ганс, Карл и папа.

Боже, как тогда мальчик целовал его, как он обнимал его и терся щекой об его ухо! Это у них была такая игра: тереться носом об ухо и шептать смешные, несуществующие слова...

Ганс любил, когда отец ему читал. Он любил это, когда совсем крохой слушал сказки братьев Гримм и Андерсена, и, когда вырос и учился в школе, он все равно просил отца почитать ему и смотрел своими громадными голубыми глазами куда-то поверх отцовской головы, не

сразу замечая, когда отец замолкал, любуясь сыном. «У него свои грезы,— думал Дорнброк, глядя на лицо мальчика.— И пусть они не будут такими грустными, как мои в дни моего детства».

Дорнброк остановился возле окна и прижался лбом к стеклу. Моросил дождь. Стекло было холодным, и наперегонки бежали капли дождя, сливаясь в струйки, стремительно и ломко менявшие направление, и Дорнброк подумал, что сейчас ему бы стало легче, если бы он смог заплакать. Но он давно разучился плакать: когда другие находили выход горю в слезах, он цепенел и, закрыв глаза, сидел неподвижно часами. Так было в дни, когда погиб Карл; так с ним было, когда русские вошли в Берлин...

«В чем я виноват перед тобой, мальчик мой? — спрашивал он себя и видел лицо Ганса, бледное, осунувшееся, с синяками под глазами.— В чем? Я жил для того, чтобы работать. Я посвятил себя тебе. Я лишил себя любви, потому что мне была нужна лишь твоя любовь и твое счастье. Но, видимо, я не вправе требовать от тебя того, чего я всегда требовал от себя: ответственности, громадной, ежеминутной ответственности за дело... Ты пришел к тому, что я создал. Я не провел тебя через трудности, через лишения, и поэтому для тебя никогда не было счастьем получить автомобиль, яхту или самолет. Для тебя эти блага, кажущиеся сказочными другим людям, пришли как данность. Ты не знал пути к благу. Ты благом пользовался. И лишь поэтому ты стал думать о средствах. Цель для тебя была схемой, потому что это была не твоя цель. И может быть, я оказался твоим врагом, когда просил тебя уйти из спорта и журналистики и умолил войти в дело. Да, в этом я виноват перед тобой, больше ни в чем. Разве можно винить меня в жестокости по отношению к одному или десяти людям, если я хочу блага всем немцам? В этом заключена высшая логика борьбы — это должно быть понятно всякому человеку, который воспитан на ответственности перед страной, нацией, перед богом».

Дорнброк подошел к телефону и нажал пульт включения аппарата в сеть: он решил позвонить Бауэру.

«А я не знаю его телефона,— вдруг понял он.— Я вообще не знаю телефонов: ведь звонят лишь мне. От меня звонят секретари».

...На столе под большим толстым стеклом лежал список членов наблюдательного совета его концерна: Людвиг Эрхард, бывший канцлер; Герман Абс, владелец Немецкого банка; Фриц Шефер, возглавлявший министерство юстиции; генерал Хойзингер... И ни одного телефона — только имена.

Он вдруг заторопился и почувствовал, как внутри его рождается страх. Он был неопределенным, этот страх. Дорнброк научился ничего не приказывать и лишь в редких случаях подписывал документы, да и то единственно те, которые носили общий характер: все конкретности уточняли затем эксперты и советники. Они детально разрабатывали и проводили в жизнь ту общую концепцию, которая заключалась в обтекаемых формулировках отправных положений.

«Я не имел права посылать его на Восток,— понял Дорнброк.— Это работа для Бауэра или Айсмана, а я хотел насильно провести Ганса сквозь горькую тяжесть ответственности за будущее. В этом я виноват перед мальчиком».

Дорнброк вышел, почти выбежал из дому, долго искал такси, потом подробно объяснял шоферу, куда его следует отвезти — он запомнил дом Люса, где беседовал с сыном. Улицы еще были пустынны, хотя рассвет уже сделал город светло-дымчатым и солнце угадывалось за низким, в тяжелых тучах небом.

Задыхаясь, он пришел к тому дому, где два часа назад оставил Ганса и Бауэра. Дорнброк нажал кнопку звонка, но ему никто не ответил. Он долго нажимал кнопку звонка, и, чем дольше он нажимал эту маленькую красную безответную кнопку, тем страшнее становилось ему, и он увидел себя со стороны — старика в помятом пиджаке и в стоптанных башмаках на пустынной улице, и ему стало мучительно жаль себя, и он впервые за последние шестьдесят лет заплакал...

«ХМ... ХМ... РАНЬШЕ ЭТО НАЗЫВАЛОСЬ «БЛИЗИТСЯ РАЗВЯЗКА»

— Доброе утро, господин прокурор... Говорит Гельтофф. К вам едет мой эксперт Гаушенбах в качестве свидетеля. Его мнение по баллистической экспертизе не совпадает с заключением других экспертов. Я посоветовал ему поехать к вам потому, что я, увы, далек от науки...

— Практика — это тоже наука, майор.

— Вы мне льстите, господин прокурор.

— Вы же не представитель фирмы по продаже авторефрижераторов, чтобы мне льстить вам. Только пусть он не приезжает ко мне в десять часов — я буду занят в это время.

— В десять он его ждет,— сказал Холтофф, опустив трубку.

Айсман улыбнулся:

— Как только Штирлиц войдет к нему, твои люди входят следом и требуют у Штирлица документы: он ушел вчера в восточный сектор по советскому паспорту — теперь это беспроигрышная партия. Повод для ареста: он направляет следствие по ложному руслу. Он партнер Кочева в игре КГБ против нашей республики. Сразу же после того как твои люди задержат Штирлица, в кабинет войдут ребята из полиции. Потом появишься ты и дашь показания, что Штирлиц приходил к тебе как старый друг по партии и по работе в СД. Если же тебя зацепят на изменении фамилии — так, вероятно, и случится,— тебе будет выписан чек на десять тысяч марок. Уйдешь в отставку, не дожидаясь решения наших ублюдков. Признаешь, как он приходил к тебе, расскажешь о его шантаже и отойдешь в сторону. Скажешь, что он просил тебя разработать версию убийства Кочева и ты якобы согласился с этим, чтобы затащить его еще глубже в трясину их грязной игры... Скажи, что это ты произвел выстрел из бесшумного пистолета в ночь на двадцать второе по люку канализации. Обязательно подчеркни, что ты произвел этот выстрел в его присутствии. Вы поехали ночью на Генекштрассе, и ты произвел выстрел через дверь «мерседеса» именно по люку канализации. Запомни фамилию человека, у которого он арендовал такси: Йоханн Грос.Сименштадт, пять. Такси брали по паспорту на имя Верцбаха.

— Грос. Сименштадт, пять. Верцбах,— тихо повторил Холтофф.

— Все хорошо,— сказал Шорнбах, позвонив к Бергу,— если позволите, я заеду к вам в шесть часов по одному делу...

— Спасибо. Я жду вас.

...В двенадцать часов Айсман объявил тревогу по всем линиям связных: Штирлиц так и не появился у Берга, а прокурор сообщил прессе, что он берет назад свое заявление об отставке в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами»...

В маленьком помятом «фольксвагене» сидел молоденький паренек с длинными подвитыми волосами и лениво обнимал девушку. Было темно: улица, на которой стоял особняк Гельтоффа, плохо освещалась. Курт, связник Айсмана, оставил свой БМВ-2200 чуть поодаль и дважды прошелся мимо «фольксвагена». В окне кабинета Гельтоффа горел свет. Курт обошел особняк, обернулся и, убедившись, что теперь он не виден парочке из «фольксвагена», ловко отпер ворота отмычкой. Он шел по саду, ощущая холод листьев; капли росы оставались у него на лице. Заглянул в кабинет: Гельтофф лежал на тахте. Окно было приоткрыто. Курт открыл его чуть пошире и, подтянувшись — окно было низкое,— влез в кабинет.

— Я все сделаю сам,— негромко сказал Гельтофф.

Шорнбах и два его сотрудника внимательно слушали голос Гельтоффа. Аппаратура, установленная в «фольксвагене», который теперь переместился к «мерседесу» Курта, позволяла слышать разговор с Гельтоффом и передавать его в центр с расстояния в сто метров.

— Я сам,— повторил Гельтофф.— Или вы хотите, чтобы это был приговор? Расстрел?

— Этого мы не хотим. Более того, мы принесли тебе чек. Вот. Как и обещал Айсман. На десять тысяч марок. Напиши, что ты оставляешь эти деньги семье. Остальные они получат с твоего счета, когда войдут в наследство...

— Штирлиц так и не появился в городе?

— Нет. Скажи правду: ты ничего не сказал ему?

— Я же видел — вы следили за каждым моим шагом.

— Если ты оставил в каком-нибудь тайнике имя таксиста, то за это ответят дети твоих детей...

— Какого таксиста?

— Гроса. У которого «мерседес»...

— Какой «мерседес»?

— Ты что? Все забыл? Что с тобой?

— А что бывает с человеком, который должен убить себя? «Мерседесы», айсманы, дорнброки, гитлеры, кизингеры — будьте вы все прокляты... Что я должен написать за эти десять тысяч?

Шорнбах шепнул в микрофон:

— Лейтенант Ловер, окружайте дом. Берите их. Алло, «третий», продолжайте записывать разговор... Лейтенант, если они станут убегать, стреляйте по ногам, они нам нужны живыми...

Когда лейтенант Ловер прыгнул в комнату, Курт резко обернулся и, выхватив пистолет, выстрелил в лейтенанта. Потом он выстрелил три раза, пуля за пулей, в грудь Гельтоффа и после этого в люстру.

Он бежал через сад и не чувствовал, как листья били его по лицу, и не чувствовал холода росы, потому что бежал он, низко согнувшись. Это и стоило ему жизни: сержант Ухер, помощник убитого Ловера, выстрелил по ногам, но пуля вошла в позвоночник, и Курт упал, переломившись пополам.

Когда Берг приехал к Гросу, он нашел в доме лишь полуслепую старуху, его дальнюю родственницу, которая ничего не знала, поскольку жила в темной комнате, совершенно изолированно от двоюродного брата...

«Мерседес» с тщательно заваренным пулевым отверстием на задней правой дверце и с остатками следов крови на полу был обнаружен в гараже.

Опрос служащих аэропорта позволил Бергу сделать вывод, что Грос вылетел в Италию. Через три часа Интерпол сообщил ему, что Грос обнаружен и взят под наблюдение в Неаполе, на вилле германского коммерсанта Проце, продававшего «мерседесы» восточноафриканским странам.

Получив все эти данные, Берг попросил секретаршу заказать билет на первый же рейс в Рим, но оказалось,

что все билеты на самолет «Пан Американ» уже проданы; следующий рейс, который выполняла «Айр Индиа», был лишь вечером. Секретарша заказала одно место на имя Берга и отправила в Темпельгоф нарочного.

Спрятав билет в карман, Берг ощутил тяжелую, гнетущую усталость. Он заехал домой, переоделся, спустился в снэк-бар и выпил кофе с ломтиком сыра.

«Самое трудное начнется, когда я привезу сюда Гроса,— подумал он, расплачиваясь за кофе.— Тут включатся большие силы, если только они не прикончат его до моего приезда. Они, вероятно, рассчитывают, что он сам примет какую-нибудь гадость, когда поймет, что оказался в кольце. Поэтому брать его будем ночью, без стука в дверь. Но почему-то я думаю, что они пока не станут его убирать. И потом: я же сказал секретарше, что для всех я лег на два дня в госпиталь по поводу обострения язвы».

О том, что его телефон — и в прокуратуре и дома — прослушивается, Берг не подумал. Он считал, что это может быть сделано только с санкции отдела юстиции западноберлинского сената, который — Берг был убежден — сейчас на это не пойдет; он недоучел лишь того, что телефонная сеть города обслуживалась двумя компаниями, в одной из которых концерн Дорнброка обладал контрольным пакетом акций. («Все революции,— говорил Дорнброк,— проваливались или побеждали в зависимости от того, удавалось ли бунтовщикам овладеть средствами связи».)

«Да, надо же заехать к Марии,— подумал Берг.— Странно, почему она просила позвонить именно сегодня?» Он достал записную книжку и подошел к телефону, стоявшему на столике, возле выхода из снэк-бара.

— Здравствуй, Мария, это говорит старая жирафа...

— Бог мой, здравствуй! Я решила, что мой дом уже совсем перестал быть твоим!

— Стоило не позвонить каких-то десять лет, и уже такие страшные выводы... Если бы ты сейчас протерла несколько морковочек, я бы к тебе заехал.

— Я протру тебе не только пару морковок, но и успею сделать твою свеклу.

— Тогда я пренебрегу метро и отправлюсь на такси.

Он ехал по улицам, и перед ним то и дело возникало лицо жены. Он видел ее улыбающейся, тихой и нежной. Она всегда была такой, даже когда он беспробудно пил. Мария была ее подругой.

Муж Марии Карл был его товарищем по университету. Он вступил в НСДАП в 1939 году. Они тогда собрались у Карла: Ильзе, Мария, Берг и Ваггер, который поселился в Гонконге и, приняв английское подданство, спокойно приезжал в рейх как юрисконсульт музейного ведомства доминионов и колоний. Ваггер уехал из Германии в тридцать третьем году и смотрел на них теперь с некоторой жалостью. Он обычно привозил продуктовые подарки, которые унижали Берга щедростью.

Мария поставила пластинку, но никто не танцевал. Все молча сидели за столом и не смотрели друг на друга, потому что Карл пригласил их на эту вечеринку, сказав по телефону:

— Это по случаю важного события в моей жизни... В партию ведь вступают только один раз...

И вот они сидели за столом, не поднимая глаз. Берг еще на улице выговорил Ильзе, когда она купила на последние гроши три красные гвоздики. Жена пожала плечами: «Неудобно к друзьям идти без подарка».

Молчание затянулось. Берг налил себе «Эргешютце» и выпил, не дожидаясь, пока все разольют себе по второй.

— Георг простужен,— по обычной своей манере улыбчиво пояснила Ильзе,— ему необходимо как следует прогреть себя.

— Да, я простужен... Я весь заледенел изнутри...— сказал Берг,— но сегодняшнее торжество меня отогреет. Мне уже стало теплей! Даже краска заливает щеки от внутреннего тепла!

— Сейчас у нас будет пирог с рыбой,— сказала Мария.

— Вам уже прибавили карточек? — спросил Берг.— Или увеличили содержание? Членам НСДАП надо быть сильными...

За столом воцарилась гнетущая тишина.

— Прибавили карточек,— сказал Карл.— И добавили к окладу. Ты прав. Надо же подкармливать членов движения, чтобы мы держали в руках таких, как ты, слюнявых интеллигентов. Ты же знаешь, что я уже давно лелеял мечту примкнуть к движению. Еще когда мы с тобой посещали собрания социал-демократов и выходили на демонстрации под красными знаменами. И вот наконец моя мечта осуществилась! А разве ты не мечтаешь примкнуть к нам? Разве тебя не воодушевляют великие идеи фюрера?!

— Давайте потанцуем,— торопливо сказала Ильзе,— какая прекрасная музыка! Это английская пластинка? Снова нас балует добрый Ваггер?!

— Мне ненавистны идеи нашей сволочи, и, если ты теперь донесешь на меня, тебе прибавят еще пару карточек на два фунта рыбы в неделю,— сказал Берг.

— Ты дурак,— заметил Ваггер,— раньше я за тобой этого не замечал, Берг.

— Значит, и ты эмигрировал по заданию Гиммлера? — удивился Берг.— А я думал, ты действительно не можешь жить в этом вонючем болоте. Ты ведь разведчик, Ваггер? Напиши и ты донос, а?

— Ты очень смелый человек, Георг,— сказал Карл.— Ты так грозно обличаешь нацизм за столом! Ты избрал себе самый легкий путь — пить, оскорблять друзей и сострадать самому себе. Только живем мы не в вонючем болоте, а в Германии. Какой бы она сейчас ни была, она останется Германией, а не вонючим болотом.

— Если бы я был убежден, что моя граната взорвет Гитлера, я бы привязал гранату к груди,— сказал Берг яростно.— Ясно тебе?! Скажи, что ты мне не веришь, ну скажи!

— Я верю тебе, только где ты достанешь гранату?

— Сам сделаю.

— Из чего? Все вещества, могущие быть использованными как взрывчатка, изъяты из продажи. Может быть, правда, твои дружки из вайнштубе пообещают тебе гранату, а гестапо последит за тобой, и у них возникнет интересная идея о заговоре, который инспирируют англичане,— Карл кивнул головой на Ваггера,— а поддерживают оборотни, пробравшись в партию,— и он ткнул пальцем себя в грудь.

— Следовательно, ты считаешь меня провокатором?

Ильзе поднялась из-за стола и сказала:

— Георг, родной, мы живем только благодаря тому, что Карл и Мария дают мне ежемесячно пятьдесят марок из его жалования... Нельзя же так не любить людей, Георг!

Берг изумленно обернулся к Ильзе — она обычно молчала или болтала о чем-то с подругами во время вечеринки, собирала со стола тарелки или помогала хозяйке подать новое блюдо.

— Я люблю людей, Ильзе,— произнес он по слогам.— Но я терпеть не могу тех, кто продает себя из-за куска хлеба.

— И верно делаешь,— согласился Карл,— я с тобой согласен. Я тоже терпеть не могу предателей, которые в минуты трагедии пьют, чтобы успокоить себя и забыться в сладостном мираже...— Он посмотрел на Ваггера и вдруг жестко усмехнулся: — Хотя я и продался не за хлеб, а за рыбу... Впрочем, пользуясь твоей терминологией, все равно мы как жабы в вонючем болоте. Правда, поскольку тебе из-за беспробудной пьянки не дают работы, ты квакаешь громче других...

Берг тогда отшвырнул стул и ушел. Он ходил по городу до утра. Рано утром он разбудил Карла. Он запомнил, каким был Карл, открыв ему дверь: с отвисшей челюстью, бледный, в длинной ночной рубашке. Увидав Берга, он тяжело оперся плечом о косяк и сказал:

— Идиот... Ведь еще только пять... Иди, там на столе остались бутылки.

— Ты обязан простить меня, Карл, я говорил как свинья.

Они потом часто уезжали в горы вчетвером, забирая с собой и детей. У Карла и Марии было трое мальчиков, а у Берга девочка. Ребята собирали хворост. Карл разжигал костер, потом жарили колбасу на ветках, вымоченных в ручье, чтобы они как можно дольше не прогорали на белом пламени; дети прыгали через костер, пели песни и играли в свои беззаботные шумные игры. Карл иногда рассказывал о том, что происходит у них на собраниях членов НСДАП. Лицо его тогда каменело, хотя он показывал «весь этот балаган» до того уморительно, что Георг катался по траве и долго потом не мог успокоиться, иногда даже плакал от смеха.

Карл погиб на третий день после того, как его отправили на фронт в составе сухопутных СС. Это было летом сорок четвертого года, тогда в армию забирали всех, кроме работников гестапо и функционеров «Трудового фронта». А через месяц после его гибели были арестованы члены его подпольной антифашистской ячейки Мария и Ильзе. Ильзе в тюрьме умерла, Мария вернулась. Ее дети погибли вместе с дочкой Берга во время бомбежки: Берг взял мальчиков после ареста Марии к себе.

Мария долго лежала в госпиталях, потом три года пробыла в доме для душевнобольных, а когда вышла, правительство Аденауэра назначило ей пенсию как жертве нацистского произвола. Пенсия была довольно боль-

шая — третья часть той, которую Аденауэр платил вернувшемуся из тюрьмы гитлеровскому гросс-адмиралу Дениц, и это позволяло Марии путешествовать: она старалась как можно реже бывать в Германии.

Берг виделся с ней не часто: им обоим было трудно вдвоем, потому что каждый из них вспоминал прошлое, от которого осталась лишь горькая память.

...Мария очень изменилась за эти годы: Берг поразился — как она похудела. Но это молодило ее, и даже седые волосы казались париком; ничего старческого не было в ее облике. Они сидели за столом, не включая света. Берг неторопливо прожевывал тертую морковь и запивал сухим рейнским, удивляясь собственной храбрости: за последние двадцать лет он не брал в рот ни капли спиртного — боялся запоя.

— Ты молодеешь, Мария, и это не комплимент.

— Знаешь, только дороги могут отодвинуть старость,— ответила она,— когда все время ездишь и ложишься спать, зная, что ночью тебя разбудит будильник, чтобы успеть на самолет, который идет черт знает куда и вообще черт знает зачем ты на нем летишь, тогда время замирает. Это глупости, когда говорят, что в семьях старость незаметна. Может быть, самим-то и не заметно приближение, но зато со стороны... Я похоронила стольких подруг... Они сделались полными развалинами, потому что живут по порядку: раз ты бабушка, значит, старуха, и надо присматривать местечко на кладбище. Живы, но уже мертвы... Ешь свеклу.

— Спасибо.

— Слушай, Георг, я давно хотела тебя спросить и никак не могла... Почему тогда не смогли откопать детей?

— В тот раз прилетели внезапно. Была низкая облачность, никто не думал, что они прилетят. Была самая сильная бомбежка — в феврале сорок пятого... Я их до этого не водил в убежище... Не знаю, зачем я увел их тогда в убежище...

— Я встретила Ваггера...

— Он писал мне. Я с ним говорил на днях по телефону... Он удивляется, отчего ты отказываешься выступать с воспоминаниями о вашей борьбе...

Мария долго не отвечала. Хрустнула пальцами, вздохнула.

— Я не имею на это права,— сказала наконец она.— На это имела бы право Ильзе.

— Потому что она погибла, а ты жива? Это чушь.

— Не поэтому. Я никогда не говорила тебе... Я знала, что Карл погиб, и все свалила на него. А она ничего не сказала... Ни слова не сказала о Карле, хотя я перестукивалась с ней и сообщила, что Карл погиб... И про тебя ее спрашивали, им хотелось иметь группу побольше... Я ведь из-за этого потом легла в психиатрическую... Я не могла забыть ее во время очной ставки. И каждый раз, когда ты приходил, я вспоминала ее, поэтому я стала убегать в Африки и Персии...

— Зачем ты сказала мне об этом сейчас?

— В газетах появилось сообщение, что ты уходишь...

— И ты решила помочь мне продолжать драку?

— Нет. Какая там драка... Просто ты еще не отомстил за нее.

— Я не мщу, Мария. Если бы я мстил, меня следовало гнать из прокуратуры... И потом, какое отношение это мое дело имеет к Ильзе?

— Прямое, Георг. Я узнала на фотографии моего следователя. Его и тогда звали Курт — он убит в саду Гельтоффа. А следователем Ильзе был Айсман. Понимаешь? Он прижигал ей соски сигаретами. Ты должен знать об этом, Георг...

— Не надо бы тебе так, Мария...

— А зачем ты спрашивал: отчего я не выступаю с рассказами о нашей борьбе?!

— Прости...

— Я удивилась, когда ты сказал о мести. Об этом говорят нацисты: «Нюрнберг — это месть победителей». Наказание зла — это месть, разве нет?

— Нет. Нельзя так, Мария. Месть — это от зверства...

— А когда твою жену пытали огнем? Это от чего?

— Если хочешь отомстить врагу — старайся не быть на него похожим. Это трудней, чем отмщение. Доказать по закону, что зверство есть зверство, а звери должны жить в клетках, а наиболее кровожадные умерщвляться, но опять-таки лишь по закону,— в этом я вижу свой долг перед памятью Ильзе и Карла, и перед детьми, и перед твоими страданиями... Мы обязаны выслушать те слова и доводы, к которым станут прибегать эти звери. Мы должны запомнить их доводы и сделать их известными каждой немецкой семье: вот чем руководствовались респектабельные звери, когда они... пытали огнем... Пусть они го-

ворят, что выполняли приказ, это будет острастка для тех, кто решится отдать подобный приказ в будущем. Пусть они говорят, что были исполнителями, если мы их повесим, это будет острастка для тех, кто захотел бы стать хорошо оплачиваемым палачом в будущем...

Мария вдруг заплакала:

— Георг, родной, что ты говоришь? Кого повесили? Десятерых повесили, а ведь у них в СС было семь миллионов, только в СС! И каждый третий был осведомителем гестапо! Я прочитала у какой-то юристки, что за каждого р а с с т р е л я н н о г о наши палачи получили от десяти марок штрафа до часа тюремного заключения, Георг...

Она проводила его до выхода на летное поле и долго махала сухой загоревшей рукой — до тех пор, пока он не сел в автобус, увозивший пассажиров к самолету. Она шла по аэропорту мимо смеющихся, плачущих, целующихся, пьющих людей. Она прошла мимо телефонной будки, из которой на штаб-явку Айсмана звонил связник, сообщавший, «что дядя уехал и багаж отправлен вместе с ним». Мария прошла мимо того человека, сообщавшего Айсману данные, которые позволят дать радиосигнал мине, отправленной в багаже. Как только самолет пересечет границу Германии — на границе есть немецкие деревни, и не надо подвергать риску жителей,— самолет взорвется, и обломки его упадут на какой-нибудь итальянский хлев. Итальянцы предали Германию, сдавшись американцам в сорок третьем: ничего, пусть десяток черномазых сгорят в своих хлевах, если на них рухнет самолет, от этого человечество не пострадает...

2

Исаев прислушался к реву самолета, взлетевшего на Темпельхофе, и посмотрел на часы.

«Наверное, Берг,— подумал он и усмехнулся,— хм, хм... раньше это называлось «близится развязка». Теперь я должен подготовить здесь прессу, а я смертельно устал и хочу домой, и все мне здесь осточертело, а надо улыбаться и играть мои старые игры в настоящую заинтересованность и соприсутствие в разговорах, а мне хочется забраться в Удомлю к Мишане и уснуть в стоге сена под

дождем, и побыть одному, совсем одному, хотя бы три дня...»

Он сидел в «Европейском центре», в редакции, и неторопливо отхлебывал пиво из высокого стакана.

— Это интересно, но где же обещанная сенсация? — спросил Гейнц Кроне.— «Телеграф» интересуется не общими вопросами, связанными с концерном Дорнброка, а самим Дорнброком!

Исаев пожал плечами.

— Вы считаете сенсацией лишь то, что лежит на поверхности. Зря. Читатель поумнел.

— Это из области теории.

— Ладно,— согласился Исаев,— давайте перейдем к практике. Здесь,— он положил руку на металлический пенал, вынутый из редакционного досье,— ваши материалы на концерн Дорнброка. Вы хорошо знакомы с ними?

— В достаточной степени.

Исаев отрицательно покачал головой.

— Нет,— сказал он.— Вы не знаете моих материалов, Кроне. Давайте-ка пройдемся по ним вместе, и я выскажу вам свою версию.

— Согласен.

— Вот... Вырезка из «Ди вельт». Какой год? Мелкий шрифт, у вас глаза лучше, посмотрите, пожалуйста.

— Ноябрь тысяча девятьсот пятьдесят пятого.

— Читаем: «Событием последней недели было появление в художественном салоне доктора Шерера председателя совета директоров концерна «Дорнброк К.Г.» г-на Бауэра с его очаровательной женой Анабеллой, получившей только что серебряную ракетку в связи с ее успешными выступлениями на теннисных кортах Великобритании.

Госпожа Бауэр покорила гостей художественного салона д-ра Шерера рефератом о новых тенденциях в мире живописи.

Господин Бауэр сказал — после того, как утихли аплодисменты ценителей и владельцев картинного бизнеса,— что все его «успехи в работе невозможны без Анабеллы, она — мой добрый гений».

— Ну и что? — спросил Кроне.

— А ничего,— ответил Исаев,— просто-напросто заметка для ума. Читаем дальше. Пятьдесят девятый год. Декабрь, нет?

— Декабрь.

— «Накануне рождественских праздников в Западный Берлин из поездки в Китайскую Народную Республику возвратился председатель совета директоров доктор Бауэр с женой. Это был первый визит руководящего работника концерна «Дорнброк К.Г.» в коммунистическую страну. На аэродроме Темпельхоф доктор Бауэр заявил корреспондентам, что его впечатлил коммунистический Китай своей устремленностью и силой. Г-жа Бауэр, однако, заметила, что некоторые аспекты жизни в Пекине напомнили ей собственное детство, проведенное в условиях гитлеровской диктатуры».

— Но ведь тогда еще не было хунвэйбинов,— заметил Кроне,— книги они начали жечь позже.

— К этому готовиться надобно, милый Кроне, готовиться загодя, сугубо серьезно. Только добро — внезапно, жестокость и гнусь всегда планируются.

— Цитировать вас можно?

— Валяйте. Под рубрикой «народная мудрость»... Ну-с, пойдем дальше... Июль шестьдесят третьего. Доктор Бауэр посетил Пекин и Шанхай, где вел переговоры о возможности поставки химикатов для сельского хозяйства Китайской Народной Республики. «Переговоры проходили весьма интересно,— заявил доктор Бауэр,— и, надо думать, в ближайшем будущем мы начнем цикл деловых контактов с нашим китайским партнером. Думаю, что наш наблюдательный совет поддержит инициативу, предпринятую мною и моими внешнеполитическими советниками».

— Долго же он подкрадывался к Пекину,— заметил Кроне.

— Это еще надо проанализировать — кто к кому,— ответил Исаев и попросил: — Передайте-ка мне ту вырезочку...

— Из «Вельт»?

— Нет, в белой папочке, там мюнхенская пресса.

Исаев сильно потер глаза — устали от шрифта, надел снова очки:

— Октябрь шестьдесят третьего. Читаем:

«Нам стало известно, что на заседании наблюдательного совета концерна «Дорнброк К.Г.» председатель совета директоров доктор Байэр внес проект о перестройке структуры концерна, предлагал заменить «К.Г.» на «А.Г.»; доктор Бауэр мотивировал свое предложение о перест-

ройке концерна из «семейного» (К.Г.) в «акционерный» (А.Г.) тем, что за последние годы «Дорнброк К.Г.» стал истинным народным предприятием и прежний жупел «семейного» концерна лишь дает повод недоброжелателям в сопредельных странах Востока, в Азии, Латинской Америке и Африке пугать общественное мнение, вызывая, словно на спиритическом сеансе, зловещие тени довоенных времен и фигуру Круппа, который прочно ассоциируется с «империализмом и нацизмом». Доктор Бауэр утверждал, что в будущем эта формальность, не меняющая, по его словам, существа дела, станет мешать концерну налаживать деловые связи в "третьем мире"...»

– Интересно,– сказал Кроне.– Я это пропустил.

– В системе семейного концерна Бауэр не имел шансов стать руководителем наблюдательного совета. Его вершина – совет директоров, то есть практическое исполнение предписаний, а он перерос совет директоров. Он личность. Он ворочает делами наравне с Дорнброком, он планирует, а не исполняет, он теоретик-наблюдатель, а не практик-директор...

– Но он же стал заместителем председателя наблюдательного совета!..

– Когда это случилось? Лишь после смерти Ганса...

– Погодите... Вы думаете, что он...

– Пока я ничего не думаю. Я читаю материалы из вашего досье... Вот, в частности, заметочка из «Геральд трибюн». У вас очень хорошее досье, молодцы... Только вы потонули в информации. Слушайте... Это ноябрь 1965 года. «Вчера стало известно, что председатель совета директоров концерна «Дорнброк К.Г.» д-р Бауэр (49 лет) развелся с фрау Анабеллой Бауэр, которая уехала в Испанию, где ей был куплен бывшим супругом особняк в Торремолинос, на Берегу Солнца, в двенадцати километрах от Малаги. Объяснить причину этого развода пока что невозможно, поскольку семья д-ра Бауэра считалась одной из наиболее счастливых в Западном Берлине. Анабелла Бауэр (36 лет), в прошлом владелица журнала «Спорт», чемпионка Федерации Республики по теннису, отличается шармом, доброжелательностью и тонким умом – все мы помним ее великолепные эссе по истории средневековой германской музыки...» Возьмите меня обозревателем, Кроне,– усмехнулся Исаев.– У меня ограниченные запросы.

— Возьму, возьму, валяйте дальше.

— Ладно. Двинемся дальше. Вот заметочка из «Бамса». Август 1965 года. «Вчера на яхте Ганса Дорнброка, которая приписана к порту Палермо, на трехдневную морскую прогулку отправились Ганс Дорнброк, фройляйн Гизелла Дорнброк (57 лет) и доктор Бауэр (49 лет). Фройляйн Дорнброк месяц назад переехала из Базеля, где она жила последние двадцать три года, в Западный Берлин. Она является единственной, кроме сына, родственницей Дорнброка-старшего». Ну? Что вам это говорит? Это было в августе. А в ноябре Бауэр развелся с женой. Тихо и по-доброму. Дальше. Февраль 1966 года. «Фридрих Дорнброк, фройляйн Гизелла Дорнброк и доктор Бауэр провели зимние каникулы в итальянских Альпах, в доме, который был куплен Дорнброком в 1935 году на имя его старшего сына, погибшего в последние дни войны. Лыжники, проживавшие по соседству с виллой магната, злословят, утверждая, что в ближайшее время Дорнброк объявит о том, что д-р Бауэр входит в состав семейного концерна. Естественно, это будет возможно лишь после бракосочетания хорошо сохранившейся Гизеллы с д-ром Бауэром, живущим ныне в одиночестве». Словом, даю руку на отсечение: Бауэр делает ставку на старушку. Она ведь хорошо сохранилась... Знаете историю про возраст женщины? Нет? Девочка — девушка — молодая женщина — молодая женщина — молодая женщина — молодая женщина — молодая женщина — бабушка умерла... Не гогочите, это старая байка. «По слухам, встречи д-ра Бауэра с фройляйн Гизеллой Дорнброк прерваны из-за Дорнброка-младшего, который поставил условие перед отцом, что, если Гизелла выйдет замуж, позволив, таким образом, войти в руководство наблюдательным советом семейного концерна Бауэру, он покинет дело». Это уже весна нынешнего года, Кроне.

— Значит, смерть Ганса Дорнброка выгодна в первую очередь Бауэру?

— А вы как думаете?

— По вашей версии выходит, что Дорнброки стали жертвой Бауэра, который рвется к власти?

— Не совсем так... Старый Дорнброк оказался раздавленным той организацией, которую сам выстроил... Умом-то он понимал, что Бауэр держит в руках все рычаги, но ведь помимо ума есть сердце. Сердце отца. Обра-

тите внимание, как старик насильно затаскивал сына в свое дело. Это теперь общеизвестно... Лишь потеряв сына, он отдал пост заместителя Бауэру. Когда кончится траур, он объявит о помолвке Гизеллы с Бауэром, помяните мое слово. Все может погибнуть, но дело обязано жить. Старик сейчас ненавидит Бауэра, он ненавидит его страшной ненавистью, и он, именно он, провел его на пост своего заместителя...

— Фантастика какая-то,— сказал Кроне.— Вы можете торговать сюжетами...

— Было бы наивно считать, дорогой Кроне, что все зло сконцентрировано в Бауэре. Концерн — это мощный механизм с громадным количеством темных лабиринтов. Там, в недрах этой организации, может расти злой гений века, пока никому не известный. Но все это частности, Гейнц. Очень важные, конечно же, частности... Главное, куда идет концерн Дорнброка, на что он устремлен в плане политической перспективы... Это вас интересует?

— Ха! — сказал Кроне.— Еще бы! Много денег потребуете за информацию?

— Я старый человек, милый Гейнц, и на сигареты мне пока хватает. Миллион дадите, и будет,— усмехнулся Исаев и разложил перед собой несколько белых картонок из досье.— Вот это я взял из прессы. Могу прочитать по порядку, в хронологической последовательности. Итак, первое: «Нации без собственного ядерного оружия вряд ли смогут в будущем играть роль великой державы. Нации без собственного ядерного оружия не смогут идти в ногу с теми, кто создает ядерное оружие в плане дальнейшего научного и технического развития...» Это говорил Греве, представитель ФРГ в НАТО, 24 января этого года. Заметьте: Греве тесно связан с делом Дорнброка, Гейнц. Далее: «Обладание и право использования ядерного оружия должно стать символом и даже характерной чертой, определяющей критерий суверенитета». Это Штраус в бытность свою министром обороны у Аденауэра. Заметьте: Штраус — член наблюдательного совета у Дорнброка. Далее: «Западногерманская фирма «Ваффен унд Люфтрюстунге А.Г.», связанная договором с Дорнброком, испытала на своем полигоне многоступенчатую ракету, заявив, что отныне она готова принимать заказы на исполнение всех систем тактических ракет». Это «Штутгартер цайтунг». Продол-

жаю: «С 1956 по 1966 год в ФРГ на цели министерства обороны израсходовано 200 миллиардов марок, что в два раза больше сумм, затраченных Гитлером на военные нужды Германии за все время его пребывания у власти». Сие «Альгемайне цайтунг». Далее: «По полученным сообщениям, Ганс Оповер и Вам Пресс из Высшего технического училища в Мюнхене проводят в высшей мере интересные эксперименты. Суть их окружена плотной завесой секретности, однако осведомленные источники считают, что они работают над созданием плазм, генерирующих с помощью лазеров мощные лучи света, сфокусированные так, чтобы создать при этом необходимую высокую температуру. В связи с этим высказываются предположения, что таким же образом можно будет вызвать реакцию синтеза дейтерия и трития. А, как известно, водородные бомбы получают свою энергию от синтеза ядер дейтерия и трития, которые нужно нагреть до температуры, превышающей 100 миллионов градусов по Цельсию. Это достигается с помощью атомной бомбы, являющейся взрывателем водородной бомбы. Оповер и Пресс собираются, вероятно, использовать вместо старого атомного взрывателя новый — лазер, который будет надежнее при взрыве водородной бомбы». Это пишет «Санди таймс», Гейнц. А Высшее техническое училище в Мюнхене Дорнброк опекает последние три года очень активно... Интересно? То-то. Далее: «Политика США ни в коем случае не предусматривает передачу контроля над ядерным оружием Соединенных Штатов в руки какого-либо государства, не обладающего ядерным оружием». А это представитель США в «Комитете восемнадцати» в Женеве, июнь прошлого года. Это одна рука, Гейнц, которая не ведает, что творит другая. А другая вот что творит: «В течение многих лет мы представляем своим партнерам по НАТО системы тактического ядерного оружия. Мы проводим обучение по применению этого оружия с большим числом союзнического военного персонала. Мы прилагаем всевозможные усилия, чтобы информировать наших партнеров по НАТО о проблемах ядерной войны». Это Макнамара, министр обороны США. И далее: «В США в ракетных частях проходят стажировку 5 тысяч офицеров и солдат бундесвера». Это «Франкфуртер рундшау». А теперь послушаем пангер-

манистов: «Мы, разумеется, тоже знаем, что американская политика в Европе преследует в первую очередь американские интересы. Необходимо уточнить, насколько эти интересы совпадают с нашими». Это канцлер Кизингер. И все это, мой друг, покоится на занятной концепции: «Наши территориальные требования простираются далеко за линию Одер—Нейсе, мы снова хотим заполучить старые области немецкого господства. 2000 год не должен стать годом 83-й годовщины Октябрьской революции». Это генерал фон Хассель, кавалер четырнадцати наград, полученных от Гитлера, министр обороны ФРГ в кабинете Аденауэра — Эрхарда. И, наконец, последнее: «Вражда между Пекином и Москвой породила в Германии мысль о том, нельзя ли сделать Китай рычагом в германском вопросе, включая линию Одер—Нейсе, в соответствии с формулой: «Враг моего врага — мой друг». Мы, безусловно, вправе включить Пекин в наши расчеты». Это писал Майоника, член фракции ХДС/ ХСС в бундестаге. Я читал вашу статью, Гейнц, по поводу водородной бомбы Дорнброка. Вы ищете сенсацию и хотите, чтобы она была взрывчатой, яркой, хлесткой. Я же зову вас к тщательному анализу допустимых возможностей, мой друг. Допустимая возможность — это важнее, чем очевидный факт. Простите за назидательность, но мы, старики, спасаемся от склеротического маразма, вещая истины. Не сердитесь на меня. Просто я вам рассказал сугубо схематично то, что меня тревожит сейчас, но в будущем может тревожить еще больше... И не одного меня. Вас тоже...

— Слушайте,— сказал Кроне, зачарованно слушавший Исаева,— я спрашивал вас два раза: кто вы?

— Я отвечу вам,— сказал Исаев.— Только сначала я задам вам несколько вопросов. Первый: вы социал-демократ? Можете не говорить. Я знаю. Второй: почему вы ненавидите Дорнброка, Круппа и всех, кто с ними?

— Потому, что Крупп и Дорнброк — это война и это Гитлер.

— Кто сломал голову Гитлеру?

— Русские.

Исаев откинулся на спинку кресла и достал из кармана паспорт.

— Вот,— сказал он.— Читайте. Только там не написано, что я профессор Института экономики в Москве и что мой аспирант — это тот самый Кочев, который «попросил политического убежища»...

— Ничего не понимаю... Вы русский? Коммунист?

— Конечно. Что, стало страшно? Кроне, Кроне, милый мой Кроне, когда же мы научимся видеть то, что нас объединяет, а не то, что разводит по разным углам ринга?! Словом, может понадобиться ваша помощь в получении улик. Согласны вы нам помочь?

— «Нам»? Кого еще вы имеете в виду?

— Прокурора Берга. Он ведет честную борьбу, и ему будет очень трудно, потому что он теперь один на один против банды...

— Я готов помочь вам, профессор.

— Спасибо... Когда вы сформируете кабинет из социал-демократов,— улыбнулся Исаев,— можете написать обо всем этом деле. А теперь будем ждать новостей от Берга, он позвонит из Италии. Именно вам... мы с ним так уговорились...

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

Люс рассвирепел: в Европе знакомые говорили, что в Токио все понимают английский. «Японский там не обязателен,— уверяли Люса.— Интеллигенция даже думает по-английски... Не говоря уже о тех, кто работает в сфере «сабиса»— так японцы переиначили на свой лад слово «сервис».

— Большой дом!— вдалбливал Люс шоферу такси.— Ваш небоскреб! Касумигасеки! Понимаете? Самый высокий дом в Токио! Рядом с парламентом! Огромный дом! Касумигасеки!

Шофер кивал, улыбался, но не понимал по-английски ни единого слова. А Люс не мог, просто не имел права опоздать, потому что сейчас решалось все, сейчас его ждет человек, который скажет правду... Без этой правды он не сможет продолжать борьбу... А токийский таксист не понимает ни единого слова...

...В том, что Япония не говорит по-английски, Люс убедился вчера вечером, прилетев из Гонконга в Осаку.

Там он едва не опоздал на встречу с журналистом Онумой, потому что ни шофер, ни прохожие не понимали его, когда он называл адрес. Слава богу, случайный прохожий — о чудо!— понял Люса и растолковал адрес шоферу, а Онума дождался его.

— Я так и подумал, что вы без переводчика,— сказал тогда Онума.— Это обычное заблуждение. Считают, что если двадцать лет у нас стоят американцы, то мы обязательно должны усвоить их язык. Наоборот, то, что навязывают, отвращает. Американцы старались навязать нам модерн во всем. Результат получился обратный: поэзия средневековья никогда не была так популярна в Японии, как сейчас. Причем книги раскупают не старики, а молодежь. Вам не кажется это симптоматичным? С моей точки зрения, это весьма симптоматично.

— Подвиги, самураи и прекрасная женщина? — спросил Люс.

Онума покачал головой.

— Нет,— ответил он.— Я понимаю, отчего вы сразу так решили... Вы не правы. «В горах прошел ливень, и ветка вишни сделалась пепельной»— это образец той поэзии, которой увлечена молодежь. К одному и тому же можно идти разными путями, не так ли? Можно сразу поднимать культ самурая, а можно сначала привить вкус к поэзии эпохи расцвета самурайской империи. У вас в Европе перепрыгивают через ступеньки, у нас это не принято — смешно, особенно когда спотыкаешься, и больно, если упадешь. Сколько у вас времени? Очень спешите?

— Я прилетел сюда специально, чтобы увидеться с вами. Мне сказали, что вы знаете, где я смогу найти Исии...

— Простите! — удивился Онума.— Какую Исии?

— Ну, девушку из группы Шинагавы... Фокусы, предсказания судьбы по линиям руки, немного стрптиза...

— Странно... Я получил телеграмму от Чен Шена, он просил помочь вам с делом Дорнброка.

— Правильно,— Люс начал раздражаться.— Она была девушкой Дорнброка, эта Исии. А Чен Шен сказал, что вы дружите с продюсером Шинагавой...

— Шинагава-сан действительно мой друг, но Исии я не знаю.

— Чем же тогда вы сможете помочь мне с делом Дорнброка?

— Если у вас есть время,— предложил Онума,— мы зайдем в один маленький симпатичный бар. Там собираются журналисты и актеры. Славные люди. А потом мы навестим дом, где я познакомлю вас с гейшами... У вас, европейцев, неверные представления о гейшах, и я всегда стараюсь вести контрпропаганду,— пояснил Онума.— Ну как?

— С удовольствием, спасибо,— ответил Люс.— У меня совершенно свободный вечер. Я успею к завтрашнему утру добраться до Токио?

— Экспресс идет через каждые двадцать минут. Скорость — двести пятьдесят километров, очень удобно...

«Чем-то он похож на Хоа,— подумал Люс и содрогнулся, вспомнив, как Хоа вызвал его на черную лестницу того морского бардака. После скандала в клубе «Олд Айлэнд» они все же поехали в тот дом, где жили морякипроститутки. Джейн отговаривала его, уверяла, что это опасно, что это может бросить тень на его репутацию. Но Люс был унижен тем, что позволил усадить себя в такси, а не схватился с тем длинным Ричмондом, и поэтому настоял, чтобы пойти в бордель. Когда они вошли в тот дом, их сразу же окружили страшные создания, не похожие на нормальных людей. Высокие, завитые, напудренные, хрипло смеющиеся, пьяные, плачущие, они повели хоровод вокруг европейцев, а Хоа стоял в стороне и смотрел на Люса без улыбки — впервые за все время их знакомства... Люс лишь на мгновение увидел этот его взгляд, а потом снова с отвращением повернулся к морякам... У моряков были страшные руки — громадные, натруженные; обгрызенные ногти, покрытые красным лаком; очень большие неживые стеариновые груди. Люс заметил, что кожа на этих искусственных грудях (декольте на их платьях было глубоким) какого-то мертвенного цвета — желтая, с отливом синевы.

...Ах Осака, Осака, сумасшедший город! Европа, Америка, Азия, Марс — все здесь смешалось, сплавилось воедино яростное сине-желто-красное ночное соцветие реклам, которые слепят, трижды отраженные в мокром асфальте, в стеклах витрин, в жирных капотах черных автомобилей... Осака, Осака, неистовый город, весь в пульсации жизни, ни на минуту не затихающий, весь в гомоне, крике, шуме,— самый неяпонский город в Японии,

самый японский город в Азии!

«Что нового он может мне сказать о Гансе?— думал Люс, вышагивая следом за Онумой по узеньким улочкам Сидзукуси.— О Дорнброке мне больше ничего не надо. Мне теперь надо увидеть Исии. Тогда все закольцуется. Ей-то уж Ганс наверняка должен был сказать о мистере Лиме.»

Онума вошел в маленький — всего пять столиков — бар. Хозяйка приветствовала его обязательным возгласом:

— Добро пожаловать!

Две девушки сняли с Люса дождевик и провели его к маленькому столику под лестницей, которая пахла свежей сосной и вела наверх, в жилое помещение.

— Как вы относитесь к сырой рыбе? — спросил Онума.— Я хочу предложить вам суси. Это очень вксно: сырая рыба и рис. Некторые европейцы не могут есть сырую рыбу, но на этот случай у нас припасена макахура, то есть икра. Или осьминог, он не так физиологичен.

— Я люблю сырую рыбу. И сырое мясо. И вообще, больше всего мне нравится поедать ежей,— ответил Люс.

Онума чуть посмеялся — каждая нация вправе шутить по-своему — и спросил:

— Был трудный перелет?

— Нет, все нормально...

— Не очень устали?

— Это вы о ежах? Простите меня: я так шучу.

— Нет, это вы простите, что я не понял ваш юмор,— ответил Онума.

Как только к их столику подошли девушки и принесли целлофановые пакетики с горячими влажными салфетками, пропитанными благовониями, с лица Онумы сошло напряжение, и оно сделалось непроницаемо спокойным.

«Такое же лицо было у Хоа,— подумал Люс,— когда он сказал на черной лестнице, что я родился счастливым, потому что мне покровительствует случай».

«Вообще-то, случай обращен против людей,— сказал тогда Хоа.— Ведь рождение, как, впрочем, и смерть, случайно».

Он тогда три раза повторил, что случай спас мне жизнь. «Не будь поездки в этот «Олд Айлэнд» и не пойми я, что вы действительно разгневаны поведением мистера Ричмонда (я это до конца понял, когда вы так испу-

гались мистера Ричмонда, испугались около такси; я его тоже очень испугался, я вообще боюсь белых: только потому я согласился выполнить просьбу мистера Лао...), вы бы исчезли. Я ведь ничего против вас не имел... Вы мешали мистеру Лао, помощнику председателя Лима. Я наблюдал за вами в клубе и понял, что убирать вас будет легко, потому что вы сопротивляетесь лишь на словах — на деле вы беспомощны. Но вы действительно очень сильны в словах. Я не очень вас сначала понимал, мистер Люс,— продолжал Хоа,— вы всегда и всем говорили правду, а я не понимал, как это можно говорить всю правду: это ведь значит оставлять себя незащищенным... А потом я понял, что ваш прием самый действенный: ложь заставляет держать в голове тысячи версий, ложь тренирует разум человека, без лжи невозможен прогресс, мистер Люс, но когда лжи противостоит правда, тогда, значит, человек, говорящий правду, очень надеется на свои инстинкты, тайные провидения — он уверен, что и во лжи собеседника ему откроется истина».

Онума сказал:

— Суси надо обязательно макать в соевый соус, это придает пище особый колорит, лишь соя может объединить рис и сырое мясо тунца в единый ансамбль лакомства. Нет, нет, макайте еще смелее, мистер Люс... Знаете, лучше я буду называть вас Люсо-сан, ладно?

— «Сан»— это господин?

— Я бы не стал так переводить. «Чио-Чио-Сан» популярна у вас в Европе. Вы переводите «Чио-Чио-Сан» как «Мадам Баттерфляй»... А ведь это неверно. «Ночная бабочка во время грозы кажется черной, но утром она умирает белой, как солнце в дни тумана...» Это средневековье... Я бы так перевел имя героини оперы... «Сан» заключает в себе массу смыслов. Вообще, иероглифика весьма многосмысленна. «Сан» — это проявление уважительности в обращении к человеку... Нет, я бы не хотел переводить этот иероглиф как «господин». Мне слово «господин» не нравится, очень не нравится... «Сан» нельзя перевести на ваш язык. Только иероглифика способна передать истинное значение «сан». Кстати, в чем я не был согласен с Мао, так это с его попыткой реформировать язык, переведя иероглифы на латинский шрифт...

— Вы интересуетесь экспериментом Мао?

— Выпьем сакэ, пока оно горячее. Нашу водку надо пить очень горячей. Здесь дают прекрасное сакэ из Иокогамы. Двойная очистка, причем наш рис смешан с южнокитайским, чуть желтоватым. Здесь действительно особое сакэ.

— Очень вкусно. И суси замечательно. Никогда не думал, что у вас такая прекрасная еда...

— Ну, это мы только начинаем экскурс в нашу кулинарию, Люсо-сан. Вас ждут сюрпризы... Редактор коммунистической газеты как-то сказал мне, что он согласен помириться с феодализмом лишь на базе народной японской кухни.

— Вы тоже коммунист, Онума-сан?

Онума рассмеялся:

— Вы правильно обратились ко мне. Некоторые европейцы говорят «Онума», некоторые — «мистер Онума», и это все обижает меня. «Онума-сан» — это очень приятно. Хорошо, что вы именно так обратились ко мне. Иногда приходится подсказывать, и тогда уже не так приятно, если тебя назвают по правилам. Сюрприз всегда приятен. Нет, я не коммунист... А вы?

— Я их уважаю.

— Вы член партии?

— Для художника членство в партии необязательно.

— А я к коммунистам отношусь плохо.

— Приветствуете Мао и не любите коммунистов...

— Я не связываю личность Мао с общезначимым коммунизмом. Мао — лидер азиатской страны, которая за двадцать лет превратилась в мощную державу...

— Сама по себе или с помощью Кремля?

Онума словно не слышал вопроса Люса.

— Мао,— продолжал он,— обратился к молодежи, а мы, например, мучаемся с нашим дзенгакуреном...

— Что такое дзенгакурен? — спросил Люс.

— Это те, кого у вас называют длинноволосыми, новые левые. Мы с ними мучаемся, компрометируем себя политикой кнута и пряника, заигрываем с ними, сажаем их, платим им... А Мао взял да и сделал государственную ставку на молодежь, когда понял, что идеи мирового коммунизма входят в противоречие с практикой его внутренней и внешней политики. Он сумел использовать в своих целях поколение молодых. В этом смысле я приветствую эксперимент Мао. Он собрал воедино догмы буддизма, и

методику Троцкого, и концепции научной революции последнего десятилетия. Это серьезная комбинация. Недаром же в Австралии редакторам газет уже предписано воздерживаться от карикатур на Мао, а многим из них рекомендовано писать об его эксперименте в уважительных тонах. При этом о Японии там пишут в совершенно разнузданном, недопустимом тоне. Меня это наполовину радует, наполовину огорчает. Моя мать — китаянка, а кровь — это всегда кровь, не так ли? Но, как сын японского отца, я обижен за Японию...

— Но что же главное, привлекающее вас в опыте Мао? Игра с молодежью?

— Нет, Люсо-сан... Главное, что меня привлекает в эксперименте Мао,— это борьба против партийной и государственной бюрократии...

— Вы убеждены, что в Китае была партийная и государственная бюрократия?

— Это наивно опровергать.

— У меня сомнение: если начинали вместе — Мао, Лю Шао-ци, Пын Дэ-хуай, Линь Бяо, Дэн Сяо-пин, Чэнь И, то почему один из них стал бюрократом и наймитом иностранной державы, а другой остался верным идее? Не кажется ли вам странным обвинение, выдвинутое против председателя КНР Лю Шао-ци, в служении интересам иностранной державы? У нас может случиться, что генерал или незадачливый помощник министра оказывается агентом иностранных держав — их ловят на алчности, на бабах или гомосексуализме, но в мире еще не было такого, чтоб глава государства, министр иностранных дел, военный министр и генеральный секретарь оказывались агентами и наемниками иностранцев. В чем же дело?

— Видите ли, Люсо-сан, вы должны делать скидку на пропагандистский аспект вопроса. Мао нужно было сплотить народ. Как можно иначе сплотить народ, если нет войны, а в стране масса трудностей?!

— Значит, партия, которую возглавлял Мао, не знала о том, что происходило в стране, возглавляемой Лю? Как же тогда быть с руководящей ролью партии в красном Китае?

— Партия и была лидером общества, она и поняла, что бюрократы перекрыли путь молодому поколению к управлению страной.

— Значит, раньше ничего не понимали, а потом вдруг взяли и поняли! А что поняли? Окружены старыми шпионами и врагами, да? И кто же это понял? Молодой Мао? Ему сколько? Сорок? Или пятьдесят? Он что — уступил свое место молодому? А может, он просто заставил молодого хунвэйбина пытать стариков — своих соратников по революционной борьбе — для того, чтобы самому стать живым богом? Бросьте вы о бюрократии, Онума-сан. Просто Мао захотел быть единственным... А для этого надо забыть многое и многих. Он решил сделать так, чтобы нация лишилась памяти.

— В ваших словах есть доля истины, Люсо-сан... Но вы судите о предмете лишь по последним событиям и делаете из Лю мученика. А ведь он с Мао вместе в свое время предал анафеме бывшего секретаря ЦК Ван Мина... Они тогда обвинили его в тех же грехах, в которых сейчас Мао и Линь Бяо обвиняют Лю. И чтобы это самопожирание было последним, Мао сделал ставку на молодежь. Поймите же, когда выстроена перспектива, надо во имя великой цели уметь идти на определение жертвы! Но разве цель — призвать молодежь к борьбе против всех и всяческих проявлений бюрократизма — это не здорово?

Люс рассмеялся. Он продолжал смеяться, прикуривая от спички, зажженной предупредительным Онумой.

— Какая перспектива, Онума-сан? — сказал он.— Молодежь-то повзрослеет! Она прочитает о подвигах маршала Пын Дэ-хуая во время освободительной корейской войны. Она услышит о том, что именно Чжу Дэ создал Красную Армию Китая! Это еще пока в Китае мало радиоприемников, с информацией туго. Мао сделал ставку на китайскую стену, но ведь скоро телевизионные программы будут со спутников передавать! Какая там стена! Ни одна стена не выдержит натиска информации... А что касается сегодняшнего дня... Знаете, лично мне очень не нравится, когда борьба с бюрократией сопровождается сожжением книг Шекспира, Толстого и Мольера...

— В большом надо уметь жертвовать малым, Люсо-сан.

— Это ваша первая ошибка за все время, Онума-сан. Шекспир и Толстой — это, по-вашему, «малое»? Да все бюрократии мира, вместе взятые, ничто в сравнении с гением одного из этих писателей!

– Почему вы оперируете именем русского писателя, Люсо-сан?

– Вы думаете, я путешествую на деньги Москвы? А почему не Лондона? Я оперировал и Шекспиром... Нет, Онума-сан, просто Шиллера в Пекине пока не сжигали.

– Я там был, когда разбивали пластинки Бетховена.

– Спасибо за информацию. Вы не делали фотоснимков этого эпизода «по борьбе с бюрократизмом»?

– Делал. Но, к сожалению, пленка была засвечена китайской таможенной службой.

– Странно, вы их апологет – и такая неуважительность...

– А это ваша вторая ошибка, Люсо-сан. Я отнюдь не являюсь апологетом красного Китая. Я лишь стараюсь быть объективным. Я патриот Японии, Люсо-сан, в такой же мере, как и Китая...

– Китай – руки, Япония – голова, Азия – матерь планеты, так, что ли?

– Не совсем так. Это было бы дискриминацией по отношению к другим нациям...

– Ваша водка очень легкая, Онума-сан.

– Не скажите, Люсо-сан. Она легка до той поры, пока не надо вставать из-за стола. Я не задал вам обязательного вопроса: как вам показалась Япония?

– Вам бы надо иначе сформулировать вопрос: «Вы в Японии впервые?» А потом спрашивать, понравилась ли мне Япония.

– Вы хотите сказать, Люсо-сан, что вам ясно, зачем я с вами беседую? Вы хотите дать мне понять, что вам ясна моя роль?

– Именно. Именно так, Онума-сан...

– Так вот о Дорнброке... Не стоит вам, Люсо-сан, восстанавливать против себя Азию. Вспомните, что случилось с Якобетти... Стоило ему сделать безжалостный фильм об Африке, как его предали остракизму во всем мире: сильные уговорились делать политику на защите слабых. Я имею в виду словесную, ни к чему не обязывающую защиту. Она страшна лишь для художников; военных, бизнесменов и министров она не касается.

– Чен Шен просил вас попугать меня? Или кто другой?

– Вы не правы Люсо-сан, меня никто не просил пугать вас. Меня просили, поскольку я знаю немецкий, ска-

зать вам то, что я сказал. Не надо унижать азиатов вашей правдой. Занимайтесь Дорнброком в Германии. Но не надо впутывать в это ваше дело Азию. Китай – особенно. Вас проклянут и правые, и левые. Энцесбергер и Годар держат у себя в домах портреты Мао.

– Снимут,– ответил Люс.– Когда Мао начнет открытый диалог с Вашингтоном или с нашими бешеными, они снимут его портреты... Лишь игра в бунт предполагает тягу к авторитарности...

– Мао не начнет диалога с врагами. Еще сакэ?

– С удовольствием. Желаю вам успеха, Онума-сан! Ваши люди должны меня сегодня прирезать? Или будете топить в море?

– Я не бандит, Люсо-сан. Я желаю вам лишь одного: выполнения всего вами задуманного. Я готов помогать в меру моих сил и возможностей.

– Тогда ответьте: что у вас говорили о переговорах Дорнброка? Я не прошу точных фактов. Меня пока что удовлетворят даже слухи.

– В «Асахи» проскользнуло сообщение, что Дорнброк вел переговоры о расширении атомного полигона на китайской территории.

– Дорнброк был здесь. Ему задавали такой вопрос?

– Да. Ему задали этот вопрос в аэропорту. Но он отказался отвечать на все вопросы и сразу же улетел в Токио. Он очень торопился.

– Он торопился к Исии.

– Увы, это имя мне ничего не говорит.

«Вы мешаете мистеру Лиму,– продолжал тогда Хоа,– потому что нашли японку. У мистера Лима деловые связи с мистером Дорнброком. Я говорю вам это, потому что вы сказали мистеру Ричмонду: «Хорошо, что подобных вам топят здесь в каналах». Случай был за вас, мистер Люс. Я ничего бы не смог поделать, я был бы вынужден, даже несмотря на вашу доброту ко мне, выполнить поручение мистера Лао, но случай за вас. Ведь с вами миссис Джейн, а ее муж работает в американской контрразведке... Она лишний свидетель, и я с радостью верну деньги мистеру Лао, полученные за то, чтобы вы навсегда исчезли. Вы стоили восемьсот долларов, мистер Люс. Я истратил на аренду такси восемь долларов, так что прошу их вернуть мне: я обязан отчитаться перед мистером Лао».

Люс тогда попросил Хоа устроить ему встречу с мистером Лао. Хоа ответил:«Если вы станете рассказывать кому-то, о чем я говорил вам, я погибну, но я погибну, утвердившись в лютой ненависти к белым. Ненависть отцов, даже убитых, передается детям, мистер Люс. А каждый третий человек на земле — китаец».

Люс медленно тянул горячее сакэ — оно было горячим и чуть прислащенным, с очень нежным запахом. Он вспоминал, как наутро в номере ему подсунули газеты под дверь. Он всегда просыпался, когда связка газет влетала под дверь его номера и, проскользнув по натертым плитам кафельного пола, ударялась о ножку стула. Иногда газеты рикошетили к кровати, и Люсу даже не приходилось подниматься, чтобы узнать все новости.

На второй полосе он увидел фотографию автофургона с разбитым ветровым стеклом. Сверху был громадный заголовок: «Убийство коммерсанта Хоа-Шу-дзэ (59 лет, владелец двух катеров и магазина около порта)». Люс подумал: «Никогда бы не дал ему пятидесяти девяти. От силы сорок». Только потом он понял, что это напечатано именно о Хоа, и что Хоа убит, и что ушел он из жизни с ненавистью к белым, которые протягивают руку, чуточку помедлив,— как Джейн в клубе.

— Вы думаете, я агент? — спросил Онума, когда они, сняв ботинки, вошли в салон мадам Сато, окруженные стайкой гейш.— Я не агент, Люсо-сан, просто мне, как и вам, нужен допинг. Умным людям всегда нужен допинг интереса. Меня попросили поговорить с вами. «Запомните его,— сказали мне,— когда он выпустит свой новый фильм, вам будет что написать».

Онума казался совсем трезвым, и поэтому Люс решил, что японец здорово пьян.

— Кто вас об этом просил?

— Друзья. У меня много друзей в Гонконге. Знаете, чтобы вы не думали, будто я какой-то агент, я дам вам один адрес. Это в Токио, возле небоскреба Касумигасеки...

— Спасибо. Чей это адрес?

— Там частная клиника.

— Спасибо. Но..

— Там сейчас лежит Исии-сан.

– Что?!

– Ничего. Просто мне приятно видеть вашу растерянность. Вы наивно считали, что умно и хитро ведете партию, а ведь всю партитуру беседы расписал я. Но вы стойкий человек, а мне это нравится... Вы понимаете, что играете смертельную игру?

– Вам это подсказали?

– Мне никогда никто не подсказывает. Я сам думаю, сопоставляю вашу заинтересованность с заинтересованностью моих друзей. Вы работаете на МАД? Нет?

– На военную контрразведку? Я? Почему?!

– Я прочитал об этом в немецких газетах.

– Когда это было напечатано?

– Дня три назад.

Люс хлопнул в ладоши и рассмеялся:

– Тогда у меня все хорошо, Онума-сан! Значит, они решили прижать меня с другой стороны, опозорить в глазах интеллигенции, когда не вышло у Ли...

– У кого?

– У Лихтенштейна,– ответил Люс спокойно. Он вовремя оборвал себя. «Ли» – это ведь не «Лим». Это «Лихтенберг», «Лихтенштейн», «Либерганд»...– Лихтенштейн – это враг моего продюсера, Онума-сан.

– Но это не мистер Лим? – тихо спросил Онума и, не дождавшись ответа побледневшего Люса, пошел танцевать с одной из гейш. Невидимый магнитофон вертел мелодии Рэя Конифф а.

Люс поднялся, и его качнуло.

«А я здорово набрался этого сакэ,– подумал он.– Шатает. Ну и пусть. Сдыхать надо пьяным. Не так страшно. Но они сейчас не станут меня убивать. Я в их руках. Они крепко попугали меня с Хоа. Им кажется, что этого достаточно».

Онума-сан, держа в руке длинный бокал, шагнул ему навстречу. Он чокнулся с Люсом бокалом, в котором было шипучее шампанское, пролив несколько капель.

– Давайте выпьем за искусство,– сказал Онума.– За правдивое искусство. Сейчас искусство должно быть правдивым, как математика. Вот за это я хочу выпить.

– Ладно,– согласился Люс.– Только я осоловел.

– Можно попросить нашатыря.

– Нет, нет, не надо. А как вас можно называть уменьшительно? Я хочу называть вас ласковым именем...

— Японца нельзя называть уменьшительно,— ответил Онума.— Мы и так маленькие. А вы хотите нас еще уменьшить...

— Можно, я буду назвать вас Онумушка?

— Это нецензурно,— ответил японец,— видите, наши подруги прыснули со смеху. Никогда не называйте меня так, очень прошу вас.

Токийский шофер подвез Люса к полицейской будке и показал пальцем на молоденького высокого парня в белой каске.

Полицейский дважды переспросил Люса, а потом облегченно вздохнул:

— Понятно. Теперь понятно. Это в седьмом блоке.— И он объяснил шоферу, как проехать к частной клинике, которая помещалась неподалеку от токийского небоскреба Касумигасеки.

«Это совсем рядом, вы легко найдете,— сказал ему на прощание Онума,— полиция в крайнем случае поможет вам, у них есть специальные путеводители...»

Клиника была крохотная — всего пять палат. Тихо, ни одного звука, полумрак...

Выслушав Люса, дежурная сестра утвердительно кивнула головой и, молча поднявшись, пригласила его следовать за собой.

Исии лежала в палате одна. Палата была белая — такая же, как лицо женщины. И поэтому ее громадные глаза казались двумя продолговатыми кусочками антрацита; они блестели лихорадочно, и, когда она закрывала глаза, казалось, что в палате становится темно, как в шахте.

— Здравствуйте,— сказал Люс.— Вас уже предупредили, что я приду?

— Нет,— ответила женщина.— Кто вы?

— Я друг Ганса.

Темно в палате, очень темно.

— Вы ждали меня?

— Нет. Я вас не ждала.

«Надо включить диктофон. Я не скажу ей об этом. Она знала о моем приходе. Ее предупредили — в этом я сейчас не мог ошибиться».

Женщина молчала; ее лицо побледнело еще сильнее.

— Я друг Дорнброка,— повторил Люс.

«Я сейчас должен получить от нее то, за чем ехал сюда. И я получу это. Если я ничего не получу — тогда, значит, я действительно слизняк и мразь... Она знает, из-за чего погиб Ганс, из-за чего они взорвали Берга, она знает! А если нет, тогда я просто не знаю, что делать дальше... Но она знает что-то, поэтому она соврала, сказав: "Я вас на ждала". Она ждала меня».

— О ком вы говорите? — спросила женщина.— О каком Гансе?

— О Гансе Дорнброке...

— Вы, вероятно, спутали меня с кем-то... Я в первый раз слышу это имя. Кто он?

— Он? («Ну что же, прости меня бог, но я не могу иначе. «К доброте — через жестокость!» Так, кажется? Это трудно, ох как это трудно и гадко быть жестоким!») Вы спрашиваете о Гансе Дорнброке?

— Да.

— Один хороший парень, но крайне нестойкий по отношению к женщинам.— Люс хохотнул:— Он собирал коллекции женщин по всему миру...

Ах как светло в палате, глаза-шахты широко раскрыты, в них гнев и бессилие!

«Ну говори! Скажи мне то, что ты должна сказать! Кто запретил тебе говорить о нем? Кто?!»

Темнота. Тишина. Капли пота на лбу и висках.

— Простите, но я не знаю Ганса...

«Есть много методов,— подумал Люс.— И Брехта, и Феллини, и Станиславского, и Годара, и Уолтер-Брайтона... Хотя нет, у него способ, а не метод. Или наоборот... И потом он не режиссер, а физик... Очень славный человек... При чем здесь способ? Ах да, вспомнил... Ну-ка давай, Люс, выбирай точный метод — только единственный метод поможет тебе в работе с этой актрисой. Одних надо злить, с другими быть нежными, третьих брать интеллектом, четвертые — обезьянки, им надо показывать и следить за тем, чтобы они верно тебя скопировали. Но это самое скучное. Лучше всего, если актриса или актер поймет тебя. Тогда забудь горе: у тебя появилось твое второе «я», ты стал сильным, все то, над чем ты работал долгие месяцы, сделалось сутью актера, его жизнью. Облако Уолтера-Брайтона — как я сначала не обратил на это внимания, а?! То радиоактивное облако, за которым он наблюдал. Которое унесло семь жизней. И унесет еще

двести-триста. Как мне трудно было связывать облако с радиоактивными частицами после взрыва в Синьцзяне, полет Ганса в Гонконг, тошноту «беременной» Исии и слова доктора из британской колонии, который так смеялся над версией «беременности»: «Она ведь родилась в Хиросиме через десять дней после атомного взрыва!» А после водородного взрыва в Синьцзяне она сидела в том городе, над которым прошло новое радиоактивное облако... Это не моя работа — заниматься сцепленностью фактов, моя работа — это взаимосвязанность характеров... Впрочем, сейчас вроде бы я на пороге этой работы. Люс, не ошибись!»

— Вы настаиваете на этом утверждении? Вы не знаете Ганса Дорнброка?

— Не знаю.

«Как меня тогда стегал Берг? «Вы лжете! Порошок с ядом был в вашей спальне... Такой же, каким отравился Ганс». «Лгали», а не «врали». Спокойствие слова — свидетельство силы».

— Зачем вы лжете Исии-сан?

Женщина, не открывая глаз, повторила:

— Я не знаю Ганса...

— Шинагава-сан... Это имя вам знакомо?

— Да.

— Это ваш продюсер?

— Да.

— Он мне рассказал о том, как вы гадали Гансу...

Снова свет в палате. Быстрый, отчаянный, страшный...

— Я многим гадала. Я не знаю имен тех, кому я гадала.

— Надеюсь, имена людей, которые снимали для вас особняки, вы помните? Может быть, вы вспомните, кто снимал вам особняк на Орчард-роуд?

И женщина заплакала.

«Она плохо плачет,— подумал Люс, откинувшись на спинку белого стула.— Она играет эти слезы. Она не играла, лишь когда я назвал Ганса негодяем, который коллекционирует женщин. Почему она играет так фальшиво? Хотя это понятно — у нее были не те режиссеры...»

— Итак, вы знаете Ганса?

Она прошептала:

— Да.

— Почему вы лгали?

— Я боюсь его мести... Я боюсь, что он будет мстить мне...

— Мертвые не мстят...

Женщина вскинулась с кровати. Ослепительный свет в палате, глаза режет — как светло сейчас здесь!

— Кто мертв? Кто?!

«Она ничего не знает... Сейчас я мог проиграть. Как страшно я думаю — «мог проиграть». Черство и страшно. Может быть, Нора права — я садист? И мне доставляет наслаждение мучить людей?»

— Будь он для вас живым — вы бы так себя не вели... Желай он вам мстить — разве бы он прислал к вам своего друга? Я так заметен в вашей клинике... У вас ведь только пять комнат и один врач — неужели вы считаете европейцев такими дурачками? Ганс отомстил бы вам иначе. Просто для вас он мертв... Прошедшая любовь всегда мертва, потому что... Не плачьте... Говорите правду.

— Потом вы сразу уйдете. Тогда я скажу.

— Хорошо. Скажите, и я уйду.

Вдруг она поднялась с подушек и, ослепив его светом громадных глаз, нестерпимым, как у умирающего оленя, черным, ясным, спросила:

— Ганс в Японии?

— Да.

— Тогда почему он не пришел сам? Почему?! Он знал, где я! Почему он не пришел?! Вы говорите неправду,— опустившись на подушку, сказала она потухшим голосом.— Мне трудно видеть вас, потому что ваши глаза в тени, но все равно вы говорите неправду. Он ведь не прислал с вами никакой записки? Ведь нет же... Мертвые не мстят,— свет в палате потух, глаза закрыты,— вы правы. Я чувствовала смерть, но это была не его смерть... В тот день я почувствовала мою смерть...

— Когда это было?

— Какая разница,— устало ответила Исии.— Двадцать второго ночью я умерла, но дух пока еще в теле...

Сначала Люс испугался, но потом внутри все у него напряглось, и он подумал: «Вот сейчас она не играет, сейчас она станет моим «альтер эго», потому что я чувствую ее, боюсь ее и восхищаюсь ею... Вот сейчас я задам последний вопрос, и тогда все решится... Только надо спросить ее очень спокойно, нельзя, чтобы меня выдал го-

лос... Ты же актер, Люс, нет лучшего актера, чем тот, кто пишет или ставит, ну-ка, Люс, ну-ка!»

— Я не спросил, что с вами. Когда вы должны выйти из больницы? Он просил меня узнать об этом...

«Ну, я подставился... Видишь, как я чувствую тебя... Ты даже не смогла скрыть усмешки... Презрительной усмешки... Я таких еще не видал в Японии, вы же все такие воспитанные».

— Я выпишусь через две недели. Когда кончится курс. Передайте ему, что я изменила ему с американцем из Сайгона, когда он улетал в Кантон. Я проклинала себя за это... Он изнасиловал меня... Но у меня не хватило силы сказать об этом Гансу. Если он хочет моей смерти, пусть меня убивает скорей, я больше не могу ждать... Но Ганса быстро вылечат, меня же вылечат за три недели... Я не знала, что этот американец болен...

«Ясно. Ганс покончил с собой из-за сифилиса. Все сходится. Он боялся сифилиса, как огня, и в Берлине это знали. Как быстро об этом узнали здесь, а? — Люс сейчас думал неторопливо. Он чувствовал усталость, все тело обмякло, и сильно кружилась голова, и это утомляло его, потому что голова была тяжелой, будто в затылок налили свинца.— Стройная система. Убрав Берга, они подсовывают мне объяснение, приемлемое для общественного мнения. Учтены и мои интересы: сентиментальный детектив. Буду иметь хороший прокат дома, такой прокат мне еще никогда не снился... Потом, видимо, подскажут, что Хоа работал по заданию Берга, продавшего секреты расследования левым... Тут можно накрутить пару боевиков, которые мне дадут миллион марок, а то и больше. Щедрые люди...»

— Я думал, у вас что-то другое. Сифилис — это ерунда... А в остальном все в порядке? Никаких жалоб на здоровье нет?

— Нет.

«Господи, прости мне ложь, которую я сейчас произнесу, это кощунственная ложь, господи! Прости меня за это!»

— Вы изолгались, Исии-сан... Мне жаль вас... Но еще больше мне жаль Ганса, который сейчас сидит в тюрьме по обвинению в убийстве некой Исии-сан, актрисы «мьюзикл Шинагава».

Свет! Будто два прожектора врубили поздней ночью,

во время беззвездного шторма в Бискайях.

– Что?!

Он не расслышал ее, он угадал по движению рта этот ее вопрос. Он неторопливо закурил, сдерживая дрожь в руках. Эта дрожь все сильнее колотила его, но он должен был сейчас играть спокойствие, полное, чуть отстраненное спокойствие.

«Сыграю,– сказал он себе,– если я успел подумать про спокойствие термином «отстраненное», значит, сыграю до конца».

– И я понимаю тех работников прокуратуры, которые посадили его в тюрьму. Миллиардерский сынок потешился с несчастной актрисой, снял для нее особняк в Гонконге, потом отель в Токио, просил ее руки, а потом женщина исчезла... Ведь никто не знает, что вы в этой клинике, Исии-сан... В том отеле, где он снял вам два номера, в «Токио-грандо», никто не знает, куда вы уехали. Портье показал, что вас увез высокий голубоглазый мужчина. Голубоглазых японцев пока еще нет. А Ганс – голубоглазый. Я нашел вас чудом, потому что я друг Ганса и мне дорога его судьба.

«А может быть, они хотели, чтобы она умерла при мне?! Она вся белая, и глаза леденеют! Только б она не умерла! Если она умрет, они скажут, что это я ее убил. Боже, спаси меня!»

– Вы говорите правду?– спросила Исии.

– Да. («Любовь легче обмануть, чем ненависть. Она любит его, и она уже не может видеть правду, потому что сейчас она думает лишь о нем».)

– Где его арестовали?

– В Берлине. Он собирался вылетать в Токио, но его арестовали... Он ведь должен был к вам вернуться, да?

«Никогда бы не подумал, что японки умеют так плакать. Они всегда улыбаются. Что-то она долго плачет, а у меня голова теперь раскручивается в другую сторону. Если она проплачет еще несколько минут, я брякнусь со скользкого покатого стула на пол. Он холодный, этот кафельный пол... Чем их можно поторопить, этих баб? Сантиментом, чем же еще? Все они одинаковы: африканки, немки, японки. Дуры и истерички, даже провидящие...»

– Он купил обручальные кольца...

– Что мне делать?

– Я не слышу... Громче, пожалуйста...

– Что я должна сделать для него? Это ведь ложь. Я жива. Пусть посмотрят... Он ни в чем не виноват... В чем он может быть виноват?

– Сейчас я вызову прокурора. Только сначала объясните мне, кто просил вас говорить ложь и почему вы согласились лгать?

– Я послала ему две телеграммы, но он не ответил, а мне в это время принесли счета за отель и за врачей...

– Громче!

– Что?

«Неужели она меня не слышит, я же кричу во все горло?»

– Громче! Говорите громче!

– Я задолжала за отель и за врачей, которых он нанял... Описали дом моих сестер в Нагасаки. Они сироты... Господин, который уплатил за меня долг, пообещал выплачивать после моей смерти – я, вероятно, умру через месяц – тысячу долларов в год моим сестрам до их совершеннолетия.

«Я тоже стоил восемьсот долларов, как говорил Хоа. Мистер Лао любит круглые цифры. Я стоил восемьсот – аккордно, а эти две сестры – по пятьсот каждая. Значит, я стою в два раза больше. Или на два раза? Проклятая арифметика... Какая же ты ясновидящая, если я так тебя обманул?»

– Вам сказали, что придет белый и будет спрашивать о Дорнброке?

– Да.

– И вас попросили сказать, что вы заразили его сифилисом?

– Да. Он приедет ко мне, когда его освободят?

«Сироты ее останутся теперь без денег,– вдруг четко понял Люс, и голова у него сделалась ясной, только осталась тяжесть в затылке.– Вот где ты оказался подлецом, Люс. Зачем она так смотрит? У меня ведь тоже есть душа... Она его ждет – про сестер забыла, про смерть свою забыла, его ждет... Зачем ты делаешь всех вокруг несчастными, Люс?! Забудут это дело, папа Ганса уплатит за смерть сына миллионов сто, и забудут. А две ее сестры умрут из-за меня с голоду, потому что я боролся за правду. Будь ты проклят, Люс, будь проклят... Во имя холодной правды ты убил двух девочек... Фюрер тоже убивал детей во имя «правды».Разве можно бороться с Гитлером по-гитлеровски? Хайль сила, да, Люс? Будь я проклят! Зачем я не родился шофером или клерком?! Зачем я родился такой слепой, устремленной тварью?!»

– Да. Приедет,– сказал Люс.– Обязательно. Сейчас я вызову прокурора, и мы ему все вместе расскажем, да?

– Да.

– Сколько денег перевели на имя ваших сестер?

– Пятьсот тысяч иен.

– Это сколько на доллары?

– Я не знаю... Какая разница?

«Улыбка у нее замечательная, я даже не мог подумать, что у нее такая улыбка... Как утро... По́шло, да, Люс? «Улыбка как утро»... Но что же делать, если улыбка у нее действительно как утро... Сейчас надо перевести эти проклятые иены на доллары, а потом доллары на наши марки... Не смогу... Надо послать телеграмму в Берлин, чтобы из моей доли за дом на имя ее сестер... Нет, это ее испугает... На ее имя, они же наследницы... Перевели деньги... Я еще соображаю, хотя вроде бы я на исходе. Люс, что с тобой? Ничего, так бывало, когда я кончал картину... Перенапряжение... Пройдет. Берем душу в руки и трясем ее, как нашкодившую кошку...»

Он откашлялся.

– Что? – спросила Исии.– Вам дурно?

Люс отрицательно покачал головой и спросил, откашлявшись еще раз:

– Когда вам стало плохо после того облака, он привез вас сюда и сказал, что ненадолго слетает домой и сразу вернется, да?

– Да. Ему не верили, когда он так говорил?

– Нет. Не верили.

«Какой маленький мир и какой большой! Слава богу, она еще понимает по-английски. А думает по-японски. Скажи мне, милая, отчего же тогда, если он жив, а не погиб двадцать второго и если ты знаешь, что он любит тебя, отчего ты не послала телеграмму его адвокату? Почему ты не позвонила в наше посольство?»

– Он прилетит, как только кончатся все формальности, Исии... Это будет не завтра, но очень скоро, в самые ближайшие дни... Он ведь сказал при прощании вам, что сделает кое-какие дела дома, привезет врачей и лекарства и вылечит вас, да?

Снова свет в палате...

– Он сказал, что построит специальные клиники и передаст свои деньги на то, чтобы люди научились лечить мою болезнь. Он сказал, что то облако, которое прошло надо мной, будет последним...

Люс поднялся, его шатнуло. Он увидел в глазах женщины испуг. Он как-то странно подмигнул ей. («Нет не так, это я сейчас сыграл злого волшебника для моего Отто, надо играть доброго гномика и улыбаться, я спутал гримасы. Ничего, я сейчас улыбнусь ей... Сейчас...»)

— Он очень ругал мистера Лима? — спросил Люс, забыв улыбнуться, как добрый гномик.— И своего отца, да?

— Нет... Разве можно ругать отца?! А мистера Лима он ругал, и я даже просила его не ругать так страшно человека, и он больше никогда при мне не ругал его.

Люс почувствовал, как голова его совсем очистилась и стала ясной, но одновременно с этим освобождением от вязкого, тошнотворного тумана сердце сдавило тупой болью.

«Ну вот, невроз,— подумал Люс,— начинается. Не одно, так другое».

— А почему вы поверили, что он негодяй? Только из-за того, что так долго не приезжал? Из-за того, что не прислал денег? Или потому, что вам это сказал про него ваш соплеменник?

Она снова заплакала, и он понял, что попал в точку.

— Онума-сан?

Она кивнула головой.

— Он просил вас сказать про сифилис?

— Да.

— Он просил сказать это мне, а потом попросить меня уйти из палаты или вызвать сестру — мол, вам стало плохо, да?

— Да.

— Он раньше был актером, этот Онума?

— Нет, он был режиссером. Он ставил нам программу... Это было давно, много лет назад...

«Ну, вот и сердце перестало болеть,— подумал Люс.— Теперь будет легче обманывать ее... мне придется быть с ней до конца... Сейчас я вызову прокурора и журналистов, а потом соберу пресс-конференцию».

Он шагнул к двери, но сердце вдруг остановилось, а потом стало колотиться где-то в горле.

— Сейчас,— прошептал он,— сейчас я... вернусь...

И он сделал еще один шаг к двери: белой, масляной, скользкой, которая наваливалась на него с каждым мгновением все стремительнее и стремительнее...

... НО НЕ ФИНАЛ

1

После того как прошло заседание наблюдательного совета, на котором Бауэр был утвержден заместителем председателя, Дорнброк слег. Врачи констатировали, что давление у старика нормальное, кардиограмма не показывала отклонений от нормы, да и все остальные анализы не дали ничего тревожного.

— Есть форма нервного шока,— объяснил Фрайтаг, доктор ведущей боннской клиники,— когда больной угасает в течение нескольких недель. Господин Дорнброк отказывается от еды, апатия, отсутствие реакции на происходящее, нежелание разговаривать — это тревожные симптомы.

— Вы можете определить время кризисной точки?— спросил Бауэр.— Что надо предпринять? Отдалить эту кризисную точку или же приблизить ее?

Доктор из Бонна посмотрел на профессора Тергмана. Тот пожал плечами:

— Зачем же искусственно приближать кризис?

— Нам важно знать правду о состоянии здоровья председателя,— сказал Бауэр,— мы обязаны продолжать его работу. Либо мы опираемся на ваше заключение: «Дело обстоит так-то и так-то, ждать надо того-то и того-то, в такие-то сроки»,— и мы принимаем целый ряд решений, которые сейчас не принимаются, поскольку мы ждем возвращения господина Дорнброка. Либо вы говорите:«Через месяц он вернется в строй»,— и тогда мы продолжаем ждать...

— Знаете что,— ответил Тергман,— пригласите-ка лучше еще одного специалиста. Я не хочу брать на себя ответственность, которую вы столь устрашающе навязываете мне. Я еще не научился лечить отцовское горе пилюлями...

Когда медики ушли, представитель ракетной группы «Белькова» заметил:

— Господин Бауэр руководствуется лучшими пожеланиями, однако такая настойчивость может быть неверно истолкована.

— Кем? — резко спросил Бауэр.

Он оглядел присутствующих на заседании членов наблюдательного совета. Никто не отвечал ему. Бауэр презрительно хмыкнул:

— Я отвечаю за всю текущую работу, и я обязан вести ее с вашей санкции и под вашим доброжелательным наблюдением. Я хочу одного — выполнить волю председателя как можно точнее и добросовестней. Ни о чем ином я не думаю, когда кажусь чересчур «настойчивым».

Представитель «Мессершмитта» передал Айсману записку: «У него крепкие зубы».

Айсман посмотрел на представителя «Мессершмитта» ледяным, несколько даже недоумевающим взглядом. Тот немедленно поджался: «Зачем я оставил у него в руках документ? Впрочем, там нет имени. Но мне казалось, что Айсман, которому доставалось от Бауэра больше всех, должен был бы реагировать иначе. Неужели поклонение силе стало его второй натурой?»

Закрыв заседание совета, Бауэр поехал на виллу «Шене абенд» к Гизелле Дорнброк. Последние дни он ездил к ней открыто, словно подставляясь под объективы фотокамер. Делал это он умышленно — Дорнброк санкционировал его помолвку со своей племянницей, оговорив, что произойдет это через два месяца: в течение этого срока траур по погибшему Гансу соблюдался во всех бюро концерна...

2

Услыхав сообщение радио о трагической гибели Берга в авиационной катастрофе, Максим Максимович словно шагнул в пустоту.

«Это все,— подумал он.— Один Берг держал в руках все доказательства. Я? А кто такой я? Я — никто в данной ситуации. Я даже не убежден, что мои показания приобщат к делу. Кто у них еще остался? Грос. Да. Грос и я. Я и Грос. Но Айсман боится меня больше Гроса...Страх... Боится... А чего боится Айсман? Между прочим, мне надо сейчас вспомнить — чего он боялся? Вообще-то, это так неэтично — использовать страх. Но что же делать, если судьба свела тебя с нацистом... Он боится... Люди, добившиеся житейских благ ценою предательства самих себя, высоких идеалов добра, очень боятся потерять эти блага... Только взгляд в глаза старухи с косой может испугать таких людей... Когда один на один и спасения ждать неоткуда... Крайность? Крайность. Это точно. Но я иду по их логике, у меня иного выхода нет».

Исаев перешел границу — так, чтобы его могли засечь люди Айсмана,— и поехал в аэропорт Темпельхоф поку-

пать билет в Рим. Исаев был вынужден принять это решение — времени на раздумье не оставалось. «Спасибо, издатели, если бы не ваш гонорар, мне пришлось бы продавать часы, чтобы купить этот билет, да и то неизвестно, хватило ли бы...»

Купив билет в Рим так, чтобы это видели люди Айсмана, Исаев зашел в телефонную будку, снял трубку, набрал номер, сложив сочетание цифр, чтобы получилось три семерки — Исаев верил в счастливое назначение этого числа,— и сказал длинным гудкам, не прикрыв дверь кабины:

— Через четыре часа уходит мой рейс в Рим. Оттуда я сразу же еду в Неаполь. Да, да, знаю. Нет, прессе говорить об этом еще рано... Только после того, как я встречусь с другом. Предупредите в Неаполе о моем приезде.

Повесив трубку, Исаев пошел в бар и заказал себе двойной «хайбл». Он взял со столика газету и прочитал шапку: «Сенсационное разоблачение режиссера Люса в Токио. Тайна гибели Дорнброка начинает приоткрываться. Люс пока не говорит всей правды, но он заявил, что отомстит за Берга. В ближайшие дни он возвращается в Берлин, чтобы продолжить расследование».

«Молодец,— устало подумал Исаев.— Берг в нем не ошибся. Теперь мне нужно последнее доказательство, тогда мы действительно отомстим за Пашу и Берга».

Он сидел в баре, нахлобучив на глаза шляпу, потягивая хайбл, и перед ним проходили люди, много людей, и лица их сливались в одну линию, разнокрасочную, цельнотянутую — так бывало в метрополитене, когда он спускался на эскалаторе и щурил глаза, и поток, поднимавшийся ему навстречу, становился протяженным, сцепленным воедино целым.

А потом перед глазами возникло лицо Паши Кочева в день их прощания в Москве. Исаев напутствовал Пашу в обычной своей манере, чуть усмешливо, словно бы размышлял с самим собой.

«Есть два пути,— говорил он,— и не я это открыл, а древние. Всегда есть два пути, и только трусы переиначили эту мудрость на свой лад, изменив слово «путь» на «выход». Выход есть один, а вот пути — их действительно два. Только два. Можешь, приехав в Западный Берлин, засесть в отеле и выходить из комнаты только на встречи с коллегами. Можешь строго следовать утвержденной програм-

ме встреч с коллегами, но есть и другой – посидеть в редакциях самых разных газет, предложить свои услуги кинофирме в качестве статиста, владеющего к тому же тремя европейскими языками. Словом, можно быть в активе, но никто тебя особенно не станет упрекать, избери ты путь спокойного пассива и не бойся, бога ради, никаких провокаций, как правило, провоцируют тех, кто хочет этого. Силой нельзя кичиться, но каждый честный человек обязан всегда точно чувствовать свою силу. Сильный ведь может не только обидеть, но и защитить».

Исаев тогда смотрел на Пашу и вспоминал двадцать первый год в Сибири, двадцатилетнего командарма Иеронима Уборевича, тридцатилетнего министра обороны Василия Блюхера, и невольно сравнивал их со своими двадцатипятилетними аспирантами, и не их, этих своих аспирантов, он винил за инфантилизм, а своих сверстников. Он пытался анализировать, чем вызвано это опекунство по отношению к тридцатилетним, но ответы получались однозначные, и это его самого не устраивало. Либо, отвечал себе Исаев, в этом сказывается родительский эгоизм, продиктованный любовью к своему ребенку, но тогда этот родительский любвеобильный эгоизм – чем дальше, тем больше – будет играть злые шутки, рождая в молодых безответственность, перестраховку, и, что самое страшное, неумение принять решение, боязнь решения. С другой стороны, думал он, допустим и другой ответ: у нас, в мире науки, всегда существовала авторитарность, и каждый мэтр, автор школы, хочет остаться до конца единственным толкователем своего успеха, своего первого взлета. В таком случае отношение к молодым ученым граничит с преступлением против общества, ибо мир развивается по законам преемственности, и всякое искусственное отклонение от этого закона чревато серьезными последствиями.

«Кичливость всегда мешала истине,– думал Исаев.– В конце концов, не будь юного Гагарина, гений Циолковского и Королева не нашел бы своего практического подтверждения. Лучше ехать в переполненном трамвае, потеснившись, уступив место соседу, чем удобно сидеть в вагоне, который стоит на рельсах между двумя остановками».

У Исаева были стычки с коллегами в институте – он никогда не скрывал эту свою точку зрения; один раз его даже обвинили в «демагогическом заигрывании с молодежью».

— С молодежью?! — чуть усмехаясь, спросил тогда Исаев.— Вы называете молодежью тех, кому двадцать семь?! Окститесь, друг мой, Лермонтов погиб, когда ему было двадцать шесть! Добролюбов закончил свой жизненный путь в этом же возрасте, а я уже не говорю о Писареве. Между прочим, и руководители наши в тридцать лет стали наркомами и генералами — я за возрастными акцентами следил из-за кордона особенно тщательно, это мне там силу давало...

«Я полез в драку за Пашу,— вдруг признался себе Исаев,— потому что был лично задет его «бегством». Меня заставило искать правду память о моем сыне и вера в поколение Кочевых. Через тернии — к звездам, так, кажется? Значит, путь к правде лежит только через кровь и гибель... Мы отмечаем даты, круглые даты, и это прекрасно, но почему мы начинаем это делать, лишь когда человек прожил полстолетия? Неужели тридцать лет — не срок, тем более, если человек преуспел за эти тридцать лет в своем деле?»

Исаев поднялся и пошел в зал.

«Это точно,— продолжал думать он,— мы за них отвечаем. Но кто освободил их от ответственности за нас? Или возраст сейчас стал адекватен разуму?»

Он сел в центре большого стеклянного зала и вздохнул, пожалев себя; он увидел себя со стороны, и вспомнил те далекие двадцать лет, когда был молодым Штирлицем, и снова пожалел старого Исаева; достал сигарету и глубоко, как в молодости, затянулся. «Домой хочу,— неожиданно сказал он себе.— Боже мой, как же я хочу домой».

Он снова вздохнул и заставил себя вернуться к делу, к тому делу, ради которого он был здесь. «Они не успеют отправить мину с багажом,— решил он.— Наверняка они, узнав, куда я лечу, попросят кого-нибудь из пассажиров взять «посылочку» в Рим. Если я это прозеваю, значит, встречусь с Бергом на небесах. А если не прозеваю — тогда я привезу сюда Гроса. Я привезу его, чего бы это мне ни стоило... Умница Берг... Тот меморандум, который он мне оставил о Гросе, плюс живой Грос — это уже доказательство».

По радио уже третий раз передавали сообщение:«Федеральный министр поручил статс-секретарю Кройцману оказать помощь в расследовании дела, столь блистатель-

но начатого погибшим в авиакатастрофе прокурором Бергом. Кройцман обещает закончить следствие в течение ближайшей недели».

«А если они пошлют кого-то из своих с «посылочкой»?— подумал Исаев.— Что тогда? Они могут. С другой стороны, слишком многие из их банды знают обстоятельства дела. Неважно. Скажут, что мина для Гроса, а взорвут ее в нашем самолете... Нет положительно я стал склеротиком — ведь нет билетов! Они не успеют послать своего вместе с миной. Ага... Вон идет нечто похожее. Точно... Это от них. И сверточек подходящий. Мина типа «Аква», их очень любил Шелленберг. Дурашки, я не думал, что они попрут так открыто — совсем, видимо, перепугались. Кому это он всучит? Девушке... Пьяненькая девушка, такая крокодила возьмет, не то что посылочку. Примитивно, конечно, работают, но в данной ситуации беспроигрышно».

Когда объявили посадку на самолет, Исаев медленно поднялся и пошел за пассажирами, не теряя из виду пьяненькую девушку. В автовагончике он протолкался к ней и сказал, заставив себя сыграть запыхавшегося человека:

— Слава богу! Я вас догнал. Вилли сказал, что именно вам он передал посылочку. Он просто не знал, что я тоже лечу этим рейсом,— и не дожидаясь ответа, Исаев взял «посылочку» из рук девушки.

«Господи,— подумал он, взяв сверток,— стыдно им заставлять меня на старости лет упражняться в беге... Только, может быть, я иду по своей логике и зря все это затеял? Может быть, они уже поручили кому-то в Италии убрать Гроса? А я все жду, жду, жду... Может быть, надо сейчас же поднять тревогу и сказать во всеуслышание через Кроне, где скрывается Грос, и заявить, что жизнь последнего свидетеля на волоске — в него уже целятся. Нет, Интерпол включен в игру. А я не знаю главного, который управляет Айсманом. Это человек с глазом, волей и умом; сильный зверюга. И все-таки убирать Гроса должны они поручить кому-то из тех, кому Грос бесспорно доверяет. Они тоже прекрасно знают, что Интерпол включился в игру, и случайного человека на это дело не пустят. Убийца, которого преследуют, боится собственной тени и не верит никому, кроме самых близких из банды. Айсман, видимо, ближе всех и к главарю и к Гросу. Он проведет последнюю операцию по ликвидации единственного сви-

детеля. Именно Айсману поручат, потому что он, помимо всего прочего, провалил дело: и меня не дождались у Берга, чтобы прихлопнуть как русского агента, и Курт, связник, убит в кабинете Холтоффа... Нет, я правильно думаю — в Неаполь должен полететь Айсман, только Айсман. Так всегда было заведено в банде: проваливший дело выполняет самую опасную работу».

Воспользовавшись толчеей, которая обычно сопутствует посадке на самолет, Исаев неторопливо зашел за автопоезд, чуть пригнулся и пробежал вперед, прихрамывая на левую ногу. («Господи, как это смешно: хромой дед и с миной!») Рядом с автопоездом стоял громадный бензозаправщик, а за ним — «джип», в котором сидел молоденький парень — служитель из диспетчерской службы. («Это хорошо, что я смешон,— подумал Исаев.— Смешных жалеют».)

— Сынок,— сказал Исаев,— я из инспекции страховой компании «Шуккерберг», подбросьте меня вон к тому домику. Нога отказала, ковылять дальше не могу...

— Да,— ответил парень,— туда могу.

«Все в порядке,— решил Исаев.— Тот, который за мной следит, не видел, как я уходил. Да и следил ли кто? Сейчас они от меня не ждут финта. А может, и ждут... Черт их знает... Нет, все же, наверное, следили. Но, слава богу, этот самолет стоит далеко, из аэропорта не видно... Сейчас они позвонят, что я улетел, а к следующему рейсу подскочит Айсман. То есть через сорок минут. На следующий рейс много свободных билетов, я туда легко сяду».

Исаев позвонил из пустой комнаты диспетчерской службы в «Телеграф» и сказал:

— Добрый день, Кроне, было бы хорошо, узнай вы меня по голосу...

— Я узнал вас по голосу, добрый день...

— Слушайте меня внимательно. Я люблю меценатствовать, поэтому дарю вам сенсацию: перед смертью прокурор сказал мне, где скрывается убийца. Его зовут Иоахим Грос. Он связан с концерном Дорнброка, он функционер НДП... Я сейчас назову вам, на случай непредвиденных обстоятельств, его адрес... Неаполь, вилла Ноделя. Запомнили? Надо, чтобы один из ваших людей пробился через полчаса на радио с сообщением о местонахождении убийцы.

— А телевидение?

— Это вообще гениально. Теперь давайте-ка приезжайте в Темпельхоф, на радиоцентр, откуда поддерживается связь с самолетами. Возьмите диктофон и полицию. И ждите. Это пока все, что я могу вам сказать. Чао!

3

Исаев дождался, когда пассажиры вошли в «боинг»— Айсмана он заметил сразу,— обогнул три лайнера, которые стояли возле домика диспетчерской службы, и поднялся по трапу последним. Он знал, что Айсман всегда летает в хвосте, надеясь при катастрофе остаться в живых.

«Он может меня увидеть, когда я пойду в первый салон,— подумал Исаев.— Шляпу и пальто я захватил кстати, я пройду мимо в нахлобученной шляпе: впереди пусто. Старый идиот в нахлобученной шляпе, как из картин Хичкока. Аспиранты мои и аспирантки, где вы?»

...Айсман сидел около окна и деловито привязывался ремнями; он не обратил внимания на высокого старика в сером пальто и шляпе, который прошел вперед, поближе к пилотской кабине.

Когда стюардесса закрыла дверь, ведущую во второй салон, Исаев поднялся, постучался к пилотам и, не дождавшись ответа, вошел туда.

...Самолет взмыл свечой.

Исаеву нравилось, как поднимались эти машины, они шли вверх, словно протыкая небо.

Он не стал дожидаться, пока выключится световое табло: «Не курить, застегнуть привязные ремни», поднялся и, бросив пальто на кресло, пошел во второй салон. В руках он держал «посылочку», которую на аэродроме вручили пьяненькой девушке, улетевшей в Рим сорок минут назад. Он подошел к Айсману. Тот не видел его: он приник к иллюминатору и смотрел на землю, то появлявшуюся, то исчезавшую в разрывах облаков.

— Айсман,— окликнул Исаев,— добрый день, старина.

Айсман вскинул голову, увидел Исаева с «посылочкой» и рванулся с места. Он забыл, что привязан ремнями, и поэтому упал в кресло, и вокруг него засмеялись.

— Пойдем ко мне в салон,— сказал Исаев,— надо поговорить.

Исаев неторопливо двинулся в свой салон, но остановился, потому что Айсман закричал:

– Нет, Штирлиц, нет! Она сейчас! Сейчас!

В самолете стало тихо, к Айсману подбежали две долговязые стюардессы – они подумали, что ему плохо.

– Когда?– спросил Исаев.– Над Германией?

– Над Альпами! Но то раньше, с тем рейсом – над Альпами. А сейчас – прямо здесь! Это же для того рейса!

– Тогда у нас есть десять минут, а мне больше и не надо. Пошли, в первом салоне нет людей, поболтаем.

Айсман кинулся следом за ним, оттолкнув стюардесс. Лицо его стало белым, на лбу выступила испарина. Он всегда боялся летать, он мучительно ясно представлял себе, как самолет разваливается в воздухе и он, Айсман, целых пять минут летит вниз, чтобы удариться о маленькую синюю землю, и это страшное видение перестало быть навязчивым кошмаром, а сделалось близкой и жуткой явью.

– Пойди к пилотам, пусть они ее выбросят!– прошептал он.– Штирлиц, иди туда! Штирлиц!

– На,– протянул ему Исаев «посылку», когда они перешли в первый, пустой салон.– Иди сам. Скажи им, что это мина, что вы такими штуками взрываете их в воздухе. Только сначала скажи радисту адреса твоих ребят, которые будут передавать радиосигнал этой мине, а потом мне скажешь, где тело Кочева, и объяснишь, как вы убили Ганса Дорнброка и кто тебе отдал приказ убить его. А после того как радист передаст это на землю, мы выбросим мину через люк...

– Ты сошел с ума, Штирлиц!

– Нет, я не сошел с ума.

– Ты понимаешь, что она сейчас взорвется?!

– Понимаю. («Я даже не мог надеяться, что он так испугается. Сколько ему? Шестидесяти еще нет, это точно... Иначе он бы так не испугался. А может быть, испугался б еще гаже».) Но у меня нет иного выхода, Айсман. Если ты не скажешь мне все то, что меня интересует, мы сдохнем за компанию.

Айсман завороженно смотрел на «посылку». Зрачки его расширились, и пот теперь был не только на лбу, но и на кончике носа, на верхней губе и на подбородке.

Исаев достал сигарету, потом сунул ее в пачку и вытащил трубку.

– Хочешь курить?– спросил он.

Айсман как-то странно посмотрел на него, а потом закрыл глаза и медленно опустился на кожаную ручку кресла.

— Ты меня знаешь, Айсман... Я никогда не боялся смерти... Ты это должен помнить... Сейчас я не боюсь ее вовсе... Понимаешь?

— Она сейчас взорвется... Минут через пять...

— Что же делать.. Ты только не умирай от инфаркта, ладно? А то мне будет обидно... Мне очень хочется, чтобы ты ощутил ужас, когда она взорвется... Я хочу, чтобы ты падал вниз и орал... Это так страшно — падать в пустом небе...

— Что я должен сделать? — спросил Айсман и поднялся. Он вытер лицо ладонью, и она стала мокрой.

Открыв дверь пилотской кабины, Исаев пропустил Айсмана и сказал командиру:

— Пусть ваш радист примет заявление этого мерзавца, а потом, если можно, выбросьте этот сверток через люк.

— Что в нем? — спросил командир.

— Мина! Мина!— закричал Айсман.— Радиомина! Сделайте что-нибудь! Ее сейчас взорвут!

— Идите к микрофону,— сказал пилот Айсману.— Вот микрофон!

— Мы же взорвемся, понимаете, мы сейчас взорвемся! — перешел на шепот Айсман.— Я скажу все, только сначала выбросьте это!

— Сколько до границы?— спросил командир второго пилота.

— Сорок минут.

— Но она должна была взорвать тот самолет! Осталось семь минут! Понимаете? Семь!

— Мы не можем выбросить мину,— сказал командир.— Если я открою люк, нас разорвет воздухом. Вот вам радиомикрофон, мы связаны с землей, все аэродромы слушают нас: передавайте на ваш центр, что вы отменяете взрыв... Скажите им, что, если наши родные и родные людей, которые в этой машине, и родные тех, кто погиб, когда летел Берг, найдут их,— им будет плохо. Ну, давайте! У нас есть возможность влезть в городскую сеть.

— Алло! — закричал Айсман в микрофон.— Дайте 96-56-24. Вальтер! Отмени взрыв! Мина у Штирлица. Он здесь со мной в самолете!

— И адрес,— попросил Исаев,— нас слушают полиция и репортеры... Быстренько, их адрес...

— Тиргартенштрассе, три. Он слышит меня?!

— Так! — сказал Исаев.— Повтори это громче в микрофон. Скажи «полиция», ну и так далее. Адрес и телефон. А потом уж мы соединим тебя с друзьями.

Айсман, оцепеневший, белый, сказал адрес штаба и телефон центра, а потом, взглянув на часы, вырвал микрофон из рук радиста и закричал:

— Вальтер, не делай этого! Полиция! Скорей туда! Вальтер, ты слышишь? Молю тебя!

— Кто взорвал самолет с Бергом? — спросил Исаев.

— Вальтер! Не я — Вальтер! Бауэр санкционировал!

— Где тело Кочева? — продолжал Исаев.

— Он сожжен в Бромбахе в лесу.

— Зачем вы убили Дорнброка?

— Он все сказал Кочеву.

— Что он сказал Кочеву?

— Про водородную бомбу для Лима. Про все... Про нас.. Про партию...

— Про какую партию?

— Про национал-социалистскую рабочую партию Германии!— закричал Айсман.— Штирлиц, что ты делаешь? Мы сейчас погибнем!

— Вы сделали водородную бомбу для Лима?

— Да.

Исаев взял микрофон и спросил:

— Земля, вы записывете показания?

— Да,— ответили ему.

— Пресса у вас?

— Да. Здесь Кроне из «Телеграфа».

— Передайте им, что все будет хорошо,— сказал Исаев.— Только успейте взять Вальтера. И поторопитесь на их наблюдательный совет. У них сейчас заседание. Позвоните туда. Вам скажут, что Айсман сейчас выступает и сможет говорить с вами через три-четыре часа. Это алиби на то время, пока Айсман в Италии. Обязательно позвоните к ним. Я хочу послушать, как вам будет врать Бауэр... А с нами все будет хорошо. Не волнуйтесь, земля. Я вынул радиозапал еще на аэродроме... Мы с пилотами решили поиграть с жизнелюбивым Айсманом. Да, Айсман? Ты хорошо заглотнул червячка? До встречи, земля...

Айсман упал, подломив левую руку под живот, ставший вдруг рыхло бесформенным. Исаев вдруг вспомнил

ту страшную глубинную рыбу, которую они вытащили на «самодуре» около Гагры с резиновой лодки вместе с Мишаней ранним утром, когда еще не было солнца и снег был виден на Авадхаре...

«Господи, когда же это было? — устало улыбнулся Исаев.— Скорее бы это повторилось там, в Гагре или в Удомле, но чтобы обязательно с Мишаней и без этой глубинной рыбы, а как всегда в сентябре, когда идет ставрида и чайки летают за лодками рыбаков, гомонливо переругиваясь в зыбком сине-розовом небе, и слышно, как в санаториях люди выходят на зарядку и деловитые культурники растягивают потрепанные мехи своих аккордеонов...»

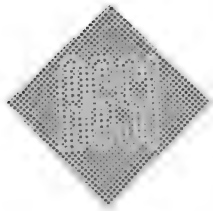
— Очухается,— сказал Исаев пилотам.— Веко дергается. Это форма истерики. Или время хочет выгадать. Поворачивайте, ребята, на аэродроме нас ждет полиция... Если полиция прихватит меня заодно с этим ублюдком, вы, хочу надеяться, дадите показания в мою пользу. Нет?

Москва—Нью-Йорк—Сингапур—Берлин
1970

СОДЕРЖАНИЕ:

Испанский вариант 5

Бомба для председателя 119



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФИРМА ЭГСИ»

Уважаемые читатели!

Наше издательство, обладающее эксклюзивными правами на продолжение издания собрания сочинений **Юлиана Семенова**, с удовлетворением сообщает Вам, что в следующих томах будет опубликовано:

том 15 **Пресс центр**

том 16 **Аукцион; Лицом к лицу.**

том 17 **При исполнении служебных обязанностей.**

Далее планируется опубликовать:

Отчёты по командировкам; Горение,

и некоторые другие произведения.

Для оптовых покупателей
телефон/факс: (095) 452-8816 и (095) 446-1469

В Москве реализация книг нашего издательства осуществляется в следующих магазинах:

- **магазин №2 Южного Агентства Печати,**

Б. Факельный пер., 3, метро «Таганская», телефон ***911-2107***

- **ООО «Восход»**

Ярцевская ул., 34, метро «Молодежная», телефон ***149-1125***

- **ТОО «Тотем»**

Минская ул., 14, метро «Филевский парк», телефон ***144-5567***

- **ТОО «Аскольд»**

Физкультурный пр., 11/25, кор. 6, метро «Багратионовская», телефон ***148-9480***

В других городах России реализация книг нашего издательства осуществляется:

г. **Казань** - телефон (8432)-55-22-64,55-00-91

г. **Набережные Челны** - телефон (8439)-58-53-53

г. **Оренбург** - телефон (3532)-44-88-52

г. **Тольятти** - телефон (8469)-39-05-28

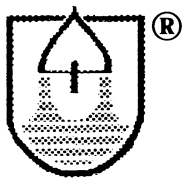
г. **Ярославль** - телефон (0852)-22-05-29

Иногородним покупателям книги высылаются наложенным платежом. Читателям, получавшим ранее наши книги по почте от других организаций и желающим получать их в дальнейшем (напрямую от издательства, без посредников), а также читателям, желающим получать книги по почте, но не приславших нам ранее заказы, необходимо сделать предварительный заказ. Мы также высылаем ранее вышедшие тома из собрания сочинений Ю. С. Семенова и другие книги. Желающим получить полный каталог рассылаемых нами книг, необходимо выслать в наш адрес конверт с Вашим адресом. Ваши заказы на книги и каталог просим высылать по адресу:

121353, г. Москва, п/о 353, Издательство "ЭГСИ"

С уважением к таланту и личности автора

Коммерческий банк



Русич

г. Москва тел. 452-88-16

Семенов Ю.
Собрание сочинений: т. 14. Роман – М.;
ООО «Фирма ЭГСИ», 1996г. – 448 стр.

В 14-й том включены произведения, объединенные одним героем – Исаевым-Штирлицем. Действие романа «Испанский вариант» происходит в Испании в 1936 году, «Бомба для председателя» – в Германии в 1968 году.

ББК 84.ЗР7

Литературно-художественное издание

Юлиан Семенович Семенов

Собрание сочинений. Том четырнадцатый

Редактор Д.О. Грошев
Художники М.Н. Шестопал, В.С. Помочилин, В.М. Беляков
Технический редактор Г.В. Жигалова
Корректор Г.Н. Грошева

ЛР № 064288 от 14.11.95 г.
Подписано в печать с готовых диапозитивов 29.03.96, Формат 84x108 $^1/_{32}$,
Бумага типографская № 2, Гарнитура Литературная, Печать офсетная.
Усл. печ. листов 23,52. Усл. кр. отт. 24,15. Уч.-изд. листов 23,70.
Тираж 15000, Заказ № 1598
117454, г. Москва, пр-т Вернадского, 62 "а" ООО «Фирма ЭГСИ».

Отпечатано с готовых диапозитивов
в полиграфической фирме «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

irtschaftsmini

1687/43

dieses Geschäftszeichen und den weiteren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

Reichsminister für Rüstung
riegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- oVIA -

...матографа
помнят роли, сыгранные ими:
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.

— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала" —
отец умер в звании адмирала
флота США, — маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору, за
которого голосовала. — Брэдли.
После совещания в его штабе
мне ответили: "Если бы мама
просилась в эмиграцию, сюда, к
вам, для воссоединения семьи,
мы бы могли оказать какую-то
помощь. В ином случае бреж-
невская администрация нам от-
кажет: "Давать или не давать
выездной паспорт для поездки
в гости — наше внутреннее
дело..."

...жизни, двенадцать
...земпляров; ныне тираж
...од жизни - это и мало
...ысячи писем, поступ...
...могают нам вы...
...ы наше...
1. В
...ажни
...едоум
2. Бы
..., дел
...ское С
3. ...
...вы!
4. ...
...упники,
...е место
5. ...
...и сможет ...ть все наши эко...
...истративной Системы!"
6. ...Продолжать борьбу
...ции и взяточничества.
7. Выступать против той с е к
...ну и его банде создать камеры
...нки, Катыни, а его ученикам - п
...
...так, "Совершенно Секретно" - эт...
...а этом мы стояли и будем стоять.

...ривет свтвия от Библейского Общест
...ктеров, художников, режиссеров, ...

...ернуть "журнальный вариант"!

...откуда курсив?

...Ernsprecher: Ortsdienst Nr. 16 43 51
Ferndienst Nr. 16 41 21

...schaftsminister

...7/43

...s Geschäftszeichen und den
...eren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

...ister für Rüstung
... Rüstungsamt -
...S. v. Henrici

...дивенчества:
...в квартиру, накор...
...и пьяница, приходящий
...юги, так и вполне прис-
...ния пропагандистской ше-
... Поэтому следует отве-
...перед самим собою, ...
...б"ективно.
...арант. Оно обязано ...
...амовыявление,- это
...розить рост заработной
...ляции (при том,
...ны на рынке - рыноч-
...ому, сколько труда
...елем в продукт) буд...
...сы,- ... могут
...ктом.
...положения?
...ос трудно ответить,
..., которые облегча...
...нивающей") стра-